

ISSN 1728-1938

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2015 * Том 14 * № 1

**RUSSIAN SOCIOLOGICAL
REVIEW**

2015 * Volume 14 * Issue 1

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2015
Том 14. № 1

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Адрес редакции: ул. Петровка, д. 12, оф. 402, Москва 107031

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Тел.: +7-(495)-621-36-59

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора

Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

Редактор веб-сайта

Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы

Каринэ Акоповна Щадилова

Перри Франц

Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик

Андрей Михайлович Корбут

Международный редакционный совет

Николя Айо (Университет Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александер (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожье (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

Учредители

- Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
- Александр Фридрихович Филиппов

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит три раза в год (в апреле, августе и декабре). В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присыпать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнometодология и конверсационный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2015
Volume 14. Issue 1

ISSN 1728-1938 Email: puma7@yandex.ru Web-site: sociologica.hse.ru/en
Address: Petrovka str., 12, Room 402, Moscow, Russian Federation 107031 Phone: +7-(495)-621-36-59

Editorial Board

Editor-in-Chief

Alexander F. Filippov

Deputy Editor

Marina Pugacheva

Editorial Board Members

Svetlana Bankovskaya

Nail Farkhatdinov

Andrei Korbut

Internet-Editor

Nail Farkhatdinov

Copy Editors

Karine Schadilova

Perry Franz

Russian Proofreader

Inna Krol

Layout Designer

Andrei Korbut

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)

Gary David (Bentley University, USA)

Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)

Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)

Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)

Peter Manning (Northeastern University, USA)

Albert Ogien (EHESS, France)

Anne W. Rawls (Bentley University, USA)

Irina Saveliyeva (HSE, Russian Federation)

Victor Vakshtayn (RANEPA, Russian Federation)

Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Establishers

- National Research University Higher School of Economics

- Alexander F. Filippov

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes three issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

СТАТЬИ И ЭССЕ

Police and Public Funerals	9
Peter K. Manning	
Театр политического кризиса: заговор как «предмет веры»	44
Андрей Игнатьев	
Темпоральная семантика слова <i>общество</i> (XI — первая треть XIX века)	68
Галина Дуринова	
Начинание, рождение, действие: Августин и политическая мысль	
Ханны Арендт	105
Ирина Дуденкова	

ЭТНОМЕТОДОЛОГИЯ И КОНВЕРС-АНАЛИЗ

Говорите по очереди: нетехническое введение в конверсационный анализ	120
Андрей Корбут	
Простейшая систематика организации очередности в разговоре	142
Харви Сакс, Эммануил А. Щеглофф, Гейл Джейфферсон	

РУССКАЯ АТЛАНТИДА

Василий Николаевич Лешков и его теория «общественного права»	
как попытка альтернативы «полицейскому праву»	203
Андрей Тесля	

ОБЗОРЫ

Как работает автоэтнография?	224
Дмитрий Рогозин	

РЕЦЕНЗИИ

Консерваторы в поисках будущего	274
Андрей Тесля	
Карта социологии права	286
Александр Кондаков	

Исследования общественного мнения в демократической ретроспективе и перспективе	291
Александр Никулин	
Новый курс лекций по социологии спорта	299
Олег Кильдюшов	

Contents

ARTICLES AND ESSAYS

Police and Public Funerals	9
<i>Peter K. Manning</i>	
The Theater of Political Crisis: Conspiracy as a “Matter of Belief”	44
<i>Andrey Ignatiev</i>	
Temporal Semantics of the Word “Obshestvo” (11th — Beginning of the 19th Centuries)	68
<i>Galina Durinova</i>	
Beginning, Birth, Action: Augustine and the Political Thought of Hanna Arendt	105
<i>Irina Dudenkova</i>	

ETHNOMETHODOLOGY AND CONVERSATION ANALYSIS

Turn-Talking: Non-technical Introduction to Conversation Analysis	120
<i>Andrei Korbut</i>	
A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation	142
<i>Harvey Sacks, Emmanuel A. Schegloff, Gail Jefferson</i>	

RUSSIAN ATLANTIS

Vasily Ivanovich Leshkov and His Theory of the “Social Law” as an Attempted Alternative to the “Police Law”	203
<i>Andrey Teslya</i>	

REVIEWS

How Autoethnography Works	224
<i>Dmitry Rogozin</i>	

BOOK REVIEWS

Conservatives in Search of the Future	274
<i>Andrey Teslya</i>	
The Map of the Sociology of Law	286
<i>Alexander Kondakov</i>	

Public Opinion Surveys from Democratic Retrospective and Perspective 291
Alexander Nikulin

New Lecture Course on the Sociology of Sport 299
Oleg Kildyushov

Police and Public Funerals¹

Peter K. Manning

Eileen and Elmer V. H. Brooks Trustees Professor,
School of Criminal Justice and Criminology, Northeastern University
Address: Huntington Ave., 360, Boston, Massachusetts USA 02115
E-mail: pet.manning@neu.edu

Durkheim and his followers alerted us to the role of collective representations such as funerals, processions and parades in pre-literate societies. These classic studies, elegant and detailed, have stood the test of time. Goffman has asked whether these events, along with memory and tradition, produce social solidarity in the twenty-first century. Perhaps social solidarity is enacted by such events, rather than reflecting norms, values, and beliefs. If so, how is this new kind of solidarity accomplished over the course of these events? We have few close studies of these modern public events, other than Warner's classic, the *Living and the Dead* (1959), and Bellah's ideas, via Rousseau, of the role of "civic religion." These ideas are inadequately articulated, given an ethnographic warrant to link structure and function. This paper begins with a description of a funeral of a police officer in 1974 (Manning, 1977), compares this with a police funeral in 2011, and addresses two questions: how are they different? And what do these collective representations tell us about modernity? Are police funerals different from others in the public sphere (not those honored who served in the fire service or the military)? The paper uses a semiotic analysis of funerals, police and public, as a window into the features of modern celebrations and processions. Given the relevant codes used to analyze the processions, the differences are salient. The contrast between these processions and their role in social integration in modernity raises the need for future research.

Keywords: funerals, police and public, ceremonies, rituals, semiotics, codes, processions

Introduction

While Durkheim and his followers taught us much about collective representations, their role in modern industrialized societies is debated (Warner, 1959; MacIntyre, 1981; Goffman, 1983; Bellah, 1967; Bellah et. al., 2008; Alexander, 2004; Valeri, 2014).² Do memory, tradition, and celebration produce social solidarity in the twenty-first century? On the one hand, our clues about the integrative role of symbols are derived from classic studies of preliterate societies, and on the other hand, we have few tight, systematic empirical studies of symbolization and its role in modern societies³, among which is the brilliant

© Manning P. K., 2015

© Centre for Fundamental Sociology, 2015

1. This is in part a reflection written following a trip to Cape Town, South Africa and lecturing at University of Cape Town, April 15–22, 2013.

2. More radical versions of modernity based on the power of the media and the illusions they create have been rendered by Debord (1967) and Baudrillard (1988).

3. A famous and often-cited source is an essay by Shils and Young (1953) about the coronation of Queen Elizabeth. These monarchial occasions, such as weddings and funerals, are increasingly rare and anomalous rather than representative.

and comprehensive work, the *Living and the Dead* (Warner, 1959). The argument of the relevance of modern ceremonies proceeds by analogy as it would appear. What “glue” holds together modern, diverse, complex, highly literate, mass-media-saturated societies? This paper uses funerals and a semiotic analysis as a window into modern celebrations, with police funerals as a case-in-point. These police funerals as a social form are contrasted with “public non-military funerals.” Several gaps in current knowledge are thus revealed.

Carrying out this analysis requires a truncated history of my interest in funerals as celebrations. In 1974, as a Fellow of the Department of Justice, I began writing a field-work-based study of policing in London, exploring the role of information, ritual, and the sacred. It was published as *Police Work* (PW) (1977). The assertion that policing is a kind of dramatic performance was set out rather abruptly in the first chapter of the book. I used a newspaper report of the funeral of a police officer, and linked this funeral to the semi-sacred character of policing, the source of its high regard in modern industrialized societies, and the meanings that it has for its practitioners. I claimed that policing was something of a collectively-supported dramatic performance. While the differences between American and English policing were explored, I was explicating the relationship between facts, information, noise, and ritual in the context of police work. I argued that the claimed rational administration of policing was implausible, given the structural limitations on crime-relevant information, the discretion on the ground, and the lack of systematic planning and policy.⁴ I further claimed that the police were overloaded with facts and unable to synthesize the information they had. This imagery, as one might call it, was a piece of an argument attempting to define and elaborate the police mandate, or what valid claims the occupation possesses in a complex division of labor. They had an impossible mandate, yet were rising in social status. A final assertion was that the elevation of the police into a higher level of status was a result of their being seen as sacred, and being surrounded by myth and ritual. In brief, the introductory chapter was an introduction to the analysis of policing as a kind of street-drama. Later chapters argued that the modern pseudo-scientific claim of the police to control crime had no basis in evidence at that time, and that the mandate was in effect “impossible” if the police were to be held accountable to their claims of crime control. They were displaying and were the beneficiaries of an accepted “dramaturgical truth.”⁵ In effect, the 1974 police funeral was a cynosure of the occupation’s claims amplified and elaborated by the media. There

4. Later volumes, the *Narcs’ Game* (1979) and the *Symbolic Communication* (SC) (1989), were designed as explorations of case-making unconstrained by information and sense-making due to the coding and screening of citizens’ demands. Again, the question was the relationship between information and ritual. *Policing Contingencies* (PC) (2004) was an exploration of the new impact of the mass media on images of the drama of policing in the context of the drama of control. In PC, using Goffman’s *Frame Analysis* (1974), I explored how it is that the framing of “policing” as a collective representation was a variable, not a constant, and how it was shaped by mass media amplification and the compression of symbols. The *Technology of Policing* (2008) was a continuation of the exploration of the gap between new forms of information processing such as crime mapping information, and the disconnect between these resources and policing on the ground.

5. This term was suggested to me by Michael Raphael.

was another subtext, which was to elevate the discussion of the police above a non-critical description of their activities.

The theme of the book, however, was implicit. How is it that we turn secular or profane objects or organizations into quasi-sacred ones, as Durkheim argues? That is, how are potential contradictions between an organization claiming to be operating on the basis of “facts” or information, and the mysterious, the sacred, and the awesome perception of policing performances resolved? How is the gap between the *map* (the representation of policing as a sacred, valued, and honored occupation) and the *territory* (the facts of everyday life and the experience of policing) resolved? (Bateson, 1972). Is it some sort of magic? (Durkheim, 1961: 57–58). I argued that a dramaturgical framework, emphasizing the power of collective representations, ritual, and myth, permitted an analysis of such problems, and implicitly that the funeral was a kind of miniature re-enactment and representation of the drama of policing. I saw funeral as loosely connecting modern rational policing with the imagined past.

This paper proceeds as follows. In order to reframe the threads of this argument, it is necessary to review some aspects of Durkheim’s paradigm as it has been applied, revised, elaborated, and set in modern contemporaneous societies. This will permit an analysis of formal moving celebrations with a focus on funerals and related processions. North American funerals and funeral processions are mannered, constrained, formally ordered, and well-known social forms with a set of well-known functions. I am concerned here with the middle-class Christian form more than the detailed content of the funeral itself. The comparative semiological analysis of these forms suggests some of the limitations of the Durkheimian paradigm, as well as a re-framing of my earlier analysis of a police funeral. This is a preliminary case analysis which is the basis for extracting some codes for comparison of funerals, and then seeing the metaphoric clusters, the connotations and denotations within the codes.

What follows, then, is an analytic ethnography that considers two comparisons: between the 1974 police funeral, and a more recent police funeral in January 2011, and a comparison between the police funeral as a social form with a public funeral of an “average citizen”, i.e. not a member of the police or the military, and not a celebrity. I call the one form a police funeral and the other a private funeral even though both are public celebrations. The key distinction is based on the occupational role of the dead person, namely a police officer who dies in the line of duty, and the consequences of this for the nature of the procession. The events are described briefly, and contrasted in terms of identifiable codes. The two forms possess both similarities and differences.⁶

6. One difficulty is addressing the theoretical question of the relevance of such events is that any such funeral procession and funeral is embedded in other secular activities such as the wake, the reception of visitors in the home, the pre-gathering for each of the activities, related secular activities such as a city council’s honoring of the dead, political statements, media activities—stories, interviews, pictures, blogs, and the social media. Potentially-violent riots and demonstrations that are forms of political expression, flash mobs, and moving dances such as the “second line” of New Orleans funerals are near-family members ritually, but also outside the consideration of this exercise. I confine myself here to the visible processions, not the embedded or consequent social formations.

Perambulatory Celebrations

Modern societies, as did pre-literate societies, celebrate themselves in visible, marked, labeled, declaimed, and known public expressions or social forms which might be called perambulatory celebrations (Marin, 1987). These celebrations are variously ritualized, or feature redundant, repeated actions, and shared sentiments. They are, of course, both forward and backward looking, combining facets of the past, indications of the future, and exhibit ambiguous multivalent symbols (those with many references) that point neither forward nor backward. They contain much of that which is out of sight, merely taken as tacit background expectations, assumed, and unquestioned by participants. These are part of a family of social activities, and subject to various descriptive terms: riots, demonstrations, dances, parades, funerals and the processions of which they are part, and each always embedded within dynamic smaller units of social organization (gatherings, groups, dyads, or triads).⁷

While the distinctions between a parade, cortege, procession, and demonstration as social objects or social facts are important (Marin, 1987; Valeri, 2014), they share several foundational features. First, there must be an assembling prior to the event and a dissembling after, although this may end be chaotic, disuniting, and not well-marked by symbols or rhetoric. These are dangerous because openings and closings are fraught with the potential for a transformation into other social forms once united. The movement of the celebration through space and time itself is “outside the law and therefore dangerous” (Marin, 1987: 224). That is, the procession violates everyday tacit rules of the road, walking, driving, or cycling, and the honoring of other everyday courtesies such as greetings and departures while en route. This moving assemblage is real as it moves through space, giving off symbolic and teleological signals. Second, such bodies are moving through space in some order, spacing and with a “certain orientation” (Marin, 1987: 222). The procession moves through time, interrupts it, and freezes it. They capture time out of time (Falassi, 1987). Ritual occasions are meant to be timeless and, in some sense, tap “universal” emotions. Third, there is a varying sense of theatricality, a sensitivity to, and a response (or not) to the audience that supports the performance. The nature of the orientation motivates the participants over the course of the occasion (Marin, 1987: 223). They are signaling their participation, real or implied, to each other as well as to the audience,. This may include commands, indirect and indirect signals for turning and moving, and sounds of music. Fourth, they possess a repetitive structure. The messages, whether about death or life, are cumulative, consistent, and repeated. There is a “forbidden space” that is off-limits to normal circulation and movement. The used-space that is forbidden is complemented by the liminal space or boundaries of the sacred space. Any such perambulatory activity as it moves through space redefines the meaning of the occupied space, the boundaries of that space, and a more distant space as it moves. This spacing may have a ripple effect, e.g., traffic jams, delays, or a re-routing shading the meaning of

7. Funerals and processions of military and fire service personnel are not treated here in detail due to space limitations. They share many features with police funerals and are ritually close cousins.

nearby spaces. Fifth, structurally, they are similar or paradigmatic in the sense that they communicate messages about politics, culture, and civic life. They serve to make visible or actualize the relationships between participants, which are otherwise either unknown or denied. The nature of this invisible connective tissue is problematic. Although the precise nature of the modern sacred remains under discussion, it is difficult to fault W. Lloyd Warner's definition which was advanced and then applied in the *Living and the Dead* (1959), i.e., a ceremony, whether sacred or secular, is something produced by a group in honor of itself. The group sees itself performing for itself. Finally, the interaction between spectators and actors is variable. As Turner (1969) writes, such events transform a real or specific situation and implied social relationships into a marked relationship temporally and socially defined. The funeral ritual operates as a process by which a body is moved from the social state of "alive" to "dead," but notionally, it changes the relationships between participants. It marks the liminal phase of such transitions.

Funerals

In the conventional paradigm, drawn in part from Durkheim, funerals and ceremonies are considered to function variously to arouse, produce, and sustain collectively shared sentiments. These are in part stimulated by the visible: badges, flags, pictures, totems, and icons featuring known heroes that represent past images and valued aspects of the group that is featuring them. The visible also indirectly reinforces and dramatizes normative standards and tacit conventions of behavior, even when they appear in the guise of caricature, e.g., clowns and fools. Through this involvement in the occasion, some massification of emotion occurs, blurring the lines between self and other, or the group and the individual. The rhetoric used is variously elevated or formalized or radically vulgarized to alternate the emotional impact. Such events feature characteristic forms of address, honorifics, tone of voice, rhythm of speech, and volume. The effects of the occasion are productive. They produce a sense of hope, continuity, solidarity, or shared fate, and an attachment to a past, i.e., a reproducible future. They are full, fraught with and filled with collective representations of various kinds, secular, and sacred. After the fact, they may stimulate stories that have a social reality in themselves as contestable social facts. That is, stories, recollections and other narratives produce a new set of emotional sparks and interpretations. As they become more distant, they may take on a more mythical status as truth. They are self-referential, and thus, self-sustaining as each repetition calls out the previous feelings and their marked character. Perhaps this is most touching when such occasions raise unanswerable questions such as the nature of life, death, the afterlife, the meaning of life, its continuity, and the sustainability of individual lives.

Modern Celebrations

Unfortunately, none of the crisp and detailed analyses found in the works of Evans-Pritchard (1940, 1956), Turner (1969), Leinhardt (1961), and Leach (1954), for example,

much advance our thinking about the subtle and rambling nature of modern celebrations and their rituals. We are blinded perhaps by admiration for the brilliance of the masters in depicting tribal and other pre-literate ceremonies (Cohen, 1985: ch. 1). They work as metaphoric analogues, persuasive, plausible, and sensible performances that by indirect reasoning apply in Newburyport, Buffalo, and El Paso, Texas (Keesing, 2012). The works of Abner Cohen (1993) and Anthony Cohen (1985) are exceptions.

Goffman (1983), a Durkheimian in spirit and a student of the anthropologist W. Lloyd Warner, categorically rejects the idea that there is a deep and fundamental source of order and ordering arising *from* modern rituals. In his view, they are a means or an occasion by which emotions and their possessors are tied together without any fundamental grounding in norms, values, ideology, or community standards.

In effect, Goffman argues that the emotions are aroused, but whether this indicates "shared meanings" and normative agreement of solidarity is an open question (See also Lukes, 1975). Goffman (1983: 9–10) writes plainly of this:

You all know the [Durkheimian] litany. A critical feature of face-to-face gatherings is that in them and them alone we can fit a shape and dramatic form to matters that aren't otherwise palpable to the senses. Through costume, gesture, and bodily alignment we can depict and represent a heterogeneous list of immaterial things, sharing only the fact that they have a significance in our lives and yet do not cast a shadow: notable events in the past, beliefs about the cosmos and our place in it, ideals regarding our various categories of persons, and of course social relationships and larger social structures. These embodiments are centered in ceremonies (in turn embedded in celebrative social occasions) and presumably allow the participants to affirm their affiliation and commitment to their collectivities, and revive their ultimate beliefs. Here the celebration of a collectivity is a conscious reason for the social occasion which houses it, and naturally figures in the occasion's organization. The range in scale of such celebrative events is great: at one end, coronations, at the other, the two-couple dine-out—that increasingly common middle-class network ritual, to which we all give, and from which we all gain, so much weight.

Goffman (1983: 10) continues in this vein; he downgrades ceremonies even as he appreciates their interactional significance. While they are not without importance, their importance is problematic:

Now although it seems easy enough to identify the collectivities which ceremony projects on to a behavioral screen, and to cite, as I have just done, evidence of the critical contribution the shadow may make to the substance, it is quite another matter to demonstrate that in general anything macroscopically significant results from ceremony—at least in contemporary society. Those individuals who are in a position to authorize and organize such occasions are often the ones who star in them, and these functionaries always seem to be optimistic about the result. But in fact, the ties and relationships that we ceremonialize may be so attenuated that a periodic celebration is all that we are prepared to commit to them; so what they index is not our social reality but our nostalgia, our bad conscience, and our lingering piety in

regard to what is no longer binding . . . the categories of persons that come together in a ceremony (and thus the structures that are involved) may never come together again, ceremonially or otherwise. A one-time intersection of variously impinging interests may be represented, and nothing beyond that. . . . In sum, sentiments about structural ties serve more as an involvement resource—serve more to carry a celebrative occasion—than such affairs serve to strengthen what they draw from.

The Role of Such Celebrations

These lengthy and provocative quotes are intended not to reduce the value of studying ceremonies as much as to caution against the assuming the sources of the effects attributed to them. This argument presents something of an enigma insofar as the functions of interest, solidarity, unity, collective invigoration, and mutual collective efficacy remain, yet the means by which these are facilitated are unclear. Implicit in Goffman's critique is an argument found in detail in Keesing's paper (2012) that deep knowledge, clear understanding, and emotional investment of the participants may not be necessary features of a ritual. The role of "culture" remains central, but the question of what constitutes culture in modern industrialized societies is still debated. Certainly, they have an integrative function in highly differentiated societies, but this role may be more an occasion for reflection than for social integration. However, as Goffman has written (1959: 2), there is always some sense of the assumed, the tacit, and the invisible in any interaction: [people] ". . . will be forced to accept some events as conventional or natural signs of something not directly available to the senses." To some extent, it is necessary to hold the Durkheimian maxim in mind that ceremonies and related rituals are as much about themselves as anything else, or "playful unto themselves." Their power as performances is still visible, and, in fact, they have been given new life and power by modern reflexivity in the looping, amplifying and reframing of visuals via the various social media and media networks.

Police Funerals and Processions as Celebrations

In order to examine the role of ritual and ceremony in modern societies, I begin with a summary of my analysis of a funeral for a murdered police officer in Washington, D.C., in 1974. As I argued above in the introduction, the purpose of the example was to highlight the role of the police as collective representations, or social facts *sui generis*, both for the society at large and for officers, their friends, and families. Funerals are windows into dramaturgical organization as well as honoring the dead.

My initial analysis drew, implicitly at least, from the classic paradigm of funeral observations in pre-literate and tribal societies, and was combined with Jack Douglas' (1971) cogent observations about how modern public ceremonies and politics deny the complexity of moral choice and feelings. The salience of his observations is pointed in regard to policing. I quoted Douglas' book in 1977; ". . . the very centrality of the police role in

maintaining our sense of public morality requires it to be contradictory, demanding the management of so many diverse expectations and audiences." (Manning, 1977: 13).

Police funerals are a form of muted collective behavior, and are powerful political expressions loaded with connotations of power, violence, sacrifice, governance (who's in charge), and "religion" in the Durkheimian sense. They share a sense with parades that they encompass messages that communicate a celebration of the whole. Their power issues from the self-celebratory nature of the event with the mutuality of audience response. The more riotous, the more episodic, the touched-off spontaneously, and potentially-violent expressions are set aside. The funerals discussed here are composed of a series of units or syntagmatic chains in that they are socially-occasioned one at a time to constitute a whole, but they are also synecdoche-like as they are experienced in some sense as parts of a whole. They are also paradigmatic or metaphorically unified in a known meaningful domain. They are public ambulatory celebrations of an orderly sort, well recognized, labeled, and attended routinely by most North American citizens. Perhaps their power arises because the stream of experience is simultaneously coded both diachronically and synchronically. In this way, the details or contents as well as the forms become memorable, and generalizable across events, times, and places. They contain moving, repeated, and simplified repetitive communications that are shared. Such spectacle-like events can degenerate and be transformed from one of the basic forms to the other in short time or in the long-term: funerals become parades; riots produce funerals; funerals become the basis for riots. It is likely that they all communicate at three levels: the indexical or individual level of the participants and the event; the ceremonial (about the nature of order and orderliness), and the sacred (about the justification for the order) (Rappaport, 1967, 1971). The use of the sacred here refers not to religion, but to those things set apart and seen as occupying the arena of the invisible.

Police funerals are in part codified, and websites on the internet provide some guidance in this regard for those who plan and implement them. There are many advisories on the Internet for police funeral protocol, dress, manners, and procedures to be observed following a death.⁸ The death is celebrated, and the ceremony that surrounds it cannot be totally disentangled from the larger political context and local traditions (Warner, 1959). I have attended a large police funeral, gathered pictures and other materials from the Internet, and interviewed many police officers in North America and Ireland about police funerals and police deaths.

The following section compares and contrasts two police funerals, one from Washington D.C., in September, 1974, described in *Police Work*, and one from Toronto, Ontario, Canada, held in January 2011, and documented on YouTube. I then try to extract some codes for further semiotic analysis.

8. There is a small but significant literature on police officers' experience with death, delivering death notices to next of kin, and joking to reduce their anxieties about death. Articles on the troubles associated with policing the funerals of Margaret Thatcher and Princess Diana resonate with ironies: certainly, police policing police funerals is a special case of funerals. Of course, police do police their own funerals, direct the traffic and parking, lay out and protect the route, and orchestrate the event inside and outside the church.

A Police Funeral, 1974

The stage was set for an analysis of a funeral just after the title page of PW by a dedication and by a lengthy quote from *The Elementary Forms of the Religious Life* (1961: 243), that contrasted the sacred and the profane. The quote ended with Durkheim's caution of the tendency for societies to convert "... sacred things into the other". In PW, a police funeral in Washington, D.C., was characterized as reported event in the *Washington Post* September 25, 1974. I quoted the priest, Father Dooley, who described the policing encounter that led to the young officer's death, and quoted the *Post's* description of the procession to the cemetery. The funeral was unusual since the officer was the first black female officer killed on duty, a result of bad judgment on her part, as well as the first black female officer killed.⁹

I then enumerated the themes symbolized by the funeral (these appear in slightly modified form in the second edition of PW (1997: 20–24, from which I quote). I connected them with society at large and police officers in their role. I wrote that the themes illuminate the meaning of the police to their audiences in urban, industrialized societies. They include both a passive dramatization of these themes as well as an active reproduction and amplification of these same themes and others. The police receive the goodwill of the people. The police, to many audiences, represent the continuing presence of the civil body politic in everyday life—they represent and dispense authority. As a bureaucratic force, they stand ready to maintain order using available force, up to and including fatal force. Police symbolize the capacity of the state to intervene, and the concern of the state for the affairs of its citizenry. In that sense, they are a conservative organization, standing in for an dramatizing of the role of stability and continuity in an imaged present and future. The police have elevated the rule of the state in civil life to centrality, identifying with this entity and its symbols, and have called upon this close association as justification for their occupational activities. This symbolic partnership is one of their primary weapons in the public political arena, where resources, particularly money, prestige, and job security are contested. In many respects, they have cultivated and amplified their role with the strategic use of the media, the control of information, and their own pageantry.

The police officer is a iconic extension of the police organization as a collective. The police role conveys a sense of *sacredness* or awesome power that lies at the root of political order and authority, the claims a state makes upon its people for deference to rules, laws, and norms. The ideology or belief system in our society makes this secular sacredness and authority a direct function of the state itself. Thus the officer has an awesome, mysterious, and dangerous quality, dead or alive. The police, and by inversion, the death of a police officer, also represents the means by which the political authorities maintain the status quo. They act in the interests of the powerful and the authoritative against those without power and without access to the means to power. But not only do they serve this function, they serve to maintain the relative placement of social groups upon

9. It was later reported that she had followed a suspect into a dimly lit parking garage without back-up and was shot.

the political-moral ladder. Taken together, the sacred or semi-sacred nature of the organization and the officer makes a doubling effect played out or performed in the funeral. When an officer dies, it threatens the maintenance of this ranking system; the symbolic means by which it is coerced when necessary is shown to be mortal, and society as an organic unity is shown to be dependent upon the constant reestablishment of its own outlines and boundaries. When the priest at the 1974 ceremony, Father Dooley, pointed out that an attack on the police was “an attack against the country,” he was pointing to both the absolutistic morality of the police and to the implicit stratification in that order they are believed to maintain (p. 22). Finally, there is an irony in a funeral of an officer in so far as the death of an officer raises the question of impermanence, the fragility of social life and, hopefully, the dramatization of its continuity. I wrote that this drama with its associated public media coverage indicates and reaffirms the centrality of formal social control in everyday life, and it provides a legitimate occasion for the dramatization of the palpable police presence.

The first chapter of *Police Work* argued that such occasions with their associated media amplification masterfully connected the police death and policing to conventional absolutistic morality, the law as a reified conception, and by implication, justice. In effect, the funeral indicated and symbolized a sacrifice for the whole; a funeral rite, and a hope for security and continuity. The list was wrapped up in a holistic metaphor revealing a window into the modern sacred. But the celebration is not only about “the police,” but by extension, their role as a surrogate for authority in general.

However, any such secular-sacred event, always shown and reported as held in Christian churches before nominally Christian audiences by the media, have the potential to become a semiotic jumble or puzzle for officers. It brings to consciousness that which is denied, that of death on the job. The funeral echoes discordant themes. As I wrote in 1977 (p. 23):

To police officers, the death and funeral of an officer have occupationally derived meanings. They are evoked by the imagery of the ceremony, the collective acting out of the occupation’s mission, and the display of many of their most sacred symbols. The central thematic meanings, not surprisingly, grow from the officer’s view of the occupational role. The police confront the public on many occasions as an adversary, and distrust of people in general is widely accepted as an occupational tenet. The officer views himself as isolated while performing a dangerous task, and he turns to other police personnel for friendship, support, and physical protection in crisis. When an officer is killed in the line of duty it affirms the danger of the public, the isolation of the officer, and the vulnerability of the force. Insofar as the police see their social status as a group as dependent upon the evaluation of their activities by those who also seek to maintain the present ranking of social groups, the loss of a member is inferentially linked to the continuing capacity to maintain these status boundaries and, in a fashion, to mark the boundaries of the society itself (Durkheim, 1961: esp. 434–49).

I wrote further (p. 24) that the police gain a sense of mutuality and solidarity from the ostensive loss:

Collective celebrations serve to recoat moral bonds, to elucidate the norms of the society, to symbolize deference and respect for the police as a moral unit (Durkheim, 1961: 447–48). The ironic consequence of collective rituals marking the passing of a member is the reassertion of the significance of life within that moral unit and, in the police case, of the respect and dependence of the society upon the police. Conversely, when a police officer views the ceremony, he or she must consider the implications should he or she be killed in the line of duty. Certainly, it must be reassuring to see the turnout of fellow officers, their solemn gathering for a single officer (who could imagine him- or herself to be the very person so honored).¹⁰

I then wrote (I am paraphrasing here) that the mobilization of a large body of officers in uniform transmits messages about their mutual identification with the police organization, and speaks to the reality of the occupation as a formal social control. The uniformed appearance, the collective response to the event including attendance in uniform and co-ordinated action in the movement of personnel from the funeral to the cemetery, alignment and saluting at the proper time, and orderly dispersion, all symbolize a coherent public reality of the occupation (p. 21). Furthermore, the link is made in the ceremony between the individual death and the collective honoring of the occupation as a whole, and this honoring is extended to the “police family.” Caring for widows and orphans has historic roots in the occupation (1977: 24).

Many themes are suppressed, or seen only by audiences other than conventional majority. There are several notable connotations observed in a generic police funeral. The dramatization conceals as well as reveals. Let us re-consider this formulation. What does this characterization omit? The police, an agency of social control as well as an actor in the drama of social control, are also an occupation of considerable and rising status populated still overwhelmingly by white men of working-class origin, an occupation also traditionally linked with conservative politics. They enforce and reinforce the status quo ante, and if that is re-defined, they enforce the new version of that social reality. They act in the interests of the state as defined contemporaneously. The members of the group in turn are bound together by their interests in not falling in the status- and class-orders; seeking pay and status honor; controlling the conditions of their work, recruitment, determining the bases for access to the job, and the nature of the training. These quasi-secular matters remain neatly out of sight in such occasions and in the everyday life of citizens in general, while the quasi-sacred matters are promoted, elevated, and symbolized by the media and participants in the ceremony. These include violence and its consequences, targets, and meanings; uncertainty and its eruptive potential; danger

10. Moreover, the funeral and death raise the unanswerable question: when and how will I die, if I do die? When? What happens then or next to me and to others? In many ways it raises questions implicit and unspoken in all rituals: what is the relationship we share to that which we can't see, understand or control? Do I control my fate?

and its lurking presence; and the denial of disruption, death, and the selective presentation of facts and other themes. There are other negative themes, that is, the dirty-work side of policing, the disrespect encountered; the criticism and unrelenting interest of the media in crime, criminals, and disorder; the boredom of the work; the constant reminder that the work is never done and seldom done well (Waddington, 1996). Of course, on the other hand, the mystification and elevation of policing to an honorable status and an unquestioning acceptance of their practices is not shared by a large proportion of minority populations (Manning 1991: 150–3). The power of the dominant minority or majority is expressed in the representations of modern ceremonies. Generalizations about the shared collective feelings aroused by a police funeral are assumed by the media. But it is more likely that the combination of mystification and idealization of the role, amplified by the modern media obscure and confound core values that are claimed in the ceremony. My analysis was sociological, structural, and loaded with inference.

The nature of the connection between the audience, the text, and the feedback that established authenticity was unexplored in my exposition (See Alexander, 2004), but is considered in my conclusion. Now let us consider a more recent procession and police funeral.

Police Funeral, January 2011

The procession and funeral chosen for analysis here is in part a reflection of available imagery. I used Google to search under the words, “police funeral.” I found a recent, quite-large police funeral. It was a huge, sprawling event held in Toronto with an estimated 10,000 police officers and other quasi-service authorities (fire, EMS, border patrol, and court officers) attending from all over Canada and from New York State. The *Globe and Mail* (January 18, 2011) wrote that there had never been such an outpouring of police for a funeral in Toronto. The funeral, following the procession, was a secular/sacred event, held not in a church, but in Toronto’s Civic Centre. A procession with the body was made from the Civic Center to the cemetery. Fortunately, both the procession and the funeral were photographed, video-taped, and posted. The YouTube visuals were taken from many angles and do not feature the celebration from the beginning to the end from a singular vantage point. Unfortunately, the available videos shift back and forth in focus and targets as the procession proceeds. There is no voice over. There is some irony in the death as it was not obviously glorious; the officer was run-over and killed while trying to stop a man driving a large stolen snow plow. It was nevertheless in the “line of duty” and thus qualified the family for benefits.¹¹ The first aim is to describe the procession in some detail and then to entertain some ways to code and systematize the information. This will require later discussion of semiotics as a means to categorize and compare and con-

11. Regardless of the circumstances of death, poor judgment or folly, any death other than by natural causes or suicide is honored publicly. Suicide is always a contested and problematic decision in the case of death. Death in the line of duty is defined variously by North American cities and states, and does not mean simply death with on duty (traditionally, police are always on duty, although union contracts have now limited and refined this).

trast aspects of the procession. Here is a brief description I have assembled from Toronto newspaper reports and the videos.

The cortege was silently led by police cars with lights flashing and these were followed by the horse escort, four mounted Toronto officers in black uniforms featuring fur caps on black horses with black covers. They are the honor guard carrying both the Canadian and the City of Toronto flags. The Toronto Police Department's emblems were affixed at the front. There is a clearly observed spatial array and a marching order, an opening and closing, and a featured casket. There were eight uniformed men walking beside the hearse and two following, one of which carried the officer's cap on a cushion, and the other carried a Canadian flag on a cushion. There are some 50-plus lines of 6–7 police officers across from Toronto, Vancouver, and Calgary, as well as New York State Troopers, county police officers from New York State, and representatives of the Royal Canadian Mounter Police (RCMP) in their luminous, scarlet formal dress. They all rode or walked slowly with eyes front without attending to the by-standers on the curbside. Those standing by are an ambiguous, unrecognized "audience." Toronto officers flank the profession on both sides of the street, and salute as the flag passes.

While the other segments are notable for their uniforms and number, the Mounties are the visual cynosure of the parade other than the hearse itself. Their 19th century origin, formal uniforms, elegant and precise marching and movements as they pivot around corners cries out tradition, continuity with the past, and a hope for the future in spite of this death.¹² The Mounties are remarkable in their Stetsons, lanyards and holsters, dark cavalry boots, dark blue trousers with a yellow stripe, their uniforms adorned further with emblems of honor, service, rank, and skills. These bright variations ironically make the dark and uniform uniforms more salient as a kind of border around the magnificent 19th century regalia of the Mounties. The "Mounties" are archaic, totemic icons.

Following the officers, there is a large group of two to three hundred black-dressed civilians (who may well be officers out of uniform). The uniformed officers, other than the Mounties, march in a desultory fashion, while the black-dressed participants ambled slowly. This undifferentiated segment also included fire personnel, emergency personnel, and other governmental employees who come out of nearby offices to observe the spectacle. The speed and pacing of the march was uneven depending on the segment. While the march proceeded punctuated only by the commands "Forward," "March" and "Halt," for the RCMP units, the sounds of the combined drum and pipes corps from the many police organizations were large, loud, and provocative.

Second only to the preeminent dress and position of the Mounties in the procession are the pipe bands. The sound of the pipes and their dress challenge them for salience visually and acoustically. The well-regulated dress of the bagpipers and drummers is vivid, unique, retrograde, and detailed, including the sporran, the kilt and doublet or over-

12. The RCMP has a special mounted squad that parades in dress scarlet uniforms, guidons flapping, every summer throughout Canada in stylized and integrated, circling, complex formations. It is called the "musical ride" (www.rcmp-grc.gc.ca) and can be seen on YouTube. An image of one of the formations, "The Dome," is featured on the Canadian \$50 bill.

garment, the cap with the dark tassels, and the pipes themselves adorned with badges and insignia. The shrill, piercing, loud, sharp, and unexpectedly echoing sound of the pipes, meant to motivate people to kill and die in war, contrasts with the somber heavy atmosphere, the rain, and the dark winter morning. With the pipe bands are the loud drums, beating either a pounding sound for the large bass drums, or the slow rat-tat-tat of the snare drummers hitting the edges of the drums rhythmically, keeping time and underscoring the slow and steady nature of the march. Above the marchers, flags are held aloft from the ladders extended from fire trucks, while overhead, helicopters drone and slice the heavy air, beating out a background of uneven sound. It thumps the eardrums. Noise, music, and silence contest for the air and the attention of the marchers. The long strings of those honoring the dead proceeded through the city without regard to traffic signals, signs, or intervention from other vehicles: the route was closed and blocked to other traffic. One video moves to the marchers as they enter a tunnel prior to coming up into the site of the funeral, the Toronto Convention Centre.

Now let us reorder the elements in the procession, the units from which a picture can be assembled. This is a mannered, organized, coordinated process, controlled in spite of the large numbers of strangers gathering, marching together and assembling to march to the Civic Centre. There is an honor guard carrying flags as well as a horse phalanx, the Toronto Police honor unit, with flags on flag poles topped with a black scarf leading the parade. The order was set by the uniformed officers and their keeping a similar pace and their movements to commands. The participants kept pace in time with arms swinging, taking semi-orderly footsteps. The speed was set by the commands of the officers walking at the edge of the parade proper. The hearse is the focal point of the procession, and is accompanied by eight uniformed walkers, four on each side, and followed by an officer holding the dead officer's cap on a cushion. It was presented to the spouse along with the flag at the closing of the funeral ceremony.

The stopping and starting was uniform and patterned the timing and spacing for the non-marching participants. The Mounties keep time even when not moving forward. The march is slow and orderly, restrained but resolute, pressing on toward a target or ending place, but somewhat uneven (it turns out that the ceremony was delayed for more than an hour because of the record turnout of police officers who wished to attend). While some groups are distinctive, the mix of marchers is paramilitary, consisting of police, fire, EMS, and parking-enforcement people. Many of the non-uniformed marchers are police participants. The segments of the parade are marked by the variation in marching; the uniformity within some groups; the contrast between uniforms and non-uniform dress; variation within the uniformed officers, some set off by the eye-catching scarlet tunics and contrasting hats, red hat bands on Canadian officers and other regalia; the motorized, horse-riding, and non-motorized participants; those with large visible weapons (or not); and within the marked vehicles, the motorcycles with flashing lights, and the large vans and SUVs, and the red and white striped, marked patrol cars.

The separation of groups roughly marks the differences in status between police organizations, between uniformed police and others, and between those marching and the

standing, peering, immobile audience. There are abundant other uniforms with associated emblems, medals, badges, and symbols of rank.

The audience is ignored by the marchers, while those in the audience are focused intently on the marchers and mirror their somber faces. The marchers are resolute, blank of face, unemotional and unresponsive to any putative or extant audience. They look straight ahead, except at turnings. The audience in turn was frozen still, moving only to take pictures, or to make videos. They do not wave, smile, gesture, call out or yell, or seek the attention of the individuals marching. The demeanor of all is serious and somewhat detached. They are rigid, attentive, and frozen in place.

There are many vehicles. The theme is “bigger is better,” remains an implicit proposition in the parade, although there are no military vehicles such as Hummers, tanks, or troop carriers,. The largest vehicles are the hearse, the large stretch limousines that carry the family, close relatives and friends, and several police SUVs.

Sound and silence contrast mightily. The aural atmosphere is quiet and mood-instilling, but punctuated by the occasional burst of quiet motorcycle engines; the surprisingly shrill, penetrating, unexpected dystrophic cacophonous bagpipes with their powerful contrasting notes and undertones; and the variation in snare drum time-keeping and the thump, thump, thump of the bass drums. The helicopters hover overhead, and their throbbing sounds bounce off the buildings below. The light is gray and the warm cold and still; the flashing lights on the motorcycles indicate a crisis and a warning.

In part, an echo of past modes of honoring the dead, horses and the dogs accompanying their handlers were the only visible animals in the parade.¹³ They are symbolically members of the police family with rank, names, duties, health, pensions, and retirement benefits. They join in and symbolize the generality of the grief associated with the occasion.

The contrast of color is striking; while the dominant color is black, the color most associated with mourning in Western societies, there are emblems and decorations on the marching police officers, and the Mounties stand out in their striking, unique, and vivid formal uniforms.

The parade's end is heralded by a number of trailing, vivid, shiny fire trucks. This funeral procession, a large, well-attended public parade, ended with a secular funeral in the Toronto Civic Centre. It was a secular/sacred ceremony (Warner, 1959: 212-213) in that it celebrates, at one level, the death of an officer, and at another level, the nation state and its traditions. The ceremony (Valeri, 2014) in the Centre included the singing of the Canadian national anthem by a Toronto police officer, a commentary from the wife of the dead officer, the Chief of Police of Toronto, and other speakers. They spoke of the officer and his loyalty and courage. It featured neither conventional religious iconology, nor a priest or clergyman of any faith: a raised dais supported a speakers' podium, flags, flowers, and a picture of the officer. It did not feature patriotic themes. Above the stage was a

13. Two officers, one carrying a shovel and one wheeling a small wheelbarrow with “police” and red and white stripes on the side- a miniature of a Toronto patrol car complete with decorations- follow to collect the horse manure.

large seal of the Toronto Police Department. The casket was placed in front of the stage. Bagpipers played as the casket entered and left the venue. There was further procession to the cemetery that did not involve all participants.

Police Funeral Summary

The police procession is characterized by orderly, slow movements that are coordinated through time and space. The participants are dressed in dark colors with one exception in the Canadian case, the RCMP, are somber and serious, and most of the active participants in the parade are in uniform. They are oriented not to an external audience but to each other, and to the occasion as a self-referential matter. The existence of the audience is only tacitly recognized even though it is essential to the performance. The vehicles are official and governmental and carry seals, emblems, flags, and icons that identify their special role. It is quiet except when the wail of the bagpipes and the crash and thump of the drums rent the air. Animals perform as part of the ritual; they are being honored by their participation and visible role, and their appearance emphasizes their high status and importance within the police service. The procession proceeds without the usual impediments and obstruction of traffic signs, lights, or other vehicles. All of these taken together are an ensemble with powerful, redundant, and cumulative messages.

There are several differences between the two police funerals. Among these differences are the degree of secularization of the Toronto funeral, held as it was in the Civic Centre decorated with city and police emblems and presided over by a chaplain, and the Washington funeral in a church presided over by a Catholic priest. The reported Washington speech of the priest elevated the death as a sacrifice and linked the death to religion and patriotism. This mix of patriotism, policing, and the fire service, all as semi-sacred honorable occupations, is perhaps uniquely American or North American. In Canadian police funerals, unlike those in the U.S., members of associated occupations, such as the fire service, ambulance corps, and auxiliary police officers march or walk toward the end of the procession. The participation of the RCMP marks a conflation of the sacred and the secular that does not visibly exist in connection to policing in the United States.¹⁴ While the FBI and the Secret Service that guard the President and Vice President and their families may be “semi-sacred,” they are never on display “off duty,” and prefer anonymity in dress and demeanor.¹⁵ These federal agents do not appear at local U.S. police funerals, have no uniforms, nor are they linked to the history of the nation—its revered history. They have civilian status and are a modern early-twentieth-century innovation. The themes in these North American funerals are typically syncretic, drawing on Celtic traditions such as bagpipes and drums, traditional kilt-based dress, the firing of

14. For example, in June 10th 2014, a funeral for three RCMP officers was held in Moncton, New Brunswick, and shown on YouTube. In effect, it was a specialized funeral not only for police officers, but members of the much-admired force. It included required aspects, and found only in a funeral honoring dead Mounties.

15. The rather obvious appearance in dress and manner of Secret Service officers and a visible watchfulness and nervous manner makes them dramaturgically a contradiction. They must be visible in many ways to carry out their duties, but this exposure also gives off other signs that make them both vulnerable and obvious. Whether this “front”, in Goffman’s terms (1959), serves to deter villains is debatable.

volleys or “last radio calls” at the end of funerals, the use of loud noise to mark the ending of the funeral, modified military rituals, as well as nationalistic rituals in regard to the flying of national flags and incorporating them into the service.¹⁶

Semiotic Analysis

The purpose for collecting and describing these observations and data are both very indirect and indirect, is to recast them into a simpler, yet more-powerful format. A preliminary outline of a semiotic approach, an approach resting on the science of signs, will guide subsequent comparisons of the two police funerals, and of these to the public funeral.

Semiotics

Semiotics, the science of signs, or more broadly, a mode of social analysis that seeks to identify, analyze, and interpret how signs perform or convey meaning in context, has a rich history. I use the modified pragmatic approach of Eco (1979), one that focuses on what signs mean in a social context, rather than in some presumptive code or formulation. Semiotics is based on a language model of meaning in the sense that semioticians see social life, group structure, beliefs, and practices as functionally analogous to the units that structure language. All human communication is thus a display of signs, something that must be interpreted or read. A sign is something that means something to someone else in a social context. A sign is composed in the first instance of an expression such as a word, sound, symbol or even a picture and a content or something that is seen as completing the meaning of the expression. So an expression, “Kim Kardashian,” is linked to the context of sex; a lily is an expression linked conventionally with death; and a SUV is a kind of automobile. Each of these connections is somewhat arbitrary: many kinds of links exist between an expression and a content to constitute a sign and to link signs together.

Sociologically, the task is to identify the relevant expressions and contents and the signs in context and to link them. This depends on the perspective of the observer. The term interpretant is a short hand for the context within which the sign is seen. If the interpretant changes, the meaning of the sign changes. Semiotic analysis in Eco-style is based on several key assumptions. The model of analysis is language, the contrasts and oppositions that allow understanding across words, between them, and as groupings of similar meaning. This model is predicated on the central unit of the sign, that is, an expression (an eight-sided red traffic sign), and a content (stop). The connection be-

16. It has been reported to me (personal communication, Nigel Fielding) that in the UK, such police funerals are not held, perhaps because deaths in the line of duty are rare, and that in Brazil they are unknown (Graham Willis, personal communication). The cross-cultural relevance of police funerals is yet to be explored in detail and in connection with social structural and historical features. A key would appear to be the degree of trust in the government and the trust of the police as representatives of government. When these are in some high correlation, police funerals tap into this conflation of the police, the sacred, authority, and governance. The same conflation can be seen in the honoring of dead fire service personnel in elaborate funerals.

tween the two is made not by logical or predetermined knowledge (that which everyone knows), but local cultural knowledge of a subtle and often unreflective sort. The signs can be variously grouped, by their proximity (metonymy), as parts of a whole (synecdoche), as grouped by similar meaning or association (metaphor), or both within a given message or unit of analysis, e.g., in a parade, or across forms such as perambulatory celebrations. Signs thus symbolize or stand for social relations in two senses; they both describe them and constitute them.

In order to work with signs, or to make them work for us, they must be seen as a function of a *code*. The code is a general means of making sense of signs, e.g., a Morse code, a code for semaphore, or a computer code. Although there are several sorts of signs, indexical, iconic, and symbols, the primary concern here is with symbols or signs that refer to something out of sight, or convey meaning indirectly through cues that indicate the usages at issue. These categories or codes are bounded and distinctive. The derivation of such codes is an extrapolation of social knowledge as well as from the knowledge of coding. The code provides explicit and implicit rules for encoding and decoding groups of signs with social salience, attaching expression to content, a sign or signs in a series of association, or in sequence. These encoded relationships are best shown diagrammatically, whether the analysis is synchronic (at a single time), or diachronic (cross-sectional, over time). When dealing with an ensemble of signs that are connected socially, the question is how they are associated and in what detail (by denotation, connotation, or more general association). These associations can elicit cognitive, emotive, or mystifying responses. Denotations stay close to the matter at hand: a 4.0 means 'excellent'; 3.5 means 'good', etc. For example, Scotch (an expression) has five distinct categories or contents, examples of which are single malt, made from a single grain (rye, or wheat); blended malt, (made from blended grains); and blended Scotch whisky (made from grain and malt). These can also be seen as connotations of degrees of excellence, expense, or status rather than a description of the distilling process. When unexamined belief-based connections are made between denotative and connotative signs, such as the uniform of a police officer showing the honor, dignity, and integrity of the occupation, cultural assumptions are revealed.

Thus, in a given cultural system, power and authority stabilize potentially floating and arbitrary expressions, and generate "sign concreteness." The primary ordering ideas or perceptual tools that operate are ontological, and seize on time, space, number, and quality to identify relevant classification systems and signs. These are generic categories that order sensations of taste, touch, hearing, smell, and feeling. However, the event at issue is always a product of the social order in which the event lies.

Codes and Funeral Analyses

I argue that it is possible to identify codes or modes of clustered signs that are bounded and identifiable and function to make the messages of the funeral procession apparent and recognizable. The codes contrast with each other. They have notable boundaries on

their extension, some of which are blurred, and others that are more precise in nature. They are logically ordered internally by denotation, connotation, and metaphoric association.¹⁷

Now let us consider codes, how the codes are related, and then the differentiation within the codes in regard to the two general social forms of the police funeral and the public funeral. These forms are part of a larger set of human celebrations of the living and the dead, but the focus at this point is upon the codes that can be applied to the analysis of the funeral. The derivation of the head term, 'funeral', from which the others flow, is a culturally-shaped exercise of inference and explanation. I argue that there are 11 terms that order the analysis of processions: 1. Order: the order of appearance of the units in the procession; 2. Sound: the accompanying sound or lack thereof-meaningful silences; 3. Space: the spacing between the units of the procession; 4. Movement: speed, direction, and degree of close coordination of the movement; 5. Color: the color(s) displayed by the units; 6. Dress: the nature and the variety permitted and observed; 7. Demeanor: the emotional tone of the participants; 8. Conveyances: the means by which movement is achieved in the procession; 9. The Audience(s) for the participants in the processions; 10. Animals: what animals are featured and how; 11. The management of traffic, and driving behavior. Each of the codes has sub-categories which further refine them.

These might be called "fuzzy codes" insofar as they overlap and complement each other in a kind of communication system. For example, the conveyances, if motorized, determine the range and kind of speed and ability to create and sustain the order. This is less possible with longer caravans, or with those that feature walkers, participants on horseback, or with larger vehicles such as fire engines and trucks. Dress and color are obviously related culturally since the range of acceptable colors given to formal dress is restricted in North America. The nature of the orientation to the audience and demeanor are related in the sense that sadness is not individual, but a product of the communicated mutuality of emotion (Durkheim, 1961: 440–2). These blurred boundaries raise the question of the sharpness of the codes and categories used in any essentially perceptual scheme.

A Private Funeral

The codes developed for the analysis of the police funeral as a social form can now be used to compare that form with the celebration/procession of a private citizen of non-celebrity status who has not been accorded a military funeral. I draw largely on my experience as a participant and observer of funerals and their processions. Funerals are governed fairly loosely in North America, and the rules and procedures are more formalized

17. The concept of a code is subject to debate because it is an inferred context in which messages are made meaningful. Obvious examples are the Morse code, the code of the heliograph, and the semaphore. They work in a consistent fashion to produce messages. However, the meaning of the string of messages over time is a question of metaphoric association; how is a message like others or others grouped? How are these groups of messages related or associated? The code does not answer these questions.

and understood for Catholic funerals than for Protestant funerals. Jewish funerals are governed by the 24-hour burial rule. This reduces the possibility of elaborate planning and execution, but these funerals are still governed by well-understood procedures. This outline is based on a middle-class Protestant or Catholic funeral in which the procession is from the church to the ceremony, and then to the burial ceremony (whether a body is featured or not).

In general, a public funeral procession displaying grief over the death of a person or persons is an everyday event in any large city. It is witnessed often: a string of cars moving at a recognizable pace from somewhere to a cemetery through public streets now blocked to permit rapid and uninterrupted movement, in order, at a distinctive pace, silently, in dark large cars with dark windows, with a trailing tail of other vehicles, and escorted by police cars or motorcycles. One assumes that the occupants behind the darkened windows are sharing their grief out of public scrutiny. This, of course, is culturally and religiously patterned. The procession does not observe normal traffic signals or signs, and thus proceeds at a steady unimpeded pace to its destination. This is true in theory, although interruptions in the processions arise throughout, even with police leadership and control over the flow of traffic. The speed is noticeable as it is steady and constant for the entire procession, and generally below the posted speed limit. The effect of close, constant pacing between vehicles marks the event from other traffic, and other parades or unitary movements (e.g., a house moving through town, or a "wide load"). Its distinction is its sacred character and association with distant forces and beliefs not associated with moving an uprooted house or a wide load, which remain totally secular operations.¹⁸ The vehicles are in eye-monitoring proximity to insure moderate, consistent spacing and order of the vehicles. The vehicles contain unknown occupants hidden by the darkened windows, speed and the skill of the drivers to move the procession. The large hearse and black vehicles contrast with everyday traffic, and are the first to arrive at the location and exit after the completion of the ceremony. All these are indicators of the relative high-status of the family, kin, and close friends of the dead person. In general, the appearance of the procession is non-religious since no flags mark the religious significance of the ceremony or the typical procession.

Let us take up the data organized by grouping the codes by similarity into five groups: (a) ordering, spacing, movement, and traffic management, (b) sound, (c) color, (d) dress, demeanor and the comportment of the audience, and (e) animals. These are analogically related as they communicate similar messages about an aspect or feature of the procession. These grouped codes can be called paradigms, or metaphoric clusters.

Consider first the matters to do with ordering, spacing, and movement through space and time, including conveyances. The *ordering* of the units in the procession is typically planned in advance, discussed with the participants, and perhaps with the funeral director and their staff. The prearranged time and place is known. The tiny flags placed on the right front fenders of the funeral vehicles are indicative of the special nature of this

18. I suppose moving a still-holy church or building, or a holy relic of some kind, would produce a kind of sacred/secular movement through a city or town.

procession, as are the flashing lights of accompanying motorcycles or police vehicles and the darkened windows of the leading vehicles. There are no walkers, cyclists, hangers-on, or other non-participant vehicles in the procession. There is a consistent *spacing*, and attention is paid to the gaps between vehicles. Efforts are made to keep the entire string together, without interruption from other vehicles. This is not always possible in practice. In part, this spacing is sustained by having all the involved conveyances keeping their lights on during the day, and these processions are always held during the day. The lights create an anomaly, and clearly mark the procession. Except for periodic efforts to catch up and maintain the spacing, the *movement* is slow and deliberate, and under the marked speed limit. This by itself makes the procession notable, and contributes to its unique status. It resembles a caterpillar in shape and speed. The *conveyances* at the head of the procession are large, black, often with windows darkened, and are driven slowly. The vehicles carrying family, kin, and close friends follow the hearse driven by the staff of the funeral home, and the following cars are undistinguished, except for their head and tail lights being on during the day. The marked nature of the featured vehicles, their color, position in the procession, size, and darkened windows, and immediacy location just behind the larger, labeled hearse (usually with the name of the funeral home discretely painted on the side) are the most salient distinctive features of the procession, but in every case, the anonymity of the dead and the intimates of the dead are screened and protected. There are no helicopters, large fire or emergency vehicles, no large flags flying, no bicycles, or no accompanying walkers beside the hearse as often used during police or firefighter funerals. The string is managed through time and space by the *traffic management* authority of the police. The movement is cautious, the driving careful and mindful, and the spacing, although uneven, is intended to be consistent and similar from front to back. The operative speed is in part set by the police cars or motorcycles that lead and end the procession. This procession moves as a symbolic unit: there is no honking, jockeying for position in the queue, no individual lane switching. These are all contrasts to normal driving behavior. Underling this uniformity of collective action is a kind of tacit code of traffic control. There is a semi-sacred, specially-marked, and labeled space for the beginning and ending of the procession. It may be a three-part movement: from the assemblage to the church or site, from the site to the cemetery, and from the cemetery to the point of dispersal. Each transition point is clearly marked, and the funeral itself is the transitional or liminal segment of this three-part transitional process. The route is planned, the movement noted and made semi-sacred for this time and place by limiting access to others, and elevating the significance and priority of this cavalcade. The temporal and spatial movement each alters the places though which the cavalcade moves and the role of others not directly involved. Unlike the processions of a president or of celebrities, the speed and consequence of such processions is modest. These funeral processions are not stopped except for unexpected traffic accidents or traffic jams, bridges that are up or blocked, very severe weather. The procession is given unchallenged priority.

There is little *sound*. The procession proceeds in silence, and there are no verbal commands or orders given to maintain the flow of the procession. The entire serpentine col-

lection is silent except for the accompanying background traffic noise.¹⁹ The only exception is the noise from the police cars or the motorcycles (with muffled sounds). The canopy of silence, somber mood, and muted talk is maintained over the course of the event.

The *color* of the key units in the procession and the dress of the participants is distinctive when seen. The color of the caravan is varied, with the central vehicles, often large “stretch” vehicles or upmarket massive SUVs carrying the family and key mourners, being black. The other vehicles that make up the procession are marked by their position and vary in color. These matters mark the difference between central actors in the drama and peripheral friends, or fellow mourners. Minor color difference results from the small flags, or any decorations on the central vehicles. The preferred *dress* for the occasion, setting aside the accompanying police officers in uniform, is almost proscribed: black, somber, restrained in style, modest, without bright accessories such as scarves, jewelry, bright belts or earrings, and low heels. The dress for women may be topped off with black head gear, while black suits, shoes, ties and hats (if any) are required, with white shirts being the male standard. Of course, dress is unrevealing in the procession, but somewhat standardized in the funeral itself. Some matters of contemporary fashion and culture alter the acceptable ritual dress. While veils and hats were required in the past, they are now less likely even though the general rule is that the family’s grief should be contained and remain an ironically ‘public’ private grief in middle-class white society. Thus, sunglasses are considered bad manners, although videos from Florida and California suggest this is no longer a rigid proscription. In this case, they protect the revelation of intense emotion, thus relieving others’ shared distress, or may be associated with manly toughness or with military and police style, or conceal private thoughts from being revealed (some of which may be deemed inappropriate).

The *demeanor* and the *audience response* are consistent. The governing demeanor is sad, restrained, somewhat inflexible and unrelenting, slow in response, physically or somatically controlled, and one acts to “pay one’s final respects.” The theme of the modern funeral is restrained without jokes and humor, the talk is quiet, semi-formal, respectful, and full of honorifics. Animals are used as conveyances in urban funerals except in the rural small town west. Ironically, for the ninth point, there is no audience for this; all those viewing the procession are unintended and uninvited participants. There are passing cars, pedestrians, and people who look, but their focus of attention is fleeting and irrelevant to the participants in the string. These unseen, immediately-affected participants shaded by darkened windows, are silently proceeding through city streets, moving through space and time, altering the meaning of the drive for others, perhaps, those who in effect do not respond. The grief in the air is shared and converted into feelings of inconvenience. These people might be considered as the non-audience in that they choose not to be present, but are, regardless.

19. The silence is a cultural variation as I have seen a procession in Boston where traditional folk music was playing loudly from a brightly decorated car.

There are no *animals* visible in the procession, although dogs, cats, birds, or other pets may be riding in the vehicles in the procession. They do not feature in the procession, either on top of, leading, or prancing in the course of it. This varies in the Far West and Southwest where horses are a central part of the Sheriff's organization, and are used frequently for ceremonies, as well as for routine control of parades and demonstrations. Horses do take part in police funerals and are quite visible, but are not visible in public funerals.

Observations: Similarities and Differences

There are similarities and differences between the two funeral types, demonstrating the distinctive features of the police and private funeral and facilitating further discussion later in the paper of the nature of modern perambulatory celebrations (Falassi, 1987; cf. Marin, 1987). These similarities and differences convey a series of denotative points that distinguish the two types of formal celebrations.

The Logical Extension of the Semiology of Funerals

For purposes of illustration, I have tried to place the perambulatory celebration in the context of life and death (See Figure 1, next page). I draw on both descriptions, but clearly the Toronto procession is more detailed and is captured in part in video and stills from the day. Figure 1 below shows a preliminary array of codes and messages gathered within them, with a focus on the expansion of the differences within and between the citizen and police funeral. The primary concern now is to identify the ways in which the units of overt relevance can be noted and organized into domains of sign categories that resemble codes. Looking at these as arrayed in a metonymical fashion, or as parts of a whole performance, it is clear that they are framed metaphorically as well. The social effect of these ceremonies is that they play on both the internal contrasts between the units within the form, as well as the similarities and differences across them. The "private" funeral provides a contrast to the abiding character of public celebrations, and the features of the police funeral link it with both the ceremonial and the sacred, that is, the mysterious, awesome, dangerous, and distant factors that are both out of sight and powerful.

The relationships are diagrammed from left to right and branch outward to show contrasts. 'Society' or 'beings' is the head term from which 'live' branches out, and then 'dead' is used as a contrast. Live persons live in two social worlds, the everyday world or the secular world, and in the sacred or celebratory world of parades, etc. Those social objects considered dead reside in two worlds as well, those of the world of the buried and forgotten and the world of the yet-to-be-buried. The procession and funeral fill the liminal space between being dead but not buried, and the buried dead. The second break following the celebration of the dead is the distinction between military or police and citizen funerals. This is a contrast between the degree of formalization of ritual attending the funeral and the procession, taken as a whole. The distinction between the police and

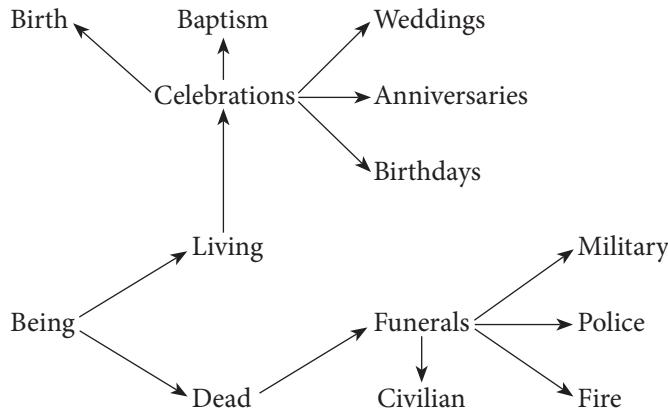


Figure 1. Funerals and Processions

all three kinds of funerals are collective representations that are about the unknown, the distant, awesome, and mysterious. This feature is indicated by the silence, the formality, the order, the emotional tone of the event, the mutuality of attention, and the sharp focus of attention and respect. The emotionality of the event is ironically indicated by the “unemotional” demeanor and body discipline shown by the participants. While within a given code, or contexts within which messages make sense or are given meaning, there are distinctive features, the codes and their analogical functions indicate how the messages in one coding system resemble those in the other coding system. The event, or the procession, thus has a distinguishable and distinctive form. The messages communicate consistent messages, at some level, about what is seen, what is felt, and what is not seen or is imagined.

Similarities and Differences

Consider further now the comparisons in both the similarities and differences between the two police funerals studied with formal, ritualized, non-military, non-celebrity funeral processions and celebrations.

There are some direct parallels or *similarities*: both types of funerals proceed in an orderly sequence, marking distance and pacing periodically; they move to a semi-sacred destination or target unencumbered by routine traffic signals, signs or rotaries, and have precedence over everyday traffic as a result of police escort. They have a mysterious, awe-inspiring, and emotionally-loaded aspect that is not entirely understandable. They are visible, public, focused, named, and known events of a recognizable familiar character. They are in some sense linked to ceremonial and sacred meanings with associated feelings. Attention, one might say, is “elsewhere,” with the invisible and sacred. They have clear beginning and endings, prior assemblages that are orderly and organized, i.e., openings, destinations, routes that are known and marked, and endings with associated rituals partings or closings. Both caravans move slowly through their routes that are made

accessible by traffic control, planning, and discussion. They move slowly and collectively, with mutual recognition a powerful aspect of the visible coordination. Cars in the caravan may mark their engagement in it by putting on their lights (this is a signal of unity when the procession streams through a red light or stop sign, or enters a freeway en masse). The primary distinctions are between the hearse, the following family cars, and the rest. The rituals themselves are hushed, the manner of speech surrounding the event is quiet, somber, formal, non-jocular, and punctuated with honorifics. Distinctive colors are only those between the black hearse and the other vehicles. They are visible, highly marked, and dramatized, mannered and stylish, therein obtaining a quiet demeanor and sound (with the exception of helicopters and bagpipes and drums); the primary vehicles are black, as are the costumes. The audience to the procession is a tacit presence and operates both mythically in regard to the role of the sacred elements and immediately in regard to those included. The demeanor is restrained and even somber.

There are also notable *differences* between the two social forms. There are no walkers accompanying the public funeral, and by protocol, they surround the hearse in a police funeral. The following walkers, a few on each side of the hearse, bring the flag and the hat of the fallen on cushions. In the police funeral, there is abundant, strident and loud sounds, often by bagpipes and drums, both large and small. The order is fixed. The sound is heard and followed by silence and its next appearance unknown to the participants. One pipe band usually leads off the procession, and another may bring up the end of the procession. This percussion marks the transition (Needham, 1967). The public funeral is silent. Even the *sounds* of accompanying motorcycles, if any, are muted. At the end of a police funeral, secondary notes of sacrifice such as having a radio call to a patrol car parked near or outside in the cemetery made to the dead officer (call means the officer is still on duty, and the call denies death), or firing a volley of shots in the air are performed. This indicates the sacrifice or communication between the sacred and the profane world through the intermediary of the victim (Hubert, Mauss, 1964). *Color* is significant and indicates important differences between the groups within the procession. The police funeral procession features uniforms that are well-adorned with medals, badges, shoulder patches, signs of rank, caps with emblems, and contrasting hat bands. They are not plain. Some formal uniforms require wearing gloves. The uniform trousers may be of distinctive colors with a visible bright stripe. The uniforms contrast with each other depending on the particular police organization, and with the civilians marching in the parade, and with the bagpipers in kilts and the honor guard in elaborate formalized costumes. Weapons are a part of the formal dress for Mounties, for example, and may be worn out of sight as a part of the on-duty uniform ensemble. Thus, there is variety: costumes, uniforms, dark suits, and outer dress. There are many flags in the police funeral, some displayed above the parade, some held aloft by marching honor guards, while some are displayed on uniforms as icons and badges. There are sometimes small flags on the fenders of the key vehicles to mark their role in the procession, but they are secular in nature. While the police funeral often attracts a respectful and engaged audience standings with focused attention on the procession, the public funeral goes largely unnoticed except for

those ensnarled in the resulting traffic obstructions. The absence of an audience in the police funeral is made dramaturgically relevant by the expressions and rigid posture and gaze (eyes straight ahead, head uplifted) and lack of concern for the audience. This, of course, is a key difference between funeral and celebratory parades where the interaction of the performers and the crowd is essential. The focus of the mourners is elsewhere, and upon the ceremony itself as it communicates to itself by its actions. In the police funeral, there are visible and important animals, namely dogs accompanying their handlers, and horses leading the parade. There are none featured in urban public funerals.

Additional Complexities

Figure 1 is a collection of codes and associated denotations are united metaphorically and then reframed as ceremonies that contain indexical (individual features) ceremonials (social organization) and sacred features (those referring to the higher order) that unify the observations presented (Rappaport, 1973). As Warner (1959) has pointed out, all such “levels” are communicated at the same time in symbols that have many features and emotional loadings. They are polyvalent or multivalent (Turner, 1969) in the sense of complex and overlapping meanings attached to the signs. This is yet another way of stating that they are both self-referential, pointing to and marking the occasion as well as pure symbols pointing to matters outside, above, elsewhere, and present by their absence. The question of levels of communication within a ceremony remains accepted, on the one hand, and on the other, a morass of inconsistent terminology (Valeri, 2014).

That is not to say there are no variations in funeral processions, but rather that codes are a way of highlighting that which dramatizes, and makes the nature of the social occasion visible and recognizable. They frame similarities in that they are set apart ecologically, temporally, and socially, marked by sound (absent or present), a common feature of rituals. Consider now the denotations and connotations within the 11 codes outlined in the previous discussion to help to further semiotically differentiate the codes.

Consider, then, the five codes used above and their internal differentiation.

The code of order, spacing, movement, and traffic management. The ordering of the units in the procession replicates a social scale of importance with the key escorts at front and rear, the hearse at the forefront following, and in the case of the police funeral, the uniformed participants are next, followed by non-uniformed officers of various sorts. Thus, military notions of rank order the sequence after the front-most units, those leading the procession, and/or guiding it. The spacing between the units is more consistent and maintained more easily since all traffic has restricted access to the police funeral parade route. Efforts are made to formally coordinate the differences in speed of the walkers, motorcyclists, and mounted officers. There are contrasting variations within and between the segments of the procession as denoted by variations in dress and stylistic movements within the units, e.g., members of band units, marchers, walkers, and occupants of vehicles. Movement is a contrast between orderly, measured, and tight formations (members of the RCMP or the Toronto Police, and musical bands), and the

amble of the civilians, other governmental civil servants, and non-uniformed officers. Conveyances vary in size, shape and purpose, and vary by marked and unmarked trucks, cars, and motorcycles. The hearse remains the central symbolic vehicle.²⁰ Traffic management itself is a dramaturgical exercise: it involves the closing off of streets in advance for the planned route of the processions, restricting entry to places and streets; guiding and directing traffic in visible and effective fashion is itself a dramatic performance; violating everyday traffic rules as a sign of both police power and the power of the sacred endeavor over the secular; altering traffic arbitrarily during the course of the processions, e.g., closing intersections without notice for long periods of time; breaking speed limits to assist the movement of the convey; and altering traffic patterns just to move participants from the central gathering places to the proper place to begin marching. The management of the movement includes the dispersal at the end of the event-directing traffic from the church or cemetery, and the buses and conveyances that return the marchers to central locations. While the funeral procession has a targeted destination at which a ceremony is performed, dispersal after the burial may be tedious and involve many points from which to which participants retreat. It might also be said that such major events call out for *post hoc* informal celebrations involving drinking, tales, and musings about the person honored, the occasion, and the job. These are a continuation of the movement and traffic control issues in the area surrounding the point of dispersal.

The code of sound shows a strong oppositional contrast between loud (drums, pipes, helicopters), soft (motorcycles, marching feet, other vehicles), and silent (marcher, the audience), with the punctuation of the police celebration by very loud and unpredictable sounds being characteristic and perhaps an essential feature. Notice that even very heavy duty vehicles of a utilitarian sort are quiet in stark contrast to the bagpipes and drums and the hovering whirl of the helicopters and the silence of the marchers. The variation in sound over the course of the police funeral is a dramaturgical matter as well as producing a variation in attention, that is, sharp, unexpected, and demanding and silence and undemanding of attention. Such variation has a more powerful effect on attention than does either constant silence or loud, persistent sound. There is a contrast also within the sounds of the types of noise, which is denotative, and music which is profoundly metaphoric in combining harmony and melody.

The code of color and dress. The predominant colors are navy blue and black which contrast sharply with the scarlet tunics of the RCMP. Dress shows a contrast between formal and informal style, with great detail seen in the case of formal wear. The elements

20. In two recent funerals of Boston firemen, the caskets were carried atop a pumper and held in place by ropes and held by fire men standing alongside the casket. This simulates the hearse with walkers used in police funerals. See:

National Volunteer Fire Council Funeral Procedures for Firefighters: A Resource Manual. 1992.

Sponsored by the United States Fire Administration Federal Emergency Management Agency. Available at: http://www.firehero.org/resources/departments/sops/funeral_procedures.pdf

Final Farewell to a Fallen Firefighter: A Basic Fire Department Funeral Protocol. Peters, William C. 1993. Fire Engineering, Saddle Brook, NJ 07662. Available at: http://www.harvard.ma.us/Pages/HarvardMA_Veterans/doccs/FireFighters_FinalFarewell.pdf

of the uniform are a fashion ensemble or a paradigm with denotative distinctions noted within parentheses. These are the associated elements: coats (formal uniform, others), hats (caps, broad brimmed Stetsons, bearskins, everyday wear), trousers (everyday/uniformed [Toronto police/ others/ RCMP yellow stripe], kilts, footwear (every day wear boots/shoes; uniform boots/shoes, cavalry boots), weapons (visible and non-visible), emblems of achievement (rank, medals, badges, campaign stripes, or shoulder patches) worn on uniforms. There are also other conventionalized adornments associated with the RCMP uniform: the lanyard, the pistol, the exterior crossing leather belt, bright buttons, and gold trim. Again, military notions of rank stratify the participants even as they are unified in their mourning for a lost comrade. The demeanor and emotional tone is consistent: non-affected, neutral to sad, rigid, unmoving, stolid, resolved, and other-worldly which is contrasted with less-formally dressed units in the parade. The audiences for this sort of performance are those present on the street, differentiated by officers saluting each others, one's fellow officers and participants in the procession, and the world-wide media. The media presence can no longer be ignored as a feature in the planning and the presentation of such events.

The code of animals. Animals featured prominently in the Toronto procession in part because they were coded as indicators of the proximity of the sacred. Horses are powerful symbols that are associated with their role often as sacrificial beasts in combat and in riots, their role in the early history of the RCMP as a mounted gendarmerie in the West of Canada, especially in the provinces of Saskatchewan, Alberta and British Columbia, and their mysterious nature, serving as colleague, fellow officer, and a large, powerful animal. They echo the past and its connection with the emergence of national authority, governance, and Canadian patriotism. Dogs are more immediate colleagues, more secular in nature as their role is totemic of crime-fighting, identifying villains, chasing them, capturing and detaining them in fearlessly undertaking their assigned duties. They are faithful, cannot object verbally, reliably respond to command, and are family members in the households of their handlers. These dogs are icons of unwavering loyalty.

Observations

The analysis began with an overview of the funeral and related procession conducted in 1974, proceeded to a description of a recent and modern 2011 police funeral, and a public funeral. The police funerals were contrasted with the typical public funeral of a non-military character. A semiotic approach was introduced as a way of simplifying some of the complexities of funeral processions. Based on re-analysis and observations, 11 codes were presented: order, sound, space, movement, color, dress, demeanor, conveyances, audience(s), animals, and the management of traffic. These were presented diagrammatically in Figure 1 as one part of the major divisions in society between the living and the dead, and related celebrations, in particular to the transition from being pronounced dead to a socially-sanctioned death. The analysis of the internal differentiation within the codes unpacked them. Similarities and differences between the two police funerals were

less emphasized than the similarities and differences between the public funeral and the police funeral. It is clear that the police, military, and fire-service commemorations are a family of semi-sacred celebrations easily distinguished dramaturgically from ordinary funeral processions. They are all larger than life; collective public performances that play on the connection between the occupation and the society and its well-being, featuring massive, lumbering expensive vehicles, loud noises, huge flags often flying above all or dangling from cranes hovering and punctuating the procession, echoes of patriotism, honor, service, untainted heroism, and duty regardless of the nature of the actual death, and commanding public attention both proximally and in real and fantasy time through the international media, and social media such as Facebook, Twitter, and other social websites.

Several matters require consideration in the context of conclusions. What are some clues to the meanings of modern ceremonies? Some clues might be noted in comparing modern funerals with the funeral featured in *Police Work*. Does Goffman's (1983) analysis hold up concerning the banality of modern ceremonies? It is a tenuous claim, as the actual feelings of those involved are seldom studied closely in modern societies unlike in preliterate ones (Turner, 1969). Certainly, the multiplex levels of communication that are being displayed suggest a very powerful, concentrated attempt to wrap together collective feelings, material matters (costumes, vehicles, instruments, animals), social organization (the police as an organization) and something beyond the occasion, unseen, unverifiable, and distant (these points are taken from Warner, 1959). The activity accompanying the funeral may or may not include references about or to spirits or holy figures. But the display does communicate the size and density of the police-as-a-group; it is an epideictic or self-reflexive display (Rappaport, 1967: 26). As Bateson (1972: 178) has suggested, such occasions feature "mood signs" or indications of shared mutual feeling, and an open display of this. These are easily identified such as the wave that circumnavigates the stadium at sporting events, applause when a face is shown on the big screen above the basketball court, and singing "Take me out to the Ball Game" during the seventh inning stretch at a baseball game. In Boston, victory is noted by singing "Sweet Caroline," the connection to the game, the Red Sox, or the city is unclear. Clearly, the audiences to which the display is directed towards varies. If it is true that ceremonies operate in some way by reframing "mood-signs" or expressions given and given off as celebrating the unseen and the unknown, rather than the here and now, is it true that modern gatherings are unified in their reflections upon and reactions to others' mood signs? This might be a connection between information or dense facts, or differences that make a difference (Bateson, 1972), and the repetitive, redundant elements of a ceremony. In other words, the emotional or phatic aspects of the communication, that is, the socio-emotional aspect, cannot fully cover the anomalies that arise in the course of the ceremony (Valeri, 2014). Several examples of this are noted above. The traffic contingencies that separate and divide the caravan arise, yet it must be seen as connected metaphorically as a cavalcade of cars in a semi-sacred procession. The police are a metaphoric unit, yet they cannot march together consistently, and there are evident status differences between the RCMP, the Toronto po-

lice, and other police units, as well as between the honor guard, the cavalry, and the rest. These are the anomalies that lead to change in the ritual itself (Goffman, 1974: 345–77; cf. Turner, 1969).

Another issue of interest is the contrast between the police and the public funeral. These are revealing of the claim of “sacred-ness” or the quasi-sacred status of the modern police. The distinctive features, which are listed above, are the signs of collective representations, representations of something else, those about death, patriotism, occupational honor, and sacrifice. In the public funeral, there is an absence of these qualities displayed overtly. Certainly, the other functions listed above about the functions of a funeral held are quite visibly. The question arises, though, whether these are sacred events in the sense of featuring religious sanctity, although not in the parade, but perhaps in the ceremony. In the Toronto parade and funeral, there were no prayers, no priest or clergy leading the service, and the speeches were delivered only by police colleagues and the wife of the dead officer.

These analyses pose questions that have long preoccupied scholars of cultural sociology and comparative sociology. Do such ceremonies blur and confound the social reality of everyday life and reduce the “gap” between experience and the ideal, namely, the normative and the imagined? How is this accomplished if not with reference to the resources of traditional beliefs, values, and norms? This ever-present gap (Bateson, 1972 following Korzybski, 1933) is one between the territory and the representation of that territory as a map. The first is the actual physical reality of a place and time, and the other is a symbolic, miniaturized version of it.

Structurally, modern society has a variety of memories, myths, and a repertoire of boundaries and status-systems. How are they conflated in performances? Anthony P. Cohen (1985) has challenged the myths of equalitarianism, inevitable conformity, the simplicity of face-to-face societies, and, of course by extension, modern, post-industrial societies. In effect, his argument is that the overt symbolization of unity and conformity always masks complexity, status hierarchies, and exclusionary boundaries. There are reversals that sustain mysterious outward boundaries, some of which are masks. Even the past is symbolized differentially to maintain the appearance of conformity as transformation occurs (this is also analyzed in detail by Warner, 1959). Modern police parades mask the status hierarchy within and between the police groups, the rank and specialization that exists, and the medals, awards, and achievements of individual officers, including the one who has died. They also mask the nature of the death and elevate the unity of all, even if the cause of death is dubious (with respect to the decisions made that lead to the death), or the nature of the death (suicide is rarely pronounced for police officers). What do “on duty” and “in the line of duty” mean when policing is claimed to be a profession and a superordinate role? What is the relevance of the achievements of the officer? Reference is made, for example, to being a “role model” and demonstrating a “shared commitment to duty and to service” at the Toronto funeral. The appearance of a maintained unity, as Cohen remarks, may be “misleading and false” (p. 40). They may not commemorate unity and a glorified past, but ambivalence toward policing and police

(Wagner-Pacifici and Schwartz, 1991). The large Canadian funeral parade might be an example of what Freud called, in interpersonal terms, “over determined”, or large and glorious as a result of negative public and media reactions to policing in Toronto. As Rapaport observes as well, the analysis of a ritual, in part because it speaks to matters out of sight and unverifiable, ought to distinguish the “operational environment,” the visible parts and consequences of the observed rituals, and from the “cognized environment” or awareness of the actors involved in such a ritual. In this regard, the operational environment is one of uniformity, equality, simplicity, and conformity. Police funerals operate as manifestations of the power of collective will over death (Warner 1959: 488–9).²¹ It may not be necessary for the participants to share the meaning of the symbols in depth or be connected to them explicitly to larger questions (Keesing, 2012).

While semiotics has been charged with being an approach that lacks the capacity to analyze change, it is possible to imagine a work based on semiosis, or changes in the emotional content of the signs displayed in the procession. This could be accomplished by charting the effects of order on catharsis and emotional investment and involvement of the audience(s), or the effects of sequences of action by units, e.g., drum and bugle corps, marching officers, or an elaborate casket or cortege. Such considerations are more salient in parades than in funerals. These are diachronic analyses; the present is synchronic in large part, viewing the procession as a string of units analyzed by codes, and differentiations within the codes.

In modernity, there appear to be ripple effects stimulating large public ceremonies that are not realized as in traditional formats and occasions. For example, a young boy asked to for cards from his heroes, police and firefighters, and a convoy of police from several states appeared at his home in Virginia (with gifts from 80 agencies) (*Boston Globe*, Dec 21, 2012). After the Boston Marathon bombing, an *ad hoc* race was organized as a fund-raiser (*Boston Globe*, April 16, 2013). A foundation was begun for the victims, and it achieved enough fame to produce a couple of young men making fraudulent claims (*Boston Globe*, June 11, 2014). The death of any person publicized in the media produces secular piles of objects, flowers, dolls, toys of various sorts, cards, mini-posters, and pictures. These *ad hoc* celebrations without ritual are modern versions of the sacred, and the reflexivity touched off by the modern celebrations is diffuse. But it does not arise from beliefs and feelings produced by association with totemic objects; it is visual, and the signs are mood signs rather than icons. Doubtless, these ripple effects are amplified by social media with has many portals, audiences, and channels of communication, textual, iconic, e.g., Google Maps, Google Earth, pictorial, aural (voice mail), and videos. What is clear from the effects of tweeting and “trending,” false and misleading ideas, pictures, and songs can stimulate simulated crises, disasters, and celebrity tragedies.

21. The June 10th 2014 funeral in New Brunswick featured some several thousand RCMP officers marching by a fixed camera point (shown on YouTube) for more than 20 minutes. Given the small posting of officers in this rather remote Maritime province, it is clear that officers travelled considerable distances to participate. It is possible that the funeral occasion involving the burial and celebration of the death of three officers rather than one, mobilized official action to have more officers in attendance.

Modern police funerals are likely to be captured in sound, pictures, and videotaped by amateurs and professionals, a result of the light, inexpensive camera equipment that has been developed in the last 15–20 years. This means, of course, that these videos will be found on YouTube and other social media. Comments on such events are often “tweeted”, that is, written about as they unfold from participants or observers, and then “re-tweeted”, circling the world in seconds. These visuals can then be reproduced, framed and reframed, edited, “photo-shopped,” stored, archived, reviewed, and assembled with other narrative frames, e.g., in fictionalized movies, reality shows, news programs, documentaries, and as research. These occasions then have the potential for new associated realities such as mini-ceremonies near the place of the murder or death of an officer, e.g., the Viet Nam Memorial (Wagner-Pacific, Schwartz, 1991).

The media and the social media now amplify the effects of official and semi-official commemorations. After the Boston marathon bombing in April, 2013, used, worn running shoes tied together as *memento mori* were placed in Copley Square near the site of the bombing. These were surely ambiguous expressions with diverse contents, and were converted as signs of the sacred only through a long string of associations. They were later warehoused, catalogued, and kept. Duck (forthcoming) has reported mini-monuments to murdered drug dealers composed of running shoes, flowers, dolls, and candles. These became the subject of gossip and newspapers stories. These might be called secular celebrations about persons somewhere between the living and the dead. Yet another layering of meaning or re-framing can arise from reflexive versions of celebrations such as “flash” occasions where people gather for an ad hoc mini-ceremony celebrating little other than the gathering itself. These events, once filmed, are posted and re-posted on various websites such as Facebook, for example. They can then be “photo-shopped,” edited, tagged, assembled into slide shows, and so on. Thus, public ceremonies have several transformed lives, and these lives are the result of systematic editing and distribution and amateur efforts at the same ceremonies. Public events then penetrate deeply into private lives, into any or every hand-held device, computer, phone, video camera, and including human beings with a visual memory. These images can then be stored, recycled, re-framed, and put in new contexts, changing the meaning and significance of the visuals. These processes produce what might be called the illusion of unity.

There is a sense, then, as Alexander (2004) argues, that modern ritualized celebrations are not fused as in pre-literate societies, but text, audience, and performers are linked in a more complex and perhaps fragile fashion. Modernity is not so much reproduced but enacted through symbolization and the responses to it. The police as an occupation, along with the fire service and the military, tap into archaic feelings and associations of violence, conquest, war, and unity in the face of an enemy, and these associations are increasingly blurred as war becomes “peace-keeping”. The police are “serving customers” and act as partners with community groups. The fire service is, in slang terms, “fire fighters,” but is less active and much more effective as the number and kinds of fires decline rapidly. “Firefighting” is replaced by “fire management”, guided by standardized, rationalized, written strategies and tactics, and by insurance and building requirements

that reduce the risk, costs, and ferocity of fires. How is public admiration honoring the fulsome emotions attached to such occupations linked to the rationalization of modern risk-taking? (Desmond, 2007). Understanding this honoring sociologically remains a challenge. These particular ceremonies provide windows into the slow transition into multi-faceted modernity. Their sustainability can be traced in part to the emotions that are aroused by such events, their display of visible, conventional symbols of governance, their organization, power, sound, color, stylized activity, and their collective, public nature. They echo the sacred, but as Bellah et al. (2008) suggest, this echo may be more a matter of displaying modern civility or participating in an aspect of “civil religion” rather than a rehearsal of shared norms, beliefs and values.

References

- Alexander J. (2004) Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy. *Sociological Theory*, vol. 22, no 4, pp. 527–573.
- Bateson G. (1972) *Steps Toward an Ecology of Mind*, New York: Ballantine Books.
- Bellah R. (2005) Civil Religion in America. *Daedalus*, vol. 134, no 4, pp. 40–55.
- Bellah R. et al. (2008) *Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life*, Berkeley: University of California Press.
- Baudrillard J. (1988) *America*, London: Verso.
- Cohen A. (1985) *The Symbolic Construction of Communities*, London: Tavistock.
- Cohen A. (1993) *Masquerade Politics: Explorations in the Structure of Urban Cultural Movements*, Berkeley: University of California Press.
- Debord G. (1967) *La societe du spectacle*, Paris: Buchet-Chastel.
- Desmond M. (2007) *On the Fireline: Living and Dying with Wildland Firefighters*, Chicago: University of Chicago Press.
- Douglas J. (1977) *American Social Order*, New York: Free Press.
- Duck W. (forthcoming) *The Interaction Order in a Marginalized City*, Chicago: University of Chicago Press.
- Durkheim E. (1961) *The Elementary Forms of the Religious Life*, New York: Collier Books.
- Eco U. (1979) *A Theory of Semiotics*, Bloomington: University of Indiana Press.
- Evans-Prichard E. E. (1940) *The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People*, Oxford: Clarendon Press.
- Evans-Prichard E. E. (1956) *Nuer Religion*, Oxford: Clarendon Press.
- Falassi A. (1987) *Time Out of Time: Essays on the Festival*, Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Goffman E. (1959) *The Presentation of Self in Everyday Life*, New York: Doubleday Anchor.
- Goffman E. (1974) *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, New York: Basic Books.
- Goffman E. (1983) The Interaction Order. *American Sociological Review*, vol. 48, no 1, pp. 1–17.

- Hubert H., Mauss M. (1964) *Sacrifice: Its Nature and Functions*, Chicago: University of Chicago Press.
- Keesing R. (2012) On Not Understanding Symbols: Toward an Anthropology of Incomprehension. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, vol. 2, no 2, pp. 406–430.
- Korzybski A. (1933) *Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics*, New York: International Non-Aristotelian Library.
- Leach E. R. (1954) *The Political Systems of Highland Burma*, London: Athlone.
- Leinhardt G. (1961) *Divinity and Experience: The Religion of the Dinka*, Oxford: Clarendon Press.
- Lukes S. (1975) Political Ritual and Social Integration. *Sociology*, vol. 9, no 2, pp. 289–308.
- Marin L. (1987) Notes on a Semiotics Approach to Parades, Corteges and Processions. *Time Out of Time: Essays on the Festival* (ed. L. Falassi), Albuquerque: University of New Mexico Press, pp. 220–228.
- MacIntyre A. (1981) *After Virtue: A Study in Moral Theory*, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Manning P. K. (1977) *Police Work: The Social Organization of Policing*, Cambridge: MIT Press.
- Manning P. K. (1979) *Narcs' Game: Organizational and Informational Limits on Drug Law Enforcement*, Cambridge: MIT Press.
- Manning P. K. (1988) *Symbolic Communication: Signifying Calls and the Police Response*, Cambridge: MIT Press.
- Manning P. K. (1991) *Organizational Communication*, Hawthorne: Aldine de Gruyter.
- Manning P. K. (1997) *Police Work: The Social Organization of Policing*, Prospect Heights: Waveland Press.
- Manning P. K. (2004) *Policing Contingencies*, Chicago: University of Chicago Press.
- Manning P. K. (2008) *The Technology of Policing: Crime Mapping, Information Technology, and the Rationality of Crime Control*, New York: New York University Press.
- Needham R. (1967) Percussion and Transition. *Man* (New Series), vol. 2, no 4, pp. 606–614.
- Rappaport R. (1967) Ritual Regulation of Environmental Relations among a New Guinea People. *Ethnology*, vol. 6, no 1, pp. 17–30.
- Rappaport R. (1971) Ritual, Sanctity and Cybernetics. *American Anthropologist*, vol. 73, no 1, pp. 59–76.
- Shils E., Young M. (1953) The Meaning of the Coronation. *Sociological Review*, vol. 1, no 2, pp. 63–81.
- Turner V. (1969) *The Forest of Symbols: Aspects of Ndernbu Ritual*, Ithaca: Cornell University Press.
- Rousseau J.-J. (1968) *The Social Contract*, Middlesex: Penguin.
- Valeri V. (1985) *Kingship and Sacrifice: Ritual and Society in Ancient Hawaii*, Chicago: University of Chicago Press.
- Valeri V. (2014) *Rituals and Annals: Between Anthropology and History*, Manchester: HAU Society for Ethnographic Theory.

- Waddington P. A. J. (1996) Police (Canteen) Sub-culture: An Appreciation. *British Journal of Criminology*, vol. 39, no 2, pp. 287–309.
- Warner W. L. (1959) *The Living and the Dead: A Study of the Symbolic Life of Americans*, New Haven: Yale University Press.
- Wagner-Pacifici R., Schwartz B. (1991) The Vietnam Veterans Memorial: Commemorating a Difficult Past. *American Journal of Sociology*, vol. 97, no 2, pp. 376–420.

Полиция и публичные похороны

Петер К. Мэннинг

Профессор, Северо-Восточный университет

Адрес: Хантингтон Эвеню, 360, Бостон, Массачусетс, США 02115

E-mail: pet.manningp@neu.edu

Эмиль Дюркгейм и его последователи обратили наше внимание на роль коллективных представлений в дописьменных обществах, таких как похоронные процессия и шествия. Эти подробные и изящные исследования прошли проверку временем и стали классическими. Исследования Ирвинга Гофмана позволяют поставить вопрос о том, способны ли эти события наряду с памятью и традицией стать основанием социальной солидарности в двадцать первом веке. Возможно, социальная солидарность возникает в результате именно этих событий, а не является отражением существующих норм, ценностей и верований. Если это верно, то каким образом формируется эта новая форма солидарности в ходе этих событий? У нас не так много подробных исследований современных публичных событий, кроме классических работ Уорнера «Живые и мертвые» (1959) и руссоистских рассуждений Белла о роли «гражданской религии». Эти идеи были невнятно сформулированы и направлены на установление связи между социальной структурой и функцией при помощи этнографических свидетельств. Данная статья начинается с описания похорон офицера полиции в 1974 году (Manning, 1977). Я сравниваю это событие с аналогичными похоронами в 2011 году и пытаюсь ответить на два вопроса: Чем они отличаются друг от друга? И что мы можем понять о современности, анализируя эти коллективные представления? Отличаются ли в публичной сфере похороны офицеров полиции от похорон других людей (не таких заслуженных как военные или те, кто служил в пожарной охране)? В статье используется семиотический анализ публичных и полицейских похорон как способ выявления особенностей современных процессий и торжеств. Коды, используемые в разных процессиях, говорят о том, что различия носят существенный характер. Эти различия и их роль в социальной интеграции современных обществ определяют необходимость дальнейших исследований.

Ключевые слова: похороны, полиция и публичное, церемонии, ритуал, процессия, коды, семиотика

Театр политического кризиса: заговор как «предмет веры»

Андрей Игнатьев

Кандидат философских наук, доцент, преподаватель
Российского государственного гуманитарного университета
Адрес: Миусская площадь, д. 6, ГСП-3, Москва, Российская Федерация 125993
Email: ignatievs@yandex.ru

В статье предложена интерпретация различного сорта «теорий заговора» как особого рода фрейма или парадигмы дискурса, предполагающих трактовку долговременных социетальных или даже глобальных трендов как следствий заговора, направленного на передачу власти его инициаторам. Показано, что всякая «теория заговора» предполагает весьма специфическую разметку социального пространства, которую можно рассматривать как частное приложение так называемой «театральной метафоры», только уже не к интеракции в частной сфере (как у основоположников этого подхода), а к ситуациям публичного осуществления власти. В развитие этого тезиса высказана и обоснована гипотеза, согласно которой «теории заговора» становятся функциональными конструктами в ситуациях кризиса так называемой представительной демократии, обеспечивая легитимацию политического режима, перспективу совладания с кризисом, а также инициацию субъектов эффективного политического действия. Сделан вывод, что «теории заговора» характерны скорее для обществ позднего modernity с их секуляризацией, общедоступной «публичной сферой», влиятельным медиа сообществом, кризисами презентации и «теневыми» практиками, нежели для контекстов политической архаики. Кроме того тоталитарные политические идеологии и режимы вполне можно рассматривать как дериваты «теорий заговора», т. е. проекцию этого специфического фрейма или парадигмы дискурса на реальные политические конфликты, возникающие в условиях социетального или глобального кризиса.

Ключевые слова: власть, дискурс, теория заговора, театральная метафора, представительная демократия, медиасфера, кризис

Начну со старого, еще советских времен, анекдота: «Сплю я, и снится мне, что я уснул на партийном собрании, просыпаюсь — а я и вправду уснул на партийном собрании». В пандан к этому анекдоту можно вспомнить максиму практического разума: «из того, что у вас мания преследования, вовсе не следует, что вам некого бояться реально», имеющую непосредственное отношение к феномену «теории заговора», попыткой исследования которого является данная статья.

Два коротких фольклорных текста, предпосланных основному содержанию статьи, являются вполне уместным и даже целесообразным введением в ее предмет: они наглядно экспонируют тот специфический перформативный контекст, в котором формируются и функционируют различные «теории заговора», акцентируя его важную особенность — принципиальную неразличимость реальности

и психотического фантазма. Именно такой специфический контекст моделирует Шекспир в трагедии о Гамлете — истории молодого человека, попытавшегося выяснить, существовал ли на самом деле заговор, о котором ему сообщила Тень, или же это чей-то злокозненный вымысел. Ответа на свой вопрос заглавный герой трагедии так и не получил, более того — погиб именно оттого, что попытался это сделать¹. Это одна из сквозных тем как трагедий, так и комедий Шекспира — заговор как соблазн или провокация, которыми испытывают человека. Коррумпированные, слабые духом или зависимые (например, одержимые какой-нибудь «сверхценной» идеей) индивиды на соблазн «ведутся» и становятся жертвой (иногда даже первой и единственной) заговора, который предполагали использовать в своих интересах². Более того, этот заговор становится реальностью именно благодаря их собственным действиям. В сумеречной зоне, которая окружает любую популярную «теорию заговора», вопрос о его реальности лишен всякого смысла. Актуальным становится вопрос о pragmatике соответствующих текстов, т. е. о той «разметке» социального пространства, которую они транслируют³, реальном перформативном контексте, в котором они возникают или циркулируют, а также о функциях, которые они выполняют.

* * *

Под заговором я подразумеваю всякий проект, направленный на передачу власти конкретному лицу или группе лиц и предусматривающий нарушение традиции или формального права, регулирующих акты передачи власти. Вследствие этого заговор осуществляется undercover, т. е. предусматривает эффективное уклонение от любых форм надзора и социального контроля. На практике в зависимости от локальной политической культуры это может быть и «аппаратная интрига», и военный переворот, и «заказное» убийство или уголовное преследование, и так называемая «охота на ведьм», т. е. кампания публичной травли, при помощи которой вынуждают принять решение об отставке. Заговор, о котором сообщают «теории заговора», тоже предполагает нелегитимный захват власти, подготовленный undercover. От своей канонической версии он отличается прежде всего тем, что практически никогда не становится свершившимся и доказанным историческим фактом, но так и остается перспективой, латентной угрозой или допустимой, но проблематичной гипотезой.

1. На это, в частности, обращает внимание Л.С. Выготский в своей знаменитой работе о психологии искусства (Выготский, 1962). Точно таким же фатальным развитием событий завершается и верификация заговора в романе Умберто Эко «Маятник Фуко».

2. Разница между жанрами для Шекспира состоит в том, что в комедиях жертвы заговора подвергаются осмеянию, тогда как в трагедиях их убивают.

3. О понятии «разметки» и о дихотомии «group/grid», или «группа/разметка», подробнее см.: Douglas, 1996. Термин «grid» я перевел бы как «сетка», по аналогии с «сеткой вещания», которая структурирует время.

Не буду останавливаться на истории возникновения, распространения и трансформации наиболее популярных «теорий заговора», которая исследована достаточно основательно (Леруа, 2001; Гудков, 2005; Биберштайн, 2010; Пятигорский, 2009; Walker, 2013), отмечу только один ее очень важный парадокс: сами по себе практики заговора стары как мир, это вечная «теневая» сторона практик власти, где власть — там не только насилие, как нас когда-то учили, но и заговоры самого разного уровня или формата (Политическая интрига., 2000). Тем не менее «теория заговора» как особого рода фрейм (Гофман, 2004; Баркет, 2007), априорная и универсальная парадигма дискурса — явление сравнительно новое, возникшее в середине XIX века. Именно тогда появляются конструкции, трактующие заговор как причину не отдельных конкретных политических событий, а долговременных социетальных или даже глобальных трендов⁴, а кроме того, претендующие не столько на объяснение каких-то исторических фактов (это скорее их алиби), сколько на более или менее детальное предсказание будущего. В конечном итоге тоталитарные политические доктрины минувшего века, включая марксизм, нацизм или фашизм, — те же «теории заговора», только очень сложные и, как говорится, в особо крупных размерах.

Такого sorta притязания всякой «теории заговора» на предсказание будущего, которое *a priori* всегда предполагает доверие к источнику или технике конструирования соответствующих суждений⁵, отнюдь не являются основанием к тому, чтобы отбрасывать подобные интеллектуальные артефакты с порога: это характерная особенность не только «идеологий» или «утопий» в смысле К. Мангейма, но и всяческих прикладных моделей системной динамики, инструментальная валидность которых не вызывает сомнений. Но если «теории заговора», во всяком случае, образцы жанра, которые наиболее основательно исследованы, — действительно фреймы или парадигмы дискурса, а не эмпирически корректные реконструкции исторических событий, то прежде всего стоит рассмотреть так называемое «определение ситуации», характерное для разных «теорий заговора», а вовсе не вопрос о реальности предполагаемого заговора как такового.

Начну с того, что любая «теория заговора» представляет собой сообщение о событиях, затрагивающих повседневный социальный порядок, более того, необратимо меняющих его самым неблагоприятным образом, т. е. экспонирует какую-то эсхатологическую перспективу. Далее, это сообщение (или извещение о нем) транслируется посредством общедоступных mass media или их субститутов (в наши дни это Интернет и социальные сети), адресовано аудитории, «массовой» в том смысле, что включает любого, кого это сообщение может касаться, и действительно является «теорией» в том чисто бытовом значении термина, что предлага-

4. Такие конструкции особенно часто встречаются в работах, представляющих «эзотерическую», или «оккультную» традицию. См.: Wilson, 1973.

5. Как известно, суждение о будущем нельзя ни верифицировать по факту исполнения прогноза, ни «фальсифицировать» в смысле К. Поппера, это всегда и неизбежно «предмет веры» или его экзегеза. См.: Агамбен, 2013.

ет правдоподобное объяснение событий, являющихся его эмпирическими референтами («экспланансом»). Тем не менее его специфическая риторика характерна скорее для маргинальных жанров дискурса, в том числе политического (Игнатьев, 1978), нежели для публикаций, содержание которых претендует на статус безусловно достоверного знания.

Такого рода события, т. е. известные и удостоверенные факты, составляющие «эмпирическую базу» сообщения о предполагаемом заговоре, представлены как следствие действий или бездействия акторов, которые обладают компетенцией и статусом, по крайней мере, номинально обеспечивающими им возможность контроля за состоянием повседневного социального порядка, и могут быть наблюдаемы на какой-то площадке с хорошо различимыми границами. Нередко эту площадку определяют как «сцена» или «политическая сцена», предполагая, таким образом, публичный характер действия или бездействия субъектов власти, т. е. возможность беспрепятственного наблюдения за ними каждому, кто составляет релевантную аудиторию. В действиях, направленных на поддержание (или изменение) повседневного социального порядка, эта аудитория не участвует и участвовать даже заведомо не может — как если бы между нею и «политической сценой» существовала невидимая, хорошо проницаемая для взгляда, но исключительно прочная, непреодолимая преграда, которая, например, отделяет витрину ювелирного магазина от прохожих, злоумышленников и зевак. В наши дни роль такой преграды обычно исполняют телевизор или дисплей компьютера, благодаря которым мы наблюдаем за действиями или бездействием субъектов власти.

В общем случае любая «теория заговора» трактует действия, наблюдаемые на «политической сцене», как странные, непонятные или даже очевидно двусмысленные, чреватые какой-нибудь бытовой эсхатологией. Объяснением этой «непрозрачности» и потенциальной опасности, демонстрация которых составляет непременную особенность любой «теории заговора», обычно служит зависимость публичных субъектов власти от других акторов, действующих исключительно в частной сфере и оттого находящихся вне поля зрения аудитории. Данное обстоятельство (по большей части оно так и остается гипотезой) позволяет считать, что публичные субъекты власти — это чьи-то «марионетки», тогда как ситуацию в целом вполне можно рассматривать как нелегитимный и тайный отъем власти, т. е. заговор, уже состоявшийся или осуществляемый в настоящее время.

Наконец, инициаторы действий, совершаемых или не совершаемых публичными субъектами власти, а соответственно — промоутеры изменений в повседневном социальном порядке, на объяснение которых претендует «теория заговора», всегда спрятаны за какой-то преградой, которая не только исключает вмешательство в предвыборный кастинг, подкуп субъектов власти или их шантаж, подготовку к их устранению или другие действия, выходящие за границы легитимных политических ритуалов, но и делает их заведомо недоступными для наблюдения, исключая, таким образом, непосредственную верификацию гипотез о заговоре, его участниках и целях. Пространство, расположенное за такой преградой, обыч-

но именуют «закулисье политики». Согласно «теориям заговора», истинный субъект, «властелин мира» эзотериков и оккультистов предположительно находится где-то там.

Что же это за социальное пространство, в границах которого подобное «определение ситуации» сохраняет эмпирическую валидность? Очевидно, оно структурировано как театр: там есть площадка, на которой локализованы любые ревантные действия или события, она хорошо видна всем, кого эти действия или события касаются, более того, она так и названа — «сцена». За действиями субъектов политики на сцене или событиями, которые с ними связаны, наблюдает мультитюд зрителей, являющихся аудиторией «теории заговора». Политологи именуют его «избирателей», но смена названия ничего не меняет. Это, однако, уже не театр как вид искусства и учреждение культуры, а гофмановский «театр повседневной жизни», в котором каждый человек — актер, поднимающийся на сцену в расчете на признание со стороны публики или хотя бы компетентных экспертов, зритель, наблюдающий за событиями на площадке, где все это происходит (те, кого называют «элитой», и есть такие привилегированные зрители в ложах), рабочий сцены, а если повезет, то директор театра или его главный режиссер. Иными словами, любую «теорию заговора» вполне можно рассматривать как частное приложение «театральной метафоры», только уже не к face-to-face интеракции в частной сфере⁶, как у Ирвинга Гофмана, а к ситуациям публичного осуществления власти. Они тоже могут рассматриваться как диалектика притязаний индивида на статус или социальное амплуа и их вознаграждение непосредственным участием в митинге или демонстрации, голосами «за», финансовыми пожертвованиями, чисто символическими актами солидарности и поддержки или в других политически значимых формах⁷. Попросту говоря, заговоры, о которых сообщают «теории заговора», — это не реальность и не иллюзия, а чисто «постановочные», демонстрационные артефакты⁸, воплощающие личное представление их авторов о реальности, кстати, отнюдь не обязательно ложное.

Такие артефакты можно рассматривать в разных перспективах, например, конкретную «теорию заговора» — как следствие или свидетельство особого рода мотивации ее автора, связывая эту мотивацию с персональным хабитусом и условиями его формирования, в том числе с личными или социальными травмами, а также обусловленными ими аффектами. В такой перспективе любую «теорию

6. Перевод книги Гофмана «Presentation of Self in Everyday Life» на польский язык так и был назван: «Czlowek w teatrze zycia codzennego». См.: Гофман, 2000.

7. Одна из примечательных публикаций, связанных с использованием «теории заговора» как аналитической парадигмы, называется «Триумф Мельпомены», т. е. музы театра, откуда родом и слово «теория». См.: Крючкова, 2013. В более общем плане о «театральной метафоре» как политаналитической эвристике см., например: Scott, 1990.

8. Слово «симулякр», с легкой руки Ж. Бодрияра ставшее чуть ли не идиомой «образованной» повседневной речи, означает такой артефакт, не являющийся ни реальностью, ни иллюзией, но «рукотворной» конструкцией, воплощающей какие-то интерсубъективные и потому узнаваемые «предметы веры». См.: Каррэр, 2008.

заговора» нетрудно представить как измышление маргиналов⁹, страдающих неврозом тревожности, разнообразными этническими, гендерными, возрастными, классовыми и контекстуальными фобиями или даже параноидальным расстройством. Точно так же публикацию «теории заговора» всегда можно рассматривать как перформанс, назначение которого — привлекать и удерживать публику, т. е. «делать сборы», как прежде говорили на театре. У авторов, создавших классические образцы жанра, этот мотив присутствовал в явном виде, в его перспективе любую «теорию заговора» нетрудно представить как техническое устройство (Корндорф, 2011)¹⁰, в просторечии именуемое «лохотрон», в данном случае — парадигму дискурса, способную порождать амбивалентные интерактивные ситуации (пресловутую «double bind» Грегори Бейтсона). Такого рода устройства позволяют блокировать рефлексию получателей сообщения о его содержании, pragматической ценности, надежности его источников, условиях его достоверности или других переменных, свидетельствующих о его эпистемологическом статусе (является ли это сообщение вымыслом, смутной догадкой или чистой правдой). Наконец, любую «теорию заговора» всегда можно рассматривать как исполнение прямого или опосредованного «социального заказа», в частности — как инструмент пропаганды, обеспечивающий эффективный «перевод стрелок», т. е. переадресацию деструктивных аффектов и агрессии (ресентимента в том числе) на заранее выбранную жертву. Классические «теории заговора» часто использовались именно в этом качестве, их всегда нетрудно представить как чисто полицейскую уловку, позволяющую «выпустить пар», добиваться поддержки действующего политического режима, размещать публичных субъектов власти на фоне, который оправдывает их действия, в том числе репрессивные, или каким-то иным образом справиться с аффектами и движениями протesta.

Тем не менее никакая личная мотивация, технические эффекты или даже вос требованность не превращают «теорию заговора» в матрицу, по которой формируются стереотипы политического здравого смысла. Для этого сообщение о заговоре должно обладать хотя бы относительным правдоподобием, это значит — повседневная социальная реальность, в которой это сообщение транслируется, должна быть «дружественной» к измышлениям маргинала, сценическим артефактам и полицейским уловкам, т. е. хотя бы отчасти дублировать ту конфигурацию социального пространства¹¹, которую они предполагают. В такой перспективе субъект, публикующий «теорию заговора», всегда может быть представлен как особого рода амплуа политического театра, «предполагаемые обстоятельства» которого более или менее понятны.

9. О мотивах, побуждающих к такого рода измышлениям, см., например: Фридман, Комбс, 2001.

10. На заре советского кино Г. Козинцев и Л. Трауберг назвали такие артефакты дискурса аттракционами, имея в виду, что их главное назначение — формировать публику, привлекая, удерживая и структурируя внимание зрителей.

11. Не исключено, что как раз такое совпадение фантазма и реальности, которое уже задним числом, в ретроспективе, выглядит как преобразование чисто интеллектуальной конструкции в повседневную социальную рутину, предполагает «теорема Томаса». См.: Glass, 1985.

Прежде всего перформативный контекст, в котором будут востребованы и уместны «теории заговора», должен обеспечивать широкую и беспрепятственную циркуляцию «предметов веры». Такое условие, очевидно, выполняется либо в малых теократических сообществах, одно из которых вошло в историю благодаря судебному процессу¹², известному как «дело сэйлемских ведьм», либо, наоборот, в обществах позднего modernity с их гипертрофированной медиасферой. Как принято считать, такие общества начали складываться в Западной Европе к середине XIX века. Одним из первых свидетельств трансформации медиа в «массовую», т. е. общедоступную и универсальную, инфраструктуру социального признания, «дружественную» ко всякого рода симулякрам, в том числе обычным «политически целесообразным» измышлениям, могут, по-видимому, считаться романы Бальзака, где впервые речь идет о тайных обществах, их деятельности и ресурсах влияния, которыми они располагали¹³. Первые классические «теории заговора» были придуманы журналистами, которые сотрудничали с подобными обществами, т. е. контекстом их действий была виртуальная реальность массмедиа, дезинформации и того, что сегодня называют «public relations», а не экономика или практическое осуществление власти.

Этот контекст предполагает формат государственной власти, который я бы определил как «представительная», или «плебисцитарная», демократия, когда народное собрание только вотирует решения, принятые советом его представителей. В отличие от классической монархии, когда любые решения принимает суверен, т. е. «помазанник Божий», неподотчетный народному собранию *de jure*, в силу религиозной санкции, полученной при коронации (Шмитт, 2000), а также архаичных форм демократии, когда решения принимаются лидерами территориальных общин или воинских дружин, неподотчетными народному собранию *de facto*, в силу своего эксклюзивного социального статуса и тех ресурсов влияния, которые с ним ассоциированы¹⁴, «плебисцитарная» демократия предполагает,

12. По аналогии с этим судебным процессом любые публичные разбирательства, предмет которых прямо или косвенно определяет какая-либо «теория заговора», принято называть «охота на ведьм». Контекст таких разбирательств может быть самым разным, однако их сценарий неизменно определяет подозрение в религиозной, политической или гендерной «испорченности»: в одержимости дьяволом, как в «деле сэйлемских ведьм»; в левых взглядах или даже непосредственных сношениях с коммунистами, как во времена маккартизма; в ненормативной сексуальной ориентации, как в наше время; в принадлежности к неприкасаемым, как «на зоне»; или в расовой, т. е. прирожденной и комплексной, социальной неполноценности, как при нацистах.

13. Литература, посвященная массмедиа как инфраструктуре современного «политического театра», неохватна, укажу только несколько публикаций, которые кажутся мне наиболее релевантными: Луман, 2005; Больц, 2011; Навергас, 1984; Calhoun, 1990; Handelman, 1990. Ссылку на романы Бальзака или Умберто Эко как источник информации не следует считать курьезом: до изобретения «публичной социологии», а это уже XX век, именно роман, публикуемый «с продолжением» в газетах или еженедельниках, являлся «форматом», обеспечивавшим артикуляцию повседневного социального опыта и даже какую-то первичную рефлексию о его содержании. Этую функцию роман сохраняет чуть ли не до появления блогосферы, т. е. до наших дней.

14. О таких архаичных формах демократии можно составить представление по свидетельствам тех, кто наблюдал принятие решений в сообществах на социальной и географической «периферии»

что решения принимают индивиды (так называемый «парламент»), специально делегированные народным собранием, а значит — ему подотчетные¹⁵. Более того, общепринятая процедура идентификации таких индивидов представляет собой непрерывное публичное соперничество между претендентами на соответствующее политическое амплуа, которое и превращает народное собрание в зрителей, политическое сообщество — в актеров, а процесс осуществления власти — в сценический перформанс (театр, попросту говоря), для участников которого «теория заговора» становится одним из наиболее эффективных диспозитивов, обеспечивающих привлечение, удержание и структуриацию публики. Все это объясняет, как так получается, что «плебисцитарная» демократия всегда чревата вырождением в особого рода авторитарный режим¹⁶, установленный по решению народного собрания, а не в результате насилиственного захвата власти.

Обе эти сугубо институциональные предпосылки к тому, чтобы в обществах позднего *modernity* парадигматика «теории заговора» оказалась вполне эффективным и даже востребованным инструментом достижения или удержания власти, приобретают особое значение в «пограничных» ситуациях политического, экономического или системного кризиса, когда разрушение сложившегося социального порядка и сопряженные с этим перемены в контекстах повседневного действия становятся очевидными¹⁷. Прежде всего в условиях кризиса перестают действовать конвенции, определяющие условия доступа на «политическую сцену» или даже карьеры вообще, и приобретают особое значение перформативные клише, которые повышают личную аттрактивность индивида, претендующего на то или иное востребованное политическое амплуа. В такой перспективе «теория заговора» оказывается на редкость к месту — не случайно древнейшим и по-прежнему самым востребованным перформативным жанром, который уравнивает политическую и театральную сцену, является трюк иллюзиониста (Гаврилов, 2006; Макаров, 2006; Turner, 1988). Вполне допускаю, например, что кто-то из тех, кто укрылся под псевдонимом «Вильям Шекспир», был экспертом в области политической интриги: уж больно его «хроники» похожи на обычную сценарную проработку коллизий, возникающих в результате успешной «разводки на заговор». Кроме того, в условиях кризиса обостряются и получают распространение аффекты, обусловленные лич-

глобальной системы, а также по телесериалам «о ментах и бандитах»: в сценах, где показывают воровскую сходку. См.: Moore, 1967.

15. Отсюда, надо полагать, распространенное представление о том, что в условиях «плебисцитарной» демократии парламент, правительство, сотрудники «аппарата» или другие непосредственные исполнители власти — это менеджеры, нанятые народным собранием по конкурсу и потому требующие перманентного надзора с его стороны.

16. Как это временами случалось в Древней Греции, где тираном называли правителя, получившего власть именно таким образом. Нечто похожее случилось во Франции середины XIX века и в Германии середины XX и по-прежнему временами происходит в странах третьего мира. Классическим и до сих пор актуальным исследованием такого sorta эксцессов остается работа К. Маркса «18 брюмера Луи Бонапарта», предметом которой, как известно, является исследование заговора.

17. На социетальном или глобальном уровнях такого рода ситуации принято определять как *post-modernity*. См.: Harvey, 1989.

ными или социальными травмами, неврозом тревожности, а также этническими, гендерными возрастными, классовыми и контекстуальными фобиями. В данном контексте «теории заговора» легко становятся предпосылкой к солидарности между индивидами, испытывающими такие аффекты (тот же ресентимент, например), и даже к возникновению первичных коалиций с достаточно высоким уровнем консенсуса¹⁸, а это и есть политика. Наконец, что самое главное, любая «теория заговора» позволяет рассматривать абсурдное, двусмысленное, ошибочное или просто непонятное поведение индивидов, представляющих народное собрание на «политической сцене», как заговор *sui generis*, т. е. рациональную и вполне объяснимую, но тщательно камуфлированную попытку разрешить какую-то проблему, публичная демонстрация которой тоже отчего-то исключена. В «пограничных» ситуациях кризиса, сопряженных с разрушением сложившегося социального порядка, «теория заговора» обеспечивает универсальную нормативную валидность парламента и массмедиа как институциональных предпосылок презентации¹⁹, мобилизацию и солидарность достаточно крупных сегментов избирателей, а также совладание с переменами на «политической сцене», затрагивающими контексты повседневного личного успеха или сценарии карьеры.

Такая перспектива сохраняется недолго и только при определенных условиях — в обществах с дееспособным парламентом, высоким уровнем доверия масс-медиа и при наличии реальной «внешней» угрозы, позволяющей оправдать камуфляж предпринятых действий соображениями секретности. При отсутствии подобных условий «теория заговора», наоборот, может быть легко обращена в инструмент критики действующего политического режима или даже его дискредитации. Как правило, разрушение сложившегося социального порядка и его первоформативных конвенций порождает дилеммы, неразрешимые в краткосрочной перспективе. Это, в свою очередь, провоцирует так называемый «раскол элит», появление легитимной и влиятельной оппозиции, чьи оперативные ресурсы позволяют ей обратить уловку, связанную с «теориями заговора», против действующего политического режима: например, обвинения властей предержащих в коррупции или других пороках обычно сформулированы по образцу «теории заговора» и распространяются в таком же режиме (Гурьянова, 1988). Взаимные обвинения властей предержащих и оппозиции в заговоре, направленном на узурпацию власти в обход народного собрания, можно наблюдать во время любой предвыборной кампании, но особенно энергичными они становятся в ситуациях политического кризиса.

18. Можно предположить, что именно образование или сохранение таких коалиций, востребованное в периоды кризиса, является основной социальной функцией практик, известных как «остракизм». См.: Суриков, 2006; Бrinton Perera, 2009; Gruter, Masters, 1986.

19. С этой точки зрения «пикейный жилет», трактующий действия какого-либо «ответственно-го» субъекта политики как осуществление стратегии, которую нетрудно понять любому желающему, отличается от парламентария или сертифицированного аналитика только уровнем своей информированности и качеством предлагаемых объяснительных конструкций, но не своими исходными установками. См.: Сергеев, 1999.

Тем не менее для того, чтобы сконструировать действительно хорошую, т. е. убедительную и популярную «теорию заговора», рассчитанную на длительный срок службы, этого недостаточно. Необходимо, чтобы деградация социального порядка была хорошо заметной, но диффузной, наблюдаемой скорее как множество локальных аномалий и сбоев повседневного действия (Скэрдеруд, 2003; Мэй, 2001), нежели как процесс или тренд, который можно уверенно экстраполировать в будущее и объяснить влиянием какого-либо конкретного фактора. Чаще всего такая самопроизвольная и вялотекущая деградация социального порядка, порождающая аффект беспокойства и тревоги о будущем (Дуглас, 2000), наблюдается в периоды системного кризиса (так называемого «застоя»), который проецируется на «политическую сцену» как ожидание действий, способных идентифицировать и блокировать латентную угрозу. При отсутствии или заведомой недостаточности таких действий угроза проецируется за кулисы «политической сцены» как подозрение индивидов, представляющих народное собрание, в коррупции²⁰, «двойной игре» или даже тайном сотрудничестве с врагами. Как правило, деградацию социального порядка объясняют лояльностью этих индивидов к какому-то альтернативному политическому сообществу, их зависимостью от зарубежных «центров влияния» или конкретных персон, наконец, одержимостью «врагом рода человеческого», который и понуждает конкретных субъектов власти к действиям или бездействию, способствующим развитию кризиса²¹, т. е. демонстрирует статус реального суверена.

Такого же рода контексты диффузной и вялотекущей деградации социального порядка могут складываться не только вследствие «застоя», но и наоборот — в обществах, где происходят крупномасштабные социальные перемены, сопряженные с так называемой «эмансипацией», т. е. с разрушением традиционных иерархий и социальных границ²², повышением уровня мобильности, в том числе значительным долговременным притоком иммигрантов²³, а также с возникновением разрыва между поколениями аборигенов в образцах поведения, понятиях и ценностях. Даже при весьма поверхностном и фрагментарном знакомстве с дискуссиями, посвященными феномену массовой инокультурной иммиграции в «за-

20. Термин «коррупция» заимствован из богословских сочинений, где он означает подверженность человека погибельным соблазнам, т. е. «испорченность», непригодность к исполнению морального долга, каковым не без оснований считается репрезентация народного собрания на «политической сцене». См.: Gilpin, 1867.

21. Концепт «враг народа» обозначает такого субъекта власти, одержимого «врагом рода человеческого», но предполагает более или менее секуляризованные перформативные контексты — своего рода компромисс между политической функцией и религиозным смыслом, обычный для дискурса «гражданских культов». См.: Доусон, 2002.

22. Этот процесс и обратил политическую репрезентацию в проблему, для разрешения которой понадобилось определить «политическое» заново — сначала на практике, в преддверии мировой войны, а затем и в теории. См.: Schmitt, 2007; Шмитт, 1992.

23. Общим прототипом таких перемен и сопряженных с ними эксцессов для стран Европы, безусловно, является исход евреев из гетто. См.: Кац, 2007.

падные» общества²⁴, нетрудно заметить существование широкого спектра релевантных «теорий заговора» — от распространенного бытового представления о мусульманах-иммигрантах как о «пятой колонне» джихада до внятных публичных намеков на заговор транснациональных элит, направленный на долговременную и крупномасштабную трансформацию «западных» обществ, включая прежде всего их политические институты.

Точно так же в советском обществе разрыв между пред- и послевоенными поколениями²⁵, пережитый обеими сторонами как вторжение многочисленного и весьма энергичного инокультурного контингента, способствовал появлению, широкому распространению и даже отчасти превращению в официальную доктрину версии «теории заговора», согласно которой эстетические предпочтения молодежи являются следствием «идеологической диверсии» со стороны западных спецслужб — подозрение, которое в дальней исторической ретроспективе отнюдь не кажется вздорным (Игнатьев, 2015). Во всяком случае, конкуренция или антагонизм между социальными группами, представители которых заметно отличаются по своему антропологическому типу и хабитусу, а также по своей позиции относительно социального «центра» общества — это перформативный контекст (Stonequist, 1961), объективно благоприятный для формирования и распространения «теорий заговора». При этом жертвой стигматизации и кандидатом в инициаторы заговора обычно становится какая-нибудь влиятельная или хорошо заметная, но периферийная социальная группа: например, в начале XX века таким деструктивным фактором были «студенты, жиды и поляки», а в начале XXI ими стали «хипстеры, азиаты и лица кавказской национальности», меняется только морфология дискурса, тогда как его структура остается той же самой.

Наконец, всякий контекст, благоприятный для формирования и распространения «теорий заговора», предполагает социальные процессы, которые принято называть эпидемическими. К таким процессам относят прежде всего распространение слухов, сенсаций и модных новинок, которое подчиняется той же «эпидемической модели Пуассона», что и эпидемии заразных болезней (Гладуэлл, 2010). Поскольку распространение «теорий заговора» происходит точно таким же образом, разумно предположить, что оно подчиняется той же модели. Любая конкретная «теория заговора» сначала циркулирует как приватное устное сообщение, предмет face-to-face интеракции, затем, если сообщение окажется востребован-

24. При обилии публикаций, посвященных этому феномену, их предметом, к сожалению, остается только одна сторона вопроса — положение мигрантов, а также практикуемые ими стратегии освоения чужого географического и социального пространства, в том числе публичного, тогда как влияние массовой инокультурной иммиграции на быт и нравыaborигенов, а также их повседневная стратегическая рефлексия об этом влиянии все еще ждут объективной и тщательной аналитики, которую отнюдь не заменяет развесивание чисто идеологических ярлыков. См., в частности: Брубейкер, 2012; Малахов, 2014.

25. Как справедливо мне однажды попеняла Н. В. Самутина, сегодня уже надо пояснить, какая именно война имеется в виду, в данном случае это Вторая мировая война, т. е. поколение, заявившее о своих притязаниях в 1960-е годы, однако разрыв между поколениями может оказаться следствием любой массовой социальной травмы. См.: Alexander, 2012.

ным, оно публикуется медиа как частное мнение какой-нибудь поначалу курьезной, а затем все более авторитетной персоны, а позднее, оформленное уже в соответствии с каноном «теории заговора», приобретает статус расхожего «предмета веры», с которым ассоциирован массовый, сильный и весьма устойчивый аффект так называемой «моральной паники», проблематизация которого трудна и даже опасна (Thompson, 1998). Подобные процессы, как отмечалось, возможны либо в небольших сообществах с высоким уровнем интеграции, либо в обществах позднего *modernity* с их развитой медиасферой. Кульминацией процесса обычно является пресловутая «охота на ведьм», т. е. целенаправленная публичная стигматизация той или иной персоны или социальной группы, в результате подозрения в их адрес становятся общепринятыми соображениями здравого смысла.

«Теории заговора» — вовсе не литературный курьез, не симптом чьего-то личного умственного расстройства, в том числе этнических или гендерных фобий, не полицейская уловка или сценическая провокация и совсем не свидетельство вырождения актуальной политической мысли или даже общей испорченности дискурса, но естественный формат стратегической рефлексии в обществах позднего *modernity*, особенно в периоды их системного кризиса. Если никакого реального заговора нет, его приходится выдумывать хотя бы для того, чтобы аналитик мог остаться в пространстве рационального действия²⁶. Такие сорта выдумки, однако, не получили бы сколько-нибудь широкого распространения и долговременной актуальности, если бы они не выполняли важные социальные функции.

Как мы могли убедиться, любая популярная «теория заговора» позволяет представить кризис как результат латентного, но вполне доступного пониманию и артикуляции в дискурсе конфликта, в который вовлечены представители народного собрания (парламент в целом или так называемая «правящая клика»). Тем самым «теория заговора» позволяет экспонировать ситуацию кризиса в медиасфере и чисто бытовых дискуссиях, без чего эффективная политическая презентация невозможна. Можно даже утверждать, что конституирование «политического» как социального пространства, в котором размещены субъекты власти, а также институты и коалиции, которые обеспечивают легитимность их действию или бездействию, осуществляется прежде всего как конструирование популярной «теории заговора», наделяющей конкретных публичных акторов статусом «врагов», «союзников» или случайных прохожих.

Нетрудно заметить, что структурация дискурса, которую К. Шмитт предполагает как определение «политического», и формат стратегической рефлексии, характерный для «теорий заговора» с их установкой прежде всего на идентификацию «врага», действиями которого объясняют как возникновение кризиса, так и необходимость камуфляжа, в том числе обычной цензуры, в значительной степени совпадают. В данном конкретном случае можно, наверное, даже предположить

26. В наши дни «теория заговора» грозит превратиться в матрицу расхожих фразеологических оборотов: например, очередная религиоведческая новинка московского Центра Карнеги озаглавлена таким образом, что мысль о заговоре возникает сама собой. См.: Малашенко, Филатов, 2014.

историческую преемственность, поскольку именно немецкоязычные интеллектуалы длительное время были наиболее активными потребителями и распространителями концепций, выполненных в формате «теории заговора». Более того, очевидно, что учредительный миф государства, как его трактует Э. Кассирер (Cassirer, 1961), т. е. институциональные формы «политического», предполагающие в первую очередь защиту населения от врага (как реального, так и виртуального), тоже могут рассматриваться как воплощение «теории заговора», которая, в свою очередь, воспроизводит круг мифологем (Фрейденберг, 1978; Агамбен, 2011а, 2011б), связанных с практиками иерофании или экзорцизма, в том числе с очистительными ритуалами.

Становление нового государства часто выглядит как осуществление какого-то сугубо виртуального заговора²⁷, предполагающего возникновение суверенитета практически *ex nihilo*, первоначально из фантазий немногочисленного сообщества странных людей, чаще всего невротиков, склонных к изобретению альтернативной социальной реальности, потом — из конвенций между так называемыми «великими державами», для которых эта придуманная социальная реальность может оказаться удачным проектом разрешения какого-то очень серьезного конфликта, иногда позже эти конвенции становятся привычной фигурой риторики, которая в ситуации очередного международного кризиса и конфликта вполне может послужить основанием для реальных притязаний на суверенитет. На практике эти притязания длительное время остаются групповым или даже чисто личным проектом и зачастую обеспечены не субстанцией реального социального тела, в просторечии именуемого «нация» или «народ», а сугубо реляционными факторами — конstellациями отношений между соседствующими государствами, а также соглашениями относительно границ нового буферного и транзитивного политического артефакта. Малые государства надолго, иногда даже навсегда, сохраняют именно такой промежуточный статус.

Такого рода сценарии показывают, что «теория заговора» совсем не обязательно является чистым вымыслом, предназначенным главным образом или даже исключительно для «промывки мозгов» избирателей. Достаточно часто это парадигма оперативной рефлексии о власти, т. е. фрейм для организации сведений о множестве локальных конфликтов, частных интересах и ресурсах, которыми они обеспечены, или персональных и групповых акциях в единый системный проект развития событий. На практике любой серьезный политический конфликт есть прежде всего столкновение таких проектов, вследствие чего верной оказывается та из конкурирующих «теорий заговора», чьим сторонникам удается одержать победу. Это значит, что «теория заговора» предполагает не столько исследовательскую, сколько консультативную прагматику, т. е. формирование соответствующих представлений в континджентном режиме диалога между аналитиком и его клиентами —

27. На это намекает заглавие известной работы Б. Андерсона, в которой нация, обладающая суверенитетом, рассматривается как «*imagined community*», т. е. сообщество, возникшее в результате каких-то умышленных и целенаправленных действий. См.: Андерсон, 2001.

действующими субъектами политики или другой «заинтересованной публикой», а вовсе не конститутивный монолог *ex cathedra*, претендующий на демонстрацию каких-то удостоверенных истин, как это полагается в учебной аудитории или на страницах специальных научных изданий (Шейн, 2008; Collins, Evans, 2009). Вот почему любая популярная «теория заговора», даже самая фантастическая, может оказаться убедительным алиби или даже вполне эффективным стимулом при разработке встречных проектов, которые так или иначе позволяют совладать с неблагоприятным развитием событий. Практики, известные как «военный переворот» или «охота на ведьм», мотивированы прежде всего какой-нибудь популярной «теорией заговора», которая и обеспечивает легитимацию реального встречного заговора. Более того, любая популярная «теория заговора» обеспечивает эффективную легитимацию «плебисцитарной» демократии как политического режима, предполагающего отстранение «кухарки» от управления государством, т. е. разделение народного собрания на «профи», которые реально участвуют в осуществлении власти (их обычно идентифицируют как «политическое сообщество»), и так называемый «избирательный», который остается не всегда даже заинтересованным наблюдателем действий или событий на «политической сцене» — на телеэкране или дисплее компьютера. В условиях затяжного системного кризиса разделение общества на властвующую элиту с ее монополией присутствия на «политической сцене» и молчаливое большинство чревато тем, что популярная «теория заговора» окажется действенным мотивом регрессии к наиболее примитивным формам «политического»: к замещению государства отношениями потестарности, обеспечивающими неформальный личный или групповой контроль над социальным пространством.

Одной из важнейших функций государства, трактуемого как воплощение «теории заговора», становится перманентный мониторинг территории и ее окрестностей на предмет идентификации «врага», т. е. разведка и контрразведка, которые тоже отчасти являются камуфляжем, обозначаемые весьма неточными общими псевдонимами «тайная полиция» или, как теперь принято, «спецслужбы». В отличие от полиции²⁸, спецслужбы заняты идентификацией угроз действующему социальному порядку, а не его поддержанием, отсюда их корпоративный слоган «знать, но не вмешиваться». В отличие от традиционной (военной) разведки, спецслужбы «по умолчанию» рассматривают такую угрозу как постоянно действую-

28. За границами весьма специфического политического или даже идеологического контекста (Штолльайс, 2000), обозначаемого идиомой «полицейское государство», полиция — либо одно из подразделений армии («внутренние войска», «национальная гвардия»), либо субститут общинного самоуправления, возникающий в начальный период индустриализации: там, где массового переселения из деревни в город или же из провинции в столицу нет, т. е. локальные городские сообщества не подвергаются натиску мигрантов, достаточно «муниципальной полиции» или территориальной милиции с характерными для них выборностью руководства, установкой на компромиссы с местным населением и преимущественным вниманием к молодежи, а также новоприбывшим чужакам.

щий и диффузный фактор²⁹, а не следствие конкретного вооруженного конфликта, хотя бы только ожидаемого в будущем. Понятно, что исполнение таких функций предполагает своего рода институциональную паранойю (Felix, 1963), т. е. правдоподобную, влиятельную и кодифицированную «теорию заговора», которая таким образом превращается в «учредительный миф» спецслужб как социального института³⁰, а также перманентный и разносторонний камуфляж, который, в свою очередь, предполагает дистанцирование спецслужб от «политической сцены», превращая их, таким образом, в легальные тайные общества.

Предметом озабоченности спецслужб является пресловутый «не наш человек», т. е. девиантная идентичность, а не защита территории от вторжения, как у вооруженных сил и их разведки, или же институциональный социальный контроль, как у полиции (временами эти функции частично или полностью совпадают). На девиантную идентичность указывает уже сам факт доноса, остается только выяснить, идет ли речь о человеке, страдающем какими-то конститутивными дефектами личности, недостаточно компетентном и умелом, или же о потенциальном участнике какого-то тайного заговора. Общим историческим прототипом подобных организаций, безусловно, являются военно-монашеские ордена³¹, с которыми спецслужбы достаточно часто сравнивают. Можно предположить, что своим форматом современные популярные «теории заговора» обязаны риторике церковной борьбы с ересями, сектами и всяческими тайными культурами, а вовсе не практике реальных посягательств на власть. Неслучайно на роль инициаторов и субъектов такого предполагаемого заговора обычно номинированы хорошо известные оппоненты церкви.

Трудно не заметить, например, что карьера разведчика-нелегала, работающего undercover за границами «политической сцены», реализует архаичный сценарий жертвоприношения, сопряженного с дивинацией. Поэтому она непременно предполагает финальный провал, мучительную смерть или долгую трудную отсидку, а также последующее долгое забвение. Без этого карьера разведчика как бы не считается завершенной, а сам герой — достойным получения заслуженной им награды. Тот же архетипический сценарий трансгрессии и связанного с ней вознаграждения *post mortem* реализует карьера летчика-испытателя, биографические нарративы которого, в том числе обычные застольные воспоминания, демонстрируют устойчивую и общепринятую трактовку собственной гибели или безвестности как «цены вопроса». Очень похожий сценарий, отсылающий к тем же архаичным культовым практикам и мифологемам жертвоприношения, определяет

29. С этой точки зрения институционализация спецслужб является одним из проявлений гораздо более широкого тренда, наметившегося во второй половине XIX столетия, в том числе в области социальной и гуманистарной мысли. См.: Игнатьев, 2003.

30. Институционализация спецслужб приходится на тот же исторический период, что и появление наиболее влиятельных «теорий заговора». См.: FitzGibbon, 1977.

31. Чаще всего в качестве такого прототипа, по образцу которого позднее были созданы масонские ложи, общество иллюминатов или Коминтерн, называют орден тамплиеров. Не исключено, что он был западноевропейской репликой одного из суфийских тарикатов. См.: Тримингем, 1989.

карьеру актера. Считается, что она состоялась вполне, если актер реально умирает на подмостках в сцене гибели своего персонажа, т. е. достигает полного и необратимого перевоплощения. Неслучайно актеров раньше принято было хоронить за церковной оградой и даже в безымянной могиле, тогда как гроб с телом актера провожают аплодисментами и в наши дни.

Наконец, любое закрытое сообщество предполагает не только социализацию своих представителей, т. е. овладение определенными инструментальными навыками, но и так называемую «инициацию» — контролируемое расщепление идентичности, характерное как для разведсообществ, так и для театра, а также транснациональных корпораций, диаспор и церкви. Как и определение «политического», это тоже большая самостоятельная проблема, рассмотрение которой, безусловно, требует выхода далеко за рамки не только формата, но и предмета данной статьи (Элиаде, 1999). Отмечу только, что всякая «теория заговора» заведомо предполагает конфликт, который она и моделирует: инициант либо реально вовлечен в такой конфликт, как одна из его «сторон», либо себя с ней идентифицирует, а это и есть конститутивный признак «ритуальной драмы», т. е. особого рода перформансов, участие в которых обеспечивает инициацию (Тэрнер, 1983; Пропп, 1986). Есть основания полагать, что отношения лидерства, без которых политики не бывает, — это результат соучастия в какой-нибудь «ритуальной драме», моделирующей «пограничную» ситуацию кризиса. Отсюда — исключительное значение «разметок», сложившихся в результате ее преодоления. Если так, то конфронтация с влиятельной и правдоподобной «теорией заговора», пусть даже чисто интеллектуальная, в опыте стратегической рефлексии — то самое «посвящение», в процессе которого формируется реальный, а не номинальный, субъект политического действия.

Инициация при посредстве «теории заговора» сохраняет свое значение далеко за границами контекста, непосредственно связанного с деятельностью спецслужб: конфронтация с какой-нибудь общепринятой «теорией заговора», определяющей фабулу очередного политического спектакля, — интеллектуальный тренинг, необходимый любому человеку, который претендует на эффективную стратегическую рефлексию, хорошая профилактика иллюзий, связанных с устойчивыми массовыми привычками разума. В такой перспективе «теория заговора» очень похожа на изображение очага и котла с похлебкой на холсте в каморке папы Карло в сказке А. Толстого «Приключения Буратино». В самом начале инициации будущий субъект, все равно — реального политического действия или его аналитики, воспринимает любую «теорию заговора» как реальность, затем, по мере формирования «эрелой» корпоративной идентичности — как иллюзию, к исходу же посвящения убеждается, что это всегда только завеса, скрывающая совсем иную реальность, которая тоже театр, но несколько иного сорта, нежели тот, который предполагают «теории заговора» с их непременными вечными поисками врага.

* * *

Если вернуться к истории вопроса, то можно сделать вывод, что такие конститутивные признаки тоталитарных политических режимов, как театрализация практик власти, вследствие которой постановка бывает неотличима от реального массового действия³², а также особая, даже исключительная, роль медиасфера, в том числе экстраординарный статус журналиста как распространителя сенсаций, новостей и авторитетных личных мнений, «теориями заговора» имплицитно предполагаются с самого начала. Какое-то время эти признаки как бы сохраняют латентный характер и заметны только при очень внимательном исследовании феномена (как, например, в романе Умберто Эко «Пражское кладбище»), однако по мере превращения «теории заговора» в общепринятую политическую доктрину или даже воплощение здравого смысла они постепенно становятся явными — тенденция, отнюдь не свойственная практикам осуществления власти, возникающим вследствие военного переворота, «аппаратной интриги» или других чисто инструментальных форм заговора. «Теории заговора» — действительно исторически недавний феномен, характерный скорее для обществ позднего *modernity* с его секуляризацией, представительной демократией, общедоступной «публичной сферой» и медиасообществом, влиятельными меньшинствами, кризисами репрезентации и «теневыми» практиками, нежели для контекстов политической архаики, хотя, конечно, отдельные прецеденты обсуждаемых нами конструкций или попытки их исследования в динамике предпринимались и раньше.

Уместно высказать гипотезу, которая не имеет непосредственного отношения к рассматриваемой проблематике, однако позволяет выделить некоторые универсальные характеристики всякого политического действия, в том числе направленного на конструирование «теории заговора». Есть основания полагать, что сходство между социальным контекстом, в котором возникают или циркулируют «теории заговора», и театром отнюдь не случайно: прототипом «публичной сферы», как современной, так и античной (Winkler, Zeitlin, 1990), являются вовсе не практики коллективного принятия решений народным собранием, как считал Ю. Хабермас, а театр³³, для которого заговор всегда был и остался расхожей перформативной идиомой. Специфическая разметка социального пространства, которая характерна для практик репрезентации, составляющих необходимое техническое условие «плебисцитарной» демократии, сформировалась еще в условиях монархии на сцене придворного (как во Франции) или столичного (как в Англии) театра, когда роль народного собрания играла публика в зрительном зале, ари-

32. Кадры из художественного фильма «Октябрь», снятого С. Эйзенштейном, на протяжении долгого времени вполне чистосердечно демонстрировались как хроника реальных исторических событий. Такое же, как в тех небольших фольклорных текстах, что предваряют основной текст статьи, неразличение виртуальной и материальной реальности характерно для всякого рода видеоцитат из фильмов Лени Рифеншталь, как, впрочем, и для них самих тоже.

33. В античном обществе театр выполнял скорее компенсаторные, нежели развлекательные функции, приобретая особый статус именно в периоды кризиса.

стократическая в первом случае и демократическая во втором, многое объясняет. Если принять во внимание сродство или даже историческую преемственность между практиками театра, массовых зрелищ и ритуалом публичной казни (Евреинов, 1996), а также значение этого ритуала как важнейшего из оснований для передачи суверенитета от монарха народному собранию (Манов, 2014), без которой «плебисцитарная» демократия немыслима, то такая гипотеза отнюдь не выглядит вздорной. Более того, чистое коммуникативное действие, не обезображенное инструментальной прагматикой, осуществимо только на театральной сцене — как перформанс, который и вправду остается самодовлеющей манифестацией идентичности. Именно в этом случае вопрос о реальности заговора, как и о достоверности сведений, полученных от первого встречного призрака, на чем потерял корону, рассудок и жизнь Гамлет, принц датский, действительно не имеет смысла.

Есть, правда, мнение, будто заговор все-таки был и даже вполне удался, его жертв можно видеть посреди сцены в конце спектакля, а вот его инициаторы и бенефициары оставлены на самой границе нарратива, «в тени» всей истории, которую рассказывает Шекспир. Говорят, будто об этом предполагаемом заговоре даже написана книжка, которую я знаю только в пересказе и оттого-то на нее не ссылаюсь, но она, скорее всего, тоже фрагмент какого-то заговора.

Литература

- Агамбен Дж. (2011а). *Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь* / Пер. с ит. И. Левиной и др. М.: Европа.
- Агамбен Дж. (2011б). *Homo Sacer. Чрезвычайное положение* / Пер. с ит. М. Велижевы и др. М.: Европа.
- Агамбен Дж. (2013). *Что такое повелевать?* / Пер. с ит. Б. Скуратова. М.: Grundrisse.
- Андерсон Б. (2001). *Воображаемые сообщества* / Пер. с англ. В. Г. Николаева. М.: Канон-Пресс-Ц.
- Баркер Дж. (2007). *Парадигмы мышления: как увидеть новое и преуспеть в меняющемся мире* / Пер. с англ. Т. Гутман. М.: Альпина Бизнес Букс.
- Больц Н. (2011). *Азбука медиа* / Пер. с нем. Л. Ионина и А. Черных. М.: Европа.
- Бринтон Перера С. (2009). *Комплекс козла отпущения: мифологические и психологические аспекты коллективной Тени и вины* / Пер. с англ. В. Мершавка. М.: Класс.
- Брубейкер Р. (2012). *Этничность без групп* / Пер. с нем. И. Борисовой. М.: Издательский дом ВШЭ.
- Васильев Л. С. (Ред.). (2000). *Политическая интрига на Востоке*. М.: Восточная литература.
- Выготский Л. С. (1962). *Психология искусства*. М.: Искусство.
- Гаврилов Д. А. (2006). *Трикстер: лицедей в евроазиатском фольклоре*. М.: Мысль.
- Гладуэлл М. (2010). *Переломный момент: как незначительные изменения приводят к глобальным переменам* / Пер. с англ. В. Логиновой. М.: Альпина Паблишер.

- Гофман И. (2000). Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А. Д. Ковалева. М.: Канон-Пресс-Ц.
- Гофман И. (2004). Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. Р. Е. Бумагина и др. под ред. Г. С. Батыгина, Л. А. Козловой. М.: Институт социологии РАН.
- Гудков Л. (Сост.) (2005). Образ врага. М.: ОГИ.
- Гурьянова Н. С. (1988). Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой эсхатологической литературе. Новосибирск: Наука.
- Доусон К. Г. (2002). Боги революции / Пер. с англ. К. Я. Кожурина. М.: Алетейя.
- Дуглас М. (2000). Чистота и опасность: анализ представлений об осквернении и табу / Пер. с англ. Р. Г. Громовой. М.: Канон-Пресс-Ц.
- Евреинов Н. Н. (1996). Театр и эшафот: к вопросу о происхождении театра как публичного института // Мнемозина: документы и факты из истории русского театра XX века. Вып. 1. М.: ГИТИС. С. 14–44.
- Игнатьев А. А. (1978). Маргинальные эффекты в коммуникативных системах. // Семиотика и информатика. Вып. 10. М.: ВИНТИ. С. 96–115.
- Игнатьев А. А. (2003). Хаос: невидимая граница рациональности // Синий диван. № 2. С. 208–220.
- Игнатьев А. А. (В печати). Взлет и падение одной утопии: советские рок-группы в контексте истории // Вестник РГГУ.
- Каррэр Э. (2008). Филип Дик. Я жив, это вы умерли / Пер. с франц. Е. Новожиловой. СПб.: Амфора.
- Кац Я. (2007). Исход из гетто: социальный контекст эмансипации евреев, 1770–1870. Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры.
- Корндорф А. С. (2011). Дворцы Химеры: иллюзорная архитектура и политические аллюзии придворной сцены. М.: Прогресс-Традиция.
- Крючкова М. А. (2013). Триумф Мельпомены: убийство Петра III в Ропше как политический спектакль. М.: Русский Миръ.
- Леруа М. (2001). Миф о иезуитах от Беранже до Мишле / Пер. с франц. В. Мильчиной. М.: Языки славянской культуры.
- Луман Н. (2005). Реальность массмедиа / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Практис.
- Макаров С. М. (2006). Шаманы, масоны, цирк: сакральные истоки циркового искусства. М.: КомКнига.
- Малащенко А., Филатов С. (Ред.). (2014). Монтаж и демонтаж секулярного мира. М.: РОССПЭН.
- Малахов В. С. (2014). Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций. М.: НЛО.
- Манов Ф. (2014). В тени королей: политическая анатомия демократического представительства / Пер. с англ. А. Яковleva. М.: Изд-во Института Гайдара.
- Мэй Р. (2001). Проблема тревоги / Пер. с англ. А. Г. Гладкова. СПб.: ЭКСМО.

- Пропп В. Я. (1986). Исторические корни волшебной сказки. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та.
- Пятигорский А. (2009). Кто боится вольных каменщиков? Феномен масонства. М.: НЛО.
- Рогалла фон Биберштайн Й. (2010). Миф о заговоре / Пер. с нем. М. Некрасова. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова.
- Сергеев В. М. (1999). Демократия как переговорный процесс. М.: Московский общественный научный фонд.
- Суриков И. Е. (2006). Остракизм в Афинах. М.: Языки славянских культур.
- Тримингем Дж. (1989). Суфийские ордены в исламе / Пер. с англ. А. А. Ставиской под ред. О. Ф. Акимушкина. М.: Наука.
- Тэрнер В. (1983). Символ и ритуал / Пер. с англ. В. А. Бейлиса и И. М. Бакштейна. М.: Наука.
- Урри Дж. (2012). Мобильности / Пер. с англ. А. В. Лазарева. М.: Практис.
- Скэрдеруд Ф. (2003). Беспокойство: путешествие в себя / Пер. с англ. М. Эскиной. Самара: Бахрах-М.
- Фрейденберг О. М. (1978). Миф и литература древности. М.: Наука.
- Фридман Д., Комбс Д. (2001). Конструирование иных реальностей: история и рассказы как терапия / Пер. с англ. В. В. Самойлова. М.: Класс.
- Шейн Э. (2008). Процесс консалтинга: построение взаимовыгодных отношений «клиент—консультант» / Пер. с англ. И. Малкиной. СПб.: Питер.
- Шмитт К. (1992). Понятие политического / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Вопросы социологии. № 1. С. 37–67.
- Шмитт К. (2000). Политическая теология / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца. М.: Канон-Пресс-Ц.
- Штолльайс М. (2000). Око Закона: история одной метафоры / Пер. с нем. А. Дронина. М.: РОССПЭН.
- Элиаде М. (1999). Тайные общества: обряды инициации и посвящения / Пер. с франц. Г. Гельфанда. М.: Университетская книга.
- Alexander J. C. (2012). Trauma: A Social Theory. Cambridge: Polity Press.
- Calhoun C. (Ed.). (1990). Habermas and the Public Sphere. Cambridge: MIT Press.
- Cassirer E. (1961). The Myth of the State. New Haven: Yale University Press.
- Felix C. (1963). A Short Course in the Secret War. Lanham: Madison Books.
- Collins H., Evans R. (2009). Rethinking Expertise. Chicago: University of Chicago Press.
- Douglas M. (1996). Natural Symbols: Exploration in Cosmology. London: Routledge.
- FitzGibbon C. (1977). Secret Intelligence in the Twentieth Century. New York: Stein and Day.
- Glass J. M. (1985). Delusion: Internal Dimensions of Political Life. Chicago: University of Chicago Press.
- Gruter M., Masters R.D. (Eds.). (1986). Ostracism: A Social and Biological Phenomenon. New York: Elsevier.
- Habermas J. (1984). Reason and Rationalization of Society. Boston: Beacon.

- Handelman D.* (1990). Models and Mirrors: Towards an Anthropology of Public Events. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harvey D.* (1989). The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell.
- Gilpin R.* (1867). Daemonologia Sacra: A Treatise of Satan's Temptations. Edinburg: James Nichol.
- Moore B. Jr.* (1967). Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon.
- Schmitt C.* (2007). The Concept of the Political. Chicago: University of Chicago Press.
- Scott J.C.* (1990). Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press.
- Stonequist E.* (1961). The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict. New York: Russel.
- Thompson K.* (1998). Moral Panics. London: Routledge.
- Turner V.* (1988). The Anthropology of Performance. New York: PAJ.
- Wilson C.* (1973). The Occult. London: Mayflower Books.
- Winkler J. J., Zeitlin F. I.* (1990). Nothing to do with Dyonisos?: Athenian Drama in its Social Context. Princeton: Princeton University Press.

The Theater of Political Crisis: Conspiracy as a “Matter of Belief”

Andrey Ignatiev

Assistant Professor, Russian State University for the Humanities
 Address: Miusskaya sq., 6, GSP-3, Moscow, Russian Federation 125993
 E-mail: ignatievs@yandex.ru

The article discusses various “conspiracy theories,” considering them to be a special frame or paradigm of discourse. This frame considers long-term societal and global trends as consequences of a conspiracy aiming to shift power to its initiators. It has been shown that every “conspiracy theory” presupposes a specific marking of social space that can be viewed as an attachment to the “theatre metaphor.” This specific marking of social space does not occur in private by the founder of the method, but to situations of the public execution of power. This thesis discusses and proves the hypothesis that “conspiracy theories” are becoming functional constructs in crisis situations of a so-called “representative democracy,” in ensuring the legitimacy of a respective political regime, in the perspective of crisis management, and in the initiations of effective political actors. The conclusion is that “conspiracy theories” are rather typical for the late-modernity societies than for the politically archaic contexts. These late modernity societies are characterized by secularization, “public sphere” accessibility, influential media, representation crisis, and “shadow” practices. Additionally, it has been shown that totalitarian political ideologies and regimes can be considered as “conspiracy theories” derivatives, resulting in a valid projection of this specific frame or paradigm of discourse on real political conflicts which emerge from societal or global crises.

Keywords: power, discourse, conspiracy theory, theatrical metaphor, representative democracy, mediasphere, crisis

References

- Agamben D. (2011) *Homo Sacer. Suverennaja vlast' i golaja zhizn'* [Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life], Moscow: Evropa.
- Agamben D. (2011) *Homo Sacer. Chrezvychajnoe polozhenie* [Homo Sacer. State of Exception], Moscow: Evropa.
- Agamben D. (2013) *Chto takoe povelevat'* [What Does It Mean to Rule?], Moscow: Grundrisse.
- Alexander J. C. (2012) *Trauma: A Social Theory*, Cambridge: Polity Press.
- Anderson B. (2001) *Voobrazhaemye soobshhestva* [Imagined Communitie], Moscow: Kanon-Press-C.
- Barker J. (2007) *Paradigmy myshlenija: kak uvidet' novoe i preuspet' v menjajushhemsja mire* [Paradigms: The Business of Discovering the Future], Moscow: Alpina Business Books.
- Bolz N. (2011) *Azбука media* [ABC of Media], Moscow: Evropa.
- Brinton Perera S. (2009) *Kompleks kozla otpushhenija: mifologicheskie i psihologicheskie aspekty kollektivnoj Teni i viny* [Scapegoat Complex: Toward a Mythology of Shadow and Guilt], Moscow: Klass.
- Brubaker R. (2012) *Jetnichnost' bez grupp* [Ethnicity without Groups], Moscow: HSE.
- Calhoun C. (ed.) (1990) *Habermas and the Public Sphere*, Cambridge: MIT Press.
- Cassirer E. (1961) *The Myth of the State*, New Haven: Yale University Press.
- Collins H., Evans R. (2009) *Rethinking Expertise*, Chicago: University of Chicago Press.
- Dawson K. G. (2002) *Bogi Revoljucii* [The Gods of Revolution], Moscow: Aletejja.
- Douglas M. (1996) *Natural Symbols: Exploration in Cosmology*, London: Routledge.
- Douglas M. (2000) *Chistota i opasnost': analiz predstavlenij ob oskvernenii i tabu* [Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo], Moscow: Kanon-Press-C, 2000.
- Eliade M. (1999) *Tajnye obshhestva: obrjady iniciacii i posvjashchenija* [Secret Societies: Rites of Initiation], Moscow: Universitetskaja kniga.
- Evreinov N. (1996) *Teatr i jeshafot: k voprosu o proishozhdenii teatra kak publichnogo instituta* [Theatre and Scaffold: Toward the Question of the Origins of the Theatre as a Public Institution]. *Mnemozina: dokumenty i fakty iz istorii russkogo teatra XX veka. Vyp. 1* [Mnemosyne: Documents and Facts from the History of National Theater of the 20th Century. Issue 1], Moscow: GITIS, pp. 14–44.
- Felix C. (1963) *A Short Course in the Secret War*, Lanham: Madison Books.
- FitzGibbon C. (1977) *Secret Intelligence in the Twentieth Century*, New York: Stein and Day.
- Freeman J., Combs G. (2001) *Konstruirovaniye inyh real'nostej: istorija i rasskazy kak terapija* [Narrative Therapy: The Social Construction of Preferred Realities], Moscow: Klass.
- Freidenberg O. (1978) *Mif i literatura drevnosti* [Myth and Literature of Antiquity], Moscow: Nauka.
- Gavrilov D. (2006) *Trikster: licej v evroaziatskom fol'klore* [Trickster: Mummer in the Euroasian Folklore], Moscow: Mysl'.
- Gilpin R. (1867) *Daemonologia Sacra: A Treatise of Satan's Temptations*, Edinburg: James Nichol.
- Gladwell M. (2000) *Perelomnyj moment: kak neznachitel'nye izmenenija privodjat k global'nym peremenam* [The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference], Moscow: Alpina Publishers.
- Glass J. M. (1985) *Delusion: Internal Dimensions of Political Life*, Chicago: University of Chicago Press.
- Goffman E. (2000) *Predstavlenie sebja drugim v povsednevnoj zhizni* [The Presentation of Self in Everyday Life], Moscow: Kanon-Press.
- Goffman E. (2004) *Analiz frejmov: jesse ob organizacii povsednevnoj opyta* [Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience], Moscow: IS RAN.
- Gruter M., Masters R. D. (eds.) (1986) *Ostracism: A Social and Biological Phenomenon*, New York: Elsevier.
- Gudkov L. (ed.) (2005) *Obraz vraga* [Image of the Enemy], Moscow: OGI.
- Gurjanova N. (1988) *Krest'tjanskij antimonarhicheskij protest v staroobrjadcheskoj jeshatologicheskoj literature* [Antimonarchic Peasant Protest in the Old Believers' Eschatological Literature], Novosibirsk: Nauka.
- Habermas J. (1984) *Reason and Rationalization of Society*, Boston: Beacon.

- Handelman D. (1990) *Models and Mirrors: Towards an Anthropology of Public Events*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Harvey D. (1989) *The Condition of Postmodernity*, Oxford: Blackwell.
- Ignatiev A. (1978) Marginal'nye jeffekty v kommunikativnyh sistemah [Marginal Effects in Communicative Systems]. *Semiotika i informatika. Vyp. 10* [Semiotics and Informatics. Issue 10], Moscow: VINITI, pp. 96–115.
- Ignatiev A. (2003) Haos: nevidimaja granica racional'nosti [Chaos: An Invisible Borderline of Rationality]. *Sinij Divan*, no 2, pp. 208–220.
- Ignatiev A. (forthcoming) *Vzljot i padenie odnoj utopii: sovetskie rock-gruppy v kontekste istorii* [The Rise and Fall of a Utopia: Soviet Rock Bands in Historical Context]. *Vestnik RGGU*.
- Katz J. (2007) *Ishod iz getto: social'nyj kontekst jemansipaci evreev, 1770–1870* [Out of the Ghetto: The Social Background of Jewish Emancipation, 1770–1870], Ierusalim: Gesharim; Moskva: Mosty kul'tury.
- Carrère E. (2008) *Filip Dik: Ja zhiv, jeto vy umerli* [I Am Alive and You Are Dead: A Journey into the Mind of Philip K. Dick], Saint-Petersburg: Amfora.
- Korndorf A. (2011) *Dvorcy Himery: illuzornaja arhitektura i politicheskie alluzii pridvornoj sceny* [Palaces of Khimera: Phantom Architecture and Political Allusions in the Court Theater], Moscow: Progress-Tradicija.
- Kruchkova M. (2013) *Triumf Mel'pomeny: ubijstvo Petra III v Ropshe kak politicheskij spektakl'* [The Triumph of Melpomene: The Killing of Peter III in Ropsha as a Political Theater], Moscow: Russkij mir.
- Leroy M. (2001) *Mif ob iezuitah ot Beranzhe do Mishle* [The Jesuit Myth from Béranger to Michelet], Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury.
- Luhmann N. (2005) *Real'nost' massmedia* [The Reality of Mass-Media], Moscow: Praksis.
- Makarov S. (2006) *Shamany, masonry, cirk: sakral'nye istoki cirkovogo iskusstva* [Shamans, Masons, Circus: The Sacred Origins of Circus Arts], Moscow: KomKniga.
- Malakhov V. (2014) *Kul'turnye razlichija i politicheskie granicy v jepohu global'nyh migracij* [Cultural Differences and Political Boundaries in the Era of Global Migration], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Malashenko A., Filatov C. (2014) *Montazh i demontazh sekuljarnogo mira* [Mantling and Dismantling Secular World], Moscow: ROSSPEN.
- Manow F. (2014) *V teni korolej: politicheskaja anatomija demokraticeskogo predstavitel'stva* [In the King's Shadow. Political Anatomy of Democratic Representation], Moscow: Izdatelstvo Instituta Gajdara.
- May R. (2001) *Problema trevogi* [The Meaning of Anxiety], Saint-Petersburg: EKSMO.
- Moore B. (1967) *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Boston: Beacon.
- Piatigorsky A. (2009) *Kto boitsja vol'nyh kamenshhikov? Fenomen masonstva* [Who's Afraid of Freemasons?: The Phenomenon of Freemasonry], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie .
- Propp V. (1986) *Istoricheskie korni volshebnoj skazki* [Historical Roots of the Wonder Tale], Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo universiteta.
- Rogalla von Bieberstein J. (2010) *Mifo zagovore* [The Myth of the Conspiracy], Saint-Petersburg: Izdatelstvo imeni N. I. Novikova.
- Schein E. H. (2008) *Process konsaltinga: postroenie vzaimovygodnyh otnoshenij "klient-konsultant"* [Process Consultation Revisited: Building the Helping Relationship], Saint-Petersburg: Piter.
- Schmitt C. (1992) *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of the Political]. *Voprosy sociologii*, no 1, pp. 37–67.
- Schmitt C. (2000) *Politicheskaja teologija* [Political Theology], Moscow: Kanon-Press-C.
- Schmitt C. (2007) *The Concept of the Political*, Chicago: University of Chicago Press.
- Scott J. C. (1990) *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcripts*, New Haven: Yale University Press.
- Sergeev V. (1999) *Demokratija kak peregovornyj process* [Democracy as a Negotiation Process], Moscow: Moskovskij obshhestvennyj nauchnyj fond.

- Skarderud F. (2003) *Bespokojstvo: puteshestvie v sebja* [Anxiety: A Journey into the Self], Samara: Bahrah-M.
- Stolleis M. (2000) *Oko Zakona: istorija odnoj metafory* [The Eye of the Law: The History of a Metaphor], Moscow: ROSSPEN.
- Stonequist E. (1961) *The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict*, New York: Russel.
- Surikov I. (2006) *Ostrakizm v Afinah* [Ostracism in Athens], Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury.
- Thompson K. (1998) *Moral Panics*, London: Routledge.
- Trimingham D. (1989) *Sufijskie ordeny v islame* [The Sufi Orders in Islam], Moscow: Nauka.
- Turner V. (1983) *Simvol i ritual* [Symbol and Ritual], Moscow: Nauka.
- Turner V. (1988) *The Anthropology of Performance*, New York: PAJ.
- Urry J. (2012) *Mobil'nosti* [Mobilities], Moscow: Praksis.
- Vasiliev L. (2000) *Politicheskaja intriga na Vostoke* [Political Intrigue in the East], Moscow: Vostochnaja literatura.
- Vygotsky L. (1962) *Psichologija iskusstva* [The Psychology of the Art], Moscow: Iskusstvo.
- Wilson C. (1973) *The Occult*, London: Mayflower Books.
- Winkler J. J., Zeitlin F. I. (1990) *Nothing to Do with Dyonisos?: Athenian Drama in Its Social Context*, Princeton: Princeton University Press.

Темпоральная семантика слова *общество* (XI — первая треть XIX века)

Галина Дуринова

Аспирантка филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Адрес: Ленинские горы, д. 1, Москва, Российская Федерация 119234
E-mail: galina.dourinova@gmail.com

Предметом актуального в современной гуманитарной науке направления «истории понятий» (Begriffsgeschichte) является социально-политическая терминология отдельных языков. Центральная идея этого направления — признание ключевой роли языка в осмыслении и продуцировании исторических событий (Р. Козелек). При очевидной соотнесенности сформулированной таким образом задачи с интересами исторической семантики, роль собственно лингвистического анализа ключевых исторических понятий остается маргинальной. Между тем теоретически значимый для Р. Козеллека термин «темпоральная структура понятия» позволяет по-новому взглянуть на «вечный» вопрос в лингвистике — о том, как и почему меняется язык (в том числе значения слов). Представляется, что традиционный вопрос «Когда у слова *общество* возникает социально-политическое значение?» следует задать иначе: «Какое из вырабатываемых словом значений стало значением политическим?» Эти «вырабатываемые» языком смыслы рассматриваются в статье с точки зрения когнитивного потенциала корня предельно широкой семантики (общ-). На примере анализа законодательных, публицистических текстов XVIII — начала XIX в. выявляются лингвистические механизмы перехода от одного «типа общности» к другому, предлагается операциональная терминология, на основании которой выводятся два правила изменения значения слова *общество*, применяется метод составления «семантической карты» (противопоставленный традиционному лексикографическому представлению значения слова).

Ключевые слова: историческая семантика, Begriffsgeschichte, концепт, языковые изменения, когнитивные модели, общество

Темпоральная структура

История социально-политического понятия *общество* неоднократно становилась предметом исследований¹. Однако большинство работ имеют целью описать внеязыковую реальность, стоящую за этим термином политического словаря, либо проследить историю его формирования в связи с событийной историей и т. д. В одной из первых работ, посвященных политической терминологии русского языка, политолог М. В. Ильин сформулировал позицию, которая, судя по всему, оказалась доминирующей на несколько десятилетий вперед: «Можно описать изменение значений и смысла выражения *гражданское общество*... посмотреть, ког-

© Дуринова Г. В., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

1. См., например: Веселитский, 1964, 1968; Жданова, 1997; Тимофеев, 2011; Миллер, Сдвижков, Ширле, 2012; см. также: Ильин, 1997; Хархордин, 2011.

да оно появилось... как эти зачатки... концептуализировались. [В таком] случае получилось бы... лингвистическое исследование, которое... скорее бы затемнило, чем прояснило природу... современного гражданского общества» (Ильин, 1997: 160). Подобную позицию определяет представление о том, что понятие существует вне языкового воплощения, а некоторое «случайное» слово с течением времени все больше «насыщается» этим понятием, пока не сольется с ним в единое целое (как *boeuf* в известном рассуждении Э. Бенвениста²). Этот «вечный» вопрос лексической семантики не может быть решен однозначно, однако только согласившись, что понятие не существует вне словесного воплощения, можно сделать возможным исследование собственно языкового значения слова. В противном случае, конечно, языковые данные лишь осложняют поиск универсального политического вокабуляра, как бы он ни назывался — *koinonia politike, societas civilis, société civile, civil society* и т. д. Между тем в широко известном сегодня тезисе основоположника Begriffsgeschichte Р. Козеллека утверждается, что «как только „*societas civilis*“ переводится как „*civil society*“ или „*société civile*“, коренным образом меняется первоначальное значение понятия» (Козеллек, 2010: 25).

Несмотря на то, что «отличительной характеристикой (немецкого направления истории понятий. — Г.Д.) с самого начала оказывается внимание к слову как таковому, к историко-филологической составляющей анализа интеллектуальных процессов» (Живов, 2009: 5), сам лингвистический процесс находится на периферии исследований Begriffsgeschichte. В основополагающем для этого направления труде — «Словаре основных исторических понятий»³ — задача сформулирована следующим образом: «Рассмотреть процесс исчезновения старого мира и возникновение современного через призму истории его осмысления в категориях определенных понятий» (Козеллек, 2014: 24). Одновременно во «Введении» к словарю специально оговаривается, что в исследовании «не планировалось создание обоснованной лингвистически политической семантики» (Там же: 25). Эти два замечания существенны для понимания того, что «лингвистический поворот» (linguistic turn) в гуманитарных науках второй половины XX в.⁴ — это поворот в сторону языка, но не лингвистики.

С самого начала центральное для Козеллека разграничение «понятий» и «простых слов»⁵ было подвергнуто критике со стороны лингвистов⁶. Спор о некорректности такого противопоставления⁷, как представляется, достаточно бессмыслен в силу того, что ведется с позиций различных областей науки, имеющих свой, отдельный предмет исследования (историческая реальность/язык). Однако точка пересечения интересов сформулированной Козеллеком концепции исторического

2. См.: Benveniste, 1966: 51. Русскоязычное издание: Бенвенист, 1974.

3. Brügner, Conze, Koselleck, 1972–1993. Русскоязычное издание избранных статей словаря: Зарецкий, Левинсон, Ширле, 2014.

4. См. о нем, в частности: Копосов, 2001: 284–295.

5. См.: Козеллек, 2006, 2014; Koselleck, 1997, 2002, 2004.

6. См., например: Lehmann, Richter, 1996; Nadeau, 2005.

7. См.: Lynne Murphy, Piazza, 2011.

времени и лингвистической науки все же имеется. Речь идет о том, что Козеллек обозначил как «тимпоральная структура понятия»⁸. При очевидно большой значимости этого термина (Козеллек неизменно возвращается к нему в монографиях разного времени) непосредственная его роль в конкретных анализах исторических концептов, насколько можно судить⁹, весьма ограничена, и понятие темпоральной структуры остается загадочным. И тем не менее важно не сводить это понятие к своего рода метафорической номинации модели линейного времени.

Козеллек различает событийное время (time of events), которое не входит в противоречие с линейным представлением, и то, собственно историческое время, которое не совпадает с хронологическим. Это специфическое временное измерение присуще «структурам долгой длительности» (long-term structures): «Все события основываются на предзаданных структурах, ставших частью связанных с ними событий, но существовавших до этих событий — в смысле, отличном от хронологического следования»¹⁰ (Koselleck, 2002: 124). Однако это не означает, что «событийное время» может быть объяснено через ссылку к названным «структурам». «Я имею в виду, — разъясняет далее Козеллек, — что события никогда не могут быть исчерпывающе объяснены умозрительными структурами, как и структуры не могут быть объяснены только событиями. Здесь имеет место эпистемологическая апория между этими двумя уровнями: ничто невозможно полностью перевести с одного уровня на другой»¹¹ (Там же: 125).

Итак, история измеряется событиями, события же представляют собой микроструктуры, опирающиеся на хронологию (before- and after-structures). Эти микроструктуры, однако, не существуют отдельно от глубинных «структур долгой длительности» и представляют собой частные варианты их реализации. «Структуры долгой длительности» измеряются не хронологическим, а иным временем, которым, по Козеллеку, и является собственно историческое время, дающее понимание исторических событий и позволяющих прогнозировать их структурные черты (см.: Koselleck, 2004).

Сущность этих темпоральных структур (структур, содержащих в себе историческое время) Козеллек описывает в «двуих категориях истории», которые он называет «область опыта» и «горизонт ожидания». Козеллек подробно объясняет оба термина, подчеркивая, что в отношении «опыта» речь идет именно о «пространстве», а в отношении «ожидания» — о «горизонте», но не наоборот.

8. Вопрос о возможности осмыслиения этого термина в отношении лингвистической теории концептов был поднят в докладе О.Г. Ревзиной «Тимпоральная структура концепта» (Институт языкоznания РАН, февраль 2013 г.). См.: Ревзина, 2013.

9. По русскому изданию «Словаря основных исторических понятий».

10. «All events are based on preexistent structures that become a part of the events concerned, but that existed before the events in a different way from the chronological sense of the before». Здесь и далее перевод мой.

11. «My proposition would be that events can never be fully explained by assumed structures, just structures cannot only be explained by events. There is an epistemological aporia involving the two levels so that one can never entirely deduce one thing from another».

Вот что пишет Козеллек об этой терминологии: «Время, как известно, осмысляется в пространственных метафорах, однако... присутствие прошлого отлично от присутствия будущего. Имеет смысл сказать, что опыт, основанный на прошлом, представляет собой некую область, где множество временных слоев присутствуют одновременно, вне хронологического распределения»¹² (Koselleck, 2004: 259). Прошлое, таким образом, это некая оконтуренная сущность, обладающая «временными слоями» и присутствующая в настоящем как повторенный и воспроизведенный опыт, который, как говорит Козеллек, «пропитан реальностью» (is drenched with reality).

Совсем иначе обстоит дело с «горизонтом ожидания». «Горизонт предстает как линия, за которой будет открыта новая область опыта, остающаяся пока что невидимой. Степень определенности будущего, несмотря на возможность прогнозирования, сталкивается с абсолютным пределом, поскольку [будущее] не может быть постигнуто эмпирически»¹³ (Koselleck, 2004: 260–261).

Такое представление о времени, характеризующем историческую событийность, обладает большим объяснительным потенциалом, что и находит применение в конкретных анализах, посвященных формированию «гражданского общества» во Франции, Англии и Германии, истории понятия «прогресса» и «Нового времени», определивших качественно новое отношение к истории. (см.: Koselleck, 2002, 2004). Единицами этого анализа являются «базовые исторические понятия», которые и представляют собой темпоральные структуры, обладающие «пространством опыта» и «горизонтом ожидания».

Историческая семантика

В этой логике рассуждения Козеллека опознаются исконно присущие языкоизнанию вопросы о содержании и причинах языковых изменений: «Изменчивость языка выступает всегда как его неоспоримое и весьма очевидное свойство. Его природа, однако, далеко не очевидна» (Кубрякова, 1970: 197). Козеллек пишет об историческом времени, однако лингвистическая событийность¹⁴ (языковая динамика) ставит перед лингвистом вопросы, аналогичные тем, какими задается историк: что такое событие (в данном случае событие лингвистическое), как происходит движение от прошлого к будущему и в какой степени оно прогнозируемо и т. д. «Язык, — пишет Э. Сепир, — движется во времени по своему собственному

12. «Time, as it is known, can only be expressed in spatial metaphors, but... the presence of the past is distinct from the presence of the future. It makes sense to say that experience based on the past is spatial since it is assembled into a totality, within which many layers of earlier times are simultaneously present, without, however, providing any indication of the before and after».

13. «The horizon is that line behind which a new space of experience will open, but which cannot yet be seen. The legibility of the future, despite possible prognoses confronts an absolute limit, for it cannot be experienced».

14. Ср. понятие «événement linguistique» (лингвистическое событие) Ж. Гийому. См.: Гийому, 2010; Guillaumou, 2006.

течению. Язык дрейфует. Если бы даже не было распадения языка на диалекты, если бы каждый язык продолжал существовать как прочное самодовлеющее цепное, он все же постоянно удалялся бы от какой-то определенной нормы... и постепенно превращаясь в язык, столь отличный от своей первоначальной сущности, что становился бы в действительности новым языком» (Сепир, 1993: 140). Изменения, происходящие в языке на уровне частных, индивидуальных отклонений от нормы, имеющих место в повседневной языковой практике, — явление неоспоримое, значимость которого, однако, не следует преувеличивать. Из понимания роли этих частных сдвигов «николько не следует, будто дрейф языка в целом может быть понят в результате исчерпывающего научного описания одних лишь индивидуальных вариаций речи, которые сами по себе — явления случайные, подобно волнам морским, ходящим назад и вперед в бесцельном движении. У языкового дрейфа есть свое направление. <...> Направление это может быть... выведено из прошлой истории языка» (Там же: 144). Можно с легкостью провести аналогию с микроструктурами (относящимися к хронологии) и long-term structures, о которых пишет Козеллек. Само же представление о темпоральной структуре (образуемой «областью опыта» и «горизонтом ожидания») также глубоко укоренено в мышлении о языковых изменениях: «...в нашем языке всегда есть какой-то „уклон“, изменения, которые должны произойти в языке в ближайшие столетия, в некотором смысле уже предвосхищаются в иных неясных тенденциях настоящего и... при окончательном осуществлении их они окажутся лишь продолжением тех изменений, которые уже совершились ранее» (Там же).

Новый (и судя по всему, нераскрытий) потенциал концепции Козеллека для лингвиста заключается в идее, что «основные исторические понятия», обладая темпоральной структурой, являются не только индикатором, но и фактором исторических событий¹⁵. Разумеется, понимание того, что «процесс созидания языка не исчерпывается его ответной перестройкой в связи с... прогрессом общества» (Кубрякова, 1970: 197), не является новым. Но в качестве альтернативы этой «ответной перестройке» языка («внешний» фактор) каждый раз называются такие («внутренние») факторы, как «усовершенствование языковой техники», «устранение противоречий в организации конкретных языков» (Там же) и др. Эти внутренние факторы изменений определяются так называемыми языковыми антиномиями — имманентными противоречиями в языке, создаваемыми оппозициями говорящего-слушающего, узуса-системы, кода-текста, асимметрии плана выражения и плана содержания, информационной и экспрессивной функций языка (Панов, 2007: 18–21). При всей неоспоримости реального действия этих факторов нельзя не признать, что они покрывают лишь малую часть «языкового дрейфа» — в основном связанную с фонетическим и морфологическим уровнями и почти совершенно не проливают свет на область семасиологических явлений (формирование языковых значений), о которых М. М. Покровский писал как о «более сложных

15. См.: Бёдекер, 2010.

(нежели эмпирически воспринимаемые фонетические изменения. — Г.Д.) и более субъективных явлениях в жизни каждого языка» (Покровский, 1959: 67). «Эти явления чрезвычайно сложны и, с первого взгляда, прихотливы, — отмечает Покровский. — Прежде всего нас иногда может поражать та масса значений, которую приобретают отдельные слова» (Там же: 73). Спектр значений, вырабатываемых словами с корнем *-общ-*, именно поражает и ставит перед вопросом: какие формы общего фиксируются в языке и создаются в нем?

Истоки «общности»: этимология и слова с корнем *-общ-* в языке XI–XVII вв. (по данным словарей)

Именно так ставится вопрос в обширной работе Д. Калугина: цель — «описать те формы „общего“, которые схватываются в языке и существуют на уровне практического словоупотребления» (Калугин, 2011: 307).

Для древнерусского периода называются следующие типы «общности»:

- 1) «мистическая „общность“, создающаяся через приобщение к Иисусу Христу... все исповедующие христианскую веру составляют „общность католической церкви“» — *koinonia tes katholikes ekklesias* (Там же: 308);
- 2) «набор практик „общения“, при помощи которых нейтрализуются социальные различия» (обще ти буди с ним хлеб твой) (Там же: 309);
- 3) в устойчивых сочетаниях: *общий владыка, общий враг, общая вера*;
- 4) «общность с исповедующими веру предполагает не-общность с нарушителями христовых заповедей» (Там же: 311).

Калугин отмечает, что «слова на „общ“ существуют главным образом в переведенной литературе» (Там же: 313) — речь идет, например, о кормчих книгах — тогда как «светские контексты связаны с политической жизнью: постановления князя, дипломатическая практика, имущественные отношения, правовые механизмы» (Там же: 312). При этом религиозный дискурс становится донором для формируемого политического дискурса: «Политическое противостояние мыслится через антитезу, заимствованную из религиозных текстов, — „общий бог“ vs „общий враг“» (Там же: 315). Нельзя не согласиться с этим прозрачным выводом, однако в соответствии с поставленной задачей — охватить формы общности, представленные в языке, — больший интерес представляет не механизм антитезы, а метафорическая номинация. В приводимом примере *Не дай Бог на поганые ездя, ся отреши: поганы есть всем нам общий ворог* (Там же: 314–315) устойчивое сочетание *общий ворог* (связанное с эвфемистическим приемом неназывания имени дьявола) как номинативная единица метафорически переносится на «поганых», которые концептуализируются как темная сила, нечисть. «Заимствованием» выражения из религиозного дискурса этот пример не исчерпывается. Важным представляется как раз то, что меняется в ходе этого переноса. В христианском мире «общий враг» — это враг всех христиан, т. е. содержание слова *общий* представляет собой константную единицу, не требующую толкования и не являющуюся ситуативно обусловленной.

Как только «общий враг» перестает означать исключительно дьявола, а трактуется исходя из ситуации — номинация *общий* приобретает предикативную функцию, называя качество, свойство общности-связи участников данной ситуации, происходит переход от вневременного к ситуативному, от неизменного — к варьирующемуся.

Более того — именно в этой «предрасположенности» семантики корня *-общ-* проявляться на временной оси или оставаться атемпоральной, судя по всему, и заложена чрезвычайная подвижность и неустойчивость вырабатываемых языком типов «общности», его высокая степень смысловой продуктивности. Это наблюдение косвенно подтверждается данными этимологии, точнее, вариантами ее истолкования.

Старославянское *общество* восходит к праславянской основе **общътъ* (Фасмер, 2003, III: 110), истолковываемой исходя из семантики предлога-приставки *o(b)*-: «то, что вокруг» (там же), «распространенный вокруг, окрестный» (Черных, 2004: 589). Если усматривать в качестве основы **obi* («вокруг», ср. диалектн. *облы́й* — круглый), то слово можно толковать как «круглая деревня», «принадлежащий круглой деревне», ее «поселению» (Цыганенко, 1989: 269). Возможно и другое членение: **ob-ь-ti-tj-o*, где *ob* — приставка, *ti* — глагольный показатель, а корень — **ь < i < ei* (тот же, что и в глаголе *идти*). Поэтому значение может быть сформулировано как «то, что обошли вокруг» (Там же).

Разница между этими интерпретациями в наличии (вторая трактовка) или отсутствии (первая трактовка) в толковании временного параметра. При этом толкование, акцентирующее идею перемещения в пространстве (ср. многозначность приставки-предлога *ob-* (Фасмер, 2003, III: 96)), представляется более точным, учитывая роль пространственных аналогий в концептуализации идеи времени в языке.

В древнерусский период (XI–XV вв.) общество входит в обширное словообразовательное гнездо, представленное разными частями речи. Глагол: *общатися, общитися, общевати, общеватися, общетворити*. Прилагательное: *общии (общии), общыни, общепользныи*. Наречие: *обще (обще), общине, общи́не, общы́но* (из кр.ф. ср.р. прил.). Большая часть дериватов приходится на имя существительное. Здесь можно выделять номинации человека — *общеживыи, общежитель, общеначальникъ, общникъ, общница, общехранильница, общетрапезынъ*, действия — *общение, общашение, общевание*, качества, признака — *община, общежитие, общеполезье*. Ср.: *что бо общины земли к небеси*. Слово *общество* имеет значительно меньшее число контекстов и, судя по всему, синонимично слову *община*, обозначая связь, отношение к чему-либо (*и общества ихъ не отлучися, и так быти обществу божью к нам*).

На основе примеров (Срезневский, 1911; СДРЯ XI–XIV, 1988–2004) можно выделять следующие значения корня *-общ-*:

- 1) соединение через участие в одной ситуации (*не обищникъ боуди трапезель ихъ; обищникъ есть нечътивымъ, гръху мълчаниемъ обищници бывають, земля наша, а животине ходити опче*);
- 2) метонимия часть—целое (*вбъщница твоѧ и жена завътъ твоего, позна свя-таго духа, обищующу отицу и сыну*);
- 3) соединение через наличие общего объекта, признака (*обищтааго въсъхъ вра-га; хълъб обищеваныи*);
- 4) отношение «человек + человек» (*въ царьстиии вбъщника приать брата сво-его, вбъщник же другъ друга будевъ, страньника любите и своюи трапезъ обищни-ка и створи*);
- 5) через говорение (*юму же и обищевавъся въ всъхъ; обищающихъся ѹ мола-ицихъся съ юретики*).

Во всех выделенных типах представлена узуальная (атемпоральная) семантика. Привнесение временного компонента может быть связано с осмыслением длительности процесса: *Съставляется община. Или доныде же живи суть общившиеся, или до времене* («Составляется <общий> договор, соединяющий <участников> пожизненно или до определенного момента»).

Однако временная локализованность, судя по всему, проявляется, только когда глагол *обищевати* выступает в качестве глагола речи: *Ему же и обищевавъся о всех* («додложил, сообщил, сказал»).

Итак, одно возможное направление семантических сдвигов в словах с корнем *-общ-* связано с временным параметром. Другое направление — актуализация идеи состава общности и экспликация отношений, входящих в этот состав. Это может быть конкретное называние «участников» (*обще празнованье небесных и земных силъ*) или генерализация (*съставляеться общение написаное и ненаписаное межю двема и межю болиими, внегда кождо ею равным*) — универсальные семантические составляющие: а) общность образуется при количестве участников > 1 ; б) отношения участников — это отношения равенства. Третья возможность (о которой уже шла речь выше) — функция замещения имени (участники — константная единица): *общий учитель, общий судья, общий враг, общее воскресенье*.

Неконкретизация состава общности может сопровождаться представлением общности как нечленимой единицы, противопоставленной другой единице. Это оппозиция «свой — чужой»: *Аще братъя общенья ради насле(д)я ро(д)тель не раз-делятъ не творятъ въ общия же от вънешнихъ притяжаша* («Если братъя ради общины откажутся <в мирु> от наследства родительского, общине не иметь на него притязаний, не нужно делать общим то, что приходит извне»). Понятие «кру-га своих» Ильин называет одной из основных «когнитивных схем», входящих в смысловую структуру слова *общество*. Выделяются следующие когнитивные схе-мы (Ильин, 1997: 144):

язык, речь, слово
связь, соединение

*общение-обмен
движение вместе, следование и наследование
свои, наши
все вместе*

Представляется более точным считать, что названное — проявление одной когнитивной схемы (если под ней понимать буквально образ мыслительного начертания) — схемы круга. Выделение в круг тех, кто говорит на одном языке, находится в одном месте и т. д., — смысловые траектории, «заполняющие» этот круг. Схема круга подразумевает наличие точки зрения, с которой осуществляется выделение «круга», иначе говоря, здесь потенциально присутствует позиция наблюдателя, которая может быть актуализована. Для XV века словарями фиксируется прилагательное *общийшии* («самый общий, главный») (СРЯ XI–XVII, 1975–2006: 193). Превосходную степень можно толковать через понятие множества: «относящийся к возможно большому числу людей», это круг, охватывающий максимально большее количество людей, то есть максимально большой круг. Эта форма (*общийшии*) явственно указывает на субъектно-объектную структуру: кто очерчивает круг и то, что подвергается очерчиванию. Не случайно Н. Копосов пишет о «возникновении общества из логики пространства»: «Первым когнитивным носителем идеи общества выступало не слово, но образ подлежащего эмпирическому упорядочению множества» (Копосов, 2001: 142).

Структура «представления» и способы ее трансформации

Наблюдая подобную когнитивную (мыслительную) структуру значения слова, нельзя не вспомнить о глубоком и точном наблюдении А. А. Потебни: «Знак в слове есть замена соответствующего образа или понятия; он есть представитель того или другого в текущих делах мысли, а потому называется представлением» (Потебня, 1958: 18). Представление — это «основание сравнения в слове» (Там же: 19), оно «составляет стихию возникающего слова» (Там же). Не все слова обладают представлениями — у слова «рыба», пишет А. А. Потебня, «значение имеет только звук» (Там же).

Структура представления может быть полной или неполной. Вышеописанное слово обладает неполной структурой представления (субъектно-объектные позиции не актуализированы). Полная структура имеет место, когда позиция наблюдателя заполнена или не требует заполнения. В первом случае речь идет о сложных словах, одной из частей которых являются глагольные лексемы (деепричастия): *Спась бо нашъ... иже тържъникомъ сръбро расыпа и црквь обищетворица изгѣна* (XII в.). «Обищетворить церковь» — обращать церковь в место не только для сакрального, но и для «всего вообще», «всего остального». Глагол *творити* имеет валентность на субъект действия, которая заполняется контекстуально — субстантивация *общетворяще* (кто).

Второй тип (полной структуры представления) — также сложные слова, имеющие в своей структуре лексему, обозначающую действие, но субъект действия является константным и поэтому не требует называния: *общедательный долгъ* («данный Богом»).

Слово общество обладает неполной структурой представления. Она может контекстуально достраиваться до полной через инклюзивность: *И так быти обществу божью к нам* (XIV в.) — «в круг, очерчиваемый Богом, входим и мы, приобщаемся к его миру». Или через «третьеличность», то есть когда «круг общества» — это «они», на которых указываю «я»: *Съгрѣшиши к тобѣ брат твои иди обличи его... и обещаства ихъ не отлучися* (XIV в.). Этот второй способ делает возможным переход от «общество кого» к «обществу»: *Сия же писах къ высоте крѣпкаго и честуемаго царствия твоего, надѣявъся въ милость его и в дарованную ему от бога благоразумную мудрость, ею же кротко услышит всѣхъ могущихъ съвѣтовати, что полезно обществу и времени пристоящему* (XVI в.) (СРЯ XI–XVII, 1975–2006: 194). Этот пример показывает метонимический перенос часть—целое «общество людей» — «общество», что делает возможным позицию актанта (ср.: «общество считает полезным»).

Таким образом, динамика семантических преобразований заложена в неполных представлениях. Это легко увидеть, если расположить выделенные параметры в виде таблицы, отмечая характерность (+) или нехарактерность (–) того или иного признака двум видам представлений слова *общество*.

Таблица 1

Представление	полное	неполное
Хар-ки сем. структуры		
состав	+	–
временная локализованность	–	–
инклюзивность	–	+
третьеличность	–	+
семантический субъект действия	–	+

При этом современные употребления типа «общество имеет право законодательно ограничивать экономические и гражданские свободы» (НКРЯ) развиваются из неполных представлений, достроенных до полных через третьеличность:

Таблица 2

полное	неполное представление	
	инклюзивность	третьеличность
		семантический субъект действия

Трансформация представления на словообразовательном уровне

Это направление семантического развития (неполное представление—третьеличность) обнаруживает свою продуктивность и через словообразование. Входящее в частое употребление в последней трети XVIII в. слово *сообщество*¹⁶ — это, судя по всему, неполное представление слова *общество*, достроенное до полного через третьеличность — иными словами, отличие *сообщества* от *общества* в отстраненной позиции наблюдателя («они»), тогда как *общество* может приобретать и включенную точку зрения (инклузивность, «мы»). Это, впрочем, только гипотеза, объясняющая, однако, употребление этих двух слов одним автором в одном относительно небольшом по объему фрагменте текста и, таким образом, осуществляющим выбор между этими словами. Ср. в одном письме из «Почты духов» И. А. Крылова:

- 1) «Человек, живущий в свете, против воле своей познает их (людей) пороки. И самые те, которые, будучи удалены от *их сообщества*, не перестают ощущать ее действий».
- 2) «Плутарез кормил всех очень обильно; веселье в *обществе нашем* умножалось».
- 3) «Что ж делать, такое здесь заведено обхождение; притворство почитается теснейшим узлом всех здешних *сообществ*».
- 4) «С сожалением вижу, что поверхность обитаемого земного шара удручается множеством таких людей, коих бытие как для них самих, так и для *общества* совершенно бесполезно».

Примеры 1 и 3 явственно указывают на третьеличность, что подчеркивается лексически («их») и содержательно («здешних» — то есть сам говорящий не принадлежит этому миру). В примере 2, напротив, слово *общество* достроено до полноты представления через инклузивность («наше»), а в примере 4 — через третьеличность (теоретически могло быть заменено словом *сообщество*¹⁷).

По отношению к слову *общество* справедлива характеристика немецкого *Ge-sellschaft*:

«Означает это слово в общем случае некую созданную речью (языком) и действием связь между людьми, совокупность... совместно действующих индивидов, и одновременно — состояние связанности, сами узы... Таким образом, слово это заключает в себе сразу два смысла: воплощение актуально-социальной деятельности и социальную схему деятельности (примеры: семья, государство, предприятие, школа), которая исторически актуализируется в институтах, объединениях и так далее» (Ридель, 2014: 221).

16. К периоду последней трети XVIII в. относятся большое количество префиксальных образований: *приобщение*, *приобщникъ*, *сприобщать*, *сообщать(ся)*, *сообщительный*, *общество*, *сообщник*, *сообщнический*, *сообщный* (САР, 1789–1794: 602–606).

17. Предпочтение слова *общество* как менее определенного и, соответственно, вбирающего в себя наибольшее количество «ситуаций» больше отвечает контексту — речь идет о совместной жизни людей на Земле, без конкретизации — каких групп людей, где именно и т. д.

Социально-политическое значение слова *общество*

Выше было показано, что слова с корнем *-общ-* обладают представлением (в терминологии А. А. Потебни), которое может быть полным (заявлена позиция наблюдателя) или неполным. Слово *общество* характеризуется неполным представлением, и этим определяется динамический потенциал его семантики — большинство выделенных в таблице 1 характеристик получают положительную маркировку (+). Преодоление неполной структуры представления происходит через инклузивность («я» внутри схемы круга «общество»), и в этом случае происходит актуализация состава общества. Другой способ достраивания до полноты структуры представления — реализация позиции наблюдателя через третьичность («я» вне схемы круга «общество»). Актуализации состава при этом не происходит (поэтому признаку неполноты не преодолевается), однако слово получает возможность занимать позицию актора пропозиции — т. е. приходит к современному типу употреблений (*общество + Praed.*) Как полному, так и неполному представлению присуща времененная нелокализованность (таблица 1). Это означает, что каждый вновь очерченный круг «общности» мыслится как неизменный во времени (изменения приводят к очерчиванию иного, нового круга).

Итак:

Правило 1. Семантическая динамика слова общество состоит в тенденции преодоления неполноты представления посредством третьичности, при этом актуализации состава общности не происходит, а свойство временной нелокализованности остается неизменным.

Здесь мы сталкиваемся со специфическим характером отношений множества и тождества, представленных в исследуемом слове. Поскольку даже с преодолением неполноты структуры представления актуализации состава общности не происходит, множество, составляющее его, не поддается определению, а временная нелокализованность не позволяет произвести акт референции, состоящий в установлении тождества между «именем» и «вещью». Вероятно, именно на это явление и указывал Козеллек, настаивая на принципиальном различии «понятий» и «простых слов». Историк Н. Копосов, комментируя это положение Козеллека, говорит о «логическом своеобразии основных исторических понятий» (Копосов, 2005: 58) и соглашается в том, что «в исторических понятиях деформируется нормальная семантическая структура, основанная на лингвистической триаде, различающей слова, понятия и вещи» (Там же: 56). Филолог Б. Маслов считает, впрочем, что «специфика функционирования именно социально-политических понятий остается... недоказанной гипотезой» (Маслов, 2012: 345). Недоказанность (и, возможно, недоказуемость) этой гипотезы, как представляется, обусловлена тем, что вопрос выходит за пределы лингвистической науки и формулируется в философском ключе: «Мы должны помыслить множество, которое не является одним в принятом смысле слова, но которое мы размечаем как одно и которое не является

множеством в том смысле, что мы в действительности... не можем пересчитать то, что оно «содержит» (Касториадис, 2003: 422).

Так становятся возможны конструкции, характерные для публицистики второй половины XVIII в.: *Третий чин — душа общества, ослабление общества, страждущее общество, мысли общества, себе и обществу, служу обществу* и т. п.

Дж. Лакофф раскрывает механизм функционирования подобных конструкций исходя из понятия «великой цепи бытия» — иерархической структуры понятий, где каждый следующий уровень концептуализируется в терминах предыдущего (так, человеческие свойства могут быть описаны через метафоры, связанные с животным миром). Над уровнем «человек» надстраиваются следующие два: уровень общества, уровень Вселенной. Ср., например *общество* в конструкции: *Закон естественной обороны, необходимый для существования всех земных тварей и гражданских обществ* (1819 г.). «Мы говорим о „справедливом обществе“, „миролюбивой нации“ и „злой империи“, как если бы им были присущи человеческие качества»¹⁸ (Lakoff, 1989: 204). Уровень ‘человек’ выступает как область-донор (source domain) для концептуализации сущности «общества»: как и у человека, у общества есть «душа», как человек, оно может «мыслить», «ослабевать», «страдать» и т. д. Кроме того, ему можно «служить», можно противопоставлять «себя» и «общество» — как отличного от себя человеческого существа. «И от того, как мы представляем себе их (общества, нации, государства. — Г. Д.) поведение, — пишет далее Лакофф, — зависит то, какие черты мы будем им приписывать. Мы можем понимать их в терминах форм жизни, присущих предыдущим звеньям Великой цепи бытия»¹⁹ (Там же). Из этого следует чрезвычайно важное свойство этого уровня: «Метафора Великой цепи бытия не столько служит для характеристики уровней, сколько создает их»²⁰ (Там же). Это означает, что слово *общество* не *приобретает* социально-политическое значение, а *вырабатывает* его — через презентации своих смыслов в языке. Это происходит по сформулированному правилу (см. правило 1).

Общество в толковых словарях XVIII–XIX вв.

Как справедливо отмечает Козеллек, словари отражают «долговечную» семантику (Козеллек, 2010: 32), иначе говоря — семантику накопленную — поэтому информация в толковом словаре всегда обращена «вспять» и предоставляет сведения о предшествующем (относительно дате проявления словаря) периоде.

18. «We speak about a „just society“, a „peace-loving nation“, and the „evil empire“, as if they had the equivalent of human character attributes».

19. «And how we understand them as behaving, — пишет далее Дж. Лакофф, — depends upon what traits we see them as having. We can understand them in terms of lower-order forms of being via the GREAT CHAIN METAPHOR».

20. «The GREAT CHAIN METAPHOR operates not merely to characterize the nature of these levels but in fact to create them».

В первом издании Словаря Академии Российской (1789–1794) первое значение слова *общество* — «народ под одними законами, под известными уставами, правилами, купно живущий» (САР, 1789–1794: 601). Формулировка как будто бы эксплицирует социально-политическую семантику слова, однако наряду с употреблениями типа «жить в обществе», «человек рожден для общества», «человек обязан быть полезным обществу» присутствует и наречное значение: «обществом защищаться от неприятелей» (Там же). Этот пример говорит о том, что переход к социально-политической семантике еще только потенциально возможен. Другая возможность спецификации значения — сословная и профессиональная конкретизация, что и отразилось во втором значении слова *общество*: «сословие людей, собрание многих лиц, имеющих в виду одинаковое намерение и тот же предмет» (Там же). Ср. такие примеры: общество ученых мужей, купеческое общество, общество промышленников (Там же).

В «Словаре церковно-славянского и русского языка» (1847) второе значение дословно воспроизводится, а в первое вносятся существенные изменения. Общество — это «собрание людей, живущих под одними правилами, или законами» (СЦСРЯ, 1847: 79). Здесь слово *народ*, несущее в себе этнический компонент и тем самым имплицитно называющее критерий «общности», заменяется нейтральным *люди*, и, таким образом, основания объединения в «общество» — это *законы*, или *правила*. Устранено пояснение «купно живущий», т. е. элиминирован параметр «состав», «общество» представляется как целостная единица, как «множество, размеченное как одно», по выражению К. Кастроидиса.

То, что «вырабатывание» значения, выступающего в роли социально-политического, нелинейный и градуальный процесс, можно видеть на примере более поздней дефиниции, относящейся ко второй половине XIX в. — в словаре И. Даля (1866). *Общество* — «это собрание людей, товарищески, братски связанных какими-либо общими условиями» (Даль, 1866: 1626). Здесь происходит характерное для семантики корня *-общ-* расширение круга — критерии составления общества не являются строго установленными (законами и правилами), напротив, эти критерии составляет то, что в наибольшей степени подвержено динамике, — отношения между людьми. В этой же дефиниции далее происходит спецификация понятия — как мы уже видели, это может происходить за счет актуализации состава общности. Так, *гражданское общество* составляют «граждане одного государства», но одновременно и «граждане одной местности», «все невоенное». В зависимости от «состава» очерчиваются различные круги «общество»: «дворянское, купеческое общества составляют части гражданского общества» (Там же). Наряду с профессиональной конкретизацией (*общество портных, сапожников*) сословная номинация «крестьянское общество» терминологизируется: «собрание всех домохозяев, кому на миру, на сходке дано право голоса» (Там же).

Однако интересным представляется как раз вопрос о том, как и почему слово *общество* сначала становится принадлежностью «языка оппозиции» (Павел I в 1797 году запрещает употребление этого слова как революционного), а затем ста-

новится неотъемлемым понятием политического словаря (например, в проектах декабристов).

Общество в конституционных проектах и переводах первой трети XVIII века

На первый взгляд кажется очевидным тот посыл, что понятие об обществе формируется в ситуации противостояния (отдельных личностей или дворянских группировок) самодержавию. Власть реагирует запретом оппозиции — т. е. запретом самого слова. Историки выделяют два значимых периода в этом противостоянии на протяжении XVIII века: послепетровское междуцарствие, завершившееся воцарением Анны Иоанновны на «кондициях» — пунктах, ограничивающих ее власть (1730); и екатерининский период — труды М. М. Щербатова, политические проекты Н. И. Панина и Д. И. Фонвизина. Необходимо подчеркнуть, что при такой фокусировке исследовательской оптики вопрос об истории слова и понятия *общество* не стоит. Здесь речь идет о степени реализации амбиций конкретных лиц (Д. М. Голицына, В. Н. Татищева, М. М. Щербатова и др.) в отношении политического устройства России. Исторический подход объясняет, почему Павел I запретил оппозицию, но не проливает свет на вопрос о том, почему в этой истории оказалось «замешано» именно слово *общество*.

Анализу непосредственно текстов дворянских проектов 1730 года посвящено относительно мало исследований. Один из самых подробных текстологических анализов принадлежит историку Г. И. Протасову. Восстановливая в деталях последовательность создания конкретных документов и сравнивая их содержание, исследователь резюмирует: «В дворянских проектах „общество“ фигурирует как орган государственной власти с определенными функциями как одно из важнейших нововведений в проектировавшейся форме правления» (Протасов, 1971: 68). Такой вывод для лингвиста не может не показаться поспешным: представляя историю этого слова и свойственную ему в первой половине XVIII в. сочетаемость (изолированная позиция без зависимых слов — явление еще достаточно редкое, тогда как преобладает наречная функция), трудно поверить, что слово неожиданно до такой степени «эмансипировалось» и стало именем государственного института. Однако особая роль этого слова в «дворянских проектах» очевидна. Следует лишь отнестись более критично к конкретным употреблениям этого слова.

В таблице в сокращенном виде представлены тексты трех основных проектов²¹.

21. Тексты приведены по изданию: Кашпирев, 1871. В современном издании см. книгу: Курукин, Плотников, 2010.

Таблица 3

Первый проект	<p>Сего Февраля 7 дня, при собрании в Верховном Тайном Совете военного и статского генералитета, по прочтении присланных от Ея Величества Государыни Императрицы за подписанием Ея пунктов объявлено, от Верховного Тайного Совета: ежели кто что может изобрести к лучшей пользе государству и обществу не для собственных интересов.... посоветовать по совести, предъявили б; и потому... предъявляем следующее: 1) в начале учредить вышине правительство в 21 персоне; 2) дабы оного вышнаго суда правительства множеством дел не отягчать, того ради для отправления промтых дел учинить сенат в 11 персонах <...> 5) в важных государственных делах так же, и что потребно будет впредь сочинить в дополнение уставов, принадлежащих к государственному правительству, оные сочинить и утверждать вышнему правительству и сенату, генералитету и шляхетству общим советом <...></p> <p>У сего 330 рук приложено, в том числе <подписи></p>
Второй проект	<p>Сего февраля в (*) день, при собрании Тайного Верховного Совета, по прочтении присланных от Ея Императорского Величества за подписанием руки Ея Величества пунктов, от Верховного Тайного Совета объявлено: ежели кто может изобрести к лучшей пользе отечеству объявili бы; и потому объявленю, что могли изобрести по совести, предлагаем следующее: 1) к Верховному Тайному Совету, к настоящим персонам мнится прибавить, чтоб с прежними было 16-ть персон, понеже для важных дел призвано будет общество... 2) а ныне к Верховному Тайному Совету в прибавок и впредь на ваканции выбирать обществом, чтоб было в собрании не меньше ста персон, а именно генералитету военного и статского и шляхетства <...> 5) в коллежские вице-президенты и воеводы и прочие гражданские чины выбирать и балатировать обществом <...> 10) что потребно впредь сочинить в дополнение уставов принадлежащих к государственному правительству, или какие дела касается будут к государству общей пользе, оные сочинить и утверждать верховному правительству и шляхетству общем совету.</p> <p>У сего (25)</p>
Третий проект	<p>Ныне обществом сочиняется:</p> <p>Сенату быть в 30-ти персонах, Государыне президентствовать и иметь три голоса, а Верховному Тайному Совету не быть.</p> <p>Для дел малейших отлучить с переменою по годно 10 человек, а в государственных делах сообщаться всем.</p> <p><...></p> <p>На убыльные места в сенат в члены, и в коллегии в президенты и в губернаторы, выбирать обществом балатированием; а сенату к выборам не вступаться.</p> <p>Впредь что потребно к исправлению и к пользе государственной явится, сочинить сейму и утвердить обществом.</p>

Поскольку все эти три текста создавались фактически одновременно, справедливо считать, что все представленные в них конструкции со словом *общество* проявляют те из его семантических возможностей, какие оказываются востребованы в этот период. Всего можно выделить четыре типа конструкций:

- государство & общество vs отечество
- призвано будет общество
- выбирать обществом
- обществом сочиняется

Для типа (c) синонимичными являются следующие конструкции со словами того же корня: *в делах государственных сообщаться всем, утверждать общим советом*.

В случаях (a) и (b) представление достроено через третье лицо («я» вне круга «общество»): не актуализован состав общности, оно выступает как целостная (сплошная) единица. Это проявляется в синтагматических и структурных ха-

рактеристиках. В примере (а) представлена дистрибуция: *общество* появляется в качестве второго компонента в сложной номинации *государство и общество* (первый проект). Во втором проекте изменение предложения — «к лучшей пользе отечеству» снимает необходимость употребления слова *общество* (#к лучшей пользе отечеству и обществу). Слово *отечество* реализует другую схему, подразумевающую включение «я» в то, что названо этим словом — на это указывает и внутренняя форма (*отец* — эта номинация реализуется в отношении кого-то). Поэтому *общество* (третьесличность, «я» вне схемы круга) в такой конструкции невозможно.

Конструкция из примера (б) — результат диатетического сдвига: семантической роли пациента соответствует синтаксическая позиция субъекта действия. При этом агент из ситуации устраняется (ср. прототипическая ситуация: «Х призывает общество»), образуя так называемый «безагенсный пассив» (Падучева, 2004: 61). В.А. Плунгян называет такие конструкции «поникающей актантной деривацией», при которой «каузатор утрачивает актантный статус» и «у декаузативной ситуации на одного участника меньше» (Там же). Это одновременно означает и повышение коммуникативного ранга пациента — «общество» мыслится как нерасчлененное множество, «соборное лицо». Из контекста понятно, что речь идет о призывае чего-то наподобие «исполнительной комиссии», которую, конечно, составляют конкретные люди, но важным оказывается не это, а целостное, «соборное» действие этого объединения.

Диатетический сдвиг имеет место и в примере (д): субъект действия представлен в виде агентивного дополнения (*обществом*). Формально эта конструкция сближается с примером (с), где семантическую валентность следует понимать, скорее, как инструмент: «обществом», т. е. «всем вместе». Действия *выбирать* или *утверждать обществом* возможны, только если каждый «участник общности» произведет названное действие. О том, что в случае (с) речь идет именно о единении конкретных лиц, а не о действии «соборного лица», косвенно говорит и тот факт, что под каждым проектом стоят подписи конкретных участников такой «общности» («У сего 25»). В примере (д), однако, ситуация не столь однозначна. Если конструкция типа «выбирать обществом» не может быть трансформирована без изменения смысла в конструкцию с прямой диатезой («общество выбирает»), то конструкция «обществом сочиняется» такую трансформацию допускает. Глагол *сочинять* здесь означает «устанавливать, определять, назначать» (СЦРЯ, IV, 1847: 196) и выступает, в сущности, как перформатив («высказывание, эквивалентное действию, поступку» (Арутюнова, 1990)), и поэтому называемое им действие не складывается из суммы действий «участников общности». Соответственно, перформативный акт может быть приписан коллективному лицу. Появление слова *общество* в подобной конструкции в позиции агентивного дополнения — знак того, что смысловой потенциал слова раскрывается в сторону реализации валентности субъекта. «Важнейшая особенность человеческого языка заключается в том, что семантическая и синтаксическая сочетаемость слов в большей степени согла-

сованы. Это значит, что если у лексемы есть participeant X, то с очень высокой вероятностью у нее будет и синтаксическая валентность X» (Тестелец, 2001: 163). Это замечание может быть «повернуто» и в обратную сторону: заполнение синтаксической валентности X в конструкции с косвенной диатезой фактически делает возможным конструкцию с прямой диатезой, где X занимает синтаксическую позицию субъекта, являясь агенсом соответствующей ситуации. Иначе говоря, от конструкции «обществом решается» до «общество решает» — буквально один шаг.

В конституционных проектах 1730 года слово *общество* с очевидностью «проявило себя» как способное выражать разные оттенки смысла для называния регулирующего механизма власти «рычага» (*государство и общество* — две равнозначные силы). Речь не идет о том, что это слово выражает понятие о социальном (считать так нет никаких оснований), поэтому не следовало бы делать вывод, что в дворянских проектах 1730 года слово *общество* впервые выступает как социально-политический термин. Те структурно-синтаксические сдвиги, о которых шла речь выше, сделали возможным раскрытие потенциала семантики этого слова русского языка. То, что именно оно стало термином социально-политического лексикона, — следствие, в сущности, достаточно непрогнозируемое.

На протяжении всей первой половины XVIII в. для передачи западного понятия об обществе использовались многочисленные фонетические варианты калькирования: *социетас* (1718), *социетет* (1724), *социете* (1728), *сосиетет* (1732), *социетат* (1738), *сосиета* (1747), *сосиете* (1748) (Биржакова, Войнова, Кутина, 1972). Это, с одной стороны, говорит о том, что перевод этого концепта средствами русской лексической системы оказался невозможным, а с другой стороны, с очевидностью показывает нежизнеспособность этих сменяющих друг друга вариантов. «Приобщение» слова *общество* к социально-политическому понятийному аппарату — результат осмыслиения его семантики в этом ключе. Здесь высока роль отдельной языковой личности.

Известно, что ведущая роль в составлении «кондиций» принадлежит Д. М. Голицыну. Г. И. Протасовым доказано, что так называемый «проект общества» составляется одновременно с составлением «кондиций» (в отличие от многочисленных последовавших после объявления кондиций «шляхетских проектов»). То есть все эти тексты синхронны относительно языковой ситуации первой трети XVIII века и создаются людьми приблизительно одного языкового сознания (государственные чиновники из дворян). Известно также, что Голицын на протяжении долгого периода своей жизни обдумывал проект ограничения самодержавия, а непосредственно перед событиями января 1730 г. перевел на русский язык Локка (перевод выполнен с фр. варианта «*Du gouvernement civil*») «О гражданском правлении», а также написал предисловие к переводу («Ведомость»)²². Судя по опубликованным в работах исследователей отрывкам из этого текста, не только у слова *общество* не было терминологического значения, но оно выступало лишь как

22. См.: Польской, 2002.

один из вариантов перевода *société*. Наличие других слов (*собрание, гражданство*) говорит о необходимости прояснения термина через внутреннюю форму русского слова, что и ощущал переводчик. Ср. следующие варианты:

- а) «люди **собралися в одно собрание или общество**, своею волею, ради своей лучшей выгоды... ради того написали себе законы общим согласием»;
- б) «иные пишут, что люди **собравшиеся в общество**, своевольно, и ради своей лучшей выгоды и жития покойного...»;
- с) «всяк писал по состоянию своей земли, или кто в каком **гражданстве** жил; господин Лок... предполагает о гражданстве свое разсуждение... и показует начало и основание **гражданства**» (Цит. по.: Польской, 2002).

В случае (а) выбор однокоренных слов (*собралися в собрание*) говорит о необходимости акцентировать внимание на идее добровольного, активного начала (на языке XI–XV вв. можно было бы сказать *общевались в общество*). Одновременно устанавливается синонимическая связь (*собрание или общество*) — идея «общего согласия», очевидно, представляется важной, и она не прочитывается в слове *собрание*. Поэтому в примере (б) — конструкция, соединяющая оба эти элемента (воление, равенство).

В третьем случае (с) понятие общества «подается» через правовую семантику, и здесь ближе оказывается слово *гражданство*. Общество обозначалось словом *гражданство* (в последней трети XVIII века употребляется параллельно слову *общество*, постепенно уступает ему в частотности и уходит к началу XIX века)²³. На этом этапе *гражданство* оказывалось более прозрачным термином для обозначения «общества», под которым понималась совокупность *граждан-подданных*.

Стабилизация ситуации подобной лексической вариативности происходит во второй половине XVIII в. Так, например, в радищевском переводе с французского книги Мабли всем случаям употребления слова *société* соответствует *общество*, покрывающее также контексты с фр. *publique, assemblée, сотни таутé*. При этом рассмотренные выше тексты проектов 1730 года остаются единственными «представителями» — назовем ее — официальной оси политического дискурса. И хотя они составлялись не монархом и никогда не получили легалистского статуса, создавались эти тексты именно с позиций официального, регламентирующего политического начала. В этой связи интересно заметить, что следующий такой этап наступает не раньше первой трети XIX века — вместе с проектом «Русской правды» П. И. Пестеля (1825), тогда как семантические процессы, подготовившие возможность выражения словом *общество* социально-политического понятия, происходили всецело в «неофициальном дискурсе» второй половины XVIII века. В этом плане государственные акты (синхронные во времени «Русской правде»)

23. Отдельные замечания об этом см. в: Веселитский, 1968: 38; Тимофеев, 2011: 78–79. Выводы о статистике по материалам НКРЯ. Ср., напр.: «Во всяком первоначальном гражданстве правительство примечается весьма слабым и не имеющим довольныя власти к восстановлению благоучреждений в обществе...» (Третьяков, 1772).

обнаруживают архаическую терминологическую систему, и слово общество в них не встречается.

Société и общество в «Наказе» Екатерины II

Едва ли не уникальным примером официального государственного документа, в котором широко используется слово общество, является «Наказ» Екатерины II (1762).

«Наказ» — один из самых изученных документов²⁴. Для целей нашего анализа роль этого текста можно сформулировать в виде нескольких пунктов: 1) «Наказ» — политическая программа Екатерины II, отражающая ее видение государственного устройства России; 2) автор «Наказа» — лицо, обладающее высочайшим социальным престижем: это слова не философа (как, например, тексты Монтескье в философско-политическом дискурсе во Франции), но монарха; 3) хотя документ не стал легитимным (это не свод законов), он получил широкое распространение (через публичное зачитывание текста в правительственные учреждениях); 4) при переводе французских социально-политических терминов Екатерина II использовала языковые стратегии, отвечающие ее замыслу (первоначальный черновой вариант текста писался по-французски и состоял из компиляций, в большей степени, текста Монтескье «О духе законов»²⁵).

Как было показано выше, семантика русского слова *общество* предельно широка («общность») и в высшей степени динамична. В словаре языка XVIII века *общество* — это прежде всего «всеобщность», «совокупность» (ср.: *человеческое общество*, *общество священников*). Именно контексты с этим словом обнаруживают наименьшую степень корреляции между русским и французскими текстами. Показательно, что для русских контекстов характерна неточность перевода или отсутствие соответствующего термина: смысловой спектр русского слова шире и менее специфицирован, чем его французский «аналог».

Французское слово *société* в последней трети XVIII в. — термин, политическая семантика которого зафиксирована в 1762 году даже консервативным Словарем Французской Академии («объединение людей на естественном основании и на основании законов»²⁶). Появление такой смысловой структуры у слова *société* связано не только с экстралингвистическими причинами (прогрессивные политические идеи во Франции), но и в немалой степени с семантикой корня и заключенными в нем смысловыми потенциями. Латинское *sociare* — это идея соединения двух равноправных элементов: «...эти связи присущи отношению между индивидами... — поскольку объединение одного с другим концептуализируется, например, в выражении „*entrer en société avec quelcun*“». Роль отдельного индивида является

24. См., например: Тарановский, 1904; Чечулин, 1907; Омельченко, 1977; Плавинская, 2001; Мадриага, 2002.

25. См.: Чечулин, 1907: CXXIX–CXXV.

26. Цит. по: Будагов, 1940: 170.

решающей также и в происхождении этого соединения: общества — это продукты действия двух независимых индивидов, отношение между которыми симметрично (договор предполагает равноправие сторон) и которые преследуют каждый свои цели»²⁷ (Branca-Rosoff, Guilhaumou, 1998: 151). И очень рано у слова *société* появляется значение «союз равноправных людей для совместного дела»²⁸ (XV век).

Екатерина II переводит определение государства, по Монтескье («la société où il ya des lois»), как «собрание людей, обществом живущих, где есть законы» (ст. 37)²⁹. Здесь слово *общество* не может выступать в роли семантического субъекта действия, тогда как французское *société* — субъект правового и политического дискурса. Это можно наблюдать в следующем примере. Ср. в русском тексте: «Право давать законы о наказаниях имеет только один законодатель как представляющий во своей особе все общество соединенное». И во французском: «Le droit de faire des Loix pénales ne peut résider que dans le Législateur, comme représentant en sa personne toute la Société» (с. 148). Во французском тексте «законодатель» выступает как «представитель интересов всего общества». В русском тексте он представляет «в своей особе все общество соединенное». Дополнительное слово *соединенное* «выдает» отсутствие социально-политической семантики у слова *общество*, проявляя его значение как «соединение людей», «все люди». По этой же причине в русском тексте может появляться слово *общество*, которого нет во французском тексте. Так, формулировку «сей закон весьма полезен для общества» (с. 180) следует понимать как «полезен всем людям». Во французском тексте валентность адресата остается незаполненной («la loi est utile»), потому что это привело бы к смысловой избыточности: понятие *loi* (закон) неразрывно связано с понятием *société*. Все это приводит к тому, что в русском и французском тексте выражены, в сущности, совершенно противоположные смыслы: по-французски речь идет о соединении людей на основании общего закона, а по-русски — о суверене, выдвигающем закон, исходя из собственных представлений о «полезности» закона для всех подданных.

Когнитивная карта «общество»

Под когнитивной картой подразумевается то, как осмысляется отношение общности в языке и к каким семантическим сферам относит этот смысл язык³⁰. В отличие от процедуры выделения лексических значений, «картирующих» семан-

27. «...les liens... sont constitués sur la base des rapports entre particuliers ce qui s'entend d'abord de leur dimension — puisque l'agrégation d'un individu fait sens comme le montre l'expression «entrer en société avec quelcun». Mais le rôle central de l'individu concerne aussi leur genèse: les sociétés sont le produit de l'action d'individus autonomes dont la relation est symétrique (un contrat suppose deux pôles contractant) et qui cherchent ainsi à réaliser des objectifs individuels».

28. Цит. по: Будагов, 1940: 171.

29. Здесь и далее французский и русский тексты «Наказ» цитируются по изданию: Чечулин, 1907.

30. Первоначально понятие когнитивной карты для анализа семантической структуры поэтического текста было введено О. Г. Ревзиной. См.: Ревзина, 1988. Понятие когнитивной карты используется в работе: Ревзина, 2009.

тическое поле, составление когнитивной карты предполагает выделение механизмов образования тех или иных значений. Перенимая формулировку Р. Якобсона о поэтической функции языка, можно сказать, что цель построения когнитивной карты — описание процесса «проекции принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинации» (Якобсон, 1975: 204): того, что вычленяется языком как смысл (селекция) на формально-грамматические и структурно-синтаксические возможности (комбинация). Формирование (образование) когнитивной карты — процесс не только глобального (*longue durée*), но локального (*courte durée*) характера. Это означает, что названный процесс «проектирования» имеет место как относительно некоего временного промежутка (например, «последняя треть XVIII века»), так и в рамках одного текста одного автора, а также в корпусе текстов одного автора. Рассмотрим этот последний случай на примере публицистических текстов Д. И. Фонвизина. На первом этапе выделяются типы значений слова *общество*, исходя из контекстной интерпретации (эта стратегия представлена в исторических толковых словарях — например, в «Словаре языка XVIII века»).

Таблица 4

Значение	Пример
Дворянское сословие	<p>Сии три класса дворянства составляют один только корпус. Сей знатный корпус волен быть сам в себе, в своих имениях и в делах всякого из своих членов: им не дозволено только разрушать свое общество и поступать худо с своими вассалами</p> <p>Не уступлю в душевном чувствовании всех неисчислемых благ, которые изливаются на благородное общество</p>
Народ	<p>Всякая ложь, клонящаяся к ослеплению очей государя и общества</p> <p>Государь есть душа правимого им общества</p> <p>Слово отечество стало душою общества <у греков></p> <p>Я видел, что нет иного блага, кроме того, что полезно обществу и с порядком сообразно; нет иного зла, кроме того, что сему противно</p>
Все человечество	<p>Яко часть целого, Марк Аврелий, должен ты покоряться тому, что есть следствие общего порядка: отсюда рождается твердость в бедствиях и бодрствование... Яко часть общества, должен ты делать все то, что полезно человеку: отсюда истекают должности друга, мужа, отца, гражданина</p>
Профессиональное объединение	<p>...все те, которые приняли намерение составить малое сообщество издавать «Московские сочинения»</p> <p>Если б не проводили мы время в спорах о законе, которые кажутся важнее, то бы купечество было обыкновенным предметом в *обществах. Я видел ныне и придворных людей, возвышающих преимущества оного</p> <p>Сверх того, общество, издавая сии книги, желает стараться о чистоте российского языка</p> <p>Как всякое общество утверждается на единодушии тех, кои оное составляют, то все письмы должны быть читаны собранием</p>
Иное объединение	<p>Сострадательная благость его [Марка Аврелия] зрела во всех чинах государственных многочисленное токмо общество братий, друзей и сродников</p>
Жизнь среди людей	Стыдно делать дурно, а в обществе жить не есть не делать ничего
Коммуникация	<p>Египтяне удалялись сперва от всякого *общества с чужестранцами, в силу своей веры и обычаев</p> <p>Я сам имел славу быть в обществе знаменитых сих учителей</p>

Социально-политический конструкт	<p>Третий чин — душа общества; он политическому корпусу есть то, что желудок человеческому</p> <p>О римляне! Почто у людей источник блага всегда в источник зла преображается? Сие святое правосудие, помощь и ручательница общества, стала при тиранах ваших самым основанием разрушения</p> <p>Марк Аврелий видел, что природа вложила во всех людей ум, к обществу способный; отсюда усматривает он рождающееся понятие о вольности, ибо где такмо владыко и рабы, тамо нет общества</p> <p>Я познал, какое имею место во вселенной, рассматривал, какое место в обществе имею, и с ужасом узрел, что в оном поставлен я на чреду земных владык</p>
----------------------------------	--

Когнитивная карта того же корпуса текста индифферентна к границам между выделенными значениями и «перекраивает» материал исходя из имманентных (а не контекстно интерпретируемых) значений. Так, конструкции типа *свое общество* и *благородное общество*, отнесенные в таблице 4 к одному значению («дворянское сословие»), лингвистически являются собой два различных значения. 1) *Свое общество* представляет расчлененную структуру, эксплицируя отношения между отдельными участниками ситуации общности; 2) *благородное общество* — называет участников ситуации (ср. трансформ: *общество благородных*). К этому второму значению логически относится пример, который в таблице 4 классифицируется по остаточному принципу («иное объединение»): *общество братий, друзей и сродников*. Это значение реализуется также и в примере *быть в обществе знаменитых сих учителей*. Однако этот пример является более сложным ввиду реализации в нем когнитивной (концептуальной) схемы «вместилище».

Концептуальные схемы

Теория концептуальных схем была разработана Дж. Лакоффом: «Опыт в существенном отношении структурирован до и независимо от образования каких-либо концептов. Существующие концепты могут накладывать дополнительное структурирование на опыт, который мы получаем, но базовые структуры опыта присутствуют независимо от какого-либо обнаружения концептов» (Лакофф, 2003: 353). К базовым структурам относятся кинестетические образные схемы — к ним относится схема «вместилище» — она «определяет наиболее базовое разграничение — разграничение между ВНУТРИ и СНАРУЖИ. Мы понимаем наши тела как *вместилища*» (Там же: 354), в языке происходит «распространение телесно-ориентированного понимания вещей на широкий круг абстрактных концептов» (Там же).

Помимо рассмотренного примера *быть в обществе знаменитых сих учителей*, к этому же типу относятся примеры *какое место в обществе имею* и *в обществе жить не есть не делать ничего* (в таблице 4 также отнесенных к разным значениям).

Иное значение представлено в конструкциях родительного принадлежности: *ручательница общества, душа общества*, где находит воплощение другая концеп-

туальная схема: «общество как человек, как персона» (лицо). Эта же концептуализация имеет место в независимом употреблении: *где токмо владыко и рабы, тамо нет общества*.

Таким образом, можно говорить о том, что на «оси селекции» представлено три концептуальных схемы: *отношение, человек, вместеилище*. На «оси комбинации» им соответствуют различные языковые средства: лексические (*своё*), синтаксические (генетив принадлежности/изолированное употребление, предложно-падежная конструкция).

Полученную когнитивную карту возможно распространить и на более обширный корпус текстов (публицистика второй половины XVIII века³¹). При этом «ось селекции» в целом остается неизменной (действуют те же концептуальные схемы), варьируются лишь средства, представленные на «оси комбинации».

Концептуальная схема «отношение» является наиболее распространенной — она реализуется через актуализацию состава общности (конструкция с атрибутом или генетивная конструкция):

Почтенное/благородное общество
Просвещенное общество
Худое сообщество {общество плохих людей}
Честное общество {общество честных людей}
Общество разновидных лиц
Общество юношей
Общество благовоспитанных людей
Он бросил меня в большой сундук, где находился я в обществе со многими разных сортов деньгами (Повесть о полуополтиннике)

Изолированное (без зависимых слов) употребление представлено реже:

Ум, к обществу способный
Общества между благородными
Пользоваться знакомствами и обществом
Общество не в обжирании и опивании состоит, и не может оно быть приятно, где нет равности

Изолированное употребление (*общество* либо не является синтаксической вершиной, либо входит в качестве субъекта в предикативный минимум), как правило, присуще реализации схемы «человек»:

Третий чин — душа общества
Правосудие — помоиць общества

31. В корпус вошли публицистические тексты М. М. Щербатова, Д. И. Фонвизина, А. Н. Радищева, Н. И. Новикова, Н. М. Карамзина, И. А. Крылова.

Ослабление общества {общество ослабевает}

Что с ним потеряло общество?

Страждущее общество {общество страдает}

Мысли общества {общество мыслит}

В глазах общества

Ослепление очей государя и общества

Чтобы преступник не вредил обществу

«Прототипическим» средством реализации схемы «вместилище» является предложно-падежная конструкция (в + В.п., в + П.п.):

Человек для сохранности своей вступает в общество

Государь есть первый гражданин народного общества

Смертная казнь в обществе не нужна

Человек, живущий в обществе под сению законов

В государстве, то есть в обществе людей законами управляемом

Другая возможность воплощения этой схемы — конструкции с атрибутами:

здесьнее общество

парижское общество

Периферийные (побочные) случаи реализации названной концептуальной схемы связаны с наложением на другую концептуальную схему, реализованную прототипическим средством:

Все почти общество безрассудно покупает

В этом примере *общество* занимает позицию субъекта и воплощает концептуальную схему «человек». Одновременно лексический ограничитель *все почти* «работает» в логике схемы «вместилище»: те, на кого распространяется называемое действие, как бы очерчиваются окружностью, вписанной в круг «общество».

Подобное совмещение концептуальных схем раскрывает когнитивный потенциал, представляемый словом *общество*. Раскрытие этого потенциала во времени связывается фактически с «перераспределением» выражаемых смыслов между различными языковыми единицами и языковыми средствами. Так, например, в «Путешествии в землю Офирскую» М. М. Щербатова мы встречаем конструкцию: «При всем обществе им укоризну учинить» (речь идет о публично оглашаемой провинности нескольких людей перед лицом всей колонии). На современный русский язык мы бы перевели это высказывание без употребления слова *общество*: *высказал перед всеми, при всех*. Значение «все, очерчиваемые кругом» выступает как второстепенное, не будучи противопоставленным значению «не входящие в

круг» (это значение в исходной конструкции представлено нулевой формой), и вследствие этого происходит нейтрализация этого противопоставления. В связи с этим сама идея круга («вместилище») оказывается невостребованной — и смысл подобного высказывания «ходит» к другой лексеме языка (*все*).

Общество в «Русской правде» П. И. Пестеля

В социально-политический язык слово *общество* «вторгается» тогда, когда вступает в определенные (парадигматические и синтагматические) отношения с терминами политического лексикона, в особенности с центральным термином — *государство*. Перестройка парадигматических отношений состоит в понижении приоритета непересеченных значений (конструкции типа *государство и общество*). Новый тип возможных отношений — включение: *государство — это такое общество, которое...* тождество: *общество — это государство*. В синтагматике реализуются, соответственно, синонимические (союз тождества *или*) и родовидовые отношения *государство — разновидность общества*.

Названные явления представлены в тексте «Русской правды» П. И. Пестеля (1825), являющейся опытом лингвистического моделирования значения языковой единицы, исходя из потенциально заложенных значений, о которых шла речь в предыдущих параграфах.

Следует прежде всего сказать, что *общество* — центральный термин документа. Термины *государство, гражданин* появляются как составные части понятийной системы, задаваемой словом *общество*. Даётся следующее определение: «Всякое соединение нескольких человек для достижения какой-либо цели называется обществом» (Пестель, 2010: 323). Такое определение охарактеризовано по признакам: а) состав (*несколько человек*); б) основание общности (*цель*); в) тип связи (*соединение*, т. е. равноправие); г) временной параметр (*для достижения — обращенность в будущее*). В комбинации этих признаков присутствует нечто такое, что мы не наблюдали, рассматривая примеры предыдущих периодов (до конца XVIII века), а именно — одновременность реализации параметров «состав общности» и «основание общности» (реализует позицию наблюдателя). Напомним, что первый из этих параметров реализуется в полных представлениях (или в неполных, достроенных через инклузивность), а второй является средством преодоления неполноты представления через третьичность. Фактически это означает актуализацию сразу двух механизмов: инклузивности и третьичности. Наряду со стандартными (подобными рассмотренным выше) типами конструкций (А) в «Русской правде» присутствует и принципиально новый тип (В).

А) Преодоление неполноты представления через третьичность, как уже было показано, приводит к реализации семантической роли агенса: *Всякое общество имеет свою цель и избирает средства для достижения оной. Общество как нерасчлененная единица заполняет также синтаксическую позицию объекта: Разрушить общество.*

В) Общество предстает как расчлененная структура (актуализируется параметр «состав общности»): *члены всякого общества могут единодушно согласиться в цели*. В этом примере, несмотря на параметр «состав общности», не реализуется механизм инклузивности: слово *всякий* указывает на отстраненную позицию Наблюдателя. Поэтому более точным будет усматривать здесь *третьесличность со спецификацией*, состоящей в актуализации параметра «состав общности».

Этот новый тип конструкции наиболее очевиден в следующем примере из «Русской правды»: *А ежели члены не хотят общество уничтожить, то каждый из них должен уступить часть своего мнения, дабы составить только одно мнение*. Существенная «инновация» подобной конструкции состоит в соединении двух семантических моделей, которые были рассмотрены в параграфе, посвященном этимологии. Напомним, что первая модель трактует этимологию **овьтъ* без временного компонента — «круглая деревня», а вторая — сообразно временному представлению: «то, что обошли вокруг», «участок, определенный таким образом». Эти две трактовки воплощаются далее в механизме инклузивности («я в круге общность») и третьесличности («я вне круга»). В рассмотренном примере слово *общество* выступает в роли пациенса (позиция объекта), подверженного действию *разрушить*. При этом действие направлено на *общество* как на нерасчлененную целостность. Однако субъект действия (*члены*) называет состав этой целостности, тем самым превращая ее в расчлененную единицу (*каждый из них*), элементы которой соединяются в новую целостность (*составить только одно мнение*).

Параметр «состав» конкретизируется в атрибутивной конструкции: *Народ российский составляет устроенное Гражданское общество*. Существенно отметить, что слово *гражданский* появляется в тексте «Русской правды» раньше, чем слово *гражданин*: понятие правового субъекта не является в этом тексте востребованным как таковое, а получает значимость исключительно в сфере концептуальной области «общество». Теперь мы можем сформулировать правило 2, согласно которому формируется социально-политическое значение:

Правило 2. Социально-политическое значение слова общество — это значение, возникающее при абсолютном (по максимальному набору параметров) преодолении неполноты структуры представления. Это означает, что неполнота представления преодолевается посредством третьесличности, сопровождающейся актуализацией параметра «состав» и временного параметра, и общество предстает как нерасчлененная единица с определенным, неизменным, однородным составом — сословие граждан.

Итоги

Рассмотрев исходные типы общностей, представленные в языке, и присущие им характеристики, мы поставили вопрос следующим образом: *Как возможно появление в сфере названных значений значение политическое?* Такая постановка вопроса принципиальна — она отлична от другой и, вероятно, ошибочной постанов-

ки вопроса: «Когда у этого слова возникает политическое значение?» Эта вторая формулировка неприемлема не только потому, что предполагает некое линейное «развитие» семантики слова *общество*, которое в какой-то момент «увенчалось» политическим смыслом, но и потому, что лишает исследователя возможности разглядеть в его семантической структуре то значение, которое впоследствии стало значением политическим.

Слово *общество* пережило колоссальное количество изменений, касающихся как парадигматических отношений с другими лексемами (вхождение в обширное словообразовательное гнездо в древнерусский период), так и плана синтагматики (синтаксическое управление и сочетаемость — ср., например: *ум, к обществу способный, общества между благородными* — в языке первой половины XVIII века), сигнализирующего об изменениях в смысловой структуре слова (ср. *общество блага* в значении «всеобщее благо»). Каким образом эти изменения могут быть объяснены исходя из логики «развития», «совершенствования» языка, «снятия противоречий»? Как отмечает М. Линн-Мерфи, «современная лексическая семантика видит свою задачу в изучении того, „как языковые конструкции связаны с человеческим мышлением“ (Jackendoff, 2006: 355)», а «лингвистическая семантика, в существенной мере, стала исследованием структур мысли — понятийных структур, того, какую сетку эти структуры накладывают на язык»³² (Murphy, 2011: 53). Понятые таким образом задачи лексической семантики ведут к раскрытию тезиса Козеллека о том, что социально-политические понятия являются фактором внеязыковой реальности. Как справедливо замечает А. Ф. Филиппов, «общество меняется [в зависимости] от того, как его понимают те, кто его образует. Здесь значение лексем [общий, общество] недвусмысленно свидетельствует о социальной реальности» (Филиппов, 2013: 273).

Выйти за пределы этой «логики ножниц» (внешние vs внутренние факторы изменений) возможно, если распространить мысль Козеллека в отношении слов языка: темпоральная структура слова есть когнитивный потенциал данной лексемы и его последовательное раскрытие во времени. При этом «область опыта» образуют уже реализовавшиеся семантические потенции (валентности) слова, а «горизонт ожидания» — те, которым только предстоит реализоваться³³.

Русское слово *общество* изначально обладает богатейшим когнитивным потенциалом, заключенным в его корне (несравнимым по объему с предоставляемым, например, во французском языке словом *société*). Язык словно непрестанно находится в поисках той общности, которую единственно можно выразить этим словом и никаким другим. Так, уходят из лексикона древнерусские *общник* (союзник), *общеседалище* (собрание), *общетрапезънь* (сотрапезник), не получают дальнейшего

32. «„[H]ow linguistic utterances are related to human cognition“», «linguistic semantic has, in large part, become the study of the structure of thought, that is, conceptual structure, and how that structure maps to language».

33. Такое понимание термина «темперальная структура» было предложено О. Г. Ревзиной в рамках спецкурса «История слов и эволюция понятий», читаемого на филологическом факультете МГУ.

го бытования изобретения XVIII в. — *общемыслие* (единомыслие), *общебратство* (всеединство) и др. Из социально-политического языка ушли такие слова, как *общник* (гражданин), *общество* (государство). На фоне формирования социально-политического языка в «неофициальном дискурсе» (публицистика) конца XVIII века происходит своего рода «перетяжка» смыслов слова *общество* в сторону других формирующихся понятий политического лексикона. Так, концептуальная схема «человек, действующее лицо» переходит в сферу действия понятия о правовом субъекте (*гражданин*), схема «вместилище» остается прототипической для *государства*. Именно то, что является специфическим в слове *общество*, а именно концептуальная схема «отношение» подвергается осмыслению в теоретико-политическом ключе (что мы видели на примере «Русской правды» П. И. Пестеля) и впоследствии перенимает большинство средств выражения («ось комбинации») других двух концептуальных схем (позиция синтаксического субъекта, сочетание с атрибутом, генетивные конструкции и др.).

При этом формирование социально-политического значения не является ко- нечной точкой, пресекающей дальнейшее движение языкового «дрейфа». Син- хронно вышеописанному политическому значению встречается, например, такая конструкция: *Тут целыми обществами переходят из этого на тот свет так легко, как будто из дома в дом!* (о гибели людей во время сражения). Только на первый взгляд кажется, что такое употребление не имеет ничего общего со значением слова *общество* в «Русской правде» Пестеля. На самом же деле здесь реализуется та же тенденция, состоящая в экспликации основания общности. Только в «Рус- ской правде» этим основанием является «соединение на основании общей цели» и этот признак входит в (предлагаемое в тексте) толкование слова, а здесь этим основанием общности служит момент времени: *погибать обществами* называет ситуацию, при которой большое количество людей погибает в один момент вре- мени. Такое динамическое единство семантических структур (при различных лек- сических значениях конкретных словоупотреблений) обозначено нами как темпо- ральная семантика.

Литература

- Арутюнова Н. Д. (1990). Перформатив // Лингвистический энциклопедический словарь. Доступно по адресу: <http://tapemark.narod.ru/les/372c.html> (дата досту- па: 16.03.2015).
- Бёдекер Х. Э. (2010). Размышление о методе истории понятий / Пер. с нем. В. Дуби- ной // История понятий, история дискурса, история метафор. М.: Новое лите- ратурное обозрение. С. 34–65.
- Бенвенист Э. (1974). Общая лингвистика / Пер. с франц. Ю. Н. Карапурова и др. М.: Прогресс.
- Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л. (1972). Очерки по исторической лек- сикографии русского языка XVIII века: языковые контакты и заимствования. Л.: Наука.

- Будагов Р. А. (1940). Развитие французской политической терминологии в XVIII в. Л.: Изд-во Ленинградского гос. ун-та.
- Веселитский В. В. (1968). Из истории отвлеченной лексики XVIII в.: лексическая вариантность и некоторые пути ее сокращения в связи с нормализацией русского национального литературного языка // Русская историческая лексикология / Под ред. С. Г. Бархударова, В. В. Веселитского, Ф. П. Филина. М.: Наука. С. 40–64.
- Веселитский В. В. (1964). Развитие отвлеченной лексики в русском литературном языке первой трети XIX в. М.: Наука.
- Гийому Ж. (2010). Лингвистическая история концептуальных словоупотреблений, проверенная на опыте лингвистических событий / Пер. с франц. С. Луцицкой // История понятий, история дискурса, история метафор. М.: Новое литературное обозрение. С. 85–111.
- Даль В. И. (1866). Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.: Типография Т. Риса.
- Жданова Л. А. (1997). Общество: языковое значение и концепт // Актуальные проблемы языкоznания и литературоведения. Вып. 3. М.: Изд-во МГУ.
- Живов В. М. (2009). История понятий, история культуры, история общества // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. М.: Языки славянских культур. С. 5–27.
- Зарецкий Ю., Левинсон К., Ширле И. (Сост.). (2014). Словарь основных исторических понятий / Пер. с нем. К. Левинсона. М.: Новое литературное обозрение.
- Ильин М. В. (1997). Слова и смыслы: опыт описания ключевых политических понятий. М.: РОССПЭН.
- Калугин Д. (2011). История понятия «общество» от Средневековья к Новому времени: русский опыт // От общественного к публичному / Под ред. О. Хархордина. СПб.: Изд-во ЕУСПб. С. 305–394.
- Касториадис К. (2003). Воображаемое установление общества / Пер. с франц. Г. Волковой и С. Офертаса. М.: Гнозис, Логос.
- Кашпирев В. В. (Ред.). (1871). Памятники новой русской истории: сборник исторических статей и материалов. Т. 1. СПб.: Типография Майкова.
- Козеллек Р. (2006). Социальная история и история понятий / Пер. с нем. Ю. И. Басилова // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX вв. Вып. 5. СПб.: Алетейя. С. 33–53.
- Козеллек Р. (2010). К вопросу о темпоральных структурах в историческом развитии понятий / Пер. с нем. В. Дубиной // История понятий, история дискурса, история метафор. М.: Новое литературное обозрение. С. 21–33.
- Козеллек Р. (2014). Введение // Словарь основных исторических понятий. Т. 1 / Сост. Ю. Зарецкого, К. Левинсона, И. Ширле; пер. с нем. К. Левинсона. М.: Новое литературное обозрение. С. 23–45.
- Копосов Н. Е. (2001). Как думают историки. М.: Новое литературное обозрение.
- Копосов Н. Е. (2005). Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М.: Новое литературное обозрение.

- Кубрякова Е. С. (1970). Место вопроса о языковых изменениях в современной лингвистике // Общее языкознание: формы существования, функции, история языка / Под ред. Б. А. Серебренникова. М.: Наука. С. 197–206.
- Курукин И. В., Плотников А. Б. (2010). 19 января — 25 февраля 1730 года: события, люди, документы. М.: Квадрига.
- Лакофф Дж. (2011). Женщины, огонь и опасные вещи: что категории языка говорят нам о мышлении / Пер. с англ. И. Б. Шатуновского. М.: Гнозис.
- Мадариага И. де. (2002). Россия в эпоху Екатерины Великой. М.: Новое литературное обозрение.
- Маслов Б. П. (2012). Рождение и смерть Добротели в России: о механизмах пропаганды понятий // «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. Т. 1 / Под ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле. М.: Новое литературное обозрение. С. 343–382.
- Миллер А., Сдвижков Д., Ширле И. (Ред.). (2012). «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. М.: Новое литературное обозрение.
- Омельченко О. А. (1977). Наказ Комиссии о составлении проекта нового уложения Екатерины II. Официальная политическая теория русского абсолютизма второй половины XVIII века. Автореферат дисс. ... к.и.н. М.: МГУ.
- Падучева Е. В. (2004). Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянской культуры.
- Панов М. В. (2007). Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 2. М.: Языки славянской культуры.
- Пестель П. И. (2010). Русская правда // Конституционные проекты в России XVIII — начала XX в. / Сост. А. Н. Медушевского М.: РОССПЭН. С. 323–399.
- Плавинская Н. Ю. (2001). «Наказ» Екатерины II во Франции в конце 60-х — нач. 70-х. гг. XVIII в.: переводы, цензура, отклики в прессе // Русско-французские культурные связи в эпоху Просвещения / Под ред. С. Карпа, И. Кузнецова, Г. Чертковой. М.: РГГУ. С. 9–36.
- Покровский М. М. (1959). Избранные работы по языкознанию. М.: Изд-во АН СССР.
- Польской С. В. (2002). Политические идеи Джона Локка в России первой половины XVIII века // Философский век. Альманах. Вып. 19: Россия и Британия в эпоху Просвещения: опыт философской и культурной компаративистики. Часть 1 / Под ред. Т. В. Артемьевой и М. И. Микешина. СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории идей. С. 107–118.
- Потебня А. А. (1958). Из записок по русской грамматике. Т. 1. М.: АН РСФСР.
- Протасов Г. А. (1971). Дворянские проекты 1730 г.: источниковедческое изучение // Источниковедческие работы. Вып. 1. Тамбов: ТГПИ. С. 61–102.
- Ревзина О. Г. (1988). Семантическое представление и семантическое толкование поэтического текста // Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman. Studies in Russian / Ed. by M. Halle. Columbus: Ohio University Press.

- Ревзина О. Г. (2009). Поэтика семантического признака // Ревзина О. Г. Безмерная Цветаева: опыт системного описания поэтического идиолекта. М.: Дом-музей Мариной Цветаевой. С. 72–90.
- Ревзина О. Г. (2013). Темпоральная структура концепта // Языковые параметры современной цивилизации: Сборник трудов первой научной конференции памяти академика РАН Ю. С. Степанова. М.: Ин-т языкоznания РАН. С. 183–192.
- Ридель М. (2014). Общество, общность (Gesellschaft, Gemeinschaft) // Словарь основных исторических понятий. Т. 2 / Под ред. Ю. Зарецкого, Л. Левинсона, И. Ширле; пер. с нем. К. Левинсона. М.: Новое литературное обозрение. С. 220–321.
- САР. (1789–1794). Словарь Академии Российской. СПб.: Императорская Академия наук.
- СДРЯ XI–XIV. (1988–2004). Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). М.: Русский язык.
- Сепир Э. (1993). Избранные труды по языкоznанию и культурологии. М.: Универс.
- Срезневский И. И. (1893–1912). Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб.: Императорская Академия наук.
- СРЯ XI–XVII. (1975–2006). Словарь русского языка XI–XVII вв. М.: Наука.
- СЦСРЯ. (1847). Словарь церковно-славянского и русского языка. СПб.: Императорская Академия наук.
- Тарановский Ф. В. (1904). Политическая доктрина в Наказе имп. Екатерины II // Сборник статей по истории права, посвященный М. Р. Владимировскому-Буданову его учениками и почитателями / Под ред. М. Н. Ясинского. К.: Типография С. В. Кульженко. С. 44–86.
- Тестелец Я. Г. (2001). Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ.
- Тимофеев Д. В. (2011). Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного российского подданного первой четверти XIX в. Челябинск: Энциклопедия.
- Третьяков И. А. (1772). Разсуждение о причинах изобилия и медлительного обогащения государств, как у древних, так и у нынешних народов. М.: Императорский Московский университет.
- Фасмер М. (2003). Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М.: Астрель.
- Филиппов А. Ф. (2013). Общее, общественное и публичное в их преемственности и изменении // Социология власти. № 1–2. С. 269–285.
- Хархордин О. В. (Ред.). (2011). От общественного к публичному. СПб.: Изд-во ЕУСПб.
- Цыганенко Г. П. (1989). Этимологический словарь русского языка. Киев: Радянська школа.
- Черных П. Я. (2004). Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1. М.: Русский язык-Медиа.
- Чечулин Н. Д. (Ред.). (1907). Наказ Императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения. СПб.: Императорская Академия наук.

- Якобсон Р. (1975). Лингвистика и поэтика / Пер. с англ. И. А. Мельчука // Структурализм: «за» и «против» / Под ред. Е. Я. Басина и М. Я. Полякова. М.: Прогресс. С. 193–231.
- Benveniste E. (1966). *Problèmes de linguistique générale*. Vol. 1. Paris: Gallimard.
- Branca-Rosoff S., Guilhaumou J. (2003). De société à socialisme: l'invention néologique et son contexte discursif // *Dictionnaire des usages socio-politiques (1770–1815)*. F. 7: Notions théoriques. Paris: Honoré Champion. P. 143–179.
- Brunner O., Conze W., Koselleck R. (Hrsg.). (1972–1993). *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Guilhaumou J. (2006). Discours et événement: l'histoire langagier des concepts. Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté.
- Jackendoff R. (2006). On Conceptual Semantics // *Intercultural Pragmatics*. Vol. 3. № 3. P. 353–358.
- Koselleck R. (1997). The Temporalisation of Concepts // *Finnish Yearbook of Political Thought*. Vol. 1. P. 16–24.
- Koselleck R. (2002). *The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts*. Stanford: Stanford University Press.
- Koselleck R. (2004). *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*. New York: Columbia University Press.
- Lakoff J., Turner M. (1989). *More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lehmann H., Richter M. (Eds.). (1996). *The Meaning of Historical Terms and Concepts: New Studies on Begriffsgeschichte*. Washington: German Historical Institute.
- Lynne Murphy M., Piazza R. (2011). Linguistic Semantics and Historical Semantics // *Asymmetrical Concepts after Reinhart Koselleck: Historical Semantics and Beyond* / Ed. by K. Junge, K. Postoutenko. Bielefeld: Transcript. P. 51–81.
- Nadeau C. L'histoire comme construction sociale politique: une lecture croisée de Reinhart Koselleck et Quentin Skinner // *Cahiers d'épistémologie*. № 330.

Temporal Semantics of the Word “Obshestvo” (11th — Beginning of the 19th Centuries)

Galina Durinova

Graduate Student, Lomonosov Moscow State University
Address: Leninskie Gory, GSP-1, Moscow, Russian Federation 119991
E-mail: galina.dourinova@gmail.com

It would not be an exaggeration to assume that the Begriffsgeschichte studies (history of concepts) are now spreading through practically all fields of the Humanities. Its initial proposal

was to explore the sociopolitical lexicon as a tool for creating history. It paid attention to the idea of untranslatable concepts in particular languages, despite the fact that they often have the same Latin or Greek roots (like "society," "société," "società," "sociedad," etc.). But the cases where one word is supposed to convey the meaning of the Latin root by using a root original to this given language are still relatively unexplored. Such is the case of the Russian language where the concept of "society" was expressed initially by the word "obshchestvo," derived from the Slavic root "obshch-", meaning "common." From the linguistic point of view, we suggest that the traditional question "When did the word 'obshchestvo' obtain its sociopolitical meaning?" should be replaced by the following: "What meaning of this Russian word has become a political one?" To answer this question, we should explore the proper linguistic conditions of this transition. This means finding out how it is possible to linguistically/politically arrive from the constructions like "the community of the wellness" (obshchestvo blaga) to the patterns of "the thoughts of the society," "the soul of the society," or "the suffering society."

Keywords: historical semantics, Begriffsgeschichte, principles of linguistic change, concepts, cognitive models

References

- Arutyunova N. (1990) Performativ [Performative]. *Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar'* [Encyclopaedic Dictionary of Linguistics]. Available at: <http://tapemark.narod.ru/les/372c.html> (accessed 16.03.2015).
- Benveniste E. (1974) *Obshhaja lingvistika* [General Linguistics], Moscow: Progress.
- Benveniste E. (1966) *Problèmes de linguistique générale*, Vol. 1, Paris: Gallimard.
- Birzhakova E., Voinova L., Kutina L. (1972) *Ocherki po istoricheskoj leksikografii russkogo jazyka XVIII veka: jazykovye kontakty i zaimstvovanija* [Studies in Historical Lexicography of Russian Language of the 18th Century: Linguistic Contacts and Borrowings], Leningrad: Nauka.
- Bodeker H. (2010) *Razmyshlenie o metode istorii ponjatij* [Reflection on the Method of the History of Concepts]. *Istorija ponjatij, istorija diskursa, istorija metafor* [History of Concepts, History of Discourse, History of Metaphors], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, pp. 34–65.
- Branca-Rosoff S., Guilhaumou J. (2003) De société à socialisme: l'invention néologique et son contexte discursif. *Dictionnaire des usages socio-politiques (1770–1815)*, F. 7: *Notions théoriques*, Paris: Honoré Champion, pp. 143–179.
- Brunner O., Conze W., Koselleck R. (eds.) (1972–1993) *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, Stuttgart: Klett-Cotta.
- Budagov R. (1940) *Razvitiye francuzskoj politicheskoj terminologii v XVIII veke* [The Development of the French Political Terminology in the 18th Century], Leningrad: Izdatel'stvo Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta.
- Castoriadis C. (2003) *Voobrazhaemoe ustanovlenie obshhestva* [The Imaginary Institution of Society], Moscow: Gnozis, Logos.
- Chechulin N. (ed.) (1907) *Nakaz Imperatritcy Ekateriny II, dannij Komissii o sochinenii proekta Novogo Ulozhenija* [The Instruction of Catherine the Great, Given to the Commission for Creating a Project of New Establishment], Saint-Petersburg: Imperatorskaja Akademija nauk.
- Chernykh P. (2004) *Istoriko-jetimologicheskij slovar' sovremenennogo russkogo jazyka. T. 1* [Historical and Etymological Dictionary of Modern Russian Language], Moscow: Russkij jazyk-Media.
- Dal V. (1866) *Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo jazyka* [Explanatory Dictionary of the Live Great Russian Language], Saint-Petersburg: Tipografija T. Risa.
- Fasmer M. (2003) *Jetimologicheskij slovar' russkogo jazyka. Tom 3* [Etymological Dictionary of Russian Language, Vol. 3], Moscow: Astrel'.
- Filippov A. (2013) *Obshhee, obshhestvennoe i publichnoe v ih preemstvennosti i izmenenii* [Common, Communal and Public in Their Continuity and Change]. *Sociology of Power*, no 1-2, pp. 269–285.
- Jackendoff R. (2006). On Conceptual Semantics. *Intercultural Pragmatics*, vol. 3, no 3, pp. 353–358.

- Guilhaumou J. (2006) *Discours et événement: l'histoire langagier des concepts*, Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté.
- Guilhaumou J. (2010) Lingvisticheskaja istorija konceptual'nyh slovoupotreblenij, proverennaja na opyty lingvisticheskikh sobytij [The Linguistic History of Conceptual Usages Tested with the Help of Linguistic Events]. *Istorija ponjatij, istorija diskursa, istorija metafor* [History of Concepts, History of Discourse, History of Metaphors], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, pp. 85–111.
- Ilyin M. (1997) *Slova i smysly: opyt opisanija kljuchevyh politicheskikh ponjatij* [Words and Meanings: An Essay on the Description of Key Political Concepts], Moscow: ROSSPEN.
- Imperial Academy of Sciences (1847) *Slovar' cerkovno-slavjanskogo i russkogo jazyka* [Dictionary of the Church Slavonic and Russian Language], Saint-Petersburg: Imeratorskaja Akademija nauk.
- Institute of Russian Language (1975–2006) *Slovar' russkogo jazyka XI–XVII vekov* [Dictionary of Russian Language of the 11–17th Centuries], Moscow: Nauka.
- Institute of Russian Language (1988–2004) *Slovar' drevnerusskogo jazyka (XI–XIV veka)* [Dictionary of Ancient Russian Language (11–14th Centuries)], Moscow: Russkij jazyk.
- Jakobson R. (1975) Lingvistika i pojetika [Linguistics and Poetics]. *Strukturalizm: "za" i "protiv"* [Structuralism: Pro et Contra] (eds. E. Basin, M. Poliakov), Moscow: Progress, pp. 193–231.
- Kalugin D. (2011) *Istorija ponjatija "obshhestvo" ot Srednevekov'ja k Novomu vremenju: russkij opyt* [History of the Concept "Society" from the Middle Age to the Modern Age: Russian Experience]. *Ot obshhestvennogo k publichnomu* [From the Common to the Public] (ed. O. Kharkhordin), Saint-Petersburg: EUSPb, pp. 305–394.
- Kashpirev V. (ed.) (1871) *Pamjatniki novoj russkoj istorii: sbornik istoricheskikh statej i materialov. Tom 1* [The Records of New Russian History: The Collection of Historical Articles and Texts, Vol. 1], Saint-Petersburg: Tipografija Majkova.
- Kharkhordin O. (ed.) (2011) *Ot obshhestvennogo k publichnomu* [From the Common to the Public], Saint-Petersburg: EUSPb.
- Koposov N. (2001) *Kak dumajut istoriki* [How Historians Think], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Koposov N. (2005) *Hvatit ubivat' koshek! Kritika social'nyh nauk* [Stop Killing the Cats!: Towards a Critique of Social Sciences], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Koselleck R. (1997) The Temporalisation of Concepts. *Finnish Yearbook of Political Thought*, vol. 1, pp. 16–24.
- Koselleck R. (2002) *The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts*, Stanford: Stanford University Press.
- Koselleck R. (2004) *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*, New York: Columbia University Press.
- Koselleck R. (2006) Social'naja istorija i istorija ponjatij [Social History and History of Concepts]. *Istoricheskie ponjatija i politicheskie idei v Rossii XVI–XX vekov. Vypusk 5* [Historical Concepts and Political Ideas in Russia in the 16–20th Centuries], Saint-Petersburg: Aleteija, pp. 33–53.
- Koselleck R. (2010) K voprosu o temporal'nyh strukturah v istoricheskem razvitiu ponjatij [Towards the Question of Temporal Structures in the Historical Development of Concepts]. *Istorija ponjatij, istorija diskursa, istorija metafor* [History of Concepts, History of Discourse, History of Metaphors], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, pp. 21–33.
- Koselleck R. (2014) Vvedenie [Introduction]. *Slovar' osnovnyh istoricheskikh ponjatij. Tom 1* [Dictionary of the Basic Historical Concepts, Vol. 1] (eds. Y. Zaretsky, K. Levinson, I. Shirle), Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, pp. 23–45.
- Kubriakova E. (1970) Mesto voprosa o jazykowych izmenenijah v sovremennoj lingvistike [The Place of the Question about the Linguistic Change in Contemporary Linguistics]. *Obshhee jazykoznanie: formy sushhestvovanija, funkci, istorija jazyka* [General Linguistics: Forms of Being, Functions, History of Language] (ed. B. Serebrennikov), Moscow: Nauka, pp. 197–206.
- Kurukin I., Plotnikov A. (2010) *19 janvarja — 25 fevralja 1730 goda: sobytija, ljudi, dokumenty* [January 19 — February 25, 1730: Events, People, Documents], Moscow: Kvadriga.
- Lakoff J. (2011) *Zhenshhiny, ogon' i opasnye veshhi: chto kategorii jazyka govorят nam o myshlenii* [Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind], Moscow: Gnozis.

- Lakoff J., Turner M. (1989) *More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor*, Chicago: University of Chicago Press.
- Lehmann H., Richter M. (eds.) (1996) *The Meaning of Historical Terms and Concepts: New Studies on Begriffsgeschichte*, Washington: German Historical Institute.
- Lynne Murphy M., Piazza R. (2011) Linguistic Semantics and Historical Semantics. *Asymmetrical Concepts after Reinhart Koselleck: Historical Semantics and Beyond* (eds. K. Junge, K. Postoutenko), Bielefeld: Transcript, pp. 51–81.
- Madariaga I. de (2002) *Rossija v jepohu Ekateriny Velikoj* [Russia in the Age of Catherine the Great], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Maslov B. (2012) *Rozhdenie i smert' Dobrodeteli v Rossii: o mehanizmakh propagacii ponjatij* [Birth and Death of the Virtue in Russia: On the Mechanisms of Propagation of Concepts]. *"Ponjatija o Rossii": k istoricheskoj semantike imperskogo perioda. Tom 1* ["Notions about Russia": Towards the Historical Semantics of the Imperial Period, Vol. 1] (eds. A. Miller, D. Sdvizhkov, I. Shirle), Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, pp. 343–382.
- Miller A., Sdvizhkov D., Shirle I. (eds.) (2012) *"Ponjatija o Rossii": k istoricheskoj semantike imperskogo perioda* ["Notions about Russia": Towards the Historical Semantics of the Imperial Period], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Nadeau C. (2005). L'histoire comme construction sociale politique: une lecture croisée de Reinhart Koselleck et Quentin Skinner. *Cahiers d'épistémologie*, no 330.
- Omelchenko O. (1977) *Nakaz Komissii o sostavlenii proekta novogo ulozhenija Ekateriny II: ofisial'naja politicheskaja teorija russkogo absolutizma vtoroj poloviny XVIII veka* [The Instruction of Catherine the Great, Given to the Commission for Creating a Project of New Establishment: Official Political Theory of Russian Absolutism in the Second Half of the 18th Century] (Candidate of Sciences Dissertation), Moscow: Moscow State University.
- Paducheva E. (2004) *Dinamicheskie modeli v semantike leksiki* [Dynamic Models in the Semantics of Lexicon], Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury.
- Panov M. (2007) *Trudy po obshchemu jazykoznaniju i russkomu jazyku. Tom 2* [Works on the General Linguistics and Russian Language, Vol. 2], Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury.
- Pestel P. (2010) *Russkaya pravda* [Russkaya Pravda]. *Konstitucionnye proekty v Rossii XVIII — nachala XX veka* [Constitutional Projects in Russia of the 18th — Beginning of the 19th Centuries] (ed. A. Medushevsky), Moscow: ROSSPEN, pp. 323–399.
- Plavinskaya N. (2001) "Nakaz" Ekateriny II vo Francii v konce 60-h — nachale 70-h godov XVIII veka: perevody, cenzura, otkliki v presse [Catherine the Great's "Instruction" in France at 1760s — Beginning of 1770s]. *Russko-francuzskie kul'turnye svjazi v jepohu Prosveshchenija* [Russian-French Cultural Links in the Age of Enlightenment] (eds. S. Karp, I. Kuznetsov, G. Chertkova), Moscow: RSUH, pp. 9–36.
- Pokrovsky M. (1959) *Izbrannye raboty po jazykoznaniju* [Selected Works on Linguistics], Moscow: Izdatel'stvo AS USSR.
- Polskoy S. (2002) *Politicheskie idei Dzhona Lokka v Rossii pervoj poloviny XVIII veka* [John Lock's Political Ideas in Russia at the First Half of the 18th Century]. *Filosofskij vek: Al'manah. Vyp. 19: Rossija i Britanija v jepohu Prosveshchenija: opyt filosofskoj i kul'turnoj komparativistiki. Chast' 1* [The Philosophical Age: Almanac, Issue 19: Russia and Britain in the Enlightenment: An Attempt in Philosophical and Cultural Comparativistics] (eds. T. Artemieva, M. Mikeshin), Saint-Petersburg: Saint-Petersburg Center for History of Ideas, pp. 107–118.
- Potebnja A. (1958) *Iz zapisok po russkoj grammatike. Tom 1* [From Notes on Russian Grammar, Vol. 1], Moscow: AN RSFSR.
- Protasov G. (1971) *Dvorjanskie proekty 1730 goda: istochnikovedcheskoe izuchenie* [The Projects of Nobility of 1730: Source-Studies]. *Istochnikovedcheskie raboty. Vypusk 1* [Works on the Source-Studies, Issue 1], Tambov: TGPI, pp. 61–102.
- Revzina O. (1988) *Semanticheskoe predstavlenie i semanticheskoe tolkovanie pojeticheskogo teksta* [Semantic Representation and Semantic Explanation of Poetic Text]. *Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman. Studies in Russian* (ed. M. Halle), Columbus: Ohio University Press.

- Revzina O. (2009) Pojetika semanticheskogo priznaka [Poetics of Semantic Attribute]. *Bezmernaja Cvetaeva: opyt sistemnogo opisanija pojeticheskogo idiolektu* [Immesurable Tsvetaeva: Essay in the Systematic Description of Poetic Idiolect], Moscow: Dom-muzej Mariny Tsvetaevoj, pp. 72–90.
- Revzina O. (2013) Temporal'naja struktura koncepta [The Temporal Structure of the Concept]. *Jazykovye parametry sovremennoj civilizacii* [Linguistic Parameters of Contemporary Civilization], Moscow: Institut jazykoznanija RAN, pp. 183–192.
- Riedel M. (2014) Obshhestvo, obshhnost' (Gesellschaft, Gemeinschaft) [Society, Community (Gesellschaft, Gemeinschaft)]. *Slovar' osnovnyh istoricheskikh ponjatij. Tom 2* [Dictionary of the Basic Historical Concepts, Vol. 2], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, pp. 220–321.
- Russian Academy (1789–1794) *Slovar' Akademii Rossiskoj* [Dictionary of the Russian Academy], Saint-Peterburg: Imperatorskaja Akademija nauk.
- Sapir E. (1993) *Izbrannye trudy po jazykoznaniju i kul'turologii* [Selected Works on Linguistics and Cultural Studies], Moscow: Univers.
- Sreznevsky I. (1893–1912) *Materialy dlja slovarja drevnerusskogo jazyka po pis'mennym pamjatnikam* [Data for the Dictionary of Ancient Russian Language Based on Written Records], Saint-Petersburg: Imperatorskaja Akademija nauk.
- Taranovsky F. (1904) Politicheskaja doktrina v Nakaze imp. Ekateriny II [Political Doctrine in the Instruction of Catherine the Great]. *Sbornik statej po istorii prava, posvjashchennyj M. P. Vladimirkomu-Budanovu ego uchenikami i pochitateljami* [Works on the History of Law Dedicated to M. Vladimirsky-Budanov by His Students and Admirers] (ed. M. Yasinsky), Kiev: Tipografija S. V. Kul'zhenko, pp. 44–86.
- Testelets Y. (2001) *Vvedenie v obshhij sintaksis* [Introduction to the General Syntax], Moscow: RSUH.
- Timofeev D. (2011) *Europejskie idei v social'no-politicheskem leksikone obrazovannogo rossiskogo poddannogo pervoj chetverti XIX veka* [European Ideas in the Social and Political Lexicon of Educated Russian Citizen in the First Half of the 19th Century], Chelyabinsk: Enciklopedija.
- Tretiakov I. (1772) *Razsuzhdение о причинах изобилия и медлительного обогащения государства, как у древних, так и у нынешних народов* [The Reflection on the Causes of Profusion and Slow Enrichment of States of the Ancient as Well as New Nations], Moscow: Imperatorskij Moskovskij universitet.
- Tsyganenko G. (1989) *Jetimologicheskij slovar' russkogo jazyka* [Etymological Dictionary of Russian Language], Kiev: Radians'ka shkola.
- Veselitsky V. (1964) *Razvitiye otvlechennoj leksiki v russkom literaturnom jazyke pervoj treti XIX veka* [Development of the Abstract Vocabulary in Russian Literary Language of the First Third of the 19th Century], Moscow: Nauka.
- Veselitsky V. (1968) Iz istorii otvlechennoj leksiki XVIII veka: leksicheskaja variantnost' i nekotorye puti ee sokrashhenija v svязи с normalizationj russkogo nacional'nogo literaturnogo jazyka [From the History of Russian Abstract Vocabulary of the 18th Century: Lexical Variability and Some Ways of Its Reduction in Relation to the Normalization of Russian National Literary Language]. *Russkaja istoricheskaja leksikologija* [Russian Historical Lexicology] (eds. S. Barkhudarov, V. Veselitsky, F. Filin), Moscow: Nauka, pp. 40–64.
- Zaretsky Y., Levinson K., Shirle I. (eds.) (2014) *Slovar' osnovnyh istoricheskikh ponjatij* [Dictionary of the Basic Historical Concepts], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Zhdanova L. (1997) *Obshhestvo: jazykovoe znachenie i koncept* [Society: Linguistic Meaning and Concept]. *Aktual'nye problemy jazykoznanija i literaturovedenija. Vypusk 3* [Current Issues in Language and Literature Studies, Issue 3], Moscow: MSU.
- Zhivotov V. (2009) *Istoriya ponjatij, istorija kul'tury, istorija obshhestva* [History of Concepts, History of Culture, History of Society]. *Ocherki istoricheskoy semantiki russkogo jazyka rannego Novogo vremeni* [Essays in the Historical Semantics of Russian Language in the Early Modern Age], Moscow: Jazyki slavjanskih kul'tur, pp. 5–27.

Начинание, рождение, действие: Августин и политическая мысль Ханны Арендт

Ирина Дуденкова

Кандидат философских наук, доцент кафедры общей социологии и социальной философии
философско-социологического факультета Института общественных наук
РАНХиГС при Президенте РФ
Адрес: пр. Вернадского, д. 82, стр. 1, Москва, Российская Федерация 119571
E-mail: irinafil@gmail.com

В статье анализируется происхождение понятия «натальность» в работах Ханны Арендт и основания, которые заставляют считать его фундаментальным понятием политического мышления. Натальность определяется как фактическое рождение человека в мир и способность к начинанию нового. Фактическое рождение, истолкованное натуралистически, должно было бы вступать в противоречие с «онтологическим укоренением» человеческой свободы в действии. Однако Арендт усматривает тесную связь между этими двумя аспектами натальности. Эта связь носит теологический характер и восходит к Августину, собеседнику Арендт на протяжении всей ее творческой жизни. Генеалогия натальности позволяет поставить проблему причастности и отношения политической мысли Арендт к философской критике биополитики. Два основных аспекта натальности строго соотносятся с двумя определениями жизни в качестве голой природной жизни (*zoe*) и жизни в ее политическом измерении (*bios*). Натальность может быть условием мира и политического, которое не зависит от предыдущей организации политического пространства. Иными словами, «натальность» — понятие, через которое становится возможно думать о политическом независимо от аристотелевского заявления, что лишь политическое или *polis* «естественнны» для человека, то есть политическое рассматривается как функция самой жизни. Наиболее вероятное объяснение парадоксальности размышлений Арендт о натальности — это их мессианская ориентация, знаком которой следует считать вовлеченность Арендт в теологические темы Августина. Устойчивая связь между рождением и возможностью свободного действия, которая заимствуется Арендт у Августина и представляется ей рецидивом римского миропонимания, возникает только в случае нормальной богословской онтологизации рождества.

Ключевые слова: начало, рождение, действие, натальность, Августин, жизнь, биополитика, мессианизм

Начало, архе, точка приложения всякого философского усилия обретается в испытаниях, но имеется ли смысл у вопрошания о начале самого начала? Накопленная веками «техника безопасности» теоретического обращения с понятием «начало» запрещает задавать такой вопрос во избежание регресса в бесконечность либо вынужденного введения понятия «Бог», однако история философии показывает, что начало начала снова проблематизируется как свидетельство высшего эпистемического куража и метафизической отваги.

© Дуденкова И. В., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

Самая мужественная женщина-философ XX века Ханна Арендт изобрела специальное понятие — «натальность» (*nativity*), с помощью которого описываются три типа человеческого опыта: фактическое рождение — вхождение человека в мир, политическое рождение — спонтанность, беспричинность политического действия, а также теоретическое рождение — свойство эмерджентности человеческого мышления. Для Арендт натальность — это попытка философской тематизации понятия-антонима к хорошо продуманному и вполне традиционному для философии понятию смертности или конечности.

Арендт называет натальность «центральной категорией политического мышления» (Arendt, 1958: 9). Человеческая способность действовать свободно «онтологически укоренена» в «факте натальности». Но в этом философском решении есть нечто озадачивающее. Что может означать эта «онтологическая укорененность», если момент и обстоятельства рождения невозможно выбрать самостоятельно, в ситуации рождения человек пассивен и заброшен в мир? Замешательство усиливается, если вспомнить, что в своих работах Арендт выступает как последовательная противница натуралистического истолкования, спорит с положением, что действие и политика могут быть биологически обусловлены. Для Арендт труд, но не политическое действие отражает зависимость человеческой жизни от биологических процессов, которые необходимы, но не способны ее контролировать. Но если мышление Арендт нацелено антинатуралистически, почему она укореняет человеческую свободу в рождении? Откуда приходит и к чему приводит такое философское решение?

Гипотеза, которая здесь защищается, состоит в том, что трудности связаны не столько со сложной концепцией жизни, как предполагает Юлия Кристева (Kristeva, 2001), сколько с теологическим происхождением и наполнением понятия «натальность». Генеалогия натальности позволит достаточно точно охарактеризовать отношение философии Арендт к современным исследованиям биополитики, что стало особенно актуальным и дискуссионным в современной западной литературе в последние десятилетия (Collin, 1999; Duarte, 2004; Vatter, 2006; O'Byrne, 2004). Например, Джорджо Агамбен в книге «*Homo sacer*. Суверенная власть и голякая жизнь» выражает удивление:

«Трансформацию и упадок пространства публичного в современных обществах Арендт связывала именно с этим приоритетом природной жизни по сравнению с политической деятельностью. Свидетельством тех трудностей и того сопротивления, которые должна была преодолеть мысль в этой области, служит то, что разыскания Арендт практически не получили какого-либо продолжения, равно как и то, что в своих биополитических исследованиях Фуко обошелся без каких-то отсылок к ним» (Агамбен, 2011: 10).

В свете новых дискуссий о биополитике в философии Ханны Арендт натальность наряду с множественностью (*plurality*) упоминаются как важнейшие понятия на пути истолкования политического действия, однако связь между рожде-

нием и концепцией действия не прописывается специально. В исследовательской литературе нет согласия относительно происхождения понятия «натальность» и момента, когда само понятие становится устойчивым в концепции Арендт (Bowen-Moore, 1989; O'Byrne, 2010; Canovan, 1994). Зацепимся за очевидный факт: каждый раз, когда Арендт переходит от рождения к действию, она приводит цитату из трактата «О граде Божием» Августина, в которой творение человека Богом является залогом человеческой способности начинать (Арендт, 2013: 331; Арендт, 2014: 253). Возможно, прослеживая нити продолжавшейся всю жизнь беседы Арендт с христианским философом, можно прояснить противоречия, связанные с введением натальности в качестве «центральной категории политического мышления».

Довольно часто замечательные мыслители вспоминают о юношеском и ученическом приобщении к теоретическому полю, которое, подобно семенному логосу, разворачивается и раскрывается всю последующую жизнь. Ханна Арендт, удостоившаяся в конце 1990-х гг. именования «женщина XX века», публичный интеллектуал с огромным моральным авторитетом, чей голос обличал шокирующий опыт прошлого века, начинает свою академическую карьеру в Германии с докторской диссертации «Понятие любви у Августина». По мере освоения библиографического наследия Арендт и исследований, посвященных ее творчеству, выясняется, что этот факт — не мелкая биографическая деталь, которой можно пренебречь. Мысли, которые она сформулировала, будучи двадцатиreichлетним философом, беспокоили ее до последних дней жизни: в незаконченной рукописи «Жизнь ума» ее размышления спровоцированы вопрошанием блаженного Августина.

Известно, что Арендт обдумывала свою первую научную работу в Марбурге в 1924–1926 гг. во время тесного общения с Мартином Хайдеггером, возможно, эта работа является откликом на диссертацию «Святой Августин и проблема свободы у Святого Павла» (1924) ее друга Ганса Ионаса, сокурсника в Гейдельберге и коллеги в Америке. Однако она была завершена под руководством Карла Ясперса в Гейдельберге в 1929 году и знаменует начало их продолжительной интеллектуальной дружбы. Заметим, что Ясперс был весьма требователен к диссертации Арендт и дал ей не самую высокую оценку, но горячо рекомендовал к публикации. Тот год был выдающимся на значительные для Арендт события: она участвует в протестантском теологическом семинаре Рудольфа Бультмана, выходит замуж за Гюнтера Андерса, через год пробует транспонировать некоторые идеи своей диссертации в формат публицистической статьи для «Frankfurter Zeitung» об отношении августинианства и протестантизма. В начале 1930-х гг. Арендт пишет книгу «Рахиль Вархаген». К этому же периоду относятся знаменитая рецензия Арендт на «Идеологию и утопию» Карла Мянгейма и статья о Кьеркегоре. Несмотря на поздние заявления Арендт о том, что до 1933 года политика ее не волновала, несомненно, во всех этих текстах с большим литературным мастерством и силой поднимается вопрос, впервые поставленный в диссертации — принуждения/отчуждения философа обществом/от общества, связи общества и свободного индивида. Существует обширная литература, воссоздающая биографический кон-

текст и культурную ситуацию с привязкой к диссертации Арендт. Так, Питер Гэй в своем образцовом исследовании академической атмосферы Германии 1920-х гг. отмечает, насколько чужда была «политическому экспрессионизму» Арендт. (Gay, 1970). С другой стороны, несмотря на связи Арендт с сионистскими кругами в Париже, она не смогла до конца идентифицировать себя ни с иудаизмом, ни с еврейством как неким этническим или культурным сообществом.

В 1996 году американской исследовательницей Джоанной Векчиарелли Скотт был опубликован сделанный в 1960-х годах перевод диссертации об Августине, который хранился в библиотеке Конгресса. Факт, что текст был исправлен, переработан и подготовлен Арендт для печати собственноручно, свидетельствует, что она снова и снова возвращалась к своему раннему тексту в период взлета ее академической и публицистической карьеры в Америке, намеревалась опубликовать и специально пересматривала свою юношескую работу. Этот период совпадает с ее участием в качестве корреспондента «The New Yorker» в процессе Эйхмана, благодаря которому появился один из самых известных текстов Арендт «Эйхман в Иерусалиме. Эссе о банальности зла». По свидетельству Скотт, ее поразила тщательность подготовки текста диссертации Арендт, английский перевод испещрен рукописными пометками и замечаниями, которыми маркируется обычно американский период ее жизни, такими как натальность, множественность, сообщество, зло. С другой стороны, Скотт отмечает, насколько органично новые понятия и аргументы вписываются в этот ранний текст (Scott, Stark, 2010).

В диссертации Арендт тщательно освещает все этапы борьбы Августина против устоявшей философской традиции трактовки *ordo amoris* в неоплатонической традиции как регуляторной функции самодостаточности философа и аскета. Арендт видит в Августине радикального философа и политика, радикального в том смысле, в котором она использовала это понятие применительно к себе и своим ближайшим друзьям. Она замечает сходство и симметрию современного ей политического момента и политических условий Августина, епископом Гиппонийского, *protégé* св. Амвросия, игрока и участника североафриканской политики римской церкви. Арендт захвачена этим средством и парадоксальностью, невозможностью маневрирования между послушным членством видимого, законного учреждения Империи или Церкви и поддержанием целостности внутреннего «порядка любви». Ранее попытка анализа положения человека, не принадлежащего ни одному сообществу, предпринимается в книге «Рахиль Вархаген». Рахиль явились для Арендт примером просвещенной еврейки, хозяйки блистательного литературного салона в Берлине, стремившейся ассимилироваться в немецкой культуре. Одна из глав книги, определяющая судьбу Рахиль, называется «Между парией и парвеню». Полагая, что еврейское происхождение помешает ее признанию в просвещенном немецком обществе, Рахиль превращается в парвеню.

«В результате наступает решительный разрыв парвеню с социальным „всемобщим“ из-за постоянной переоценки значения своей личности, поскольку

любая заслуга приобретается вопреки социальному статусу. Парвеню расплачивается за утрату своего качества парии тем, что становится совершенно неспособным схватывать всеобщее, тем, что признает отношения или испытывает интерес только и исключительно применительно к собственной личности. Неизбежным результатом деятельности парвеню оказывается создание ложной, фальшивой идентичности. Пария, восставая против общества и отметая возможность превратиться в парвеню, сохраняет зато видение целого и, соответственно, понимание общества. История Рахили описывалась Арендт как отказ от позиции парвеню и сознательное помещение себя в положение парии» (Ямпольский, 2004: 76).

Арендт неоднократно возвращается к противопоставлению индивида и сообщества. Например, в статье 1930 года «Августин и протестантство» она предложила решение этого вопроса через понятие исповеди. Верующий исповедуется, придавая своей жизни осмысленную последовательность. В одиночестве исповеди Арендт замечает не только предвосхищение протестантского принципа *sola fide*, но и драматизм взаимоотношения индивида и сообщества в целом. В «*Vita activa*» Арендт признает:

«Исторически засвидетельствован лишь один-единственный принцип, который достаточно мощен, чтобы сплотить в единое общество людей, утративших интерес к общему им миру и потому уже не сдерживаемых вместе, ни отделенных друг от друга, ни связанных друг с другом. Отыскать такую связь, которая могла бы показать себя достаточно прочной, чтобы служить заменой миру, было очевидно главной задачей христианской философии, когда еще молодая община столкнулась с политическими задачами» (Арендт, 2000: 70).

Итак, по Арендт, важнейший посыл философии Августина: «странная диалектика» выбора между гармонией внутреннего самоустроения и миром, первойшей экзистенциальной задачей «жить в мире». Как может сочетаться предельная изоляция верующего, необходимая для выполнения заповеди любви к Богу, с существованием христианской общины, заветом любви к ближнему? Каким образом самодостаточная созерцательная устремленность сопрягается с включенностью в сообщество и традицию?

Арендт усматривает парадоксальность в сочетании рядоположенных христианских заповедей любви *caritas*: любви к своему ближнему как к самому себе и к Богу. По ее мнению, у Августина сосуществуют две противоречивые концепции *caritas*, которые создают трудности для возможности установления любви к ближнему, другому человеку. Первая концепция *caritas* смоделирована по образцу желания *appetite*: здесь любовь к Богу понимается как желание приобрести объект, который никогда не будет «потерян», потому что он ничего не разделяет с быстротечностью мирских вещей. Арендт полагает, что понятая так *caritas* снимает цен-

ность человеческого существования и делает императив любви к ближнему, как к самому себе, почти невозможным.

Другая концепция *caritas* берет на вооружение мысль Августина о том, что память придает единство и направленность человеческому существованию. В воспоминании божественной благости, излитой на творение, человек научается любить божественную любовь к себе. В этой концепции любви она есть исходная взаимосвязь человека и Бога, человека и мира. Любовь к ближнему уже не относится к категориям судьбы, изначально данного, она служит продуктом свободного выбора, предоставляемого явлением Христа. Любовь к ближнему в «сообществе судьбы» в каком-то смысле принудительна, как любовь к родителям, которых не выбираешь. Новая любовь не связана с прошлым, потому что это любовь к людям, с которыми ты разделяешь общую веру. Любовь, конституирующая новое сообщество выбора, сложно соотносится с прошлым: «В основе своей другой равен тебе потому, что у него то же прошлое грешника, как и у тебя, поэтому ты должен его любить. Но это значит: только прошлое делает чистую способность верить общей верой (*communis fides*)» (Arendt, 1996: 112). Таким образом, уже в диссертации Арендт выстраивает собственное понимание историчности, принимающее во внимание свободу, связанное с воспоминанием и возвращением к «абсолютному прошлому»: «память, а не устремленность (например, устремленность к смерти Хайдеггера), придает единство и цельность человеческому существованию». Это воспоминание становится основанием второй концепции любви к Богу — любви-благодарности. Вспоминая о своем создании, человек устремляется к Божественной любви к человеку, проявленной в его творении. В этой любви, основанной не на желании, а на благодарности, возникает изначальная взаимосвязь человека и Бога и человека и мира. Именно эта взаимосвязь позже получит название натальности и будет отныне обозначаться знаменитой цитатой из Августина. Конечно, самого понятия натальности в диссертации нет, фактически оно появляется *post factum*, когда с 1958 по 1964 год Арендт пересматривает свою диссертацию, особенно главу, посвященную Творению, намереваясь переиздать ее в английском переводе.

Уже в диссертации Арендт проводит ревизию оснований аналитики *Dasein*, стремится связать метафизическое и политическое осуществление человека не со смертью, а с рождением, пересматривает при этом и само онтологическое определение человека и понимание акта рождения. «Поскольку действие — это политическая деятельность *rag exellence*, вполне возможно, что рожденность является для политического мышления решающим, образующим категорию, подобно тому как смертность с давних пор, а в Западной Европе по меньшей мере начиная с Платона, была обстоятельством, от которого воспламенялось метафизическое философское мышление» (Арендт, 2000: 16). Но Арендт подчеркивает мысль Августина, что человек остается человеком в той мере, в какой он не забывает о своей сотворенности человеком. «Это устремление — не вопрос желания и свободного решения; это выражение зависимости, происходящей от факта сотворенности» (Arendt, 1996: 51). Это одно из первых упоминаний об условиях человеческого существования:

творение в его сотворенности приобретает смысл только в свете источника, который предшествовал акту творения, от Создателя, который его сотворил. Факт, что человек не сотворил самого себя, но был создан, придает смысл человеческому существованию, но находится вне его и предшествует ему. «*Createdness (creatum esse)* означает, что сущность и существование — не одно и то же. Следовательно, фактически единственный путь, которым созданная вещь может «вернуться к себе», — это «вернуться к Богу» (Arendt, 1996: 50). Но за период с 1929 до 1958 года, к моменту публикации «*Vita activa*», факт созданности становится фактом рожденности, акцент переносится на сам феномен жизни.

Можно предположить, что Арендт колеблется, рассматривая в качестве приоритетных источников нового то воление, то рожденность. «Будь Кант знаком с августинской философией рожденного, он, возможно, согласился бы с тем, что свобода условно безусловной спонтанности не более смущает человеческий разум, чем тот факт, что люди рождаются — они вновь и вновь появляются в мире, который предшествует им во времени. Свобода спонтанности есть часть человеческого удела (*human condition*). Ее ментальным органом выступает воля» (Арендт, 2013: 332). Кантианская «способность спонтанно начинать ряд во времени» и августинская «*initium ut esset homo creatus est*» как будто приравниваются друг другу. Арендт приводит пример с двумя близнецами, «чьи плоть и дух находятся в одинаковом состоянии». Можно ли говорить о них по отдельности? Единственная черта, которой они различаются, это их воля, если представить, что «оба подверглись искушению, но один поддался. А другой устоял... А почему, как не по собственной воле, тем более что состояние тела и духа у них изначально было одинаковым?» (Арендт, 2013: 331). Но в эссе «Что такое свобода?», где Августин выступает одновременно в двух ролях, защищаемого и адвоката, Арендт очень последовательно, но неожиданно выбирает в пользу рожденности: спонтанность, новизна, свобода не являются феноменом воли. Августин повинен в том, что «воление просто не может избавиться от самости; оно всегда остается к ней привязано и по большому счету у нее в зависимости... То, что воление стало таким жадным до власти, то, что воля и воля к власти практически стали одним и тем же, объясняется, возможно, тем, что первым опытом воления был опыт его бессилия» (Арендт, 2014: 246). Тот же самый великий христианский философ Августин, который привнес в историю идей свободную волю *liberum arbitrum* с сопутствующими проблемами и решающим образом повлиял на философскую традицию, закладывает, подчеркивает Арендт, и совершенно иное представление:

«В трактате „О граде Божьем“ Августин, что вполне естественно, опирается на специфически римский опыт в большей мере, чем в каком-то другом сочинении, и понимает свободу не как внутреннее состояние человека, но как характер человеческого существования в мире. Человек не столько обладает свободой, сколько приравнивается (точнее даже, не он сам, а его прибытие в мир) к появлению свободы во вселенной; человек свободен, потому что он — начало, и был сотворен таковым, когда вселенная уже существовала: [*Initium*]

ut esset, creatus est homo, ante quem nemo fuit. В рожденности каждого человека вновь утверждается это исходное начало, поскольку в каждом случае в уже существующий мир, который продолжает существовать после смерти каждого отдельного человека, приходит нечто новое. Человек, поскольку он — начало, способен к начинанию; „быть человеком“ и „быть свободным“ — это одно и то же. Бог создал человека, чтобы привнести в мир способность к начинанию — свободу» (Арендт, 2014: 253).

Натальность — такое уникальное условие человеческого существования, в котором упакованы одновременно и всеобщесть, и новизна, т. е. индивидуализация. На первый взгляд это серьезное препятствие к тому, чтобы мыслить обусловленность человеческого существования через множественность:

«Рождение и натальность обретают философскую (онтологическую) нагруженность в свете призванности субъекта к рождению — как в аспекте интенциональных актов (рассматриваемых в различных плоскостях), так и в аспекте собственного самоопределения — „второго рождения“ *Dasein*, которое в качестве натальной целости должно заявлять о себе, „кто оно есть“. Но чтобы первое рождение стало почвой для второго рождения... понадобилось искоренить любые отсылки к другим — так пафос рождения становится пафосом утверждения индивидуалистического образа субъекта» (Щитцова, 2006: 135).

Заимствуя у Августина аргументы от сотворения человека, Арендт сталкивается с серьезной трудностью. Точная библейская версия творения говорит, что Бог создает человека, единственного человека, одного Адама, в отличие от сотворения животных, которых как раз множество. «Что же касается живых существ, созданных до человека, они были растворены во множестве, как виды существ, в отличие от человека, сотворенного в единственном числе и род которого распространился от одного для побуждения к согласию» (Августин, 1998: 156). «Еврейско-христианский миф» противоречит задаче политического мышления Арендт, состоящей в том, чтобы схватить специфику человеческой множественности: единство человеческого рода, подчеркнутое в едином Адаме, символизирует Единого Бога и обозначает равенство людей. Множественность вторична по отношению к единству человечества в Адаме и через Адама и характерна лишь для животных. Такое богословское размышление не может удовлетворить Арендт, она встает на путь, который можно считать попыткой спасти Августина от него самого, а именно через интерпретацию акта творения мужчины и женщины, Адама и Евы, двоих, а не одного. Так начало человеческого рода перестает быть единством, но становится ли оно от этого множественным? Для Кристевой это повод сделать поспешный вывод о феминности как внутреннем свойстве действия, которое было для Арендт сущностью политического: «феминность конституирует множество мира, множество, в котором она действует» (Kristeva, 2001: 70). По крайней мере, проясняется еще один важный аспект натальности: новизна начидающегося в мире человека

свидетельствуется и приветствуется другим, начало является событием человеческой множественности, поскольку его значение и смысл открываются другим прежде, чем самому человеку. Поскольку само рождение нельзя вспомнить, человек отстранен от своего начала так, что оно остается для него загадочным. Почему для Арендт натальность непременно опосредуется библейской историей и воспоминанием, почему для нее невозможно прямое указание на то, что в отличие от смерти, которую человек встречает в одиночестве, в сцене рождения всегда участвуют двое, как, например, в феноменологическом описании опыта плодовитости у Эммануэля Левинаса? (Левинас, 2000). Вероятно, потому, что множественность должна явиться не только в виде различия «между», лицом к лицу, но и поверх этого различия, в мысли Арендт политические интенции опережают и предвосхищают этические.

В «*Vita activa*, или О деятельности жизни» (как, впрочем, и ранее — в «Истоках тоталитаризма» и статье 1953 года «Понимание и политика») идеи Арендт подкрепляются рассуждениями о природе человеческого действия, фоном для которых выступают в том числе и соображения из книги 12, 20-й главы Града Божьего Августина. Одна из первых глав «*Vita activa*», в которой Арендт объясняет свою теорию действия, начинается так: «Словом и делом мы включены в человеческий мир, и это включение походит на второе рождение, в котором мы утверждаем и открываем для себя голый факт нашего исходного физического явления» (Арендт, 2000: 47). Аналогия между рождением и действием рассматривается Арендт в двух аспектах: во-первых, действие, как и рождение, открывает новое, во-вторых, как и рождение ребенка, действие есть манифестация действующего «кто». Действие у Арендт наделяется такими двумя важнейшими чертами: «новое начало» и «проявление действующего».

Штефан Камповски считает, что вполне уместно порассуждать, вычитывает ли Арендт свою теорию действия как второго рождения и нового начала у Августина или приписывает ему. Это было, в частности, одним из замечаний, сделанных ей в свое время Ясперсом: есть опасность увидеть у Августина то, чего нет в его тексте. Один незначительный выпад Августина против платоников Арендт превращает в полноценный теоретический аргумент. *Initium* для Августина — способ спрятаться с метафизической трудностью греческой метафизики, застывшей в круге вечного возвращения и неспособной учесть момент темпоральности, связанный с сотворением мира Богом. Арендт использует введенное Августином различие между *initium* и *principium* в иных целях: *initium* — особое начало, «начало того, кто самого себя делает началом».

«В этом исходнейшем и наиболее общем смысле действовать и начинать нечто новое — одно и то же; всякий поступок прежде всего приводит нечто в движение, он акт в смысле латинского *ager*... Поскольку всякий человек по причине своей рожденности есть *initium*, некое начало и пришелец в мире, люди могут брать на себя инициативу, становиться начинателями и приводить в движение новое. [*Initium*] ergo ut esset, *createtur est homo, ante quem nullus*

fruit — „чтобы было начало, был создан человек, до коего никого не было“ — говоря словами Августина, который этим одним положением своей политической философии в своей иногда ему присущей глубокомысленно-аподиктической манере неожиданно объединяет суть учения Иисуса из Назарета с опытной почвой римской истории и политики» (Арендт, 2000: 231).

С появлением человека принцип начала, находившийся прежде в руках Бога и вне мира, проявляется в самом мире. Из такого понимания действия вытекают два важнейших следствия: с одной стороны, поскольку действующий всегда движется среди других действующих, для Ханны Арендт действие всегда по своей природе общественно, а потому находится в решительной оппозиции к одиночеству мысли. Действие и претерпевание принадлежат друг другу, и таким образом создается ткань межчеловеческих отношений, возникает человеческое сообщество. С другой стороны, сфера человеческих отношений столь хрупка, что ее невозможно стабилизировать: «хрупкость установлений и законов, какими мы снова и снова пытаемся с грехом пополам стабилизировать сферу человеческих дел, не имеет отношения к падшести или греховности человеческой природы; она объясняется только тем, что все новые массы вливаются в эту сферу и должны в ней словом и делом провести в жизнь новое начало» (Арендт, 2000: 252).

Здесь натальность берется и испытывается уже во втором своем смысле — политического действия как второго рождения. Не являются ли два аспекта натальности: фактическое биологическое рождение и второе рождение как политическое действие простыми коррелятами давней философской пары *zoe* и *bios*, простой природной жизни и жизни в ее политическом измерении? Этот вопрос прямо или косвенно задается в текущей научной литературе особенно часто после выхода книг итальянских политических философов Джорджа Агамбена и Роберто Эспозито (Агамбен, 2011; Esposito, 2008), в которых Арендт упоминается в почетном ряду основателей исследований биополитики. Возможно, прояснение натальности в перспективе биополитики позволит завершить сюжетную линию и объяснить противоречие между ее последовательной критикой натуралистического истолкования жизни и «онтологическим укоренением» человеческой свободы в рождении. Самой продуманной репликой в этой дискуссии с преобладающим участием феминистских теоретиков стала статья Мигеля Ваттера (Vatter, 2006), в которой концепт натальности рассматривается как цезура, отделяющая жизнь от жизни. Эта цезура делает возможным переход от жизни как объекта власти к жизни как субъекту свободы. «Ответ Арендт на систематическое производство „голой жизни“ в тоталитарных режимах состоит в основании политики на явлении натальности. Натальность — биополитическое понятие, которое противостоит „тантатополитическому“ понятию голой жизни, ее ответ на политику смерти, неявную в биополитике модерна и впервые реализованную в тоталитарных режимах XX века» (Vatter, 2006: 146). Натальность — условие мира и политического, но это — условие, которое не зависит от предыдущей организации политического про-

странства. Иными словами, «натальность» — понятие, через которое становится возможно думать о политическом независимо от аристотелевского заявления, что лишь политическое или *polis* «естественны» для человека, то есть политическое берется как функция самой жизни.

Несмотря на эти объяснения, напряжение между двумя аспектами натальности не снимается. Рожденность возводится в принцип человеческой индивидуации и свободы, с одной стороны, с другой — Арендт настаивает на несопоставимой ценности разных уровней человеческой активности, природной и политической. Способно ли объяснить логику этой двойственности деление биополитики на «жизнеутверждающую» и «жизнеотрицающую», предложенное Эспозито, и его собственная попытка понять ее смысл в рамках «парадигмы иммунизации»? Чтобы у *zoe* появилась двойная смысловая нагрузка, это понятие продумывается им как разрыв, неоднородность в собственных пределах. С одной стороны этой цензуры жизнь — пассивный объект властного доминирования, с другой — внезапно — политически активный субъект нового начинания. Любопытно, как здесь проявляется исходная этимология понятия *subject: sub-jectum*, то, что брошено — как условие для нового действия. Получается, что младенец для Арендт буквально субъект, то, что бросается в основание, является цезурой, обеспечивающей переход от жизни как объекта власти к жизни как субъекту свободы:

«Чудо, вновь и вновь прерывающее круговорот мира и ход человеческих вещей и спасающее их от гибели, вложенное в них как зародыш и определяющее как закон их движение, есть в конечном счете факт натальности, рожденность, онтологическая предпосылка того, что вообще может быть такая вещь, как поступок... Чудо заключается в том, что вообще рождаются люди и с ними новое начало, которое они способны проводить в жизнь благодаря своей рожденности» (Арендт, 2000: 328).

Наиболее вероятным объяснением парадоксальности размышлений Арендт о новом начинании является их ненавязчивая мессианская ориентация, знаком которой можно считать вовлеченность Арендт в теологические темы Августина. Это тот случай, когда теология продолжает свое существование в современном политическом мышлении, случай концептуальной зависимости светской политической философии от структуры теологических аргументов, которую Шмитт называет «политической теологией» (Шмитт, 2000). Конвергенция биополитики и теологии и их взаимоопределенность уже достаточно хорошо описаны Агамбеном, но у Арендт возникает совершенно своеобразная конфигурация их отношений. Понятие натальности стратегически важно для Арендт, поскольку оно атакует две цели, мобилизовано как против идеи Шмитта о том, что состояние исключения связано с суверенной властью, так и против секулярных версий детерминизма. Вопрос о начале — непредсказуемом разрушении установленного правового порядка и естественной причинной связи преобразуется и радикализуется в вопрос об агенте действия в секулярной политике. Понятие натальности, таким образом,

вводит состояние исключения независимо от решения суверена и предлагает иное толкование нового начинания — фактическое рождение и вхождение человека в мир признается источником наиболее радикальных изменений.

Но рожденность как источник новизны для Арендт сама обусловлена актом божественного творения, только с сотворением человека принцип начала входит в сам мир, принцип свободы был создан, когда был создан человек, но не прежде. Эта гетерогенность теологического аргумента для секулярной политической философии, по-видимому, продолжает беспокоить Арендт, например «Жизнь ума» заканчивается на весьма высокой ноте:

«Сама возможность начала коренится в рождении, а не в творении, не в даре, а в том факте, что человеческие существа, новые люди, вновь и вновь появляются в мире благодаря рождению. Я прекрасно сознаю, что этот аргумент даже в августинианской версии несколько туманен, что он говорит не более того, что мы обречены быть свободными по причине рождения, вне зависимости от того, любим мы свободу или ненавидим ее случайность и произвол, „по нраву“ она нам или мы предпочитаем бежать от ужасающей ответственности, выбирая те или иные формы фатализма» (Арендт, 2013: 434).

Связь между рождением и возможностью свободного действия у Августина, которая заимствуется Арендт и кажется ей рецидивом римского миропонимания, гарантируется только в случае привычной богословской онтологизации рождества. Она возникает тогда, когда акт творения мыслится нераздельно с радикальной новостью о богооплещении. То есть только в свете рождения нетварного нового Адама рождение Христа может восприниматься как новое начало, источник надежды и спасения. Заимствуя для нужд политической теории одну часть теологического аргумента, Арендт не может не проигнорировать другую, но эта недосказанность плохо отражается на связности двух аспектов «ключевого понятия» ее философии и «центральной категории политического мышления» — натальности.

Литература

- Августин. (1991). Исповедь / Пер. с лат. М. Е. Сергеенко. М.: Ренессанс, ИВО-СиД.
- Августин. (1998). Творения. Т. 3–4. СПб.: Алетейя.
- Августин. (2001). О свободе воли. Кн. II / Пер. с лат. М. Ермаковой, А. Шарниной // Антология средневековой мысли. Т. 1. СПб.: РХГИ.
- Агамбен Дж. (2011). Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь / Пер. с ит. И. Левиной и др. М.: Европа.
- Арендт Х. (2013). Жизнь ума / Пер. с англ. А. Говорунова. СПб.: Наука.
- Арендт Х. (2000). Vita activa, или О деятельной жизни / Пер. с англ. и нем. В. Бибихина. СПб.: Алетейя.
- Арендт Х. (2013). Ответственность и суждение / Пер. с англ. Д. Аронсона, С. Бардиной, Р. Гуляева. М.: Изд-во Института Гайдара.

- Арендт Х. (2014). Между прошлым и будущим / Пер. с англ. Д. Аронсона. М.: Изд-во Института Гайдара.
- Левинас Э. (2000). Избранное. Тотальность и бесконечное / Под ред. Г. М. Тавризян. М.: Университетская книга; СПб.: Культурная инициатива.
- Филиппов А. А. (2013). Мышление и смерть: «Жизнь ума» в философской антропологии Ханны Арендт // Вопросы философии. № 11. С. 155–167.
- Фуко М. (2010). Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году / Пер. с франц. А. Дьякова. СПб.: Наука.
- Шмитт К. (2000). Политическая теология / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца. М.: Канон-Пресс-Ц.
- Щитцова Т. В. (2006). *Memento nasci: сообщество и генеративный опыт*. Штудии по экзистенциальной антропологии. Вильнюс: Европейский гуманитарный университет.
- Ямпольский М. Б. (2004). Сообщество одиночек: Арендт, Беньямин, Шолем, Кафка // Новое литературное обозрение. № 67. С. 78–105.
- Arendt H. (1958). *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Arendt H. (1996). *Love and Saint Augustine*. Chicago: University of Chicago Press.
- Arendt H. (2005). *The Promise of Politics*. New York: Schocken Books.
- Arendt H., Jaspers K. (1992). *Correspondence, 1926–1969*. New York: Harcourt: Brace & Company.
- Baehr P. (2000). Introduction // *The Portable Hannah Arendt*. New York: Penguin Books. P. vii–liv.
- Bowen-Moore P. (1989). *Hannah Arendt's Philosophy of Natality*. New York: St. Martin's Press.
- Canovan M. (1994). *Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Collin F. (1999). Birth as Praxis // *The Judge and the Spectator: Arendt's Political Philosophy* / Ed. by J. Herman, D. Villa. Leuven: Peeters. P. 97–110.
- Duarte A. (2004). Biopolitics and the Dissemination of Violence: The Arendtian Critique of the Present. Доступно по адресу: <http://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/view/69/102>. Дата обращения: 20.11.2014.
- Esposito R. (2008). *Bios: Biopolitics and Philosophy*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Gay P. (1970). *Weimar Culture: The Outsider as Insider*. New York: Harper Tochbook.
- Kampowski S. (2008). *Arendt, Augustine, and the New Beginning: The Action Theory and Moral Thought of Hannah Arendt in the Light of Her Dissertation on St. Augustine*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Kristeva J. (2001). *Hannah Arendt: Life Is a Narrative*. Toronto: University of Toronto Press.
- O'Byrne A. (2010). *Natality and Finitude*. Bloomington: Indiana University Press.
- Ricoeur P. (1989). Préface // Arendt H. *Condition de l'homme modern*. Paris: Calmann-Lévy. P. 5–39.

- Scott J. V., Stark J. Ch. (1996). Rediscovering Hannah Arendt // Arendt H. Love and Saint Augustine. Chicago: University of Chicago Press. P. 125–134.
- Vatter M. (2006). Natality and Biopolitics in Hannah Arendt // Revista de Ciencia Política. Vol. 26. № 2. P. 137–159.

Beginning, Birth, Action: Augustine and the Political Thought of Hanna Arendt

Irina Dudenkova

Associate Professor, Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Address: Prospect Vernadskogo, 82, Moscow, Russian Federation 119571

E-mail: irinafild@gmail.com

The paper briefly analyzes the main aspects of the genesis of Arendt's concept of natality, and the reasons that led her to claim natality as a fundamental concept of political thought. 'Natality' is defined as the "biological" birth of the man in the world, and/or the capacity of beginning something new. If the factual birth is defined naturalistically, it can contradict randomness of action as the capacity of beginning something new. The connection between the two aspects of natality goes back to Augustine who was Arendt's interlocutor throughout all of her research life. The genealogy of natality allows us to subject the problem of participation and the relation of political thought of Arendt to the philosophical criticism of biopolitics. Two definitions of life, natural life (zoe), and life in its political measurement (bios), strictly correspond to the two main aspects of natality. Natality is a concept which allows to consider the political to be a function of life. The most probable explanation for paradoxicality of Arendt's reflections on natality is their messianic orientation, which could be attributed to Arendt's involvement into the theological subjects via Augustine. The stable relation between birth and possibility of free action arises only in the case of a normal theological ontologization of Christmas.

Keywords: beginning, birth, action, natality, Augustine, life, biopolitics, messianism

References

- Agamben G. (2011) *Homo sacer. Suverennaja vlast' i golaja zhizn'* [Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life], Moscow: Evropa.
- Arendt H. (1958) *The Human Condition*, Chicago: University of Chicago Press.
- Arendt H. (1996) *Love and Saint Augustine*, Chicago: University of Chicago Press.
- Arendt H. (2005) *The Promise of Politics*, New York: Schocken Books.
- Arendt H., Jaspers K. (1992) *Correspondence, 1926–1969*, New York: Harcourt: Brace & Company.
- Arendt H. (2014) *Mezhdju proshlym i budushhim* [Between Past and Future], Moscow: Izdatelstvo Instituta Gajdara.
- Arendt H. (2013) *Otvetstvennost' i suzhdenie* [Responsibility and Judgment], Moscow: Izdatelstvo Instituta Gajdara.
- Arendt H. (2000) *Vita activa, ili O dejatel'noj zhizni* [Vita Activa; or, On Active Life], Saint-Petersburg: Aleteija.
- Arendt H. (2013) *Zhizn' uma* [The Life of the Mind], Saint-Petersburg: Nauka.
- Augustine (1991) *Ispoved* [Confessions], Moscow: Renessans, IVO-SiD.

- Augustine (2001) *O svobode voli. Kn. II [On the Freedom of Will. Book 2]. Antologija srednevekovoj myсли. T. 1* [The Anthology of Medieval Thought, Vol. 1], Saint-Petersburg: RHGI.
- Augustine (1998) *Tvorenija. T. 3–4* [Works. Vols. 3–4], Saint-Petersburg: Aleteja.
- Baehr P. (2000) Introduction. *The Portable Hannah Arendt*, New York: Penguin Books, pp. vii–liv.
- Bowen-Moore P. (1989) *Hannah Arendt's Philosophy of Natality*, New York: St. Martin's Press.
- Canovan M. (1994) *Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Collin F. (1999) Birth as Praxis. *The Judge and the Spectator: Arendt's Political Philosophy* (eds. J. Herman, D. Villa), Leuven: Peeters, pp. 97–110.
- Duarte A. (2004) Biopolitics and the Dissemination of Violence: The Arendtian Critique of the Present. Available at: <http://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/view/69/102> (accessed 20.11.2014).
- Esposito R. (2008) *Bios: Biopolitics and Philosophy*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Filippov A. (2013) *Myshlenie i smert': "Zhizn' uma" v filosofskoj antropologii Hanny Arendt* [Thought and Death: "The Life of the Mind" in the Philosophical Anthropology of Hannah Arendt]. *Voprosy filosofii*, no 11, pp. 155–168.
- Foucault M. (2010) *Rozhdenie biopolitiki: kurs lekcij, prochitannyh v Kollezh de Frans v 1978–1979 uchebnom godu* [The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979], Saint-Petersburg: Nauka.
- Gay P. (1970) *Weimar Culture: The Outsider as Insider*, New York: Harper Tochbook.
- Iampolski M. (2004) *Soobshhestvo odinochek: Arendt, Benjamin, Sholem, Kafka* [The Community of the Loners: Arendt, Benjamin, Sholem, Kafka]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, no 67, pp. 78–105.
- Kampowski S. (2008) *Arendt, Augustine, and the New Beginning: The Action Theory and Moral Thought of Hannah Arendt in the Light of Her Dissertation on St. Augustine*, Grand Rapids: Eerdmans.
- Kristeva J. (2001) *Hannah Arendt: Life Is a Narrative*, Toronto: University of Toronto Press.
- Levinas E. (2000) *Izbrannoe: Total'nost' i beskonechnoe* [Selected Works: Totality and Infinity], Moscow: Universitetskaja kniga.
- O'Byrne A. (2010) *Natality and Finitude*, Bloomington: Indiana University Press.
- Ricoeur P. (1989) Préface. Arendt H. *Condition de l'homme modern*, Paris: Calmann-Lévy, pp. 5–39.
- Scott J. V., Stark J. Ch. (1996) Rediscovering Hannah Arendt. Arendt H. *Love and Saint Augustine*, Chicago: University of Chicago Press, pp. 125–139.
- Shchytsova T. (2006) *Memento nasci: soobshhestvo i generativnyj opyt. Shtudii po jekzistenuial'noj antropologii* [Memento nasci: Community and the Generational Experience. Studies in Existential Anthropology], Vilnius: Evropejskij gumanitarnyj universitet.
- Vatter M. (2006) Natality and Biopolitics in Hannah Arendt. *Revista de Ciencia Politica*, vol. 26, no 2, pp. 137–159.

Говорите по очереди: нетехническое введение в конверсационный анализ

Андрей Корбут

Кандидат социологических наук, научный сотрудник
Центра фундаментальной социологии ИГИТИ НИУ ВШЭ
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: korbut.andrei@gmail.com

В статье, предваряющей публикацию перевода статьи Харви Сакса, Эммануила Щеглоффа и Гейл Джейферсон «Простейшая систематика организации очередности в разговоре», рассматриваются концептуальные и методологические основания конверсационного анализа. Показывается, что конверсационный анализ, который реализует программу примитивной естественной социальной науки, сформулированную Харви Саксом, предлагает революционный подход к изучению социальных феноменов, основанный на детальном анализе естественно протекающих повседневных взаимодействий. Оставаясь тесно связанным с этнометодологией Гарольда Гарфинкеля, конверсационный анализ показывает, насколько тщательными и подробными могут быть социологические описания, предполагающие выявление за каждым социальным событием разговора или любой другой социальной практики общих механизмов («машинерии») его производства. Такой подход, однако, несет в себе угрозу утраты изначальной цели изучения локальной совместной работы взаимопонимания участников социальных ситуаций, поскольку по мере накопления описаний механизмов производства и восприятия взаимодействий в конверсационном анализе усиливается тенденция к формализации, ведущая к тому, что исследователь начинает коллекционировать случаи и особенности функционирования уже известных «техник взаимодействия». В статье рассматривается значение «Простейшей систематики» с точки зрения реализации первоначальной программы конверсационного анализа, а также обсуждаются особенности перевода ключевых терминов конверсационного анализа на русский язык.

Ключевые слова: конверсационный анализ, Харви Сакс, этнометодология, социология повседневности, практика разговора, методология социологии

Конверсационный анализ — революционная социологическая дисциплина. Этот тезис может показаться странным, особенно учитывая огромное количество попыток «упаковать» его в качественную социологию, этнометодологию, социолингвистику и т. д., но если присмотреться более внимательно к изначальным намерениям его создателей и к конкретным конверс-аналитическим исследованиям, мы увидим там не просто очередной подход к социальным феноменам, а принципиально иное описание как социальной жизни в целом, так и способов ее изучения. Разумеется, любой новый социологический подход претендует на революцию, но

© Корбут А. М., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

есть очень мало подходов, которые производят переворот в том, какого рода данные собирают социологи и как они с этими данными работают. Сложность с конверсационным анализом заключается в том, что большинство как его критиков, так и его пользователей не замечают, что у технического смысла конверсационного анализа есть «второе дно»: радикальная версия социологии. Эта версия оставалась неизменной начиная с первых работ Сакса 1960-х гг. и заканчивая «Хрестоматией по конверсационному анализу» 2012 года, хотя по мере технического совершенствования конверс-анализа она все больше уходила в тень, вплоть до того, что сегодня конверсационный анализ практикуют как частную лингвистическую методику. В настоящей статье я попытаюсь прояснить нетехнический смысл конверсационного анализа и показать, какое значение для социологии имеет наиболее цитируемая статья в данной области — «Простейшая систематика организации очередности в разговоре». Поскольку настоящая работа является предисловием к первому переводу «Простейшей систематики» на русский язык, в заключение я рассмотрю проблему передачи конверс-аналитической терминологии в русском языке.

Примитивная естественная социальная наука

Конверсационный анализ¹, каким он известен сегодня, — результат сотрудничества многих людей. Тем не менее своей первоначальной формулировкой он обязан в основном одному человеку — Харви Саксу (1935–1975). Именно саксовское понимание социологии стало импульсом для развития СА. С самого начала его понимание социологии было крайне неортодоксальным. Приведу лишь одну цитату из лекции 1967 года:

«Давайте я попробую разъяснить, чем занимаюсь. Когда я начал проводить социологические исследования, у меня была конкретная цель: я осознавал, что социология не сможет стать настоящей наукой, пока не научится работать с деталями реальных событий, работать с ними формально и прежде всего быть информативной насчет них таким же образом, каким стремятся быть информативными примитивные науки. То есть вы могли бы рассказать своей маме о своих находках, и она смогла бы увидеть, что так оно и есть. Примитивные дисциплины стремятся быть информативными именно таким прямым способом. Это колоссальный контроль над пониманием того, удалось ли вам что-либо узнать» (Sacks, 1992: I, 621–622).

Эта цитата — «семенная бомба»²: из нее в дальнейшем вырастает множество различных концептуальных и методологических находок (а также некоторое количество серьезных трудностей). Попробуем их перечислить:

1. Далее я буду иногда обозначать конверсационный анализ с помощью общепринятой аббревиатуры СА (conversation analysis).

2. «Семенная бомба» — элемент так называемого «партизанского садоводства», представляющий собой шар из почвы, гумуса и семян растений, забрасываемый в любое подходящее место.

1) Социология должна работать с деталями реальных событий, т. е. с естественно протекающими взаимодействиями или речью-во-взаимодействии³. Это не так уж легко выполнимо, несмотря на то, что социология всегда заявляла о своей эмпирической ориентации. Саксовский эмпиризм — иного рода, который до этого почти не встречался в социологии. Он предполагает, что данные, которыми должна оперировать социология, — это естественно доступные данные, заключающиеся в деталях конкретных событий. Обычно социология оперирует либо специально созданными презентациями (сюда относятся не только числовые модели, но и, например, коды, приписываемые фрагментам интервью), либо вторичными данными (скажем, Ирвинг Гофман любил ссылаться на романы, журнальные статьи, руководства по этикету, пьесы и т. д.), либо искусственными примерами (как в случае теории речевых актов). Согласно Саксу, социология должна обратиться к актуальным действиям в их деталях. Хотя данный принцип имеет своим истоком этнometодологию Гарольда Гарфинкеля, Сакс был, пожалуй, первым, кто реализовал его в программе исследований, тем самым радикализировав этнometодологию. До этого этнometодология носила скорее этнографический характер. После этого можно наблюдать всплеск этнometодологических исследований, основанных на детальном анализе реальных практик. Иными словами, Сакс показал, насколько глубока может быть детализация в социологическом исследовании.

2) Предметом детализация в случае Сакса и его коллег стали повседневные разговоры, однако это было связано не столько с тем, что разговоры представляют собой какой-то принципиальный момент социальной организации, сколько с технической доступностью разговоров. Согласно Щеглоффу, Сакс впервые осознал, насколько детально упорядочены социальные практики, когда анализировал записи звонков в Центр предотвращения самоубийств (Schegloff, 1992: xvi–xvii). В целом первый корпус данных, с которым работал Сакс и его соратники, состоял из записей разговоров, которые вели люди во время звонков в данный центр или в полицию, а также из аудиозаписей терапевтических сессий в указанном центре. Однако в дальнейшем Сакс и Щеглофф также предпринимали попытки работать с видеозаписями (Sacks, Schegloff, 2002), что нашло продолжение в последующих конверс-аналитических исследованиях (Goodwin, 1981). Следовательно, в полном соответствии с исследовательской политикой этнometодологии⁴, Сакс не делал различия между «более упорядоченными» и «менее упорядоченными» практиками. Разговор как повседневная практика столь же упорядочен, как и любая другая. Задача состоит не в том, чтобы показать, каким образом в разговоре создается социальный порядок, а в том, чтобы показать, как в разговоре создается сам разговор как локальный социальный порядок. Для этого нам необходимо распространять

3. Речь-во-взаимодействии (talk-in-interaction) — термин, авторство которого приписывают Щеглоффу. Сегодня он все чаще используется для обозначения предмета конверсационного анализа, выступая его своеобразной концептуальной визитной карточкой.

4. «Такая политика подразумевает, что любые мыслимые типы исследования, начиная с гадания и заканчивая теоретической физикой, представляют интерес в качестве социально организованных искусственных практик» (Garfinkel, 1967: 32).

нить принцип эпистемического эгалитаризма⁵ на структуру самого разговора. Отсюда вытекает знаменитый принцип Сакса «порядок во всех точках» (Sacks, 1992, I: 484), который означает, что, анализируя детали актуальных разговорных событий, мы должны рассматривать каждую деталь как упорядоченную деталь, т. е. деталь, которая была *каким-то*, пока неизвестным, образом произведена. Разговор целиком и полностью упорядочен.

3) Но простого заявления о том, что нужно изучать детали реальных событий, было мало. В такой формулировке этот тезис еще недостаточно радикален. Радикальность он приобретает тогда, когда к нему добавляется еще одна идея — идея того, что детали реальных событий не только производятся самими участниками повседневных ситуаций, но и сама их анализируемость является естественной анализируемостью, в производстве которой заключаются социальные (в том числе — разговорные) действия. Рядовые члены общества совершают действия таким образом, чтобы они были анализируемы другими рядовыми членами общества. В этом смысле социолог не обладает никакими привилегиями. Более того — он должен не показать, как обыденные действия можно анализировать методами социологии, а выявить, как они анализируются самими участниками. Анализируемость высказываний обеспечивается обыденными процедурами (например, процедурами организации очередности), а не социологическими или лингвистическими техниками. Феномены, с которыми имеет дело социология, настолько примитивны, что они доступны *любому* (включая вашу маму). Сакс сравнивает такую примитивную социологию с биологией на первых этапах ее становления, когда описывать биологические феномены мог любой, и эти описания были понятны и доступны тоже любому. В этом смысле социология должна быть описательной наукой, контролируемой данными. Оценка продуктивности полученных результатов должна основываться на том, узнают ли рядовые члены общества предложенные описания в качестве описаний того, что действительно имеет место, — описаний некоего *так*. Следовательно, социологи могут изучать естественно опознаваемые действия, которые опознаются участниками конкретных ситуаций, но точно так же они опознаемы любыми людьми, поскольку производятся в своей конкретности как *общие* феномены порядка.

4) Эта общность является еще одним принципиальным моментом саксовской архитектуры социологии, из которого в дальнейшем вырастает характерный для

5. Термин «эпистемический эгалитаризм» ввел Майкл Линч (Lynch, 1997: 372). Лучшей иллюстрацией его противоположности является одна из машин Сакса. В своих работах и лекциях Сакс иногда создавал вымышленные машины, которые служили метафорами социологической работы. Одна из таких машин — машина по производству порядка (Sacks, 1992, I: 484). Эта машина представляет собой устройство с двумя отверстиями спереди и одним сзади. Из передних отверстий выходит «хороший материал», из заднего — «мусор». «Хороший материал» — это упорядоченные свойства социальных событий, «мусор» — неупорядоченные. Социологический аппарат — это такого рода машина, в которой «порядок» приписывается только определенным частям общества, прочие же считают случайным «шумом». Сакс противопоставляет этой машине другую машину, которая, во-первых, предполагает, что общество упорядочено во всех частях, и во-вторых, эта машина создается и используется самими членами общества.

конверсационного анализа способ работы с данными. В приведенной цитате Сакс подчеркивает, что, по его мнению, социология должна иметь дело с социальными событиями «формально». Социологический формализм здесь, впрочем, легко спутать с тем, чем он не является. Сакс пытался показать, что формальность социологического описания обозначает не выявление статистической общности, а обнаружение «механизмов», «приемов», «машинерии», «процедур», «правил», «максим», «приемов», «техник»⁶, производящих конкретные случаи. Сначала мы берем конкретный случай, а потом пытаемся найти, какая машина его произвела. Подобная формальность схватывает механизмы, отвечающие за производство обыденного порядка. Это те самые «методы», которые делает своим предметом этнometодология. Правда, в конверсационном анализе описания этих методов в последующем становятся порой настолько формализованными, что этнometодологи перестают узнавать в них «свои» методы⁷. В этом смысле в высказывании Сакса присутствует некоторая двойственность. С одной стороны, его формальные описания должны служить цели выявления общих способов производства единичных событий, но с другой — они могут применяться для легитимации такой примитивной социологии в качестве *науки*, что связано с целым комплексом проблем. Попытка совместить эти две задачи, которую, несомненно, предпринял Сакс, опасна тем, что в итоге оборачивается доминированием второй из них, которая начинает подчинять себе первую. В то же время это, очевидно, не приговор, а опасность, о которой не стоит забывать. По крайней мере, вся последующая история конверсационного анализа показывает, что он способен сопротивляться попыткам превращения его в «нормальную науку», для которой верность своим методам важнее верности своим данным.

Тем самым программа примитивной естественной социальной науки, реализованная в конверсационном анализе, по своим амбициям выходит далеко за пределы одного подхода. Впрочем, некоторая часть этих амбиций была реализована. В этой связи следовало бы проанализировать (что я не буду здесь делать), какое влияние СА оказал на дисциплины и подходы, в окружении которых он складывался. Наибольшее количество пересечений обнаруживается между СА и этнometодологией, однако важным для его становления были и интеракционная социология Гофмана, и социолингвистика и этнография речи Хаймса, Граймса и Гамперца, и генеративная грамматика Хомского, и философия обыденного языка Витгенштейна и Остина, и теория речевых актов Серля⁸. Все эти исследовательские традиции испытали на себе влияние конверсационного анализа, хотя только в случае первых двух можно говорить о каком-то продолжительном и глубоком взаимном воздействии⁹. Из остальных подходов СА заимствовал лишь некоторые

6. Все эти термины для Сакса более-менее взаимозаменяемы.

7. Этнometодологическую критику конверсационного анализа можно найти в: Coulter, 1983; Livingston, 1987: 65–85; Lynch, 1985: 8–10; Lynch, 2000a; Lynch, Bogen, 1994.

8. Об интеллектуальных корнях СА см.: Maynard, 2012.

9. Причем случай Гофмана следует обсуждать отдельно. Гофман, у которого Сакс защищал диссертацию, был, мягко выражаясь, не очень доволен работой своего аспиранта и отказался подписать

термины и самую широкую ориентацию, гораздо больше изменив их, нежели изменившись под их влиянием. Связка СА—этнometодология оказалась наиболее прочной, поэтому сегодня существует Международный институт этнometодологии и конверсационного анализа¹⁰, в Американской социологической ассоциации работает секция этнometодологии и конверсационного анализа, в издательстве «Ashgate» выходит серия «Направления исследований в этнometодологии и конверсационном анализе». Эта связка указывает не только на историческую и биографическую общность двух подходов¹¹, но и на их методологическое единство. Впрочем, вопрос о том, является ли конверсационный анализ одним из направлений этнometодологии, не имеет однозначного ответа, хотя я буду исходить из того, что это так¹². Для настоящей статьи важнее вопрос о том, в чем именно заключается специфика методологии СА, которая не только изменила направление развития этнometодологии, оставаясь на многих уровнях ее продолжением, но и способна революционизировать социальные науки в целом.

Что мы слышим и как мы слышим

Указанная выше ориентация СА на выявления «машинерии», отвечающей за производство каждого конкретного случая социального взаимодействия, в том числе — разговора, реализуется в двух вопросах, которые постоянно задает в своих лекциях Сакс и которые затем можно найти в любом конверс-аналитическом исследовании: «что мы слышим?» и «как мы это слышим?». Поскольку любой разговор — это совместное достижение его участников, «слышимость» отдельных реплик является условием и результатом текущего взаимодействия в каждый момент времени. Но в то же время это «мы» включает исследователя, для которого способ слышания конкретных высказываний составляет как предмет изучения, так и проверочный критерий адекватности его описания. «Что мы слышим» указывает на конкретное понимание данного высказывания, «как мы слышим» указывает на общий механизм, ограничивающий это понимание. Анализ разворачивается как постоянное движение от одного к другому: от «какая машинерия произвела это высказывание?» до «могли ли такая машинерия произвести это высказывание?» и обратно.

вать окончательный вариант (Schegloff, 1992: xxiv). Однако если судить по последним работам Гофмана (в особенности по «Формам речи», но частично и по «Анализу фреймов»), он воспринимал СА как серьезный вызов, пытаясь совместить свой подход, основанный на систематическом наблюдении и анализе вторичных описаний, с предлагаемым Саксом и его коллегами тщательным анализом феноменов, обнаруживаемых в записях реальных разговоров. Судя по всему, эта попытка скорее не удалась, чем удалась. О связи конверсационного анализа с подходом Гофмана см.: Schegloff, 1988.

10. www.iiemca.org

11. Сакс много сотрудничал с Гарфинкелем, который в том числе включил его в проект по изучению работы Центра предотвращения самоубийств.

12. По крайней мере, можно заниматься СА в рамках этнometодологии. См., например, изложение СА как этнometодологического направления в: Heritage, 1984: 232–292. Хотя это не снимает вопроса о том, можно ли заниматься СА за пределами этнometодологии.

Поскольку исследователь начинает с конкретных деталей актуальных действий, он не может знать, какая именно машинария их произвела. Мы не знаем изначально, что именно интересно в имеющихся у нас материалах. Мы можем делать предметом анализа *все что угодно*, и пытаться найти в этом *что-то интересное*. При этом, поскольку мы не знаем заранее, что именно будет интересным, у нас нет оснований считать какие-то данные более подходящими для анализа, а какие-то — менее. Например, короткий обмен приветствиями в коридоре — не менее упорядоченная вещь, чем прения сторон в суде. В каком-то смысле для конверсационного анализа предпочтительнее первого рода данные — самые рутинные, тривиальные, незаметные взаимодействия, но только в том смысле, что в социальных науках уже выработаны способы слышания судебных заседаний, но нет способов слышания приветствий, поскольку последние «неинтересны» и кажутся неупорядоченными. Однако в конечном счете ни одни данные не лучше и не хуже других. За всеми ними стоят некоторые механизмы, которые понимаются буквально, как аппараты, ориентированные на производство узнаваемых действий и действий узнавания. Эти аппараты можно только открыть, их невозможно придумать или предположить. Соответственно, данные для СА важны лишь в их конкретности, как *именно эти слова и действия*. Хотя Сакс и другие конверс-аналитики часто предлагают провести мысленный эксперимент и представить, что было бы, если бы вместо данной фразы или слова была другая фраза или слово, такая процедура не отражает то, что делают сами участники, которые не совершают выбор между равно релевантными альтернативами действия, исходя из общей культуры, к которой они принадлежат. Скорее, подобные эксперименты должны еще больше заострить внимание исследователя на вопросе: «почему это делается сейчас?» (Sacks, 1992: II, 530).

Поскольку разговоры, как и любые другие обыденные практики, организованы на детальном уровне, в конверсационном анализе была разработана процедура транскрипции записей деталей естественной речи¹³. Первоначально эта транскрипция была менее подробной, нежели впоследствии, что было связано в том числе с тем, какого рода феномены изучались в СА. Если открыть лекции Сакса, то по ним можно отследить, что тема организации чередования говорящих возникает далеко не сразу. Сначала его интересовало то, что он называет «структурами связывания», «феноменами связывания», «правилами связывания», «феноменами последовательности». Однако по мере того как на первый план выходят феномена смены говорящих, возникает потребность в более детальных транскриптах. При этом фонетическая транскрипция здесь неприменима, так как нужно отображать *слышимые участниками* детали разговоров, составляющие естественную структуру взаимодействия. Это не детали *речи*, это детали *действий*, предпринимаемых собеседниками, т. е. *практики* разговора. Плюсы новой, подробной системы транскрибирования в полной мере видны уже в самой известной статье по кон-

13. Система была разработана Гейл Джейферсон. Наиболее полное ее изложение см. в: Jefferson, 2004.

версационному анализу — «Простейшей систематике организации очередности в разговоре». Детальная фиксация нюансов разговора предоставляет не только технические преимущества — мы можем многократно просматривать транскрипт и распространять его среди других исследователей, — но и позволяет открывать все новые и новые техники разговора. Поскольку в ходе взаимодействия люди реагируют на слышимые особенности речи собеседников: паузы, интонации, громкость, скорость и т.д., транскрипт сам становится машиной по производству открытий, поскольку в нем мы можем визуально сопоставить те аудиальные аспекты речи, которые легко упустить, просто слушая запись, даже многократно. Безусловно, транскрипт от этого не становится некоторым заместителем реальной записи, которая, в свою очередь, не является заместителем реального разговора. Транскрипт — лишь инструмент анализа реального взаимодействия.

Указанный выше принцип выявления механизмов производства конкретных высказываний побуждает конверс-аналитиков концентрироваться на небольших эпизодах разговоров. Это как удобно с аналитической точки зрения, так и отражает особенности самих разговоров, в которых можно выделять относительно законченные естественные «единицы»: начала разговоров, окончания, истории, отклонения, перечисления и пр. Такая фокусировка в дальнейшем способствовала появлению еще одной характерной процедуры: составления коллекций. Если Сакс работал в основном с отдельными эпизодами, то следующие поколения конверс-аналитиков уже собирают все доступные им фрагменты (иногда счет идет на сотни), в которых наблюдается некоторый феномен, и пытаются выявить, какие особенности данного феномена можно наблюдать в разных случаях. Это, с одной стороны, расширило возможности анализа, поскольку стало возможным обнаруживать общие методы организации разговорного взаимодействия за счет сопоставления разных случаев, но с другой — еще больше усилило тенденцию к формализации, поскольку теперь разговор начал буквально разбираться на части исходя из аналитических соображений, связь которых с обыденными соображениями участников становится проблематичной. Отчасти угроза формализации снимается тем, что в СА сам разговор может рассматриваться как единица, но такое рассмотрение не препятствует замещению реальной работы разговора аналитическими конструкциями¹⁴.

Несмотря на риск, который несет с собой составление коллекций, коллекции формируются в СА так же, как это изначально предполагается в проекте прimitивной естественной социологии: берутся любые данные и просматриваются (про-

14. Как отмечает Эрик Ливингстон, «использование аудиозаписей разговоров и транскриптов отдалило его [Сакса] от наблюдаемой, живой работы производства обыденного разговора собеседника-ми. Жесты, указания, телесное присутствие, локальная историчность сказанного, предыдущая определенность высказывания, действия собеседников и осуществляемые ими виды деятельности не были и не могли быть частью изучаемых транскриптов и аудиозаписей. В дальнейшем конверс-аналитики попытались учесть наличие этих аспектов разговоров в качестве чего-то, совпадающего с документируемыми ими разговорными структурами, в качестве дополнительных, подкрепляющих действий, а не в качестве неотъемлемой части разговора» (Livingston, 1987: 76–77).

слушиваются) до тех пор, пока какой-то феномен не обратит на себя внимание, после чего исследователь пытается реконструировать машинерию, производящую этот феномен. В принципе, так можно поступать не только с аудиоданными. Как показало последующее развитие видеоанализа¹⁵, подобным образом можно работать с любого рода материалами. Более того, механизмы, которые описываются в конверс-анализе, являются в определенном смысле не механизмами слышания, но механизмами слышания-видения. Речь идет не только о том, что в ходе разговора взгляды людей участвуют в организации взаимодействия (скажем, по тому, куда смотрит собеседник, мы судим, слушает ли он нас). Помимо этого, мы видим, что происходит то, что, как мы слышим, происходит. Например, слушая рассказывающую кем-либо историю, мы предполагаем, что последовательность высказываний отражает последовательность событий. И эти же механизмы отвечают за то, как мы видим те или иные сцены социальной жизни.

Отмеченные особенности методологии СА складывались постепенно и с разной скоростью. Тем не менее в истории СА есть одна работа, которая занимает уникальное место: статья Сакса, Щеглоффа и Джейферсон «Простейшая систематика организации очередности в разговоре» (Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974). В этой статье сошлись воедино многие линии как предыдущего, так и последующего развития конверсационного анализа, в силу чего именно она была выбрана для перевода. Ниже я остановлюсь на ней более подробно, но хочу сразу предупредить: я не собираюсь рассматривать ее в свете интеллектуальной хронологии СА. С момента публикации данной статьи появилось огромное количество книг и статей по конверсационному анализу, обозреть которые даже в рамках одной статьи невозможно (их тысячи). Конверс-аналитики изучали судебные заседания, уроки, ток-шоу, телефонные разговоры, звонки в службу 911, взаимодействия пациента и врача, социологические опросы, телевизионные новости, полицейские допросы, бизнес-собрания, академические лекции и множество других вещей, используя для этого как аудио-, так и видеоданные. Наиболее полным срезом СА на данный момент следует считать, вероятно, «Хрестоматию по конверсационному анализу» (Sidnell, Stivers, 2012). Отдельно следует упомянуть публикацию стенограмм лекций Сакса в двух томах в 1992 году (Sacks, 1992), которая, впрочем, имеет значение даже не столько для СА, сколько для социологии в целом. Далее я попробую прояснить, о чем указанная статья, поскольку она является наиболее интересным и важным входом в конверсационный анализ.

SSJ¹⁶

SSJ — самая известная и цитируемая статья по конверсационному анализу. Кроме того, согласно Web of Science, это самая цитируемая статья в журнале «Language», являющемся официальным печатным органом Лингвистического общества

15. См.: Heath, Hindmarsh, Luff, 2010; Broth, Laurier, Mondada, 2014.

16. Здесь и далее я буду обозначать «Простейшую систематику» аббревиатурой SSJ.

Америки, за все время его существования¹⁷. Выбор журнала для публикации не случаен: в этой статье авторы показывают, каким образом можно совместить лингвистический интерес с социологическим и рассмотреть традиционно лингвистические феномены языковой структуры в свете социологической проблематики организации социальных взаимодействий.

На данный момент, помимо SSJ, опубликованы еще две версии этой работы. Первая, озаглавленная «Первоначальная характеристика организации чередования говорящих в разговоре» (Sacks, 2004), представляет собой небольшую заметку Сакса, в которой формулируются ключевые сюжеты SSJ, но отсутствуют данные. Тем не менее и идея «один говорящий за раз», и набор правил, и принцип минимизации задержки и наложения там уже прописаны. Вторая версия, так называемая «вариативная» (Sacks, Schegloff, Jefferson, 1978), была опубликована позже SSJ и представляет собой аутентичный текст, без редакторских правок, которые были внесены при публикации в «Language». Впрочем, эти правки не носят принципиальный характер, поэтому при выборе варианта для перевода я ориентировался на тот, который более известен.

Я не буду подробно рассматривать содержание SSJ. Поскольку значительная часть статьи посвящена обсуждению конкретных разговорных феноменов, их анализ потребовал бы привлечения всех последующих конверс-аналитических исследований, посвященных отдельным темам и во многом корректирующих или даже опровергающих первоначальные наблюдения. Например, сегодня существует масса литературы о «смежных парах», в которой первоначальные описания Сакса и соавторов дополняются и модифицируются. Гораздо более важным с точки зрения общей программы СА как примитивной естественной социальной науки представляется то, каким образом авторы SSJ тематизируют разговор в качестве повседневной практики. Этот аспект СА остается одним из его краеугольных камней.

SSJ посвящена системе организации очередности¹⁸ в разговоре, которая, конечно же, является не единственной системой, обеспечивающей разговорные взаимодействия. Не менее важной является, например, система организации последовательности чередов, накладывающая ограничения на начало, течение и окончание разговора. В том, что касается чередования говорящих, авторы отталкиваются от «грубого» наблюдения, которое может сделать любой, не только социолог: обычно в ходе разговора говорит один человек за раз. Это связано прежде всего с тем, что если одновременно будут говорить несколько человек, они не услышат друг друга. Поэтому когда мы начинаем разговаривать, у нас появляется прагматическая задача: организовать чередование говорящих. Как отмечается в начале SSJ, эта задача аналогична многим другим задачам, с которыми мы сталкиваемся в повседневной

17. По данным Web of Science на 24.03.2015, статью процитировали 3199 раз. При этом 45% ссылок было сделано в журналах по лингвистике, 22 — по психологии, 15 — по коммуникации и 11 — по социологии.

18. Относительно терминологических решений см. следующий раздел статьи.

жизни, например, при пересечении перекрестка на автомобиле или при выходе из метро в потоке людей. Когда мы говорим, мы должны говорить по очереди. Обычно социологи вводят дополнительный набор правил, формальных и неформальных, которые должны объяснить упорядоченность взаимодействий в подобных ситуациях. В SSJ тоже предлагается «набор правил», но они носят совершенно иной характер. Приведу их полностью, поскольку они важны для дальнейшего изложения.

«1) Для любого череда в первом релевантном месте перехода первой единицы конструирования череда:

а) если наличный черед конструируется так, что он предполагает использование техники «текущий говорящий выбирает следующего», тогда выбранный участник имеет право и обязан использовать свой черед; ни у кого больше таких прав или таких обязанностей нет; в этом месте происходит передача права голоса;

б) если наличный черед конструируется так, что он не предполагает использование техники «текущий говорящий выбирает следующего», тогда следующий может, но не обязан, осуществлять самовыбор; права на черед приобретает первый стартовавший; в этом месте происходит передача права голоса;

в) если наличный черед конструируется так, что он не предполагает использование техники «текущий говорящий выбирает следующего», тогда текущий говорящий может, но не обязан, продолжать говорить до тех пор, пока другой участник не совершил самовыбор.

2) Если в первом релевантном месте перехода первой единицы конструирования череда не были использованы ни 1а, ни 1б и, согласно условию 1в, текущий говорящий продолжил говорить, тогда набор правил а-в применяется вновь в следующем релевантном месте перехода, и это повторяется в каждом следующем релевантном месте перехода, пока не произойдет передача права голоса» (Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974: 704).

В основе этих правил, как можно видеть, лежат техники выбора следующего говорящего. Первые три правила указывают на три такие техники, которые, по мнению авторов, применяются в определенной последовательности, наличие которой влияет на каждую из техник. Следующий говорящий может либо назначаться текущим говорящим, либо вступать в разговор сам, по своей инициативе, либо оказываться тем же самым говорящим, т. е. текущий говорящий может продолжать говорить. Все эти возможности реализуются или не реализуются одна за другой. Кроме того, вводится дополнительное правило, обеспечивающее (потенциально бесконечное) повторение данной последовательности.

Эти «правила», однако, не похожи на любые другие социологические «правила». В данном случае речь идет о практических задачах ведения разговора, которые решаются говорящими с помощью специфических методов, т. е. о машинерии, которая производит отдельные события разговора. Эта машинерия встроена в сам разговор, и в этом смысле она является «базовой». Термин «базовый набор

правил», используемый в SSJ, может ввести в заблуждение, поскольку не составляет труда представить себе разговор как последовательность действий, которыми руководят правила. Но в формулировке данных правил заложена другая идея: действия в разговоре заключаются в методических осуществлениях. То, что мы говорим по очереди, хотя ситуации одновременного говорения возникают и в отдельных случаях могут быть достаточно продолжительными, является локальным совместным достижением участников разговора, которые в каждый момент времени решают задачу производства упорядоченного взаимодействия в деталях произносимых слов. Тем самым фокус внимания в разговоре смещается с *содержания* говорения, которое должно быть еще социологически объяснено, на *работу* говорения, которая должна делаться объяснимой здесь и теперь *самиими* участниками разговора. В фокусе СА как примитивной науки о разговоре оказывается не-посредственно наблюдаемый феномен смены говорящих, которая не происходит сама собой. При этом техники смены говорящих реализуются¹⁹ не всегда и везде, а только в определенных местах. В SSJ эти места называются «релевантными местами перехода», и хотя они соотносятся с лингвистическими единицами (например, окончание предложения, по мнению авторов SSJ, может составлять такое релевантное место перехода), это принципиально интеракционный феномен, поскольку здесь решается главная задача: определение того, кто и каким образом может вступать в разговор.

Таким образом, указанные правила необходимо рассматривать прежде всего с точки зрения работы локальной организации и ситуативного производства феноменов порядка в разговоре. Любая квалификация тех или иных аспектов разговора должна указывать на ту машинерию, которая их произвела. Например, если «вопрос» и «ответ» — это не изначальные характеристики высказываний, которые должны быть еще поняты²⁰, а результат текущей работы согласования усилий участников разговора. Опознаваемость происходящего в разговоре — это достижение. Мы не слышим «вопрос» или «ответ», мы слышим *это высказывание*, узнаваемость которого в качестве вопроса или ответа должна быть еще произведена, шаг за шагом.

В таком случае «базисность» перечисленных правил должна быть респецифицирована. В первом, расплывчатом приближении их базисность обозначает те главные задачи, которые приходится решать собеседникам в *определенные* моменты разговора. Когда мы как участники сталкиваемся с необходимостью смены говорящего, мы решаем конкретные задачи, на которые указывают данные правила. В другие моменты разговора мы решаем другие задачи. Например, когда мы рассказываем историю, мы «резервируем» за собой право ее закончить, и нам нет необходимости организовывать переход права голоса. Кроме того, при смене го-

19. Не в том смысле, что они каким-то образом существуют *до* взаимодействия.

20. Их можно понять, скажем, в контексте пола говорящих, показав, что в подавляющем большинстве случаев женщины задают вопросы, а мужчины дают ответы.

ворящих не стоит вопрос о том, в какой последовательности следуют череды. Техники упорядочивания очередности используются в *любых* чередах.

Во втором, более строгом смысле перечисленные правила указывают на необходимость дальнейшего прояснения того, какие именно техники используются. Каждая из трех техник является классом или множеством способов, соответственно, назначения говорящих, самовыбора или продолжения говорения. В SSJ можно найти описания некоторых из этих способов, список и характеристики которых были существенно расширены в дальнейших конверс-аналитических исследованиях.

Наконец, есть еще одно понимание «базисности», о котором говорит Сакс в лекции 1968 года (Sacks, 1992, II: 50–55). Он предлагает рассматривать базисность данных механизмов с точки зрения их нарушения: при нарушении этих правил, хотя они и являются общими, происходит индивидуальное вменение вины. Например, если кто-то постоянно прерывает собеседников, мы говорим, что он грубиян. Иными словами, эти правила носят обобщенный характер и в этом отношении не специфицируют конкретные ситуации, но их применение связано с правами и обязанностями отдельных участников. Это значит, что благодаря данным правилам разговор самоорганизуется. Каждый участник поддерживает разговор как *общее* достижение. Возможность реагировать на нарушение правил заложена в саму систему правил. Нет никаких дополнительных правил, касающихся того, как реагировать на нарушения. Механизмы исправления нарушений основываются на тех же самых правилах, нарушение которых они призваны исправлять. Поэтому указав данные правила, мы указываем на то, что само не требует дополнительных объяснений, но в то же время не является объяснительным принципом, а скорее специфицирует совершающую интеракционную работу.

Сказанное о базовом наборе правил, однако, не снимает принципиальной возможности читать их так, как если бы в ходе разговора люди действовали *по* этим правилам. Вместе с рядом методологических инноваций, предложенных в данной статье, как то: работа с коллекциями случаев и максимально детальное транскрибирование, это обстоятельства повлияло в дальнейшем на рецепцию SSJ. Изнутри CA SSJ воспринимается как точка отсчета «зрелого» конверсационного анализа: «...было бы справедливо сказать, что данная статья внесла значительный вклад в становление конверсационного анализа как самостоятельной дисциплины» (Lerner, 2004: 4). Здесь прежде всего имеется в виду, что в SSJ была предложена общая концептуальная рамка, обозначены направления исследований, поставлены ключевые вопросы и предложена методологическая схема для работы. Однако за пределами CA может складываться иное впечатление. В этом отношении показательна дискуссия между этнometодологами Майклом Линчем и Уэсом Шерроком (Lynch, 2000a, 200b; Sharrock, 2000). Линч полагает, что SSJ ознаменовала профессионализацию конверсационного анализа и превращение CA в формально-аналитическую процедуру (Lynch, 2000a: 527), которая, хотя и сохраняет свою связь с феноменологической ориентацией этнometодологии, предлагает такой взгляд на

разговорные практики, в котором формальные свойства разговора мешают увидеть ситуационную работу ее участников. В ответ Шэррок предлагает рассматривать SSJ не как веху, указывающую на принципиальную смену ориентации, а как важнейший этап в рутинизации СА как дисциплины:

«Для меня данная статья представляет собой не что иное, как педантичное и тщательное резюме примерно десятилетней работы; „систематика“ подводит черту под основным проектом изучения системы очередности в разговоре, которая была одним из главных предметов интереса Сакса, Щеглоффа и Джейферсон на протяжении этого периода. Конверсационный анализ, каким он был до 1974 года, фактически закончился. Я имею в виду, что в статье представлены все важнейшие элементы решения „проблемы очередности“, и насколько я могу судить, в течение многих лет после формулирования модели почти — или вообще — никто не внес существенного вклада в данный проект» (Sharrock, 2000: 534).

Хотя Линч прав в том, что, возможно, на дальнейшую рецепцию SSJ повлияла ранняя смерть Сакса через год после выхода статьи, в результате чего эту работу начали воспринимать как нечто «закостенелое», чуть ли не как его завещание, авторитет которого непререкаем²¹, в данном споре следует согласиться с Шэрроком, поскольку Линч очевидно ошибается, утверждая, что стремление СА к формальному анализу усилилось после выхода SSJ. Как мы видели, проблема «машинарии» социальных взаимодействий и их формальных свойств волновала Сакса изначально. Уже в первых лекциях он пользуется данным термином. Поэтому с появлением SSJ не произошло никакого принципиального изменения, скорее речь идет о возникновении развитого методологического аппарата, который может применяться к большому числу самых разных феноменов. В этом отношении можно согласиться и с оценкой Шэрроком последующего изучения проблематики очередности в разговоре: многие годы, а возможно и до сих пор, в этой области не появлялось ничего принципиально нового. Это в том числе объясняет, почему на SSJ гораздо больше ссылаются лингвисты, чем социологи: СА стал частью эмпирической лингвистической программы по накоплению примеров использования речи в коммуникации. Собственно социальные феномены, которые в первую очередь интересовали авторов SSJ, отходят на второй план, хотя не исчезают из поля зрения.

Такая общая оценка SSJ как изнутри СА, так и с этнometодологической позиции, выражаемой Линчем и Шэрроком, видимо, напрямую соотносится с тем, как понимается статус «набора правил», описанного в статье. Я постарался показать, что изначально эти правила носят не формально-аналитический, а феноменологический характер, поскольку указывают на задачи, рутинно решаемые в ходе работы разговора, а не на условия возникновения порядка. То, как мы понимаем набор

21. Сюда же можно добавить аргумент, касающийся более слабых связей Щеглоффа, фактически возглавившего СА после смерти Сакса, с Гарфинкелем и этнometодологией. Как отмечает сам Щеглофф (Cmejrková, Prevignano, 2003: 36), из всей компании единомышленников, в которой родился СА (Сакс, Щеглофф и Саднау), он был менее других очарован этнometодологией.

правил, имеет важные последствия, в том числе с точки зрения понимания ряда центральных категорий, употребляемых в SSJ, и — для тех не-англоговорящих исследователей, кто пытается использовать методологию СА в своей работе, — с точки зрения перевода их на иные языки. Поэтому в конце я уделю внимание тем переводческим решениям, которые приходилось принимать при подготовке публикации SSJ на русском языке.

Трудности перевода

Поскольку хоть какой-либо устоявшейся традиции конверс-аналитических исследований на русском языке не существует, перевод ключевых терминов оказывается непростым занятием. Этому занятию отчасти помогает существование развитого русского лингвистического словаря, который, однако, «болен» тем, что в русскоязычной лингвистике недостаточно внимания уделяется изучению естественно протекающих разговорных взаимодействий. Среди русскоязычных публикаций по СА нужно отметить работы Анны Турчик (Turcik, 2010a, 2010b, 2013), Пиркки Пауккери (Пауккери, 2006) и Мерьи Пиккарайнен (Пиккарайнен, 2008, 2011). Кроме того, методологию СА использует в своих публикациях Дмитрий Рогозин (Рогозин, 2009; Рогозин, Турчик, 2008). Есть также ряд работ, в которых излагаются основные идеи СА (Исупова, 2002; Макаров, 2003; Сикорская, 2011). Все перечисленные авторы предлагают свои переводческие решения, имеющие последствия для того, как мы понимаем конверс-аналитические описания.

Прежде всего это касается ключевого термина «*turn*». Предлагалось множество разных вариантов перевода: «реплика», «репликовый ход», «репликовый шаг», «речевой шаг», «коммуникативный ход», «очередь». Как можно видеть, в основном переводы связаны с лингвистической трактовкой разговорных феноменов. Наиболее социологичным из предложенных вариантов является, видимо, «очередь», но он не очень удобен с точки зрения употребления, поскольку мы привыкли называть очередью несколько расположенных друг за другом элементов, а в данном случае речь идет об одной целостной единице. Для выбора варианта перевода необходимо более точно представить себе, что такое «*turn*». «Turn» — это все, что располагается между двумя последовательными сменами говорящих. В этом отношении «*turn*» — это изначально социальный феномен, поскольку он не только не связан с тем, какой репликой он «заполняется», но и представляет собой элемент очередности, не характерный исключительно для разговора. Как отмечалось выше, существует множество очередно-организованных видов деятельности, одним из которых выступает разговор. Таким образом, «*turn*» — это социальная единица, связанная с порядком взаимодействия²². Как показывают авторы SSJ,

22. Здесь необходимо упомянуть, что один из авторов SSJ в позднем интервью отмечает, что термин «*turn*» нужен был прежде всего, чтобы привлечь к СА лингвистов. В этом смысле «*turn*» — в большей степени лингвистическая единица, по крайней мере, лингвисты легко опознают ее (Prevignano, Thibault, 2003: 165–166).

получив «turn», говорящий не просто получает право на реплику, а приобретает права и обязанности, связанные с организацией текущего взаимодействия. Следовательно, «turn» важен прежде всего как то, чего добиваются и что ценят, т. е. как то, что функционирует в качестве предмета ориентации и распознавания в ходе разговора. «Turn» — это организационная, а не лингвистическая единица. Поэтому для перевода этого термина был выбран не очень привычный, хотя знакомый всякому говорящему на русском языке, вариант «черед». Мы пользуемся фразами «в свой черед», «мой черед» и т. д., которые указывают именно на тот социальный феномен, о котором пишут авторы SSJ. Тем не менее русский язык «не поворачивается», чтобы мы могли легко сказать, допустим, «получить черед», поэтому применение данного варианта перевода предполагает расширение возможностей употребления термина «черед». На мой взгляд, в данном случае насилие над языком оправданно, поскольку оно позволяет рассматривать чередование говорящих именно как чередование говорящих, а не меню коммуникативных ролей. Соответственно, перевод термина «turn-taking» должен осуществляться в той же логике. Наиболее последовательным вариантом было бы «чередование», но поскольку мы редко используем его сам по себе, обычно добавляя чередование *чего*, и поэтому употребление «чередования» без пояснения постоянно оставляло бы у читателя ощущение, что во фразе что-то пропущено, было принято решение использовать вариант «очередность».

Перевод других терминов представлял меньшие трудности, поскольку некоторые из них имеют уже сложившиеся аналоги, в том числе в лингвистике. Например, «adjacency pair» чаще всего переводят как «смежная пара», хотя есть и варианты «соседствующая» и даже «адъяцентная пара». Я использовал сложившийся вариант. Три термина, обозначающие различные феномены, возникающие на стыке чередов: «gap», «lapse», «overlap» переводились, соответственно, как «задержка», «заминка» и «наложение». В SSJ также применяется важный термин «repair», который иногда переводят как «ремонт», «починка» или «исправление». Я использовал вариант «исправление», поскольку он отсылает к нарушению организации взаимодействия, а не его «поломке». В строгом смысле при нарушении не происходит сбой, скорее, участники отмечают, что возникает возможность неправильного опознания разговорных событий как событий разговора.

Что касается менее часто используемых терминов, были приняты следующие варианты перевода: «allocation» — «назначение», «turn's talk» — «чередная реплика», «unit-type» — «типовая единица», «project» — «прогнозировать», «post-completer» — «постоконцовка», «pre-start» — «престарт», «recipient design» — «моделирование получателя».

Безусловно, эти переводческие решения не могут претендовать на окончательность. Мы находимся еще только в самом начале пути к появлению развернутого словаря для описания социальных феноменов порядка в разговоре на русском языке.

Заключение

Конверсационный анализ не испытывает недостатка в комментаторах и критиках. Это, среди прочего, свидетельствует как о зрелости дисциплины, так и ее революционном потенциале. Этот потенциал, однако, гораздо шире, чем принято считать. Если «конверсационный анализ — самый микро во всей микросоциологии» (Boden, 1990: 248), то дело не столько в том, что он предложил уникальную методику анализа разговорной речи, сколько в демонстрируемой им возможности «немотивированного» (Maynard, 2013: 18) изучения деталей социальной организации без компромиссов и без предубеждений. СА, как никакая другая дисциплина, за исключением разве что этнometодологии, раз за разом доказывает, что социальные феномены конкретны, что их можно только открыть и что для их открытия нам не нужно ничего, кроме способности присматриваться и прислушиваться к происходящему. Но эта способность, очевидно, не специфична для социологов. Мы можем обнаружить ее у участников любого повседневного взаимодействия. В этом смысле задача СА — сделать знакомое еще более знакомым, т. е. выявить, какими знакомыми способами знакомое делается знакомым. Это нетехническая задача, решить которую только методологическим путем невозможно. Необходима максимальная нетехническая детализация локальных феноменов порядка. В этом отношении нужно проводить принципиальную границу между деталями социальных действий и деталями транскриптов или аудио/видеозаписей. В той мере, в какой конверсационный анализ стремится схватывать детали социальных феноменов порядка, он представляет собой революционную социальную науку; в той мере, в какой он сводит их к деталям транскриптов, он становится социологической технологией производства данных, которая, когда ее применяют к социальным феноменам, ведет не к детализации практик производства локального социального порядка, а к их обобщению.

Литература

- Исупова О. Г. (2002). Конверсационный анализ: представление метода // Социология: 4М. № 15. С. 33–52.
- Макаров М. Л. (2003). Основы теории дискурса. М.: Гнозис.
- Пауккери П. (2006). Реципиент в русском разговоре: о распределении функций между ответами Да, Ну и Так. Helsinki: Helsinki University Printing House.
- Пиккарайнен М. (2008). Институциональные роли участников общения на российском телевидении. Pääaineen tutkielma. Helsingin yliopisto.
- Пиккарайнен М. (2011). Разговор на неродном языке: совместная деятельность участников при построении разговора // Языки соседей: мосты или барьеры? Проблемы двуязычной коммуникации / Отв. ред. Н. Б. Вахтин. СПб.: Изд-во ЕУСПб. С. 70–106.

- Рогозин Д. М. (2009). Некоммуникативные порядки в разговорах о теплоснабжении // Телескоп. № 3. С. 40–47.
- Рогозин Д. М., Турчик А. В. (2008). Разговоры с учителями о реформах в образовании: социологическая экспедиция в школы Екатеринбурга // Телескоп. № 2. С. 34–47.
- Сикорская М. Н. (2011). Конверсационный анализ: проблемы метода // Сборник работ 68-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета. Ч. 2. Минск: БГУ. С. 189–192.
- Турчик А. В. (2010а). Конверсационный анализ смеха в речевом взаимодействии: случай конструирования оценок власти // Социологический журнал. № 1. С. 21–36.
- Турчик А. В. (2010б). Конверсационный анализ речевого взаимодействия в ситуации исследовательского интервью. Дисс. ... к. соц. н. М.: Российский университет дружбы народов.
- Турчик А. В. (2013). Конверсационный анализ институционального взаимодействия: коммуникативные стратегии участников «прерванного» телефонного интервью // Социология власти. № 1-2. С. 122–154.
- Boden D. (1990). *People Are Talking: Conversation Analysis and Symbolic Interaction* // *Symbolic Interaction and Cultural Studies* / Ed. by H. S. Becker and M. M. McCall. Chicago: University of Chicago Press. P. 244–274.
- Broth M., Laurier E., Mondada L. (eds.). (2014). *Studies of Video Practices: Video at Work*. Abingdon: Routledge.
- Cmejrková S., Prevignano C. L. (2003). On Conversation Analysis: An Interview with Emanuel A. Schegloff // *Discussing Conversation Analysis: The Work of Emanuel A. Schegloff* / Ed. by C. L. Prevignano and P. J. Thibault. Amsterdam: John Benjamins. P. 11–55.
- Coulter J. (1983). Contingent and A Priori Structures in Sequential Analysis // *Human Studies*. Vol. 6. № 4. P. 361–376.
- Garfinkel H. (1967). *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Goodwin Ch. (1981). *Conversational Organization: Interaction between Speakers and Hearers*. New York: Academic Press.
- Have P. ten. (1990). Methodological Issues in Conversation Analysis // *Bulletin de Méthodologie Sociologique*. № 27. P. 23–51.
- Heath Ch., Hindmarsh J., Luff P. (2010). *Video in Qualitative Research: Analysing Social Interaction in Everyday Life*. London: SAGE.
- Heritage J. (1984). *Garfinkel and Ethnomethodology*. Cambridge: Polity Press.
- Jefferson G. (2004). Glossary of Transcript Symbols with an Introduction // *Conversation Analysis: Studies from the First Generation* / Ed. by G. H. Lerner. Amsterdam: John Benjamins. P. 13–31.
- Lerner G. N. (2004). Introductory Remarks // *Conversation Analysis: Studies from the First Generation* / Ed. by G. H. Lerner. Amsterdam: John Benjamins. P. 1–11.

- Livingston E.* (1987). *Making Sense of Ethnomethodology*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Lynch M.* (2000a). The Ethnomethodological Foundations of Conversation Analysis // *Text*. Vol. 20. № 4. P. 517–532.
- Lynch M.* (2000b). Response to Wes Sharrock // *Text*. Vol. 20. № 4. P. 541–544.
- Lynch M.* (1985). *Art and Artifact in Laboratory Science: A Study of Shop Work and Shop Talk in a Research Laboratory*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Lynch M.* (1997). Ethnomethodology without Indifference // *Human Studies*. Vol. 20. № 3. P. 371–376.
- Lynch M., Bogen D.* (1994). Harvey Sacks's Primitive Natural Science // *Theory, Culture & Society*. Vol. 11. № 4. P. 65–104.
- Maynard D. W.* (2012). Everyone and No One to Turn to: Intellectual Roots and Contexts for Conversation Analysis // *The Handbook of Conversation Analysis* / Ed. by J. Sidnell, T. Stivers. Chichester: Wiley-Blackwell. P. 11–31.
- Prevignano C. L., Thibault P. J.* (2003). Continuing the Interview with Emanuel A. Schegloff // *Discussing Conversation Analysis: The Work of Emanuel A. Schegloff* / Ed. by C. L. Prevignano and P. J. Thibault. Amsterdam: John Benjamins. P. 165–171.
- Sacks H.* (1992). *Lectures on Conversation*. 2 vols. Cambridge: Blackwell.
- Sacks H.* (2004). An Initial Characterization of the Organization of Speaker Turn-Taking in Conversation // *Conversation Analysis: Studies from the First Generation* / Ed. by G. H. Lerner. Amsterdam: John Benjamins. P. 35–42.
- Sacks H., Schegloff E. A.* (2002). Home Position // *Gesture*. Vol. 2. № 2. P. 133–146.
- Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G.* (1974). A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation // *Language*. Vol. 50. № 4. P. 696–735.
- Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G.* (1978). A Simplest Systematics for the Organization of Turn Taking for Conversation // *Studies in the Organization of Conversational Interaction* / Ed. by J. Schenkein. New York: Academic Press. P. 7–57.
- Schegloff E. A.* (1988). Goffman and the Analysis of Conversation // *Erving Goffman: Exploring the Interaction Order* / Ed. by P. Drew and A. J. Wootton. Cambridge: Polity Press. P. 89–135.
- Schegloff E. A.* (1992). Introduction // *Sacks H. Lectures on Conversation*. Vol. 1. Cambridge: Blackwell. P. ix–lxii.
- Sharrock W. W.* (2000). Where the Simplest Systematics Fits: A Response to Michael Lynch's «The Ethnomethodological Foundations of Conversation Analysis» // *Text*. Vol. 20. № 4. P. 533–539.
- Sidnell J., Stivers T.* (Eds.). (2012). *The Handbook of Conversation Analysis*. Chichester: Wiley-Blackwell.

Turn-Talking: Non-technical Introduction to Conversation Analysis

Andrei Korbut

Research Fellow, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: korbut.andrei@gmail.com

This preface to the translation of Harvey Sacks, Emmanuel Schegloff, and Gail Jefferson's paper "A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation" discusses the conceptual and methodological foundations of conversation analysis. It shows that conversation analysis, which embodies the program of primitive natural social science formulated by Harvey Sachs, offers a revolutionary approach to the study of social phenomena, based on detailed analysis of naturally occurring everyday interactions. While remaining closely related to Harold Garfinkel's ethnomethodology, conversation analysis shows how careful and detailed can be sociological descriptions that involve the discovery of general mechanisms ("machinery") of the production of single events of conversation or any other social practice. This approach, however, risks losing the original purpose of studying the local concerted work of mutual understanding by the participants in social situations. The accumulation of the descriptions of general mechanisms of interactions' production and perception brings the tendency of formalization into conversation analysis: analysts tend to collect the instances and properties of already known "interactional techniques." The article considers the importance of "Simplest Systematics" in terms of the development of original program of conversation analysis, and discusses the peculiarities of translation of conversation analysis's key terms into Russian.

Keywords: conversation analysis, Harvey Sacks, ethnomethodology, sociology of everyday life, practice of conversation, methodology of sociology

References

- Boden D. (1990) People Are Talking: Conversation Analysis and Symbolic Interaction. *Symbolic Interaction and Cultural Studies* (eds. H. S. Becker, M. M. McCall), Chicago: University of Chicago Press, pp. 244–274.
- Broth M., Laurier E., Mondada L. (eds.) (2014) *Studies of Video Practices: Video at Work*, Abingdon: Routledge.
- Cmejrková S., Prevignano C. L. (2003) On Conversation Analysis: An Interview with Emanuel A. Schegloff. *Discussing Conversation Analysis: The Work of Emanuel A. Schegloff* (eds. C. L. Prevignano, P. J. Thibault), Amsterdam: John Benjamins, pp. 11–55.
- Coulter J. (1983) Contingent and A Priori Structures in Sequential Analysis. *Human Studies*, vol. 6, no 4, pp. 361–376.
- Garfinkel H. (1967) *Studies in Ethnomethodology*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Goodwin Ch. (1981) *Conversational Organization: Interaction between Speakers and Hearers*, New York: Academic Press.
- Have P. ten (1990) Methodological Issues in Conversation Analysis. *Bulletin de Méthodologie Sociologique*, no 27, pp. 23–51.
- Heath Ch., Hindmarsh J., Luff P. (2010) *Video in Qualitative Research: Analysing Social Interaction in Everyday Life*, London: SAGE.
- Heritage J. (1984) *Garfinkel and Ethnomethodology*, Cambridge: Polity Press.
- Isupova O. (2002) Konversacionnyj analiz: predstavlenie metoda [Conversation Analysis: The Exposition of the Method]. *Sociology: 4M*, no 15, pp. 33–52.
- Jefferson G. (2004) Glossary of Transcript Symbols with an Introduction. *Conversation Analysis: Studies from the First Generation* (ed. G. H. Lerner), Amsterdam: John Benjamins, pp. 13–31.

- Lerner G. N. (2004) Introductory Remarks. *Conversation Analysis: Studies from the First Generation* (ed. G. H. Lerner), Amsterdam: John Benjamins, pp. 1–11.
- Livingston E. (1987) *Making Sense of Ethnomethodology*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Lynch M. (1985) *Art and Artifact in Laboratory Science: A Study of Shop Work and Shop Talk in a Research Laboratory*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Lynch M. (1997) Ethnomethodology without Indifference. *Human Studies*, vol. 20, no 3, pp. 371–376.
- Lynch M. (2000) The Ethnomethodological Foundations of Conversation Analysis. *Text*, vol. 20, no 4, pp. 517–532.
- Lynch M. (2000) Response to Wes Sharrock. *Text*, vol. 20, no 4, pp. 541–544.
- Lynch M., Bogen D. (1994) Harvey Sacks's Primitive Natural Science. *Theory, Culture & Society*, vol. 11, no 4, pp. 65–104.
- Makarov M. (2003) *Osnovy teorii diskursa* [The Foundations of Discourse Theory], Moscow: Gnozis.
- Maynard D. W. (2012) Everyone and No One to Turn to: Intellectual Roots and Contexts for Conversation Analysis. *The Handbook of Conversation Analysis* (eds. J. Sidnell, T. Stivers), Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 11–31.
- Paukkeri P. (2006) *Recipient v russkom razgovore: o raspredelenii funkciy mezhdu otvetami Da, Nu i Tak* [Recipient in Russian Conversation: On the Distribution of Functions between Responses *Da*, *Nu* and *Tak*], Helsinki: Helsinki University Printing House.
- Pikkarainen M. (2008) *Institucional'nye roli uchastnikov obshchenija na rossijskom televidenii* [Institutional Roles of the Participants of Communication on Russian Television] (MA Dissertation), Helsinki: Helsinki University.
- Pikkarainen M. (2011) Razgovor na nerodnom jazyke: sovmestnaja dejatel'nost' uchastnikov pri postroenii razgovora [Speaking Not-bother Tongue: Collaborative Activity of the Participants in the Conversation]. *Jazyki sosedej: mosty ili bar'ery? Problemy dvujazychnoj kommunikacii* [Languages of the Neighbours: Bridges or Barriers?: Issues in Bilingual Communication] (ed. N. Vakhtin), Saint-Petersburg: EU SPb, pp. 70–106.
- Prevignano C. L., Thibault P. J. (2003) Continuing the Interview with Emanuel A. Schegloff. *Discussing Conversation Analysis: The Work of Emanuel A. Schegloff* (eds. C. L. Prevignano, P. J. Thibault), Amsterdam: John Benjamins, pp. 165–171.
- Rogozin D. (2009) Nekommunikativnye porjadki v razgovorah o teplosnabzhenii [Non-communicative Orders in the Conversations about Heat Supply]. *Teleskop*, no 3, pp. 40–47.
- Rogozin D., Turchik A. (2008) Razgovory s uchiteljami o reformah v obrazovani: sociologicheskaja jekspedicija v shkoly Ekaterinburga [Conversations with Teachers about Educational Reforms: Sociological Expedition to the Ekaterinburg Schools]. *Teleskop*, no 2, pp. 34–47.
- Sacks H. (1992) *Lectures on Conversation*, Cambridge: Blackwell.
- Sacks H. (2004) An Initial Characterization of the Organization of Speaker Turn-Taking in Conversation. *Conversation Analysis: Studies from the First Generation* (ed. G. H. Lerner), Amsterdam: John Benjamins, pp. 35–42.
- Sacks H., Schegloff E. A. (2002) Home Position. *Gesture*, vol. 2, no 2, pp. 133–146.
- Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G. (1974) A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation. *Language*, vol. 50, no 4, pp. 696–735.
- Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G. (1978) A Simplest Systematics for the Organization of Turn Taking for Conversation. *Studies in the Organization of Conversational Interaction* (ed. J. Schenkein), New York: Academic Press, pp. 7–57.
- Schegloff E. A. (1988) Goffman and the Analysis of Conversation. *Erving Goffman: Exploring the Interaction Order* (eds. P. Drew, A. J. Wootton), Cambridge: Polity Press, pp. 89–135.
- Schegloff E. A. (1992) Introduction. Sacks H. *Lectures on Conversation*, Vol. 1, Cambridge: Blackwell, pp. ix–lxii.
- Sharrock W. W. (2000) Where the Simplest Systematics Fits: A Response to Michael Lynch's "The Ethnomethodological Foundations of Conversation Analysis". *Text*, vol. 20, no 4, pp. 533–539.
- Sidnell J., Stivers T. (eds.) (2012) *The Handbook of Conversation Analysis*, Chichester: Wiley-Blackwell.
- Sikorskaya M. (2011) Konversacionnyj analiz: problemy metoda [Conversation Analysis: Problems of the Method]. *Sbornik rabot 68-ja nauchnoj konferencii studentov i aspirantov Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Ch. 2* [Proceedings of the 68th Scientific Conference of

- Undergraduate and Graduate Students of the Belarusian State University], Minsk: BSU, pp. 189–192.
- Turchik A. (2010) Konversationsnyj analiz smeha v rechevom vzaimodejstvii: sluchaj konstruirovaniya ocenok vlasti [Conversation Analysis of Laughter in Speech Interaction: The Case of the Construction of the Evaluations of Power]. *Sociological Journal*, no 1, pp. 21–36.
- Turchik A. (2010) *Konversationsnyj analiz rechevogo vzaimodejstvija v situacii issledovatel'skogo interv'ju* [Conversation Analysis of Speech Interaction in the Situation of Research Interview] (Candidate of Sciences Dissertation), Moscow: People's Friendship University of Russia.
- Turchik A. (2013) Konversationsnyj analiz institucional'nogo vzaimodejstvija: kommunikativnye strategii uchastnikov "prervannogo" telefonnogo interv'ju [Conversation Analysis of Institutional Interaction: Communicative Strategies of the Participants of "Interrupted" Telephone Interview]. *Sociology of Power*, no 1-2, pp. 122–154.

Простейшая систематика организации очередности в разговоре^{*1}

Харви Сакс, Эммануил А. Щегloff, Гейл Джейферсон

Данная статья — первый перевод на русский язык наиболее известной работы по конверсационному анализу, с которой принято вести отсчет данного направления исследований. Авторы статьи — основоположники конверсационного анализа — предлагают целостный поход к исследованию разговорных взаимодействий. Данный подход основывается на анализе детальных транскриптов записей естественных разговоров. Авторы показывают, что в ходе разговора собеседники используют ряд техник для организации чередования говорящих. Эти техники объединяются в четыре правила, гласящие, что при передаче права голоса либо происходит назначение следующего говорящего текущим говорящим, либо, если первая возможность не реализуется, кто-то из участников совершает самовыбор, либо, если и вторая возможность остается неосуществленной, текущий говорящий продолжает говорить, и все эти три возможности последовательно предоставляются в каждом следующем месте, релевантном для перехода права голоса. В результате применения этих правил возникает упорядоченный разговор, соответствующий принципу «один говорящий за раз». По мнению авторов статьи, данная модель разговора совместима с рядом очевидных наблюдений, которые они делают по поводу разговорных практик. Авторы показывают, что в любом разговоре функционирует система очередности, обеспечивающая гибкое приспособление структуры любого разговора к любым возможным темам и любым возможным идентичностям говорящих. Такой подход позволяет рассмотреть, каким образом участники социальных взаимодействий упорядочивают коммуникацию друг с другом, добиваясь ощущения нормально протекающего взаимодействия.

Ключевые слова: конверсационный анализ, организация разговора, чередование говорящих, структура взаимодействия, конструирование высказываний, транскрибирование разговорной речи

1. Введение. Очередность используется при упорядочивании ходов в играх, при распределении политических постов, при регулировании движения автомобилей на перекрестках, при обслуживании клиентов в бизнес-учреждениях и при проиннесении высказываний в ходе интервью, собраний, дебатов, церемоний, разговоров и пр. Последние практики относятся к группе, которую мы будем называть «системами речевого обмена». Очевидно, это важный тип социальной организации, примеры которого можно обнаружить во множестве других видов деятельности. В социально организованных видах деятельности наличие «чередов» предпо-

* Пер. с англ. А. М. Корбута. Источник: *Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G. A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation // Language. 1974. Vol. 50. № 4. P. 696–735.*

© Linguistic Society of America, 1974

© Корбут А. М., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

1. Предыдущая версия данной статьи была представлена на конференции по социологии языка и теории речевых актов в Билефельде (Германия) в апреле 1973 года.

лагает экономику, в которой череды наделяются ценностью, а для их назначения используются специальные инструменты, что влияет на их относительное распределение, как и в других экономиках. Исследователь, заинтересованный в социологии чередно-организованной деятельности, должен установить, по крайней мере, общую форму механизма организации очередности и его влияние на распределение чередов в той деятельности, в которой он применяется.

Для исследователя систем очередности нет ничего удивительного в том, что работоспособные системы очередности можно строить самыми разными способами. Поскольку они используются для организации видов деятельности, которые значительно различаются между собой, особый интерес представляет возможность описания того, как функционирующие системы очередности адаптируются к особенностям тех видов деятельности, в которых они применяются. Опять же исследователь, интересующийся определенным видом деятельности, организованным при помощи некоторой системы очередности, должен будет установить, каким образом изучаемая им деятельность ограничивается или адаптируется к применяемой в ней конкретной разновидности системы очередности.

Предметом настоящей статьи является система очередности, используемая в разговоре, и все ниже следующее — это вопросы, которые могут быть рассмотрены в связи с ней. Другие исследователи уже обратили внимание на то, что одним из типов организации в разговоре является организация чередов, и выделили ряд интересных особенностей и нюансов такого рода организации². Однако система-тика организации очередности в разговоре пока отсутствует. В настоящей работе мы попытаемся, на основе анализа аудиозаписей естественно протекающих разговоров, охарактеризовать в простейшей систематической форме организацию очередности в разговоре, а также показать, чем эта организации интересна.

Различные аспекты организации, которую мы называем очередностью, уже привлекали внимание исследователей, изучающих поведение «малых групп». Ре-

2. Например: Goffman, 1955, 1964, 1971; Albert, 1964; Kendon, 1967; Yngve, 1970; Duncan, 1972a, 1972b, 1973. Так, Гофман пишет: «Примерами встреч являются карточные игры, парные танцы, хирургические операции и кулачные бои. Все они иллюстрируют социальную организацию текущей взаимной ориентации и предполагают организованный взаимообмен определенного рода актами. Я имею в виду, что когда произносится высказывание, оно произносится в такого рода социальной обстановке; разумеется, при этом организуются не ходы, не шаги, не процедуры и не удары, а реплики. Обратите внимание: в родном доме речи сама речь присутствует не всегда.

Я полагаю, что акт высказывания всегда следует соотносить с состоянием разговора, поддерживаемым конкретной репликой, и что это состояние разговора предполагает круг других людей, ратифицированных в качестве соучастников. (Такой феномен, как речь про себя или речь для нератифицированных получателей, например, в случае слова или коммуникации по телефону, должен рассматриваться как отклонение от нормы, иначе мы утратим структуру и смысл.) Речь социально организована не просто потому, что кто-то разговаривает с кем-то на определенном языке, но как малая система взаимно ратифицируемого и ритуально управляемого действия лицом к лицу, социальная встреча. После того как состояние разговора было ратифицировано, должны существовать сигналы, позволяющие просить слово и передавать его, а также информировать говорящего о стабильности уделяемого ему внимания. Чтобы очередная реплика не налезала на предыдущую слишком сильно и чтобы она не наносила вред разговору, должна поддерживаться тесная связь, поскольку реплика всегда должна развиваться» (Goffman, 1964: 135–136).

шая проблемы, связанные с распределением высказываний среди участников малых групп³ или с типами «актов», образующих последовательности во время сессий в малых группах⁴, они столкнулись с трудностями, обусловленными главным образом системой очередности, хотя по большей части не рассматривали их под таким углом. Исследователи, изучавшие поведение во время «интервью», а также в ходе близких по форме двусторонних разговоров⁵, опять же анализировали распределение высказываний среди участников, распределение молчаний, последовательность, в которой право голоса переходит от одного участника к другому или удерживается кем-то одним, и способы координации подобной передачи или удержания. Эти исследователи тоже имели дело с вопросами, напрямую связанными с очередностью, но крайне редко рассматривали их с точки зрения очередности либо объясняли их неудовлетворительным образом в силу слабости эксплицитно или имплицитно используемых моделей очередности. Некоторые антропологи открыто обращались к различным аспектам организации очередности⁶, однако их наблюдения по большей части использовались для прояснения основного предмета их интереса — например, стратификации, законодательной системы и т. п., — и поэтому почти никто из них не пытался собирать и достаточно детально анализировать материалы, которые бы позволили признать или рассмотреть очередьность в качестве самостоятельного центрального феномена⁷. Во всех этих областях внимание исследователей было обращено на некоторый конкретный результат или

3. Например: Stephan, Mishler, 1952; Bales, 1950, 1970; Coleman, 1960.

4. См.: Bales, 1950.

5. См.: Jaffe, Feldstein, 1970; Matarazzo, Wiens, 1972.

6. Например, Митчелл (Mitchell, 1956: 79) пишет: «Влиятельные вожди так же имеют право идти впереди низкостоящих. Если три или четыре вожда возвращаются, скажем, из суда, они выстраиваются по рангу. Когда они пробираются по узким проселкам, первым идет старший из группы, за ним следуют остальные вожди и в конце — самый низкородный из них. Этот порядок первоочередности соблюдается, и когда новички проходят церемонию инициации в племени». Или Бёрдсли с соавторами (Beardsley et al., 1959: 88): «Отец и мать, отправляясь мыться, берут с собой маленьких детей, бабушка трет спину мужчинам, а родственники или соседи, которые не моются (три дома в Нийикэ), беседуют, ожидая своей очереди в конце дня. Старший мужчина в доме заканчивает мытье первым, а уже за ним моется остальная семья в порядке пола и возраста. Первый моющийся получает самую горячую воду». Айзеск (Isaacs, 1933: 222–223), психолог, занимавшийся тем, что сегодня называется этнографией детства, уже давно писал: „Высказывание по очереди“ — один из наиболее сложных уроков, которые должны выучить дети до пяти лет... Имея лишь незначительный опыт, маленький ребенок не может поверить, что „его черед“ действительно наступит в свое время. Всё, что он знает, — это то, что другие „получили его“, а он — нет. Несколько минут превращаются в вечность, когда ты с нетерпением ждешь заслуженное наслаждение вроде катания на трехколесном велосипеде или на качелях. Поэтому невозможно поверить в добрую волю тех, кто получил свой черед первым, — ты слишком хорошо знаешь, сколь легко бы ты исключил их, если бы это было возможно! Только проверенная справедливость руководящего взрослого позволяет совершить переход от импульсивного утверждения „Я хочу это сейчас же“ к тому доверительному отношению к будущему, которое делает возможным „высказывание по очереди“.

7. Из антропологов наиболее близко к изучению чередов *per se* подошел Альберт (Albert, 1964: 40–41): «Порядок высказывания индивидов в группе строго определяется рангом. Если один человек старше другого, но ниже его по социальному рангу, приоритет отдается социальному статусу, а не возрасту. Например, племянник может быть старше своего дяди, но дядя имеет более высокий ранг и будет говорить первым. Принц или вождь может быть младше всех присутствующих, но он говорит

продукт функционирования системы очередности, интерпретируемо релевантный для изучения какой-либо другой проблемы, но не организации и функционирования системы, которая сделала возможным или произвела такой результат. Те подходы, которые напрямую обращались к очередности, верно оценивая ее глубокое значение и детальный характер ее организации, носили в основном программный характер либо имели очень слабую эмпирическую составляющую. Как бы то ни было, систематического описания пока нет⁸.

Последние шесть лет мы проводили исследование, материалом для которого служили магнитофонные записи естественных разговоров и которое все больше смещалось в сторону выявления, квалификации и описания взаимосвязей различных типов последовательностной организации в разговоре. Дисциплинарные мотивы этой работы были социологическими. Наш интерес к организации очередности имел следующие основания. Во-первых, собранные разговорные данные сделали совершенно явным существование организованной очередности. Стало очевидно, что в подавляющем большинстве случаев в каждый момент времени говорит один человек, хотя говорящие меняются, а продолжительность чередов и способы их упорядочивания могут различаться; что смена говорящих тщательно координируется; что для назначения чередов используются особые техники, квалификация которых должна входить в любую модель описания материалов, касающихся очередности, и что существуют техники конструирования высказываний, связанные с их чередным статусом и обеспечивающие координацию передачи и назначения права голоса. Одним словом, собранный фактический материал, доступный для достаточно беспристрастного изучения, указывает на наличие очередности и на основные черты ее организации. Фокусирование на такого рода фактах, а не на конкретных результатах в конкретных ситуациях, позволяет исследовать организацию очередности *per se*, а не ее применение и последствия в конкретных контекстах, хотя более формальное понимание очередности проливает свет на более конкретные данные.

первым в силу своего более высокого ранга. Не зафиксировано ни одного случая путаницы или конфликта при определении порядка первенства, даже в очень больших группах.

На публике слугам, женщинам и другим более низким по статусу индивидам разрешается говорить, только если к ним обращаются; в остальное время они должны хранить молчание. Тем не менее данная система устроена таким образом, что более молодые или более низкие по социальному статусу могут выражать свое мнение в надлежащее время. Например, старший говорит первым; следующий по рангу начинает свое высказывание с утверждения в духе: „Да, я согласен с тем, кто говорил до меня, он прав, он старше, он знает больше и т. д.“ Затем, в зависимости от обстоятельств и обсуждаемых тем, второй говорящий постепенно или сразу высказывает свое собственное мнение, которое может быть диаметрально противоположно только что сказанному. Это не вызывает обиду, поскольку была применена необходимая формула признания превосходства. Если умкуру, старший, действительно очень стар и слаб, его сын может говорить первым, сначала объяснив отклонение от правил: „Мой отец стар, его память плоха, он хочет, чтобы я говорил за него“ или предоставив какое-либо другое подходящее извинение. Бывает, что на поздней стадии затянувшейся беседы формальный порядок превосходства перестает соблюдаться и тогда можно услышать громкие голоса даже среди тех, кто выше по статусу».

8. За исключением, вероятно, «Потерянных» Сэмюэля Беккета (Beckett, 1972).

Во-вторых, мы получили основания для того, чтобы всерьез отнестись к возможности такого описания организации очередности в разговоре, которое бы показывало наличие у нее двух свойств: независимости от контекста и одновременно чрезвычайной чувствительности к нему⁹. Мы ищем такой тип организации по следующим причинам. Прежде всего проблема исследования актуального разговора заключается в том, что он всегда «ситуативен» — всегда является продуктом и частью некоторого множества реальных обстоятельств его участников. Однако по разным причинам изучать или характеризовать подобные ситуации конкретных разговоров с целью их исследования было бы нежелательно. Тогда возникает вопрос: можно ли извлечь из наших разговорных материалов такие упорядоченные феномены, которые бы не требовали отсылки к тому или иному аспекту ситуации, идентичностям, особенностям содержания или контексту?

Одна из причин, по которой можно ожидать, что подобный тип организации существует, такова. Разговор может приспосабливаться к самым разным ситуациям и взаимодействиям, в которых участвуют люди (или группы), обладающие самыми разными идентичностями, он может быть чувствителен к их разнообразным комбинациям и он способен справляться с изменением ситуации изнутри ситуации. Следовательно, должен существовать некий формальный аппарат, который не зависит от контекста и может в любых локальных случаях его применения быть чувствительным к различным параметрам социальной реальности в локальном контексте и демонстрировать свою чувствительность к ним. Определенные аспекты организации разговора должны быть подобным образом одновременно независимыми от контекста и чувствительными к нему, поскольку разговор, безусловно, представляет собой инструмент взаимодействия между участниками с любой потенциальной идентичностью и с любой степенью потенциального знакомства. Мы пришли к выводу, что в разговоре таким элементом может быть организация *очередности*, так как она, судя по всему, обладает подходящей общей абстрактностью и потенциалом локальной конкретизации.

9. Когда мы говорим о «независимости от контекста» и «чувствительности к контексту», мы не можем указать на релевантный объем понятия «контекст». Пока для нас будет достаточно устоявшегося понимания «контекста» в социальных науках — как того, что соотносится с различными местами, временами и идентичностями участников взаимодействия. Мы хотим подчеркнуть лишь то, что ключевые аспекты организации очередности говорящих нечувствительны к подобным параметрам контекста и в этом смысле «независимы от контекста», но в то же время изучение любых конкретных материалов показывает, что независимые от контекста ресурсы системы очередности используются, утилизируются в соответствии с особенностями контекста. То, как и где может проявляться чувствительность к контексту, определяется независимой от контекста структурой; особенности контекста демонстрируются в систематически организованных способах действия и местах, которые задаются независимой от контекста организацией.

Мы понимаем, что лингвисты придают иной смысл «независимости от контекста» и «чувствительности к контексту»; для них «контекст» означает синтаксическую или фонологическую среду, и поэтому «независимость от контекста» и «чувствительность к контексту» — взаимоисключающие возможности. Когда мы употребляем эти понятия, мы соотносим их прежде всего с социальными контекстами; имеют ли они какую-либо связь с фонологическими или синтаксическими контекстами, мы сказать не можем.

Таким образом, очередность представляется базовой формой организации разговора — «базовой» в том смысле, что она инвариантна по отношению к участникам, и потому, какие бы вариации разговора ни осуществлялись его участниками, она приспосабливается к ним без изменения системы, но в то же время может испытывать избирательное и локальное влияние социальных аспектов контекста. Описание организации очередности должно учитывать тот факт, что она в силу самого своего устройства, позволяющего ей быть чувствительной к контексту, способна иметь дело с изменчивостью, но это описание должно осуществляться таким образом, чтобы, не требуя отсылки к конкретному контексту, все же схватывать важнейшие общие свойства разговора.

Нам кажется, что серьезного внимания заслуживает только такая модель, которая способна учитывать (т. е. либо быть совместимой, либо объяснять) следующие повсеместно встречающиеся факты¹⁰. В любом разговоре мы наблюдаем следующее¹¹:

- 1) Смена говорящего повторяется или как минимум происходит (см. § 4.1 ниже).
- 2) Преимущественно говорит только один человек за раз (см. § 4.2).
- 3) Ситуации одновременного говорения двух человек часты, но кратковременны (см. § 4.3).

10. Данный список содержит очевидные структуры: исторические, исходя из которых некоторые факты замечаются только после других, и субстантивные, в которых разные пункты множеством способов связываются между собой. Данный список предлагается с целью преодоления любых подобных структур. Их изучение могло бы многое дать, но в данном тексте такое использование этих пунктов нас не интересует. Данный список пунктов мыслится как набор эмпирических ограничений предлагаемой нами модели, и пока этого достаточно, поскольку при обсуждении своей модели очередности основное внимание мы будем уделять демонстрации того, что эта модель отвечает ограничениям, налагаемым данными эмпирическими наблюдениями. Необходимо помнить об этом, читая данный список. Например, каждый пункт следует читать как следующий не за предыдущим пунктом списка, а за предложением, стоящим перед списком в целом.

11. Выражение «в любом разговоре» вызвало у некоторых читателей рукописи данной статьи вопрос относительно кросс-культурной валидности. Этот вопрос, конечно, можно решить лишь эмпирически, изучив разнообразные записи разговоров. Мы можем подтвердить валидность своих утверждений в отношении рассмотренных нами материалов, а также тайских материалов, проанализированных Моэрманом (Moerman, 1972); новогвинейских креольских материалов, проанализированных Дж. Занковым (личная беседа); и неопределенного числа языков, в которых разбирается множество лингвистов (выступавших на конференции Института лингвистики в Энн-Арбор летом 1973 года и в других местах), пришедших к выводу, что нижеизложенное совместимо с тем, что они знают о своих языках, либо проливает свет на некоторые трудные проблемы, с которыми они столкнулись. Кроме того, нижеизложенное совместимо с результатами анализа кросс-культурной коммуникации, когда участники говорят не на том языке, в котором они компетентны, а на лингва-франка, которым они едва владеют (см.: Jordan, Fuller, 1975). Наконец, кросс-культурный вопрос, как мы его понимаем, заключается в том, каким образом структуры, о которых мы сообщаем, различаются в разных языках (понятых лексически или синтаксически), языковых сообществах, социальных организациях и т. д., которые считаются более базовыми структурами. Такой порядок нам не совсем ясен. Мы видим, что аспекты организации очередности могут различаться в зависимости от прочих аспектов последовательностной организации в разговоре. И, как мы утверждаем в завершающем разделе статьи, существуют разные системы очередности, соответствующие разным системам речевого обмена, например, разговору, дебатам и т. д.

4) Обычно переходы (от одного череда к следующему) происходят без задержек и наложений. Вместе с переходами, характеризующимися небольшими задержками или наложениями, они составляют подавляющее большинство случаев (см. § 4.4).

- 5) Порядок чередов не фиксирован, а варьируется (см. § 4.5).
- 6) Размер чередов не фиксирован, а варьируется (см. § 4.6).
- 7) Продолжительность разговора заранее не определена (см. § 4.7).
- 8) Содержание высказываний заранее не определено (см. § 4.8).
- 9) Относительное распределение чередов заранее не определено (см. § 4.9).
- 10) Число участников может варьироваться (см. § 4.10).
- 11) Говорение может быть непрерывным или прерываться (см. § 4.11).

12) Очевидно применяются техники назначения чередов. Текущий говорящий может выбирать следующего говорящего (например, задавая кому-то вопрос) либо участники могут осуществлять самовыбор и начинать говорить сами (см. § 4.12).

13) Используются различные «единицы конструирования чередов», например, череды могут быть прогнозируемо «длиной в слово» или длиной в предложение (см. § 4.13).

14) Существуют механизмы исправления ошибок и нарушений очередности; например, если два участника начнут говорить одновременно, один из них остановится раньше другого, тем самым исправив затруднение (см. § 4.14).

Чтобы хотя бы наметить, чем интересна данная область, ниже мы представим и проанализируем простейшую систематику организации очередности в разговоре, которая соответствует приведенному выше списку¹². Затем мы покажем, как она объясняет очевидные и не очень очевидные факты. В заключение мы рассмотрим ее структуру и значение. Что касается ее значения, то мы предлагаем следующие соображения о потенциальной интересности подобной модели:

а) Когда факты, вроде перечисленных, сопоставляются с фактами, которые мы получаем при изучении иных систем речевого обмена (например, собраний, интервью, дебатов или церемоний), сразу же обнаруживаются различия. Например, в дебатах размер чередов и их порядок очевидно предзадан. Эти различия показывают, что перед нами разные системы очередности. Разговор, несомненно, занима-

12. К нашему списку можно добавить множество других повсеместно встречающихся эмпирических свойств разговора. Выделенные нами черты являются важными аспектами организации очередности в разговоре и тем самым представляют собой главный критерий проверки модели этой организации. Ограниченный объем не позволяет показать, почему каждый пункт имеет ключевое значение. Одно из доказательств центральной роли, по крайней мере некоторых пунктов, состоит в том, что когда имеет место черта, отличающаяся от приведенной, система очередности, для которой она становится корректной, — это система очередности не для разговора, а для какой-либо иной системы речевого обмена. В этом смысле любая подобная черта (например, незаданность порядка или размера чередов) играет критериальную роль в отношении организации очередности в разговоре, и поэтому совместимость предлагаемой модели с ней имеет принципиальное значение.

ет центральное место в ряду систем речевого обмена; возможно, его центральное положение объясняется его системой очередности.

6) Череды ценят, их добиваются или их избегают. Социальная организация очередности распределяет череды между участниками. Она должна, по крайней мере частично, иметь форму экономики. Можно ожидать, что, подобно любым другим экономикам, ее организация будет влиять на относительное распределение того, что она организует. Пока мы не выявим ее организацию, мы не будем знать, каковы эти эффекты и где они проявляются. Поскольку сегодня разговор используется во всех научных и прикладных исследованиях, во всех них применяется инструмент, эффекты которого неизвестны. Это, вероятно, нецелесообразно.

2. *Транскрипты*. Прежде чем перейти к систематике очередности в разговоре, мы просим читателя ознакомиться с Приложением, в котором разъясняются специальные символы, используемые в транскриптах.

3. *Простейшая систематика*. Система очередности в разговоре может быть описана исходя из следующих двух компонентов и набора правил.

3.1. *Компонент конструирования чередов*. Существуют различные типовые единицы, с помощью которых говорящий может конструировать черед. В английском языке к типовым единицам конструирования относятся предложения, клаузы, фразы и лексемы (см. § 4.13 ниже). Такое использование типовых единиц позволяет прогнозировать текущую типовую единицу, а также то, что, вероятно, понадобится для завершения этой типовой единицы. Точно так же типовые единицы, не обладающие свойством прогнозируемости, использовать нельзя¹³.

13. Мы можем отметить, что материалы, касающиеся последовательностной организации, эмпирически подтверждают существование подобной прогнозируемости, т. е. мы обнаруживаем последовательно адекватные старты следующих говорящих после чередов, состоящих из однословных, однофразных или одноклаузных конструкций, без задержки, т. е. без ожидания возможного завершения предложения. Приведем несколько примеров однословных чередов.

- a) Desk: What is your last name [Lorraine.
 → Caller: Dinnis.
 → Desk: What?
 → Caller: Dinnis.

- Дежурный: Ваша фамилия [Лорен.
 → Звонящий: Дайнис.
 → Дежурный: Что?
 → Звонящий: Дайнис.

[FD:IV:191]

- 6) Jeanette: Oh you know, Mittie- Gordon, eh- Gordon, Mittie's husband died.
 (0.3)
 Estelle: Oh whe::n.
 Jeanette: Well it was in the paper this morning.

Estelle: It wa::s,
 → Jeanette: Yeah,

Жанет: О знаешь, Митти- Гордон, э- Гордон, муж Митти умер.
 (0.3)

Эстель: О когда::.
 Жанет: Об этом утром написали в газете.
 Эстель: Написа::ли,
 → Жанет: Да.

[Trio:18]

в) Fern: Well they're not comin',
 → Lana: Who,
 Fern: Uh Pam, unless they c'n find somebody.

Ферн: В общем они не идут,
 → Лана: Кто,
 Ферн: Э Пэм, если только не найдут кого-нибудь.

[Ladies:3:2:5]

г) Guy: Is Rol down by any chance dju know?
 → Eddy: Huh?
 Guy: Is uh Smith down?
 Eddy: Yeah he's down,

Парень: Рол случайно не здесь не знаешь?
 → Эдди: А?
 Парень: Э Смит здесь?
 Эдди: Да он здесь,

[NB:I:5:4]

Примеры однофразных чередов:

д) A: Oh I have the- I have one class in the e:vening.
 (0.1)

→ B: On Mondays?
 A: Y- uh::: Wednesdays.=
 B: =Uh- Wednesday,=

A: =En it's like a Mickey Mouse course.

A: О у меня- у меня в:чера одно занятие.
 (0.1)

→ B: По пнедельникам?
 A: Д- э::: по средам.=
 B: =Э- среда,=

A: =И курс легкий.

[TG:6]

е) Anna: Was last night the first time you met Missiz Kelly?
 (1.0)

→ Bea: Met whom?
 Anna: Missiz Kelly.
 Bea: Yes.

Что касается типовых единиц, используемых говорящим в начале конструирования своего череда, то говорящий, к которому перешел черед, изначально получает право на одну такую единицу. Первое возможное завершение первой единицы представляет собой первое релевантное место перехода. Передача права голоса координируется с учетом этих релевантных мест перехода, которые будут достигаться в случае применения любой типовой единицы.

3.2. Компонент назначения чередов. Техники назначения чередов делятся на две группы: а) техники, в которых следующий черед назначается текущим говорящим, выбирающим следующего говорящего; б) техники, в которых следующий черед назначается посредством самовыбора¹⁴.

-
- Анна: Ты вчера вечером увидела миссис Келли первый раз?
(1.0)
- Беа: Кого увидела?
- Анна: Миссис Келли.
- Беа: Да.

[Ladies:2:8:5]

Примеры одноклаузных чередов:

- ж) А: Uh you been down here before [havenche.
Б: Yeh.
- А: Where the sidewalk is?
Б: Yeah,
- А: Whur it ends,
Б: Goes [all a' way up there?
А: [They c'm up tuh the:re,
А: Yeah
- А: Э ты здесь уже бывал раньше, [да.
Б: Да.
- А: Где тротуар?
Б: Да,
- А: Где он кончается,
Б: Он идет [до туда?
А: [Они идут туда:;
А: Да

[NB:III:3]

Иного рода подтверждения этого аспекта см. ниже в § 4.13 и примерах 24–27. Дополнительные данные и обсуждение конкретных мест стартов см. в: Jefferson, 1973. Каким образом осуществляется прогнозирование типовых единиц, так что следующие говорящие вступают «без задержки», — важный вопрос, основной вклад в ответ на который могут внести лингвисты. Наше описание правил и последующее обсуждение оставляют вопрос о прогнозировании открытым.

14. Пример:

- а) Sara: Ben you want some ()?
Ben: Well allright I'll have a,
((pause))
Sara: Bill you want some?
Bill: No,

3.3. Правила. Ниже приводится базовый набор правил, которые управляют конструированием чередов, обеспечивают назначение следующего череда одному участнику и координируют передачу таким образом, чтобы минимизировать задержку и наложение.

Сара:	Бен ты хочешь ()?
Бен:	Ну <u>дадно</u> давай, ((пауза))
Сара:	Билл ты хочешь?
Билл:	Нет,

[Schenkein:II:49]

Здесь реплики Бена и Билла назначаются Сарой (пример того, как текущий говорящий — Сара — выбирает следующего), а реплики Сары — посредством самовыбора. Другой пример:

6) Sy: See Death 'v a Salesman las' night?
 Jim: No.
 ((pause))
 Sy: Never see(h)n it?
 Jim: Нет.
 Sy: Ever seen it?
 Jay: Yes
 Сай: Смотрел Смерть коммивояжера вчера вечером?
 Джим: Нет.
 ((пауза))
 Сай: Никогда его не видел?
 Джим: Нет.
 Сай: Видела когда-нибудь?
 Джей: Да

[Adato:2:9]

Здесь Джим и Джей выбираются в качестве следующих говорящих Саем, а реплики Сая назначаются посредством самовыбора. Что касается выбора Саем следующего говорящего, обратите внимание: вне зависимости от того, предполагает или нет первый обмен репликами выбор реципиента взглядом, второй и третий как минимум частично осуществляются лексически, при помощи «никогда» и «когда-нибудь».

Приведенные примеры не следует рассматривать в качестве подтверждения того, что вопросы всегда являются результатом самовыбора или что череды отвечающих — продукт техники «текущий выбирает следующего», как это происходит в следующем примере:

д) Jim: Any a' you guys read that story about Walter Mitty?
 Ken: I did,
 Roger: Mm hmm
 Джим: Ребят а кто-нибудь читал рассказ про Уолтера Митти?
 Кен: Я читал,
 Роджер: Ага ага

[GTS:5:25]

Здесь все реплики назначаются путем самовыбора. Дальнейшее обсуждение и дополнительные данные относительно назначения чередов см. ниже в § 4.12.

1) Для любого череда в первом релевантном месте перехода первой единицы конструирования череда:

а) если наличный черед конструируется так, что он предполагает использование техники «текущий говорящий выбирает следующего», тогда выбранный участник имеет право и обязан использовать свой черед; ни у кого больше таких прав или таких обязанностей нет; в этом месте происходит передача права голоса;

б) если наличный черед конструируется так, что он не предполагает использование техники «текущий говорящий выбирает следующего», тогда следующий может, но не обязан, осуществлять самовыбор; права на черед приобретает первый стартовавший; в этом месте происходит передача права голоса;

в) если наличный черед конструируется так, что он не предполагает использование техники «текущий говорящий выбирает следующего», тогда текущий говорящий может, но не обязан, продолжать говорить до тех пор, пока другой участник не совершил самовыбор¹⁵.

2) Если в первом релевантном месте перехода первой единицы конструирования череда не были использованы ни 1а, ни 1б и, согласно условию 1в, текущий говорящий продолжил говорить, тогда набор правил а-в применяется вновь в следующем релевантном месте перехода, и это повторяется в каждом следующем релевантном месте перехода, пока не произойдет передача права голоса.

15. Примеры:

a) Ava: He, he 'n Jo were like on the outs, yih know?
(0.7)

→ Ava: [So uh,
→ Bee: [They always are(hh)hhh

Ава: Он, он и Джо были вроде как на ножах, понимаиш?
(0.7)

→ Ава: [Поэтому э,
→ Би: [Они всегда(xx)xxx

[TG:JFr:20]

6) Claire: So then we were worse o- 'n she an' she went down four,
(0.5)

→ Claire: But uhm
(1.5)

→ Claire: [Uh

→ Chloe: [Well then it was her fault [Claire,
Claire: [Yeah she said one no trump, and I said two, an' then she
went back t' two...

Клэр: А потом у нас было хуже о- и она и она выложила четверку,
(0.5)

→ Клэр: Но гм
(1.5)

→ Клэр: [Э

→ Хлоя: [Но тогда это была ее вина [Клэр,
Клэр: [Да она сказала единица бескозырная, а я сказала
двойка, и тогда она вернулась к двойке...

[Ladies:2:2:3:14]

3.4. Порядок следования данных правил ограничивает каждую предоставляемую ими возможность. Тот факт, что правило 1а применяется первым, не означает, что предоставляемая им возможность свободна от ограничений, налагаемых на нее наличием в том же наборе других правил, которые *были бы* применены, если бы не было применено 1а. Так, возможность правила 1б реализуется, если не была использована возможность правила 1а, поэтому, чтобы обеспечить методическое использование возможности правила 1а, необходимо воспользоваться ею до первого релевантного места перехода первой единицы. Тем самым возможность правила 1а ограничивается наличием в данном наборе правил правила 1б, вне зависимости от того, реализуется ли на самом деле возможность правила 1б. Точно так же, чтобы обеспечить методическое применение возможности правила 1б, необходимо — учитывая наличие в наборе правил правила 1в — использовать правило 1б в первом релевантном месте перехода первой единицы и прежде, чем текущий говорящий воспользуется возможностью продолжения говорения (правило 1в). Если все же будет задействовано правило 1в, тогда будет применено правило 2, набор правил а–в будет использован вновь и возможность правила 1а опять получит приоритет перед возможностью правила 1б. Таким образом, действие правила 1б ограничивается наличием в наборе правил правила 1в, вне зависимости от того, используется оно на самом деле или нет. Отмечая, что менее приоритетные правила ограничивают использование более приоритетных возможностей, мы должны помнить, что ограничения, налагаемые на менее приоритетные правила более приоритетными правилами, инкорпорированы в сам набор правил.

Данные правила упорядочивают применение групп техник (т. е. двух групп техник назначения чередов), что делает включение двух типов техник в набор правил совместимым с принципом «один говорящий за раз» и предотвращает разрушительные последствия их совместного включения в случае их неупорядоченности. Если бы группы техник не были упорядочены — например, если бы в каждом случае, когда можно было бы использовать одну из них, можно было бы использовать обе, — эти техники, применение которых должно обеспечивать только одного сле-

-
- в) Roger: *That's a joke* that police force. They gotta hundred cops around the guy en so(h)me guy walks in and says I'm gonna shoot you and shoots him.
 → Roger: :hhmhhh heh
 → Roger: En it's the president's assassin y' know,
 (o.9)
 → Roger: They're wonderful.
 → Louise: [Hm- Now they're not even sure.

- Роджер: Эти копы настоящие шуты. Сотня копов вокруг парня, а какой(х)-то мужик входит и говорит я тебя застрлю и стреляет в него.
 → Роджер: :ххмххх ха
 → Роджер: И это убийца президента, да
 (o.9)
 → Роджер: Они прекрасны.
 → Луиза: [Хм- Теперь они даже не уверены.

дующего говорящего, допускали бы выбор более одного участника. Такая возможность существовала бы потому, что каждый тип техники используется разными участниками, и если участник, совершающий самовыбор, не является тем, кого выбрал текущий говорящий, тогда будет выбран более чем один следующий говорящий. Упорядочивание применения техник данным набором правил исключает эту возможность. Кроме того, принцип «первый стартовавший получает права», содержащийся в правиле 1б, обеспечивает упорядочивание — в рамках возможностей, предоставленных данной группой техник, — предусматривающее возможность множественного самовыбора, открываемую данной техникой.

Минимизация задержки и наложения осуществляется двумя способами: первый локализует проблему, второй решает ее в ее локализованных формах. Набор правил, вместе с ограничениями, которые присутствующие в нем возможности налагаю друг на друга, элиминирует задержку и наложение в большей части разговора путем элиминирования задержки и наложения в большинстве одиночных чередов. Правила обеспечивают передачу череда в релевантных местах перехода всюду, где была конструктивно использована техника назначения. Таким образом, техники типа «текущий говорящий выбирает следующего» могут применяться в самом начале типовой единицы, используемой в череде (например, путем использования обращения в определенных типовых единицах), но передача череда не происходит до первого релевантного места перехода. Использование техник самовыбора определяется неиспользованием техник типа «текущий выбирает следующего», которые могут быть применены в любой момент вплоть до первого релевантного места перехода, поэтому осуществлять самовыбор (выбирать технику или пробовать передавать черед) до первого релевантного места перехода нельзя. Если самовыбор не происходит, текущий говорящий может продолжать говорить (правило 1в), тем самым возвращая в оборот весь набор правил. Следовательно, самовыбор, чтобы быть эффективным, должен осуществляться в релевантном месте перехода¹⁶. Набор правил очередности тем самым обеспечивает локализацию возможностей задержки и наложения в релевантных местах перехода и в их непосредственной близости, так что остальное «пространство» череда оказывается свободно от систематических оснований для их появления.

16. Мы говорим о «релевантном месте перехода», чтобы избежать выбора между альтернативами и потенциально совместимыми свойствами координации перехода, которые мы в данный момент анализируем. Некоторые аспекты координации перехода требуют применения понятия «пространство», т. е. межчередных молчаний, которые не рассматриваются участниками как задержки или паузы. В отношении других аспектов правильнее использовать понятие «точка», например, окончание вопроса, в котором выбирается следующий говорящий, часто представляет собой точку перехода — в этот момент стартует следующий черед, независимо от того, начинает или нет другой участник говорить сразу после этого. «Пространство» и «точка» не обязательно взаимно несовместимы, как станет ясно из дальнейшего обсуждения. Задачи настоящей статьи не позволяют нам углубляться в эту тему, поэтому мы попытаемся избежать искажения данной проблемы, используя термин «место», который может обозначать одновременно и «пространство», и «точку».

4. Как данная система объясняет факты. В настоящем разделе мы соотнесем только что описанную систему с упомянутыми вначале повсеместно встречающимися фактами, чтобы понять, каким образом эта модель либо производит их, либо совместима с ними. Кроме того, будут рассмотрены другие, не столь очевидные данные, подтверждающие данную модель. Подразделы соответствуют пронумерованным наблюдениям из § 1 выше.

4.1. Смена говорящего повторяется или как минимум происходит. Эта система очередности предоставляет систематические основания для смены говорящего и ее повторения, при этом не делая их автоматическими. Возможность смены говорящего и ее повторения встроена в конструкцию каждого отдельного череда и в каждый новый черед, поскольку любая типовая единица, из которой может конструироваться черед, будет достигать релевантного места перехода, в котором первые две приоритетные возможности предполагают передачу череда следующему говорящему. Смена говорящего и ее повторение не происходят автоматически, поскольку в каждом релевантном месте перехода вместо возможностей, предоставляемых правилами 1а и 1б, может реализовываться возможность, предоставляемая правилом 1в. До тех пор пока эта комбинация будет применяться в каждом релевантном месте перехода, последовательность чередов будет выстраиваться без смены говорящего. Смена говорящего представляет собой особый случай повторения смены говорящего в силу ограничения, которое слишком сложно, чтобы анализировать его здесь¹⁷.

4.2. Преимущественно говорит только один человек за раз. Данный факт обеспечивается двумя свойствами системы. Во-первых, система назначает отдельные череды отдельным говорящим; любой говорящий получает, в свой черед, эксклюзивное право говорить до первого возможного завершения первоначальной типовой единицы — право, которое может возобновляться в последующих отдельных типовых единицах согласно правилу 1в. Во-вторых, любая передача череда координируется вокруг релевантных мест перехода, которые определяются возможными точками завершения типовых единиц.

4.3. Ситуации одновременного говорения двух человек часты, но кратковременны. Мы уже обсуждали, каким образом указанный набор правил локализует случаи наложения. Здесь мы обратимся к систематическим основаниям их появления и кратковременности.

Существует ряд систематических оснований для возникновения наложения, из которых мы можем упомянуть лишь некоторые:

а) Правило 1б, согласно которому черед получает тот осуществляющий самовыбор участник, который стартует первым, поощряет как можно более ранний старт каждого осуществляющего самовыбор участника. Тем самым оно обеспечивает наложение осуществляющих самовыбор участников, конкурирующих за следующий черед, когда каждый из них прогнозирует необходимость как можно

17. Смена говорящего представляет собой случай последовательности из двух чередов, например, «А: Привет; Б: Привет», без продолжения.

более раннего старта в возможном релевантном месте перехода, что ведет к одновременным стартам. Примеры:

- 1) Parky: Оо what they call them dogs that pull the sleighs.
(0,5)

Parky: S- sledge dogs.
(0,7)

Old Man: Oh uh [::: uh
→ Tourist: [Uh- Huskies.=
→ Old Man: = [Huskies. Mm,
→ Parky: = [Huskies. Yeh Huskies.

Сторож: Оо как зовут собак которые тянут сани.
(0,5)

Сторож: Е- ездовые собаки.
(0,7)

Старик: О э [::: э
→ Турист: [Э- хаски.=
→ Старик: = [Хаски. Ага,
→ Сторож: = [Хаски. Да хаски.

[Labov: Battersea:A:7]

- 2) Lil: Bertha's lost, on our scale, about fourteen pounds.

Damora: Oh [::: no:::
→ Jean: [Twelve pounds I think wasn't it.=

→ Daisy: = [Can you believe it?
→ Lil: = [Twelve pounds on the Weight Watcher's scale.

Лил: Берта сбросила, по нашей шкале, где-то четырнадцать фунтов.
Дамора: Ог:: нет::.

→ Джин: [Двенадцать фунтов по-моему разве нет.=
→ Дейзи: = [Невероятно.

→ Лил: = [Двенадцать фунтов по шкале слежения за весом.

[Labov et al.: Travel Agency:2]

- 3) → Mike: I know who d' guy is.=

→ Vic: = [He's ba::d.
→ James: = [You know the gu:y?

→ Майк: Я знаю его.=
→ Вик: = [Он не о::чень.
→ Джеймс: = [Ты знаешь его?:

[Frankel: 67]

Как можно заметить, каждый из одновременных стартов свидетельствует о независимой-для-каждого-участника прогнозируемости возможных точек окончания реплики, образующей текущий черед.

6) Другое основание для наложения вытекает из прогнозируемости возможных точек окончания или релевантных мест перехода. Вариация в артикуляции прогнозируемой последней части прогнозируемо последнего компонента реплики,

образующей черед, — части, которая является, по сути, локусом артикуляционной вариации в последовательности чередов, — будет ожидаемо вести к наложению текущего череда и следующего:

- 4) A: Well if you knew my argument why did you bother to
a:sk.
B: Because I'd like to defend my argument.

- A: Ну если вы знали мой аргумент почему вы
спроси:ли.
B: Потому что я хотел защитить свой аргумент.

[Cransall: 2-15-68:93]

- 5) B: Well it wasn't me[:
A: No, but you know who it was.

- B: Это был не я[:
A: Нет, но вы знаете кто это был.

[Civil Defense HQ: 2:88]

- 6) A: Sixty two feet is pretty good si:[ze.
B: [Oh: boy.

- A: Шестьдесят два фута вполне неплохой разме:[р.
B: [Вот это да::.

[NB:I:6:88]

- 7) A: Terr:[ifi:[c.
B: [I think it's much better than about a: black 'n white nuns going down stai:rs.

- A: Пре::кра::[сно.
B: [Думаю это гораздо лучше чем черно-белые монашки спускающиеся
по ле:стнице.

[GTS:1:2:24]

- 8) A: So yer not a Pontiac People anonymo(hh)[re.
B: [They're gonna hit you with a bi::ll,

- A: Так что да Понтиак не покупаем больш(xx)[ее.
B: [Они выставят тебе сче::т,

[GTS:1:2:28]

Добавление опциональных элементов, которые могут появляться после первого возможного завершения и не предполагать продолжение (например, обращений или этикетных терминов), будет порождать аналогично структурированные наложения (а их отсутствие может порождать аналогично структурированные задержки)¹⁸. Примеры:

18. См. статью: Jefferson, 1973, которая специально посвящена данному вопросу.

- 9) A: Uh you been down here before [havenche.
B: Yeh.

- A: Э ты уже бывал здесь раньше [не так ли.
B: Да.

[NB:III:3:5]

- 10) P: Yeh alright [dear
J: Okay.

- П: Да хорошо [дорогая.
Д: [Окей.

[Trio:II:12]

- 11) A: What's yer name again please [sir,
B: [F. T. Galloway

- A: Еще раз как вас зовут [сэр,
B: [Ф. Т. Галловэй.

[FD:IV:35]

Что касается кратковременности ситуаций, когда одновременно говорят больше одного человека, одна из очевидных причин состоит в том, что они возникают в релевантных местах перехода, т. е. в местах, где текущие говорящие могут или должны прекращать говорить, тем самым исключая компонент наложения и, следовательно, само наложение.

4.4. Обычно переходы (от одного череда к следующему) происходят без задержек и без наложений. Вместе с переходами, характеризующимися небольшими задержками или наложениями, они составляют подавляющее большинство случаев. Компоненты и набор правил, организуя передачу голоса исключительно вокруг релевантных мест перехода, обеспечивают возможность переходов без задержек и без наложений. Мы уже описали некоторые структурные основания для появления задержек и наложений — основания, которые также обеспечивают незначительность этих задержек и наложений и являются следствиями набора правил, который в противном случае гарантирует переходы без задержек и наложений¹⁹.

4.5. Порядок чередов не фиксирован, а варьируется. Это является результатом сочетания двух свойств системы: а) отдельные череды назначаются по одному за раз; б) при каждом таком назначении появляется ряд возможностей, каждая из которых может обеспечивать различных следующих говорящих. Тем самым упорядочивание говорящих, будучи локально контролируемым (т. е. по-чередным), может варьироваться.

19. В данной статье мы не будем анализировать связь между короткой заминкой, которая может характеризовать совершённый переход, и такого рода продолжительными молчаниями в разговоре. Лишь отметим, что правило 16 предусматривает возможность самовыбора, в то время как правило 1в предусматривает возможность «тот же говорящий продолжает». Такая комбинация создает вероятность наложения, которое будет рассмотрено ниже в § 4.11.

Мы можем добавить, что, хотя порядок чередов варьируется, он варьируется не случайным образом. Одна из крайне важных предрасположенностей заключается в выборе текущим говорящим непосредственно предшествующего говорящего в качестве следующего говорящего:

- 12) → Roger: ((To Jim)) Are you just agreeing because you feel you wanna uh
 → Jim: Hm?
 → Roger: You just agreeing ?
 → Jim: What the hell's that.
 → Al: It's- Agree^{ing}?
 → Roger: Agreeing.
 → Jim: Agreee::n.
 → Roger: Yeah.
 → Al: With us. Just going along with us.
 → Jim: No.
 → Roger: Saying 'yes, yes' [hehheh hh hehhh hh hehheh hh
 → Jim: Well, i-i-it's-it's true. Everything he sai(h)d is true, so
- Роджер: ((Джиму)) Ты просто соглашаешься потому что думаешь что тебе хочется э
 → Джим: М?
 → Роджер: Ты просто соглашаешься?
 → Джим: Ты вообще о чем.
 → Эл: Ну- Согла^{шаешься}?
 → Роджер: Соглашаешься.
 → Джим: Соглашааюсь.
 → Роджер: Да.
 → Эл: С нами. Просто поддакиваешь нам.
 → Джим: Нет.
 → Роджер: Говоришь 'да, да' [ха-ха xx хаа xx хаха xx
 → Джим: Ладно, э-э-э-это-это правда. Все что он сказал правда,
 так что

[GTS:2:2:70]

На протяжении всей последовательности используются шаблоны «Роджер последний, за ним Джим» и «Джим последний, за ним Роджер»; первая реплика Эла не становится эффективным чередом, а его вторая реплика изначально конструируется как дополнение к череду другого говорящего. См. также фрагмент б в сн. 14 выше и фрагмент 14 ниже.

Источники этой предрасположенности лежат за пределами базовой организации системы очередности и не могут быть детально описаны в настоящем тексте (см. § 4.12 ниже, пункт б). Что здесь *нужно* отметить — это что набор правил позволяет реализовываться данной предрасположенности, упорядочивая возможности, составляющие этот набор правил. Данная предрасположенность оказывается эффективной в силу приоритета возможности «текущий говорящий выбирает следующего».

Одна из важных функций этой предрасположенности такова: она систематически обеспечивает возможность «беседы», что предполагает прежде всего возможность локального мониторинга слушания, понимания, согласия и т. д. Проблемы со слушанием, пониманием и т. д. каждого череда оглашаются предпочтительно

сразу после этого череда; оглашение этих проблем предполагает выбор последнего говорящего в качестве следующего говорящего, который повторяет, проясняет и т.д.²⁰

4.6. Размер чередов не фиксирован, а варьируется. Главными источниками вариативности размера чередов являются две особенности описанной нами системы:

а) Доступность различных типовых единиц, из которых могут изначально конструироваться череды (единиц, различающихся по параметру длины), и доступность текущему говорящему возможности свободного выбора между ними, при условии, что в наборе чередов, каждый из которых будет содержать только одну единицу, на которую говорящий изначально получает право в свой черед, череды могут быть разного размера²¹. Наиболее интересными в этом отношении типовыми единицами являются предложенческие конструкции, поскольку они допускают увеличение длины изнутри — в особенности *до* первых возможных мест завершения²²:

- 13) Ken: I still say though that- if you take if you take uh a big fancy car out on the road and you're hotroddin' around you're- you're bound to get- you're bound to get caught, and you're bound to get shafted.

Кен: Но я все равно считаю что- если ты выезжаешь если ты выезжаешь э на здоровенной модной тачке и гоняешь на ней, тебя- тебя обязательно- тебя обязательно словят и обязательно поймают.

[GTS:2]

Таким образом, предложенческие конструкции сами по себе обеспечивают вариативность размера череда. Именно исходя из этой расширяемости предложенческой конструкции до первого возможного завершения следует понимать свойство «прогнозируемого завершения», присущее компоненту 1 в системе очередности. Предложенческие конструкции могут анализироваться в ходе их производства участником/слушающим, который может использовать этот анализ для прогнозирования их возможных дальнейших направлений и мест завершения. В ходе ее конструирования любая предложенческая единица будет быстро (в разговоре) обнаруживать прогнозируемые направления и окончания, которые могут модифицироваться в ходе ее дальнейшего конструирования, но будут по-прежнему определяться (см.: Schegloff, 1978).

б) Второй источник вариативности размера чередов таков. Правило 1в обеспечивает возможность того, что любой текущий говорящий может получить шанс произвести более чем одну типовую единицу (см. пример *в* в сн. 15). Возможность

20. Как в примерах *а-ж* в сн. 13, *а-в* — в сн. 14, *а-в* — в сн. 15, 1-3, 12 и 21-23 — ниже.

21. Разные размеры чередов, состоящих из одной единицы, см. в примерах *а-ж* в сн. 13, *а-в* — в сн. 14 и др.

22. Примеры коротких чередов из одного предложения см. в примере *б* в сн. 13 и в примере *в* в сн. 14 выше.

реализации правила 1в означает, что система не определяет максимальный размер череда, в то время как компонент конструирования череда определяет его минимальный размер. Поскольку правило 1а предоставляет каждому текущему говорящему технику прерывания череда, которую можно использовать в любом релевантном месте перехода, это систематически обеспечивает вариативность размера череда, вне зависимости от источника *a*.

4.7. Продолжительность разговора заранее не определена. Сама по себе система очередности ничего не говорит напрямую о продолжительности или окончании разговора. Однако она накладывает ограничения на то, каким образом может функционировать любая система правил достижения окончания разговора (и тем самым его продолжительности). Например, в силу правила 1а конец не должен наступать, и редко наступает, после череда, в котором использовалась техника «текущий говорящий выбирает следующего».

Продолжительность или окончание разговора зависит от других типов организаций, нежели система очередности. Одна из разновидностей такой организации уже была описана Щеглоффом и Саксом (Schegloff, Sacks, 1973); здесь мы лишь отметим, что окончание разговора и, следовательно, его продолжительность определяются внутренними особенностями его протекания (как и описанная ранее длина череда). Не вся разговорная активность, для которой релевантна система очередности, осуществляется в форме единицы «отдельный разговор», для которой релевантна некоторая структура завершения. Система очередности является прежде всего системой «последовательностей реплик». Существует порядок организации «типов последовательностей», исходя из которого может определяться продолжительность разговора для такого рода единиц. Сама по себе система очередности совместима с различной продолжительностью и не предопределяет ее.

4.8. Содержание высказываний заранее не определено. Для сравнения можно привести церемонии, в которых содержание высказываний участников может определяться заранее как угодно строго. В случае дебатов порядок высказываний участников напрямую связан с характером того, что они говорят, и при этом участники могут характеризоваться как выступающие «за» или «против», а их череды — как, например, «опровержение» или «контропровержение». «Система интервью» организует смену чередов в форме «вопросов» и «ответов». В этих и других системах речевого обмена организация очередности опирается, как на один из своих ресурсов, на более обширное или более детальное пред-определение того, что будет делаться в организуемых ею чередах.

В отличие от этих систем речевого обмена, организация очередности в разговоре не задает содержание того или иного череда и не ограничивает то, что делается (должно делаться) в том или ином из чередов. Ни компоненты, ни набор правил не связаны с чем-либо, относящимся к данному вопросу. Но это не значит, что не существует ограничений, касающихся того, что может делаться в том или ином череде. «Первые череды» в структурно характеризуемом наборе обстоятельств принимают надлежащую форму «приветствий», а «следующие череды» могут раз-

личными легко описываемыми способами ограничиваться «предыдущими чередами». Мы лишь обращаем внимание, что в разговоре подобные ограничения организуются системами, внешними по отношению к системе очередности. Один из аспектов гибкости разговора является непосредственным и важным следствием данной особенности его организации очередности: его организация очередности (и тем самым разговорная активность *per se*) функционирует независимо от различных характеристик содержания его чередов, от их «тем(ы)».

Как и в случае других отмеченных нами аспектов вариативности, нефиксированность того, о чем говорят участники, должна модифицироваться в силу одной ее предрасположенности. Группу техник назначения, которую мы назвали «текущий говорящий выбирает следующего», нельзя использовать в любом высказывании или типе высказывания. Скорее, существует ряд типов высказываний, первые части смежных пар²³, которые могут использоваться для осуществления такого выбора, и наравне с ограничением на использование одного из них существуют ограничения на то, что может говорить участник. Но обратите внимание: а) никто из участников не обязан использовать в каком бы то ни было череде технику «текущий говорящий выбирает следующего» и б) любой участник, желающий это сделать, имеет в своем распоряжении сравнительно соразмерный набор типов высказываний, в каждом из которых может осуществляться выбор следующего говорящего. И хотя участник, выбранный с помощью подобной техники, будет ограничен в том, что он говорит в так назначенный ему черед (например, он будет обязан «отвечать», если для его выбора использовалась техника «вопроса»), эти ограничения обусловлены не самой по себе системой очередности, а организацией «типов последовательностей», первые части которых обслуживают техники типа «текущий говорящий выбирает следующего»²⁴. То, что система очередности в разговоре не ограничивает содержание чередов, позволяет использовать череды в других системах, и тогда компоненты этих систем оказываются в зависимости от организационных обстоятельств занимаемых ими чередов.

4.9. Относительное распределение чередов заранее не определено. Набор правил максимизирует ряд «потенциальных следующих говорящих», т. е. правило 1а позволяет текущему говорящему выбрать любого другого участника в качестве следующего говорящего, а правило 1б позволяет любому участнику, не являющемуся текущим говорящим, выбрать себя в качестве следующего говорящего. Данная комбинация предоставляет текущему не-говорящему альтернативные способы стать потенциальным следующим говорящим. Кроме того, следствием правила 1в является то, что оно не лишает даже текущего говорящего права говорить сле-

23. См. § 4.12 выше, а дальнейшее обсуждение в: Schegloff, Sacks, 1973.

24. Обсуждения различных типов последовательностей были опубликованы в других текстах, например, обсуждение последовательностей «звонок — ответ» — в: Schegloff, 1968; побочных последовательностей — в: Jefferson, 1972; вводных последовательностей — в: Schegloff, 1972; завершающих последовательностей — в: Schegloff, Sacks, 1973; повествовательных последовательностей — в: Sacks, 1974; расширенных последовательностей — в: Jefferson, Schenkein, 1977, и некоторых других (см., например: Jefferson, 1973).

дующим — за тем исключением, что эта система позволяет рассматривать использование этой возможности как внутри-чередное событие, считающееся случаем не назначения череда тому же самому говорящему, а увеличения размера череда. Набор правил действует в каждом релевантном месте перехода, и в каждом таком месте любой участник разговора может начать говорить следующим. Следовательно, набор правил обеспечивает возможность любого общего распределения чередов и позволяет манипулировать распределением чередов в целях, которые могут достигаться посредством такого распределения²⁵.

Поскольку относительное распределение чередов представляет собой достигаемый в каждой конкретной точке разговора кумулятивный результат по-чередных детерминаций порядка чередов, предрасположенности, влияющие на детерминацию порядка чередов (одна из которых была указана в § 4.5), могут вести к характерным для системы очередности отклонениям в общем распределении чередов к тому или иному моменту.

4.10. Число участников может варьироваться. Система очередности обеспечивает это примерно тем же самым образом, каким она обеспечивает различную продолжительность разговора. Поскольку она создана, чтобы организовывать лишь два череда за раз, текущий и следующий, а также переход от одного череда к другому без ограничения числа текущих и следующих чередов, которые она может серийно организовывать, точно так же она организует лишь двух говорящих за раз, текущего и следующего, и не соотносится напрямую с размером группы, из которой они выбираются. Не предусматривая иных говорящих, помимо текущего и следующего, система совместима с разным числом участников в разных разговорах. Кроме того, будучи совместимой с разным числом участников, она совместима с разным числом участников внутри каждого отдельного разговора, поскольку

25. Например, иногда в литературе по малым группам утверждается, что относительное распределение чередов (или какого-либо схожего показателя) представляет собой проявление (или средство осуществления) власти, статуса, влияния и т. д. Например, Бейлс пишет: «Действительно, размер высказывания не является целиком достоверным показателем статуса — наблюдаемое поведение некоторых людей или подгрупп иногда явно противоречит тому, что можно было бы ожидать, если бы объем участия соответствовал общепринятым статусному порядку. Тем не менее рассмотрение того, кто, как много и кому говорит, может быть неожиданно полезным...

Кто говорит, как много и кому в группе — это „грубый факт“, характеризующий актуальную, наличную ситуацию. Говорение отнимает время. Когда говорит один из членов группы, он занимает время и внимание всех других членов группы, некоторые из которых могут сами хотеть взять слово. Отнимать время своим высказыванием в малой группе — значит осуществлять власть над остальными членами, по крайней мере на время, пока длится высказывание, независимо от содержания. Это осуществление власти, которая может не вполне совпадать со статусным положением индивида, определяемым внешними критериями или даже специфическими критериями, выработанными в данной группе...

В малой группе время, занимаемое одним из ее членов в ходе сессии, является практически прямым свидетельством широты власти, которую он пытается осуществить в этот период» (Bales, 1970: 62, 76–77).

В следующем параграфе мы высказываем еще одно предостережение — в дополнение к тем, которые бесспорно отмечаются специалистами в данной области, — которое следует учитывать профессиональным аналитикам при таком использовании относительного распределения чередов.

существуют механизмы вступления новых участников и выхода текущих участников (которые мы не будем здесь описывать).

Хотя система очередности не ограничивает число участников организуемого ей разговора, она все же благоприятствует, в силу своего устройства, меньшему числу участников. Это связано прежде всего с обсуждавшейся выше, в § 4.5, предрасположенностью, существующей в механизмах упорядочивания чередов. В простейшем виде это можно выразить так: набор правил указывает только на двух говорящих, текущего и следующего, а предрасположенность в упорядочивании чередов ведет к выбору в качестве следующего говорящего «непосредственно предшествующего текущему». В разговоре с двумя участниками двое говорящих, на которых указывает набор правил и на которых распространяется действие предрасположенности в упорядочивании чередов, составляют всех участников разговора, и поэтому нет смысла говорить о «предрасположенности» в упорядочивании чередов. Однако предрасположенность «последний как следующий» остается инвариантной при увеличении числа участников и при каждом дополнительном увеличении числа участников постепенно концентрирует распределение чередов среди подмножества потенциальных следующих говорящих. Если участников трое, то, при строгой реализации данной предрасположенности, один может «пропускаться», если участников четверо, могут «пропускаться» двое, и т. д.

Можно отметить, что некоторые обсуждавшиеся нами вариативности связаны между собой (например, число участников и порядок чередов) и дифференцированно релевантны; частичное упорядочивание этих вариативностей можно проиллюстрировать с помощью параметра «число участников». Например, при двух участниках релевантной вариативностью является не дифференцированное распределение чередов (при условии, что участники будут говорить поочередно), а дифференцированный размер череда. При трех участниках релевантным становится дифференцированное распределение чередов. Хотя размер череда остается релевантным, включается предрасположенность к меньшему размеру чередов. При появлении третьего участника любому текущему не-говорящему больше не гарантируется (или не должен обязательно передаваться) «следующий черед». В разговоре двух человек текущий не-говорящий может пропустить любое релевантное место перехода, которое не является обязательным (т. е. в котором не была использована техника «текущий выбирает следующего»), с полной уверенностью, что в какой-либо момент он станет «следующим говорящим», но при трех и более участниках такой уверенности нет. Если текущий не-говорящий, желающий взять голос следующим, не осуществляет самовыбор в следующем релевантном месте перехода, тогда другой текущий не-говорящий может осуществить самовыбор и в свой черед выбрать кого-то еще, либо текущий говорящий может продолжить говорить и в ходе продолжения выбрать какого-либо другого текущего не-говорящего. Поэтому текущий не-говорящий, если он хочет взять слово следующим, будет вынужден совершать самовыбор в первой возможной и в каждой последующей точке перехода. Кроме того, если текущий говорящий хочет выбрать

одного из потенциальных следующих говорящих, он будет вынужден осуществлять выбор перед первым возможным местом перехода (в релевантном месте перехода, в котором затем происходит передача права голоса согласно правилу 1а), чтобы нежелательный текущий не-говорящий не осуществил самовыбор в этой точке. Таким образом, оба варианта побуждают к минимизации размера чередов, которая специфична для трех и более участников.

При четырех участниках появляется особый тип вариативности, который мы еще не рассматривали: вариативность количества функционирующих систем очередности. Существуют механизмы расщепления одного разговора на два и более разговора. Эти механизмы могут действовать при наличии как минимум четырех участников, поскольку только в этом случае участников достаточно для двух разговоров. При четырех участниках расщепление систематически возможно. Ранее мы отмечали, что предрасположенность в отношении порядка чередов «последний говорящий является следующим говорящим» влияет на относительное распределение чередов при трех и более участниках. Возможность расщепления при четырех и более участниках позволяет ограничить это распределение. Если есть желание сохранить в отдельном разговоре некоторую текущую совокупность участников (которых по меньшей мере четверо), тогда предлагаемые системой очередности средства достижения данной цели предполагают «разнесение чередов», так как любая пара участников, не получающая или не берущая слово на протяжении некоторой последовательности чередов, может обнаруживать доступность друг друга для вовлечения во второй разговор:

- 14) Этель, Бен и Макс пришли в гости к Биллу и Лори. Они принесли много еды, в том числе салами, которую Макс взял из своего холодильника. На Бене — новый комплект совмещенных очков и слухового аппарата. В этот момент Лори предлагает выпить.

<p>Ethel: I'll take scotch, if you have it, → Ben: You're gonna have to quit yelling, you see, Ethel: Oh lookit his <u>ear</u>! → Lori: Oh that's <u>right</u>. You got- I know I noticed when he came in. → Ben: Did you notice it?? → Lori: Yeah how do you like it. → Ben: It's <u>fantastic</u>. Ethel: Except the thing presses into his head. → Ben: It- it hurts me terrible I have to go down and get it adjusted. → Lori: Yeah. → Ben: It kills me right here. → Lori: It's, → Ben: The glasses are tight I <u>feel</u> it.</p>	<p>Max: Is the salami dry? Lori: What happens if somebody else puts it on, Ben: Nothin, Lori: Will I hear it? Lori: Will I <u>hear</u> it?</p>	<p>Max: Bill, Max: Did it get dry?</p>
--	---	---

- | | | | |
|----------|--|--------|--|
| Ben: | You gotta put this inside the <u>ear</u> . | Bill: | A little bit, |
| Lori: | And then will it be real loud? | Bill: | But it's good that way. |
| Ben: | Well, <u>yeah</u> . Probably <u>will</u> be because you're- | Bill: | (Because) all the fat evaporates. |
| Lori: | It won't be too loud, | Ethel: | Y'know <u>we</u> had- |
| Ben: | Well <u>I</u> could adjust the <u>volume</u> ,
I have it- | Ethel: | <u>We</u> knew somebody who used to hang- |
| Ben: | I have it down almost all the way. | Ethel: | Hang it- |
| Lori: | Okay | Ethel: | Leave it <u>outside</u> all the time |
| Ben: | Yeah. Because see I have <u>perfect</u> <u>hearing</u> in <u>this</u> ear. | Ethel: | So it <u>would</u> dry out |
| Eтель: | Я буду скотч, если у вас есть, | Ethel: | The fat would dry all out. |
| → Бен: | [Не надо кричать, смотри, | | |
| → Этель: | [О смотрите на его ухо! | | |
| → Лори: | О да. Ты- я знаю я заметила когда он вошел. | | |
| → Бен: | Ты заметила? | | |
| → Лори: | Да как тебе. | | |
| → Бен: | Фантастика. | | |
| → Этель: | Кроме того, что эта штука давит ему на голову. | | |
| → Бен: | От нее- от нее ужасно больно надо пойти и отрегулировать ее. | | |
| → Лори: | Да. | | |
| → Бен: | Она давит мне вот здесь. | | |
| → Лори: | Она, | | |
| → Бен: | Очки тесные я <u>чувствую</u> это. | | |
| Лори: | Что будет, если кто-нибудь
другой наденет их, | Макс: | Эта салями сухая? |
| Бен: | Ничего, | Макс: | Билл, |
| Лори: | Я буду слышать? | Макс: | Ее сушили? |
| Лори: | Я буду <u>слышать</u> ? | Билл: | Немного, |
| Бен: | Ты должна вложить это в <u>ухо</u> . | Билл: | Но она ничего. |
| Лори: | И тогда будет действительно
громко? | Билл: | (Потому что) весь жир испарился. |
| Бен: | Ну, да. Возможно <u>будет</u> ,
потому что ты- | Этель: | Знаешь, <u>мы</u> - |
| Лори: | А не будет <u>слишком</u> громко, | Этель: | <u>Мы</u> знали одного человека, который
вывешивал- |
| Бен: | Ну <u>я</u> могу изменить громкость,
она у меня- | Этель: | Вывешивал ее- |
| Бен: | Она у <u>меня</u> всегда низкая. | Этель: | Оставлял снаружи всегда |
| Лори: | Окей | Этель: | Чтобы она высохла |
| Бен: | Да. Потому что <u>этим</u> ухом
я прекрасно <u>слышу</u> . | Этель: | Чтобы весь жир высох. |

В этом отношении желание сохранить всю совокупность участников ведет к распределению чередов, отличающемуся от распределения, получаемого в результате действия предрасположенности в отношении порядка чередов.

Следует отметить, что возможность расщепления, привносимая четвертым участником, ограничивает распределение чередов, вызываемое третьим участником, точно так же как распределение чередов, вызываемое третьим участником, ограничивает механизмы, определяющие размер чередов, при двух участниках. Но при этом так же следует отметить, что данное расщепление, ограничивающее распределение чередов, неоднозначно, поскольку распределение чередов может с тем же успехом использоваться некоторыми участниками в качестве средства побуждения других участников к расщеплению.

4.11. Говорение может быть непрерывным или прерываться. Оно непрерывно, когда, в пределах некоторой последовательности релевантных мест перехода, оно продолжается (другим или тем же самым говорящим) после релевантного места перехода с минимальной задержкой или наложением. Прерывания возникают, когда в некотором релевантном месте перехода²⁶ текущий говорящий останавливается, никто не начинает (или не продолжает) говорить и последующее отсутствие говорения образует нечто большее, чем задержку, — не задержку, а заминку:

- 15) J: I could drive if you want me to.
 C: Well no I'll drive (I don' m//in')
 J: hhh
 (1.0)
 J: I meant to offah.
 → (16.0)
 J: Those shoes look nice when you keep on putting stuff on 'em.
 C: Yeah I'ave to get another can cuz cuz it ran out. I mean it's a//lmost(h) ou(h)*t=
 J: Oh::ah*he hh ·heh=
 C: =yeah well it cleans 'em and keeps // 'em clean.
 J: Yeah right=
- C: =I should get a brush too and you should getta brush 'n // you should-* fix your hiking boo//ts
 J: Yeah suh::
 J: my hiking boots
 C: which you were gonna do this weekend.
 J: Pooh, did I have time this wk- well:
 C: Ahh c'mon=
- J: =wh'n we get- (uh:: kay), I haven't even sat down to do any- y' know like ·hh today I'm gonna sit down 'n read while you're doing yur coat, (0.7) do yur- hood.
 C: Yehhh=
- J: =(ok) (2.0) I haven't not done anything the whole weekend.
 C: (okay)
 → (14.0)
 J: Dass a rilly nice swe: der, (hh) 'at's my favorite sweater on you, it's the only one that looks right on you.
 C: mm huh.
 → (90.0)

26. Нижеследующее применимо не к любому релевантному месту перехода, а только к определенным классам мест перехода, связанным с организацией последовательностей, а не организацией очередности.

- Дж: О я могу сесть за руль если ты хочешь.
 К: Ну нет я поведу (я не про//тив')
 Дж: xxx
 (1.0)
 Дж: Я серьезно.
 → (16.0)
 Дж: Те ботинки выглядят хорошо когда ты постоянно намазываешь их.
 К: Да мне надо взять другую банку а то эта уже пустая. То есть она по//чили(x)
 пуста(x)*я=
 Дж: О:::аг*га xx ·хех=
- К: =да ну это чистит их и они остаются // чистыми.
 Дж: Да верно=
 К: =еще мне нужна щетка и тебе нужна щетка и // ты должен-* починить свои
 походные боти//нки
 Дж: Да канешна
 Дж: мои походные ботинки
 К: что ты собирался сделать в эти выходные.
 Дж: Уф, если бы у меня было время в эти вы- ну::
 К: Да брось=
- Дж: =когда мы- (о::кей), я даже не присел чтобы сделать что- ну типа ·хх сегодня я
 посижу и почитаю пока ты занимаешься своей курткой, (о.7) своим- капюшоном.
 К: Даа=
- Дж: =(оkey) (2.0) я ничего не сделал за все выходные.
 К: (оkey)
 → (14.0)
 Дж: Это милый сви::тер, (·хх) мой самый любимый свитер на тебе, он единственный
 хорошо выглядит на тебе.
 К: Мм угу.
 → (90.0)

[C-J:2]

Возможность непрерывного говорения обеспечивается в пределах правил тем фактом, что каждая возможность [набора правил] обеспечивает процедуру, посредством которой в каждом релевантном месте перехода может определяться следующий говорящий. Реализация возможностей для высказывания, становящихся доступными упорядоченным образом в каждом релевантном месте перехода, создает последовательность непрерывного говорения. Но поскольку каждое правило предоставляет некоторую возможность (в особенности последнее правило из упорядоченного набора, которое создает возможность, а не, например, помеху, обеспечивая наличие говорящего в том случае, если ни одна другая возможность его не обеспечила), возможность прерывания тоже существует. В любом месте перехода, в котором не реализуется ни одна возможность для высказывания, возникает возможность заминки и тем самым прерывания говорения.

На возможное размещение заминок могут влиять различные ограничения. Одно из важнейших ограничений предусматривается самой системой очередности. Если в реплике, образующей черед, применяется правило 1а и выбирается следующий говорящий, который вступит после возможного завершения этого череда, то заминка вряд ли произойдет, т. е. молчание после череда, в котором был

выбран следующий говорящий, будет слышаться не как возможное начало заминки и не как задержка, а как пауза перед началом череда выбранного следующего говорящего. Мы имеем в виду, что среди средств, используемых для редуцирования задержки, имеются классификационные решения, которые упорядочены в том, что касается альтернативной применимости «задержки», «паузы» и «заминки» как способов трактовки возникающего в разговоре молчания²⁷.

Если в текущей реплике, образующей черед, было применено правило 1а, тогда возможность заминки сразу после него исключена. Заминка возникает, если правило 1а не применялось, вследствие обращения к возможностям, предоставляемым правилами 1б и 1в. То есть если правило 1а не применялось, следующий черед доступен для следующего говорящего, осуществляющего самовыбор; если самовыбор не происходит, текущий говорящий может самовыбирать продолжение говорения (возможно, применяя в продолжение правило 1а). Если текущий говорящий не самовыбирает продолжение говорения, правило 1а не используется и появляется еще одно место (следующий круг) для самовыбора и, в отсутствие самовыбора другим участником, — для самовыбора продолжения говорения текущим говорящим, и т. д. То есть может возникать ряд кругов возможного самовыбора другими участниками и самовыбора продолжения говорения текущим говорящим — правила 1б и 1в, — ни в одном из которых не реализуются возможности говорения, что ведет тем самым к появлению заминки в разговоре²⁸.

4.12. Применяются техники назначения чередов²⁹. Первичное наблюдение относительно существования техник выбора следующего говорящего в разговоре

27. То есть восприятие участниками молчания в разговоре зависит от его местоположения. Грубо говоря, молчание внутри чередов (не в релевантном месте перехода) — это «пауза», и другие первоначально не должны заполнять его своими репликами; молчание после возможной точки завершения — это первоначально задержка и его следует минимизировать; продолжительное молчание в релевантном месте перехода может стать заминкой. Но некоторые формы молчания поддаются трансформации. Например, если молчание возникает в месте перехода и тем самым является (потенциальной) задержкой, оно может быть прекращено репликой того же самого участника, который говорил перед этим; таким образом «задержка» трансформируется в «паузу» (которая теперь находится внутри череды). Таков один из способов минимизации «задержки» (см. примеры б и в в сн. 15 выше и пример 1).

28. Круг возможностей, связывающий правила 1б и 1в так, как это показано в данном тексте, может помочь в объяснении результатов вроде тех, о которых сообщают Матараццо и Виенс (Matarazzo, Wiens, 1972): того, что «время ожидания реакции» (время, проходящее между завершением реплики одного говорящего и началом реплики второго в двустороннем разговоре) в среднем меньше, чем «время ожидания инициативы» (время, проходящее между «закончением» реплики одного говорящего и началом «дополняющего» высказывания того же говорящего), когда другой участник не берет слово. Отчасти то, что в своих материалах мы натолкнулись на схожие данные, и побудило нас к формулированию указанных выше правил.

29. Поскольку назначение чередов оказалось как эмпирическим фактом разговора, так и частью компонентов и набора правил, его обсуждению отводится больше места, чем другим разделам, с целью экспликации, по крайней мере частично, данного элемента набора правил.

Демонстрация совместимости предложенной модели с повсеместно наблюдаемыми фактами в случае назначения чередов отличается от таковой в случае других фактов, поскольку центральная задача данной модели — сделать многочисленные техники назначения совместимыми с принципом «один-говорящий-за-раз» как принципом их упорядочивания (см. § 3 выше).

можно сделать на основании «очевидных случаев», таких как то, что адресный вопрос предполагает выбор его адресата в качестве следующего говорящего, или то, что участник, начинающий говорить, не будучи выбранным, выбирает себя сам³⁰. Напрашиваются два следствия: 1) поскольку очевидные случаи подсказывают, что применяются техники выбора, есть смысл поискать техники, которые менее очевидны, но, как можно ожидать, тоже используются; 2) очевидные случаи подсказывают, что эти техники можно сгруппировать, а также подсказывают способ их группировки, который позволяет систематизировать поиск других техник.

Разумеется, существуют и другие техники назначения говорящих, которые явно относятся к группам «текущий выбирает следующего» и «самовыбор». Самое большое, что мы можем тут сделать, — это кратко описать некоторые из этих техник, отметив, что они естественным образом делятся на подобные группы.

а) «Очевидный» случай адресного вопроса — это лишь частный случай отдельного класса типов высказываний или частей «типов последовательностей», которые обладают общим свойством: они позволяют выбирать следующего говорящего. То есть «вопрос» — один из примеров первой части последовательностной единицы, которую мы в другом тексте назвали «смежной парой» (см.: Schegloff, Sacks, 1973). Этот класс единиц включает также такие последовательности, как «приветствие — приветствие», «приглашение — принятие/отклонение» и т. д.:

16) Упрек/отрицание

- Ken: Hey yuh took my chair by the way an' I don't think that was very nice.
 Al: I didn't take yer chair, it's my chair.

- Кен: Хей ты взял мой стул кстати и по-моему это не очень хорошо.
 Эл: Я не брал твой стул, это мой стул.

[GTS:1]

17) Комplимент/отвержение

- A: I'm glad I have you for a friend.
 B: That's because you don't have any others.

- A: Я рад что ты мой друг.
 Б: Это потому что у тебя других нет.

[FN]

18) Возражение/отвержение

- A: It's not break time yet.
 B: I finished my box, so shut up.

 А: Еще не время для перерыва.
 Б: Я закончил свою коробку, так что заткнись.

[SU:1]

30. См. сн. 14 выше и пример 21 ниже.

19) Просьба/удовлетворение

«7:19. Raymond sat back in his chair. He was nearly finished with his breakfast. He said in a slightly complaining tone, „Mommie, I don't want this other piece of toast“. His mother said casually, „You don't? Well, O.K., I guess you don't have to eat it“. He finished eating his breakfast».

«7:19. Рэймонд вернулся в свое кресло. Он почти закончил с завтраком. Немного нюющим тоном он сказал: „Мамочка, я не хочу вторую половину тоста“. Его мама спокойно сказала: „Не хочешь? Что ж, хорошо, полагаю, ты не должен ее доедать“. На этом его завтрак был завершен».

[Barker, Wright, 1951: 22]

Примеры предложения/согласия и предложения/отказа см. в сн. 14 (пример *a*), пример вопроса/ответа — там же (пример *b*), пример предложения/согласия и два примера комплимента/принятия — в примере 15, пример инструкции/получения — в: Goldberg, 1975; другие примеры — в работах, указанных в сн. 24.

Некоторые особенности данного класса единиц были описаны в других текстах, прочие будут описаны в последующих сообщениях. Их первые компоненты можно назвать «первыми частями пары»; они налагаются ограничения на то, что следует делать в следующем череде (например, «вопрос» делает «ответ» особенно релевантным для следующего череда), но сами по себе не назначают следующий черед какому-либо потенциальному следующему говорящему. Тем не менее они выступают базовым компонентом выбора следующего говорящего, поскольку наиболее эффективный способ выбора следующего говорящего — обращение к кому-либо — работает преимущественно благодаря присоединению к первой части пары³¹. Так, важная — возможно, центральная — общая техника, при помощи которой текущий говорящий выбирает следующего, предполагает присоединение термина обращения (или использование какого-либо другого приема, необходимого для «обращения», например, направления взгляда) к первой части пары³². Но само по себе обращение к участнику не обязательно будет означать выбор его в качестве следующего говорящего. Например, А, адресуя вопрос Б, выбирает его в качестве следующего говорящего, но когда Б берет слово следующим и адресует ответ А (вторая часть пары), А не обязательно выбирается в качестве следующего говорящего:

- 20) Sharon: You didn' come tuh talk tuh Karen?
 Mark: No, Karen- Karen 'n I 're having a fight, (0.4) after she went out with Keith an' not with (me).
 → Ruthie: hah hah hah hah
 → Karen: Wul Mark, you never asked me out.

31. «Обращение» само по себе может быть первой частью пары, например, во время телефонного звонка (см.: Schegloff, 1968).

32. Как в примере *a* в сн. 14 или в примерах 14 и 21.

- Шэрон: Ты пришел поговорить с Карен?
 Марк: Нет, Карен- Карен и я на ножах, (0.4) после того как она пошла на свидание с Китом а не со (мной).
 → Рути: ха ха ха ха
 → Карен: Но Марк, ты никогда не приглашал меня.

[SN-4:3]

- 21) S: Oscar did you work for somebody before you worked for Zappa?
 O: Yeh, many many. (3.0) Canned Heat for a year.
 S: Didya?
 O: Poco for a year.
 → T: ooh when they were good?
 O: Bangor Flunt Madura fer a y- couple years
 T: Bangor Flunt Madura?
 O: Bangor Flying Circus.
 → J: Oh: yeh I // rememberB angor Flying Circus
 C: Оскар ты с кем-нибудь работал перед Заппой?
 O: Да, многими многими. (3.0) Год с Кэнд Хит.
 C: Правда?
 O: Год с Поко.
 → T: oo когда они были в форме?
 O: Г- пару лет с Бангор Флант Мадура
 T: Бангор Флант Мадура?
 O: Бангорский летающий цирк.
 → Д: О: да я // помню Бангорский летающий цирк

[Toni-6:372–380]

См. данные, приведенные в сн. 32. Обратите внимание, что в каждом случае говорящий после ответа — не тот, кто задал вопрос и кому был адресован ответ, хотя в примере 21 есть так же последовательности чередов, в которых задавший вопрос говорит следующим после ответа.

6) Один из вариантов использования первой части пары для выбора следующего говорящего заключается в осуществлении выбора следующего говорящего без обращения или какой-либо подобной техники и в выборе лишь конкретного человека в качестве следующего говорящего. Данный прием является вариантом «вопроса», особым типом первой части пары, — сюда относятся повторение части предыдущего высказывания с «вопросительной» интонацией (см.: Jefferson, 1972), различные «однословные вопросы», вроде «что?», «кто?» и т. д. и прочие «техники исправления»:

- 22) Ben: They gotta- a garage sale.
 → Lori: Where.
 Ben: On Third Avenue.
 Бен: Они устраивают- гаражную распродажу.
 → Лори: Где.
 Бен: На Третьей Авеню.

[Shenkein:II:38]

См. примеры *a–e* в сн. 13, пример 12 («Джим: Соглашаа::юсь») и пример 21 («Т: Бангор Флант Мадура?»).

Данный тип вопроса может использоваться без какой-либо сопутствующей техники выбора конкретного человека и поэтому предполагает выбор только непосредственно предшествующего говорящего в качестве следующего. Эти техники исправления составляют основной механизм реализации упоминавшейся выше предрасположенности в отношении порядка чередов (и, кумулятивно, предрасположенности в отношении распределения чередов). Единственный доступный для выбора следующего говорящего систематический механизм, который формально может предполагать предпочтение следующего говорящего, идентифицируемого исключительно с точки зрения очередности (и тем самым с точки зрения, независимой от контекста), — это механизм, предполагающий выбор предшествующего говорящего в качестве следующего говорящего.

в) Может сложиться впечатление, что техника, описанная в пункте *a* — использование адресной первой части пары, — резко ограничивает черед, в котором используется техника «текущий выбирает следующего». То есть может сложиться впечатление, что любой такого рода черед будет конструироваться как первая часть пары и техники «текущий выбирает следующего» не будут иметь никакой общей применимости, а будут связаны с высказываниями, сконструированными в виде первых частей пар. Поэтому необходимо отметить, что чередную реплику, независимо от того, конструировалась ли она изначально как первая часть пары или нет, можно превратить в место, где «текущий выбирает следующего», путем присоединения к ней «подтвердительного вопроса», например: «Понимаешь?», «Согласен?» и т. д.

Доступность «подтвердительного вопроса» как присоединимого к чередной реплике крайне важна, поскольку он представляет собой общедоступную «технику выхода» из череда. То есть когда текущий говорящий довел построение чередной реплики до возможного релевантного места перехода, не выбрав следующего говорящего, и обнаруживает, что никто не выбрал сам себя в качестве следующего говорящего, он может, используя свою возможность продолжения, добавить подтвердительный вопрос, выбрав другого участника в качестве следующего говорящего после завершения подтвердительного вопроса и тем самым выйти из череда. В данном отношении подтвердительный вопрос выступает одним из элементов класса, который мы можем назвать «повторными оконцовками», — класса, являющегося одним из главных источников реплик, произносимых в случае реализации возможности 1в. Эффективность подтвердительных вопросов в этом смысле состоит в том, что они опираются на правило 1а, делая релевантным начало череды конкретного следующего говорящего по *их* окончании. Следует отметить, что в отношении последовательности реплик такое применение правила 1а в форме подтвердительных вопросов принципиально отличается от употребления правила 1а в форме чередов, которые изначально конструируются как, например, адресные вопросы: первые являются случаями, когда правило 1а применяется только, когда не применяется правило 1б. В то время как в чередах, в которых изначально используется возможность правила 1а, прогнозируется передача череда в первом ре-

левантном месте перехода, подтвердительные вопросы (т. е. те, которые мы могли бы назвать вопросами типа «1в–1а») располагаются после первоначального релевантного места перехода. Следовательно, они действует на втором круге использования возможностей набора правил.

г) Список техник типа «текущий говорящий выбирает следующего» можно значительно расширить, включив в него техники, в которых действуются социальные идентичности. Например, в разговоре, в котором участвуют две пары, сделанное говорящим приглашение пойти в кино будет услышано как выбор в качестве следующего говорящего члена «другой пары», а не «своей/своего супруги/супруга». Проблема включения конкретных социальных идентичностей в наше описание технологии особенно сложна, поскольку один из главных аспектов гибкости разговора заключается в том, что он совместим с множественностью и изменчивостью социальных идентичностей «одних и тех же» участников. Формального описания того, каким образом социальные идентичности участников становятся релевантными и меняются в разговоре, пока не существует, хотя работа над данной проблемой ведется. Очевидно, некоторые техники типа «текущий выбирает следующего» связаны с вопросом, на который призвано ответить такое формальное описание, но пока они слишком громоздки, чтобы подробно на них останавливаться (см.: Sacks, 1972).

д) Базовая техника самовыбора — «стартовать первым». Правило 1б эксплицитно инкорпорирует эту возможность в свое условие «первый стартовавший получает черед». Данная формула не должна слышаться как отсылающая к обстоятельству, при котором, по завершении чьего-либо череда, начинают говорить несколько участников, среди которых «первый стартовавший продолжает». Скорее, она требует обратить внимание на то, что регулярно, после очень короткой паузы, стартует только один. То есть паузы между высказываниями очень кратковременны, что показывает: регулярно быстро стартует только один, и этого *единственно* го стартовавшего следует считать «первым стартовавшим», который успешно стал единственным стартовавшим в силу принципа «первый стартовавший продолжает», за что его можно «простить», поскольку, если бы он быстро не стартовал, это сделал бы кто-то другой. Здесь уместно вспомнить предыдущее обсуждение того давления, которое правило 1б и его условие «первого стартовавшего» оказывает на размер череда: принцип первого стартовавшего мотивирует любого, кто намеревается совершить самовыбор, максимально быстро стартовать в ближайшем/следующем релевантном месте перехода, и ориентирующийся на это текущий говорящий будет конструировать чередную реплику таким образом, чтобы обеспечивать ее беспроблемное формирование невзирая на это давление. Таким образом, давление с целью минимизации размера череда оказывается с обеих сторон.

Давление, оказываемое условием «первый стартовавший продолжает» на тех, кто совершает самовыбор, и побуждающее их стартовать как можно раньше, ослабляется благодаря одному свойству типовых единиц, из которых конструируются чередные реплики. В § 3.1 отмечалось, что типовые единицы с самого их начала

позволяют прогнозировать особенности их конструирования, их направление и необходимые шаги для их окончания³³. Осуществляющий самовыбор участник, нацеленный на максимально быстрый старт, который прогнозируется по ходу текущего высказывания таким образом, чтобы тесно примыкать к его окончанию, сталкивается с проблемой, состоящей в том, что начало его максимально быстро-го старта должно быть началом типовой единицы — началом, которое, учитывая его прогнозируемость, должно отражать некоторую степень планирования чередной реплики и само прогнозировать эту планируемость. Это будет происходить, когда текущий черед еще не завершен и может внутренне расширяться так, что его расширения будут менять его направление. Кроме того, существуют дополнения к предыдущему череду, упомянутые в § 4.3, — артикуляционные расширения и опционные постоконцовочные элементы, располагающиеся после первого возможного места перехода. Тем самым существуют многочисленные источники наложения в начале следующего череда, и наложение в начале типовой единицы может ослаблять роль этого начала в конструировании чередного высказывания и прогнозировании плана череда. Поэтому необходимость начинать с начала предложения (где предложение является планируемой единицей) ограничивает относительное время старта соответствующего череда, поскольку возникновение наложения может оказаться на анализируемости предложения.

В том, что касается ограничения «начинать с начала» и его последствий, особый интерес представляет известный класс конструкций. Аппозиционные начала, например, «ну», «но», «и», «так что» и т. д., необычайно распространены и соответствуют критериям начала, но при этом они мало что говорят о конструктивных особенностях так начинаемого предложения, т. е. не требуют, чтобы говорящий имел план как условие начала. Кроме того, наложение на них других реплик не будет ослаблять конструктивное развитие или анализируемость начинаемого ими предложения. То есть аппозиционалы — это способы вступления в черед или *престарты*, точно так же как подтвердительные вопросы — способы выхода из череда или *постоконцовки*. Аппозиционалы и подтвердительные вопросы — очень часто используемые приемы, хотя основания их использования лингвистически далеко не самоочевидны. Мы полагаем, что их следует рассматривать в качестве приемов, играющих важную роль в организации очередности.

е) Хотя базовой техникой самовыбора является «стартовать первым» и именно в силу ее применения первые стартовавшие регулярно являются единственными стартовавшими, вполне очевидно, что иногда самовыбор происходит, когда другой выбравший себя сам уже стартовал, и что такие выбравшие себя фактически

33. Например, одна из больших групп начал чередов — начала предложений; все они в определенной степени говорят о характере начинающегося таким образом предложения или череда, некоторые — очень четко. Скажем, начало реплики с «wh-слова» позволяет уверенно прогнозировать возможный вопросительный характер данного череда, с уже известными последствиями — например, возможным выбором следующего говорящего, возможным выбором последнего говорящего в качестве следующего и (учитывая доступность однословного вопроса) возможным быстрым переходом череда.

стартуют с чередной реплики. Помимо случая «больше одного человека за раз», возникающего вследствие одновременных стартов нескольких выбравших себя участников, стремящихся стартовать максимально быстро, существует много примеров, когда говорят «больше одного человека за раз», но при этом один из них явно стартовал первым. Значит, существуют техники, предназначенные для «вторых стартовавших» или «последующих стартовавших».

Принцип первого стартовавшего в ситуации самовыбора применяется безотносительно к типу высказывания. Техники для стартовавшего вторым и их способность подавлять действие принципа первого стартовавшего зависят от типа высказывания, форму которого они могут принимать уже в момент старта. Мы не можем здесь детально описывать ограничения, обусловливающие замену первого стартовавшего вторым. Однако мы можем вспомнить одно из оснований такой замены, обсуждавшееся выше. При обсуждении предрасположенности в отношении порядка чередов отмечалось, что предыдущий говорящий может систематически выбираться в качестве следующего говорящего, что техники осуществления этого выбора явно направлены на решение проблем понимания предыдущего высказывания и что тем самым данная предрасположенность обеспечивает возможность беседы. Теперь мы можем отметить, что такой способ решения проблем понимания является приоритетной активностью в разговоре. Когда начало череда того, кто осуществил самовыбор, демонстрирует, что его чередная реплика будет в перспективе решать проблему понимания предыдущего высказывания, он может в силу этого получать черед, даже если в месте перехода права голоса перед ним уже стартовал другой участник и поэтому он стартует вторым:

- 23) R: Hey::, the place looks different.
 F: Yea::hh.
 → K: Ya have to see all ou [r new-*
 → D: [It does?*
 R: Oh yeah
 P: Хей::, это место выглядит иначе.
 Ф: Да::.
 → К: Тебе стоит посмотреть на все наш [и новые-*
 → Д: [Правда?*
 Р: О да

[KC-4:2]

Обратите внимание, что Д стартует заметно позже К и что К не останавливается до тех пор, пока Д не произведет часть череда (в данном случае — весь черед), достаточную, чтобы показать, что он поднимает проблему понимания.

4.13. Для производства речи, составляющей черед, используются различные единицы конструирования чередов. Описываемая нами система очередности — это система, предназначенная для разговора, т. е. для речи во взаимодействии. Мы говорили, что выделение места для чередов организуется вокруг конструирования

речи *внутри* чередов. Эта организация имеет ключевое значение для одной из основных особенностей конструирования речи в череде — того, что какие бы единицы ни использовались при конструировании и какой бы теоретический язык ни применялся для их описания, они все равно имеют точки возможного завершения, точки, которые можно прогнозировать до их появления. Поскольку это наибольшее, что система очередности требует от языкового материала, из которого создаются череды, она будет совместима с системой единиц, обладающих данным свойством.

При обсуждении конструктивно-чередного компонента системы очередности в § 3.1 мы выделили следующие типы единиц конструирования чередов: предложенческие, клаузные, фразовые и лексические, т. е. выделили их синтаксически. Обсуждение аппозиционалов и подтверждительных вопросов — и, что самое важное, способа, которым перспектива передачи череда в первом возможном релевантном месте перехода обуславливает выбор между левосторонней и сочленительной предложенческой структурами — указывает на то, сколь глубоко влияет синтаксис на очередьность, хотя синтаксис при этом рассматривается с точки зрения его релевантности для очередности. Если изучить эмпирические материалы на предмет того, в каком месте текущего череда следующие говорящие начинают (или пытаются начать) следующие череды, то обнаружится, что такие старты не происходят постоянно по ходу разворачивания череда, а возникают дискретно по мере его развития. То есть возможные релевантные места перехода дискретно повторяются в ходе череда (это следствие правила 2 из набора правил). Анализ того, где в текущих чередах происходят подобные «старты следующего череда», показывает, что они появляются в «точках возможного завершения», которые оказываются «точками возможного завершения» предложений, клауз, фраз и однословных конструкций³⁴, а также их сочетаний:

- 24) Penny: An' the fact is I- is- I jus' thought it was so kind of stupid

Janet: [I didn' even say anything [when I came ho: me.

[Y- [Eh-

(0.3)

Janet: Well Estelle jus' called 'n ...

Пенни: Дело в том что я- что- я просто подумала что это так глупо

[Я даже ничего не сказала [когда вернулась домо:й.

Джанет: [Д- [Да-

(0.3)

Джанет: Ну Эстель просто позвонила и ...

[Trio:II]

- 25) Tourist: Has the park cha:nged much,

Parky: Oh: ye:s,

(1.0)

34. См. сн. 13 выше.

Old man: Th' Funfair changed it 'n [ahful lot [didn' it.

Parky: [Th- [That-

Parky: That changed it,

Турист: Парк сильно изменился,

Сторож: О:; да;

(1.0)

Старик: Это дуна-парк изменил его и [много чего еще, [да.

Сторож: [В [Бот-

Сторож: Вот что изменило его,

[T. Labov:Battersea:B:1]

- 26) Ken: I saw 'em last night [at uhm school.
Jim: [They're a riot.

Кен: Я видел их вчера ночью [в ээ школе.
Джим: [Они бунтуют.

[GTS:5:9]

- 27) Louise: I think it's really funny [to watch.
Roger: [Ohhh God!

Луиза: По-моему это забавно [видеть.
Роджер: [Ооо господи!

[GTS:1:mcl:7]

- 28) A: Well we just wondered,
A: We just came in from Alexandria,
A: Just got home
A: and [these winds were so bad we're gettin scared again heh
B: [Mm hm,
B: No, [we doh-
A: [And we wondered whether we should go to a motel or something.
B: No, you stay right where you are ...

A: Ну у нас был вопрос,
A: Мы только что приехали из Александрии,
A: Только вернулись домой
A: и [эти ветры были такие сильные что мы снова испугались ха
B: [Ага ага,
B: Нет, [мы не-
A: [И у нас был вопрос надо ли нам ехать в мотель или еще куда.
B: Нет, оставайтесь там где вы сейчас ...

[CDHQ:2:82]

Обратите внимание, что в примерах 22–27 старты следующих чередов происходят в первых возможных релевантных местах перехода; в примере 28 А заканчивает ряд единиц конструирования череда прежде, чем вступает Б, А возвращается после первой лексической единицы и Б возвращается в первую возможной точке завершения первой предложенческой единицы. См. также пример 33 ниже.

Эмпирические материалы, касающиеся разговоров, позволяют выявить способы использования подобных компонентов и включить их в модель очередности в качестве элементов, из которых строятся череды.

Очевидно, что «производство звуков», при его определенном понимании (т. е. фонология, интонация и т. д.), тоже играет очень важную роль в организации очередности. Например, различия между «что» как однословным вопросом и как началом предложенческой (или клаузной либо фразовой) конструкции, создаются не синтаксически, а интонационно. Если учесть далее, что с помощью интонации любое слово можно превратить в «однословную» типовую единицу³⁵, тогда мы можем понять неполноту описания типовых единиц в синтаксических терминах.

Хотя для набора правил центральное значение имеет вроде бы только свойство «прогнозируемого завершения», присущее материалу родного языка, было бы продуктивно предположить, что — при условии, что разговор является важным, если не *самым* важным, локусом употребления языка — и другие аспекты языковой структуры приспособлены к использованию в разговоре и в равной мере к смене говорящих. Взаимодействие синтаксической структуры и структуры очередности, однако, все еще требует серьезного изучения, возможно, с опорой на следующие наблюдения.

Выше мы отмечали, что система очередности — это система для последовательностей чередов. Черед нужно понимать как «черед-в-ряду», где ряд может быть потенциально преобразован в последовательность. Череды демонстрируют многочисленные организационные свойства, отражающие их место в ряду. Они регулярно имеют трехчастную структуру: одна часть указывает на связь данного череда с предыдущим, одна — на содержание череда и еще одна — на связь данного череда с последующим. Эти части регулярно появляются именно в таком порядке, который является безусловно рациональным способом упорядочивания для организации, соединяющим данный черед с чередами по обе стороны от него:

- 29) A: It would bum you out to kiss me then, [hunh
 B: [] Yeah well we all know where that's at.
 ((pause))
 A: [()
 B: [I mean you went- you went through a- a long rap on that one.=
 → A: =Yeah, so I say that would bum you out then, hunh
 A: Тебе в лом было поцеловать меня тогда, [да
 B: [] Да ну мы все знаем что к чему.
 ((пауза))
 A: [()
 B: [То есть ты- ты долго- об этом говорила.=
 → A: =Да, потому я и говорю что тебе было в лом тогда, да
- [TZ:21-23]

Здесь «Да» — формальный присоединитель к последнему череду, а «да» — подтверждительный вопрос, прогнозирующий связь со следующим чередом.

- 30) D: Jude loves olives.
 J: That's not bad.
 → D: She eats them all the time. I understand they're fattening, huh?

35. О «частичных повторах» и цитировании в них см. § 4.12, пункт 6.

- Д: Джуд любит оливки.
Дж: В этом нет ничего плохого.
→ Д: Она их ест все время. Я так понимаю, из-за них толстеют, да?

[Fat tape:1]

Здесь первое предложение соотносится с предыдущим через использование множестваproto-терминов, а подтверждительный вопрос прогнозирует связку со следующим чередом.

- 31) J: But by the time you get out of the shower and get your d- self
ready,
→ M: Well I'm not ready. I haven't kept you waiting yet though, have I?
J: Michael, you will, I know you will

Д: Но к тому времени когда ты выйдешь из душа и наденешь свою од- ты
готов,
→ М: Ну я не готов. Но я же не заставил тебя еще ждать, правда?
Д: Майкл, ты заставишь, я знаю ты заставишь

[Fat tape:6]

Здесь первое предложение соотносится с предыдущим, по крайней мере, по контрасту, а подтверждительный вопрос соотносится со следующим.

- 32) B: Maybelle's takin' this week off, and she- you know something, she looked kinda tired.
→ A: Uh huh. (2.0) Uhm well I guess she's been working pretty steadily,
hasn't she.
B: Yeah, she's been workin pretty steady, and she's had some difficult cases.

Б: Мэйбилин взяла отпуск на эту неделю, и она- знаешь, она выглядела усталой.
→ А: Угу. (2.0) Хм ну думаю она работала довольно много,
так?
Б: Да, она работала довольно много, и у нее были сложные дела.

[Ladies:12:13]

- 33) N: Yah an' an' the fact that you're you feel guilty about eating them that's what makes you break out, because it's- it's all inside you.
H: So people who've broken out they're just very emotional
people, huh,
N: Heh heh heh, and they're worried about it.
H: heh heh heh heh heh heh
→ N: I don't know. It sounds kinda crazy, but:
H: ·hh just a little.

H: Да ну, и и то что ты ты чувствуешь вину за то что ешь их вот что заставляет тебя срываться, потому что это- это всё внутри тебя.
X: Так что люди которые сорвались они просто очень эмоциональные
люди
H: Xa ха ха, и они беспокоились об этом.
X: ха ха ха ха ха ха
→ H: Не знаю. Звучит безумно, но:
X: ·хх самую малость.

[HG:2-3]

Теперь должно быть ясно, что система очередности оказывает давление на эти систематически потенциальные чередные части или чередные действия, требуя, чтобы они осуществлялись до первого возможного места завершения, т. е. в одном предложении:

- 34) A: So it could happen to: some people. ·hh But I: I wouldn' uh I wouldn': I wou- I say I wouldn'
uh ((pause)) I don' know of anybody- that- 'cause anybody that I really didn't di:g I wouldn't
have the ti:me, uh: a:n: to waste I would say, unh if I didn' [()]
→ B: [And you consider it wasting to
jist be you know- to jist like talkin' an' bein' with somebody.
A: Yeah. If you haven't got nothin' goin' (you're) jist wastin' your time. ·hh You could be doin'
somethin' important to you. You know an-=
A: Так что это могло случиться с: некоторыми людьми. ·xx Но я: я не э я не: я н- я гово-
рю я не э ((пауза)) я не знаю никого- кого- потому что любой кого я на самом деле не
люблю: у меня не было бы вре:мени, э: и: чтобы тратить, скажем так, у если я не
[()]
→ B: [И ты считаешь это тратой времени просто быть- ну- просто говорить и быть
с кем-то.
A: Да. Если с тобой ничего не происходит (ты) просто тратишь впустую свое время. ·xx
Ты мог бы делать что-то важное для себя. Ну и-=
[TZ:57-59]

Здесь реплика Б связывается с предыдущим чередом через конъюнкцию и перекрестную ссылку, а со следующим чередом — путем построения череда как первой части смежной пары подтверждение — просьба/подтверждение, получающей затем подтверждение.

- 35) N: So [what ti:me-
H: [Now what-*
→ N: Oh so we we get the tickets when we get there, [right?
H: [yeah yeah they're reserved seats
H: Так [который ча*c-
X: [И который-*
→ H: О так мы мы купим билеты уже там, [да?
X: [да да они уже забронировали места
[HG:3]

Здесь маркер перебивания «о» показывает связь с предыдущим чередом, а подтверждительный вопрос — со следующим. См. также второй черед в примере 33, который схож с 34-м.

Следовательно, можно ожидать, что некоторые аспекты синтаксиса предложения лучше понимать исходя из действий, которые должны быть осуществлены в череде-в-ряду, где череды являются главным местом размещения предложений.

4.14. Существуют механизмы исправления ошибок и нарушений очередности. Различные формы организации, функционирующие в разговоре, чувствительны к ошибкам, нарушениям и затруднениям, и поэтому существуют способы их ис-

правления. Мы не можем здесь подробно останавливаться на исправлениях³⁶; затронем лишь три темы.

Во-первых, некоторые из множества механизмов исправления направлены на решение проблем очередности и предназначены для их решения. Не нужно иметь особого теоретического мотива, чтобы заметить: такие вопросы, как «Кто, я?»³⁷; знание и практики этикета, касающиеся «перебивания» и выражения недовольства им; использование таких маркеров перебивания, как «Простите» и др.; фальстарты, повторы или возвращение в оборот тех частей череда, на которые наложились реплики других участников, — как и досрочное (т. е. до возможного завершения) замолкание участников одновременного говорения, — являются механизмами исправления, направленными на затруднения в организации и распределении чередов.

Во-вторых, по крайней мере, некоторые из механизмов исправления очередности встроены в саму систему, затруднения в которой они исправляют. Так, базовый механизм исправления ситуации «больше одного за раз» предполагает процедуру, которая сама в противном случае является нарушающей с точки зрения очередности говорящих, а именно прекращение череда до возможной точки его завершения (см. пример 23), что, следовательно, предполагает трансформацию центральной характеристики системы очередности — использования единиц конструирования чередов до их следующего возможного завершения, — а не применение какого-либо внешнего механизма. В этом отношении мы можем далее отметить, что в самом наборе правил существуют места, которые предназначены для исправления, в частности, цикл возможностей, предоставляемых правилами 1б и 1в. То, что мы выше (§ 4.12, пункт 8) называли типом «1в–1а», — продолжение реплики текущего говорящего после не-осуществления передачи череда в релевантном месте перехода — продолжение, ведущее к выбору следующего говоря-

36. Обсуждение двух других аспектов исправления см. в: Jefferson, 1972; Sacks, Schegloff, 1979.

37. Пример: мать, 11-летняя дочь и собака лежат в постели; дочь хочет спать; до этого предметом разговора была собака.

M: Whad are you doin'
 → L: Me?
 M: Yeh, [you goina go ta sleep like that?
 L: [Nothing
 L: No, hh heh hh hh
 M: With your rear end sticking up in the air, how you gonna sleep like that.
 L: heh heh I'm n(h)ot(h)

M: Что ты делаешь.
 → L: Я?
 M: Да, [ты собираешься спать в таком виде?
 L: [Ничего
 L: Нет, ха ха ха ха
 M: Задрав попу кверху, как ты собираешь спать в таком виде.
 L: ха ха я н(х)e(х)т

щего, — следует рассматривать как способ исправления безуспешной попытки передать черед, способ, который прямо предусматривается базовой организацией системы очередности. Главной особенностью рациональной организации поведения, учитывающей реальные интересы людей и не поддающейся внешнему давлению, является то, что она инкорпорирует в свою фундаментальную организацию ресурсы и процедуры исправления.

В-третьих, система очередности ограничивает также исправления, не являющиеся исправлениями очередности. Например, исправления, осуществляемые не текущим говорящим, а другим участником, не предпринимаются до завершения текущего череда, т. е. учитывают передачу прав на черед в системе очередности даже в случае необходимости исправления. По сути, большая часть исправлений (например, корректирование слов) осуществляется внутри того череда, к которому относится то, что может быть исправлено. Но если исправление выходит за пределы череда, например, когда не-тот-кто-говорит инициирует исправление во время череда, следующего за чередом, во время которого было произнесено нечто, требующее коррекции, тогда инициированная последовательность организуется той же самой системой очередности и исправляющие последовательности демонстрируют те же самые свойства очередности, которые мы обсуждали, включая то, которое мы анализируем в данный момент, т. е. исправляющие последовательности сами могут подвергаться исправлению³⁸.

Таким образом, совместимость модели очередности с фактами исправления носит двойственный характер: система очередности приспособлена к механизмам исправления возникающих в ней затруднений и включается их, и при этом система очередности является базовым организационным механизмом исправления любых затруднений в разговоре. Поэтому система очередности и организация исправления «созданы друг для друга» в двойном смысле.

5. Какого типа эта модель. Выше мы коснулись разнообразной литературы, в которой собраны, рассмотрены или проанализированы материалы, релевантные для организации очередности в разговоре, хотя и не обязательно именно с такой точки зрения; мы сформулировали ряд повсеместно наблюдаемых черт разговора, которым должна соответствовать модель очередности, чтобы заслуживать серьезного обсуждения; мы предложили модель системы очередности для разговора или, по крайней мере, некоторые основные ее компоненты, и мы обрисовали, каким образом эта модель согласуется с представленными нами фактами как своими ограничениями. Мы надеемся, что в ходе обсуждения нам удалось описать некоторые интересные особенности и способы использования данной модели. Несомненно, предложенная модель в нескольких отношениях некорректна или недостаточна.

38. В предыдущих работах, посвященных исправлению (напр.: Jefferson, 1972; Schegloff, 1972; Sacks, Schegloff, 1979), упорядочивание исправления системой очередности рассматривалось без особого внимания к последней. В контексте настоящего обсуждения обратите особое внимание на данные, опубликованные в: Jefferson, 1972.

Но сколь бы потенциально дефектной она ни была, мы убеждены, что наше обсуждение подтверждает то, что адекватная модель очередности в разговоре будет иметь именно такой вид. В данном разделе мы попытаемся охарактеризовать этот «вид», указав и прояснив некоторые ее важнейшие черты. Черты этой модели таковы: она является *системой локального управления*, и она является *интеракционно управляемой системой*. Охарактеризовав вид данной системы, мы сформулируем ту проблему, которую она призвана решать.

Характеризуя систему очередности, с которой мы имели дело в качестве «системы локального управления», мы обращаем внимание на следующие явные особенности набора правил и компонентов:

1) Данная система имеет дело с одним переходом права голоса за раз и тем самым только с двумя чередами, соединяемыми этим переходом, т. е. она назначает лишь один черед за раз.

2) Один черед, который она назначает в каждом случае ее применения, — это «следующий черед».

3) Имея дело лишь с одним переходом за раз, данная система имеет дело с переходами:

а) исчерпывающе — т. е. она имеет дело с любыми возможностями перехода, использование которых она организует;

б) уникально — т. е. никакая иная система не способна организовывать переходы независимо от системы очередности³⁹; и

в) серийно, в порядке их появления — благодаря тому, что она имеет дело со «следующим чередом».

Эти особенности сами по себе побуждают описывать систему, частью которой они являются, как систему локального управления, в том смысле, что все ее действия являются «локальными», т. е. направленными на «следующий черед» и «следующий переход» черед-за-чередом. Следует отметить, что сказанное касается локального управления только в отношении порядка чередов, однако данная система также является локально управляемой в отношении размера чередов. Не только назначение чередов, осуществляемое в каждом череде для следующего череда, но и определение размера чередов происходит локально, т. е. по ходу каждого череда, с учетом ограничений, налагаемых следующим чередом и ориентацией текущего череда на следующий. В предыдущем обсуждении мы указали на ряд особенностей разговора, которые не фиксированы, а варьируются, однако две из них, на которые прямо и открыто направлена машинария данной системы, — это размер чередов и порядок чередов. Следовательно, система очередности является системой локального управления в том смысле, что она действует таким образом, чтобы допускать варьирование и локальную управляемость размера и порядка чередов вне зависимости от вариаций других параметров, но при этом все равно

39. Например, хотя адресный вопрос требует ответа от того, к кому обращаются, именно система очередности, а не синтаксические или семантические характеристики «вопроса», требует, чтобы «следующим» был ответ.

достигать как цель любых систем очередности — организацию «*и за раз*», — так и цель любых способов организации очередности в системах речевого обмена — «один за раз с повторяющейся сменой говорящего» (см.: Miller, 1963: 418).

Рассматриваемую систему очередности можно также охарактеризовать с точки зрения того, какого рода системой локального управления она является. Характер и организация правил, входящих в нее как систему локального управления, определяют и ее более специфическую организацию, не только допуская и/или требуя варьирования размера и порядка чередов, но и делая их вариативность подконтрольной участникам любого разговора. Следовательно, как одна из систем локального управления она представляет собой систему, «администрируемую участниками». Кроме того, она делает размер и порядок чередов зависящими друг от друга, связывая механизмы их детерминации, так что механизмы назначения чередов влияют на размер чередов, а процедуры регулирования или определения размера чередов используют техники назначения чередов (например, подтвердительные вопросы используются для выхода из череда и тем самым в качестве механизмов прекращения череда). Таким образом, данная система интегрирует машинерию организации размера и порядка чередов и передает ее под контроль участников любого разговора. Механизмом, посредством которого эта система оказывается доступна для администрирования участниками, посредством которого интегрируются способы детерминации размера чередов и их порядка и посредством которого система оказывается исчерпывающей при любой передаче череда, является круг возможностей, предоставляемых упорядоченным набором правил. Этот набор правил предоставляет возможности для «говорящих» и «потенциальных следующих говорящих», тем самым оказываясь в распоряжении участников; он ставит в зависимость друг от друга «остановку текущего говорящего» и «старт следующего говорящего», тем самым связывая размер чередов с их порядком, и он сформулирован достаточно абстрактно, чтобы ни одно место перехода не оказалось не охваченным им.

Другие особенности системы, относящиеся к рубрике «интеракционно управляемая», связаны с тем, каким образом система очередности, в форме администрируемой участниками системы локального управления, подстраивается под разговорное взаимодействие и является специфически адаптированной под него системой очередности.

Администрирование со стороны участников не обязательно должно быть интеракционным, однако в системе очередности в разговоре это именно так. Администрируемое участниками локальное управление порядком чередов осуществляется с помощью набора правил, упорядоченность которого обеспечивает круг возможностей, в котором вклад каждого участника в определение порядка чередов зависит от и ориентируется на вклады других участников. Основанием такой зависимости являются те способы, которыми задействование любой из возможностей, обеспечиваемых правилами, зависит от неиспользования возможностей

более высокого порядка и ограничивается перспективой задействования возможностей более низкого порядка (аспект, обсуждавшийся в § 3.4).

Размер чередов является также продуктом не только администрируемого участниками локального управления, но и интеракционного производства. Для этого необходима особая чередная единица, используемая в системе очередности, — особенность, которая позволяет дальше эксплицировать то, что мы имеем в виду, называя систему «интеракционно управляемой». Данная чередная единица такова, что она а) предполагает спецификацию минимальных размеров, но б) допускает внутреннее расширение, в) может быть остановлена (хотя не в любой точке) и г) имеет дискретно возникающие внутри нее места перехода, д) которые могут расширяться или сокращаться, — и все эти черты, за исключением первой, являются предметом интеракционной детерминации. В силу этого было бы неправильно рассматривать череды как единицы, характеризующиеся разделением труда, в рамках которого говорящий определяет единицу и ее границы, а задача других участников — опознать их. Скорее, черед — это единица, устройство и границы которой предполагают указанное нами распределение задач: то, что говорящий может говорить так, чтобы его реплика позволяла с самого ее начала прогнозировать возможное завершение и разрешала другим участникам использовать ее места перехода для вступления в разговор, отказа от высказывания, изменения направления беседы и т. д., и то, что их вступление, если оно происходит в надлежащем месте, может предопределять, где он должен замолчать. Иными словами, черед как единица интеракционно детерминирован⁴⁰.

То, что размер и порядок чередов локально управляются, администрируются участниками и интеракционно контролируются, означает для собеседников, что эти аспекты разговора, а также производные от них можно отнести к юрисдикции, вероятно, наиболее общего принципа, который конкретизирует разговорные взаимодействия: принципа *моделирования получателя*⁴¹. Под «моделированием получателя» мы понимаем множество отношений, в которых реплики участника разговора конструируются или моделируются способами, отражающими ориентацию на и чувствительность к конкретному(ым) другому(им) со-участнику(ам). В своих исследованиях мы обнаружили, что моделирование получателя оказывает влияние на выбор слов, выбор тем, допустимость и упорядочивание последовательностей, возможности и обязанности в отношении начала и прекращения разговора и т. д., о чём будет сообщено в последующих публикациях⁴². Моделирование получателя является главным основанием той вариативности реальных разгово-

40. Предшествующие исследователи (напр.: Bales, 1950 и Jaffe, Feldstein, 1970), ставившие перед собой цель найти «распознаваемую» единицу (что, возможно, имело глубокий технический смысл в рамках их исследований), фокусировались на ее самостоятельной, независимой, опознаваемой завершенности. Это противоречит основной чередно-организационной характеристике разговора, которая заключается в интеракционной детерминации чередов.

41. Мы обязаны осознанием важности темы конкретизации знакомству с Гарольдом Гарфинкелем; см. его работы: Garfinkel, 1967 и Garfinkel, Sacks, 1970.

42. Относительно подбора слов см.: Sacks, Schegloff, 1979.

ров, на которую указывает термин «контекстуальная чувствительность». Отмечая конкретизирующее влияние моделирования получателя на размер и порядок чередов, мы обращаем внимание на то, что у участников есть способы индивидуализации любого «этого разговора»; совместное назначение и конструирование ими чередов ведут к специальному упорядочиванию чередов специфических размиров и чередно-переходных характеристик конкретного разговора в конкретной его точке⁴³. Опираясь на машинерию, посредством которой организация чередов оказывается в функциональной зависимости от моделирования получателя, очередность, понятая абстрактно, адаптируется к конкретному разговору.

6. Некоторые следствия предложенной модели. В данном разделе мы попытаемся кратко указать на некоторые следствия описанного нами типа организации. Мы рассмотрим только те следствия, которые представляют «общий интерес».

6.1. Можно идентифицировать внутреннюю мотивацию к слушанию. При помощи техник назначения чередов система очередности в разговоре встраивает внутреннюю мотивацию к слушанию во все высказывания в разговоре, независимо от других возможных мотиваций, таких как интерес и вежливость. Благодаря различным техникам определения следующего говорящего и их упорядоченному характеру она принуждает любого желающего или потенциально намеревающегося говорить участника слушать и анализировать каждое высказывание во время его произнесения. Так, участник, желающий говорить следующим, если его выберут для этого, должен будет слушать каждое высказывание и анализировать его, по крайней мере, чтобы выяснить, выбран ли он в качестве следующего говорящего. И любой потенциально намеревающийся говорить участник должен будет слушать любое высказывание, после которого он хочет взять слово, по крайней мере, чтобы выяснить, что никто другой не был выбран в качестве следующего говорящего. В любом случае желающий или потенциально намеревающийся говорить следующим должен будет дослушать текущее высказывание до конца, чтобы передача череда произошла надлежащим образом и, возможно, чтобы гарантировать свой черед. В силу механизма выбора «последнего говорившего в качестве следующего» текущий говорящий будет тоже испытывать влияние этой мотивации по завершении своего череда. Максимизируя набор потенциальных следующих говорящих для любого следующего череда (см. § 4.9), система переводит стремление или потенциальное желание говорить в дополняющее его обязательство слушать.

6.2. Организация очередности как минимум частично контролирует понимание высказываний. Существует множество возможных ответов на вопрос о том, как понимается речь. Изучение очередности позволяет существенно продвинуться в решении этой проблемы. Например, обсуждавшаяся только что необходимость слушать, в основе которой лежит система очередности, может быть усиlena в следующем отношении. Участнику, потенциально желающему говорить, если

43. См.: Jefferson, 1973: 56–71, et passim.

его выберут для этого, будет необходимо слушать любое высказывание, чтобы выявить, выбран ли он в нем в качестве следующего говорящего. Поскольку самый многочисленный класс техник типа «текущий выбирает следующего» образуют «первые части пар» — т. е. типовые высказывания, такие как «приветствие», «вопрос», «оскорбление», «упрек» и т. д., — желающий говорить будет вынужден анализировать высказывания, чтобы выяснить, используется ли такой тип высказывания и выбран ли он в качестве следующего говорящего. А потенциально намеревающийся говорить участник должен будет изучать любое высказывание, после которого он хотел бы взять слово, чтобы выяснить, был ли выбран он или какой-то другой участник.

6.3. Система очередности устроена таким образом, что ее побочным продуктом является процедура подтверждения анализа чередов. Как мы отмечали, когда А адресует первую часть пары, например, «вопрос» или «упрек», Б, А выбирает Б в качестве следующего говорящего и выбирает его в качестве того, кто в следующем череде предъявит вторую часть начатой А «смежной пары», т. е., соответственно, «ответ» или «извинение» (среди прочих возможностей). При этом Б не только осуществляет данный тип высказывания, но и тем самым демонстрирует (прежде всего — своим со-участникам) свое понимание предыдущей чередной реплики как первой части, как «вопроса» или «упрека».

В этом заключается центральный методологический ресурс исследований разговора (в отличие от исследований литературных и других «текстовых» материалов), ресурс, обусловленный полностью интеракционным характером разговора. То, что организация очередности в разговоре принуждает его участников демонстрировать друг другу в чередных репликах свое понимание других чередных реплик, является систематическим следствием этой организации. В более общем смысле чередная реплика будет слышаться как направленная на предыдущую чередную реплику, если не применяются особые техники указания на какую-либо другую реплику, на которую она направлена. Поэтому чередная реплика регулярно выражает понимание говорящим предыдущей чередной реплики и то, на какую другую маркируемую реплику она направлена (см.: Moerman, Sacks, 1988).

Разумеется, прежде всего такое понимание демонстрируется со-участникам и является важным основанием механизма локальной самокоррекции в разговоре. Очевидно, оно также составляет важное основание предрасположенности «последний как следующий» в отношении порядка чередов и мотивирует предыдущего говорящего выбирать себя в качестве следующего говорящего, если он считает понимание своего предыдущего высказывания, демонстрируемое текущим говорящим в текущем череде, неприемлемым.

Но хотя понимание чужой чередной реплики демонстрируется со-участникам, оно также доступно для профессиональных аналитиков, которые тем самым получают критерий подтверждения анализа (и процедуру поиска) того, что происходит в чередной реплике. Поскольку понимание участниками предыдущих чередных реплик релевантно для конструирования ими следующих чередов, *их* понимание

необходимо для анализа. Демонстрация этого понимания в последующих чередных репликах предоставляет как ресурс для анализа предыдущих чередов, так и процедуру подтверждения профессионального анализа предыдущих чередов — ресурсы, присутствующие в самих данных.

7. Место разговора среди систем речевого обмена. Использование системы очередности для обеспечения того, чтобы единовременно говорил только один участник, при повторяющейся смене говорящих, не является специфичным для разговора, а характерно для любых взаимодействий, организация которых предполагает речь. Это происходит повсеместно в ходе церемоний, дебатов, собраний, пресс-конференций, семинаров, терапевтических сессий, интервью, судебных заседаний и т. д. Все эти формы отличаются от разговора (и друг от друга) множеством других параметров очередности и организацией, с помощью которой они получают набор значений параметров, наличие которых они организуют⁴⁴.

Такого рода сравнительное исследование систем речевого обмена, доступных членам одного общества, основанное на анализе дифференцированных систем очередности, не было нашей целью. Однако можно выделить некоторые бросающиеся в глаза обстоятельства, чтобы указать, чем данная область потенциально интересна.

Как отмечалось, было бы правильно говорить, что в целом техники назначения в разговоре обеспечивают назначение одного череда за раз. Но можно легко обнаружить альтернативы такого способа действия. Так, в дебатах порядок чередов пред-назначен, согласно формуле, в соответствии с позициями «за» и «против». В отличие от дебатов и разговора, на собраниях с председательствующими череды пред-назначаются частично и обеспечивают назначение неназначенных чередов с помощью пред-назначенных чередов. Так, председательствующие имеют право говорить первыми, выступать после каждого другого говорящего и использовать каждый свой черед для назначения следующего говорящего.

Вышесказанного достаточно, чтобы предположить структурную возможность того, что системы очередности, или, по крайней мере, тот класс этих систем, члены которого обеспечивают, чтобы «один участник говорил за раз», выстроены, в отношении своих способов назначения, линейно. Линейный ряд — это такой ряд, в котором один полярный тип (примером которого является разговор) предполагает назначение «одного-череда-за-раз», т. е. использование локальных средств назначения, другой полюс (примером которого являются дебаты) предполагает пред-назначение всех чередов, а промежуточные типы (примерами которых являются собрания) предполагают различные сочетания средств пред-назначения и локального назначения.

То, что эти типы можно так расположить, позволяет сравнивать их напрямую в плане релевантной функциональности. Так, один полюс (локальное назначение

44. Данная черта не является уникальной для какого-либо лингвистического или социального сообщества. Она очевидно присуща разговорам, собраниям и т. д. в обществах с совершенно разными языками и системами социальной организации. См., например: Albert, 1964 и сн. 11 выше.

чередов) допускает максимизацию объема множества потенциальных говорящих для каждого следующего череда, но организационно не предусматривает возможность методического достижения уравнивания чередов среди потенциальных говорящих, тогда как другой полюс (пред-назначение всех чередов) предусматривает возможность уравнивания чередов (или может предусматривать — он может служить и другим целям), что достигается путем спецификации следующего говорящего и тем самым минимизации объема множества потенциальных следующих говорящих. Если набор систем очередности представляет собой континуум, протекающийся от полного пред-назначения чередов до назначения одного череда за раз, тогда любой системе можно приписать максимизацию, минимизацию или организационную нерелевантность диапазона функций, таких как уравнивание чередов среди участников, максимизация числа потенциальных следующих говорящих и т. д. Тогда можно проанализировать функции, которые исполняет та или иная система, и сравнить разные системы в отношении их последствий для интересующей нас функции. По отношению к двум упомянутым нами функциям — уравниванию чередов и максимизации набора кандидатов на роль следующего говорящего — локальное назначение и полное пред-назначение являются полярными типами, каковыми они, возможно, являются по отношению к любой функции, для которой систематически релевантно назначение чередов.

Если учесть данный линейный ряд, полярное положение в нем разговора и функции, которые это положение позволяет максимизировать, описание организации очередности в разговоре представляет более чем просто этнографический интерес. Занимая столь функционально любопытную структурную позицию, разговор как минимум выступает примером средств, с помощью которых организационно реализуется одна полярная возможность.

Все позиции в линейном ряду предполагают использование чередов и сохранение свойства «один участник говорит за раз». Хотя в каждом из них это свойство специфицируется по-разному, и хотя мы подвергли систематическому описанию только разговор, можно сделать еще одно обобщение и указать на упорядоченность различий, которую оно делает заметным. Для всех позиций линейного ряда «череды» как минимум частично организуются посредством специфических для разных языков форматов конструирования, например синтаксических конструкций (наиболее важным и известным, но не единственным примером которых являются предложеческие конструкции). Размер череда можно охарактеризовать с помощью двух разных аспектов предложеческой организации: а) мультиплексия предложеческих единиц в череде и б) увеличения сложности синтаксической конструкции в пределах отдельных предложеческих единиц. По поводу размера чередов и его связи с позицией в линейном ряду можно сделать два наблюдения. Во-первых, размер череда увеличивается с увеличением степени пред-назначенности в линейном ряду. Во-вторых, метрика, используемая для расчета или конструктивного увеличения размера череда, может меняться в зависимости от позиции в ряду: мультиплексия предложеческих единиц является централь-

ным модусом для полюса пред-назначения, а увеличение внутренней сложности отдельных (или минимизированных) предложенческих единиц — центральным модусом для системы локального назначения. Оба эти наблюдения можно считать естественными результатами организации систем очередности в различных точках ряда.

Хотя мы рассматривали разговор как «один полюс» линейного ряда, а «церемонию» — как второй, не нужно думать, что мы считаем разговор и церемонию независимыми или равнозначными полярными типами. Скорее, разговор следует рассматривать в качестве базовой формы системы речевого обмена, а другие системы в ряду — в качестве различных трансформаций системы очередности в разговоре, дающих другие типы систем очередности. В этом смысле дебаты или церемония — не независимый полярный тип, а скорее, предельная трансформация разговора — предельно фиксирующая наиболее важные (возможно, почти все) параметры, которые разговор позволяет варьировать.

Приложение: Условные обозначения, применяемые в транскриптах

Последовательность. Транскрибированию характеристик, связанных с последовательностью, уделяется особое внимание, для чего используются следующие обозначения:

Двойная косая черта (//) обозначает момент, когда на реплику текущего говорящего накладывается реплика другого говорящего:

V: Th' guy says tuh me- ·hh my son // didid.
M: Wuhjeh do:.

B: И парень говорит мне- ·хх мой сын // сделал это.
M: А ты што:.

Если на высказывание накладывается несколько реплик, то они следуют за ним в порядке появления. Например, реплика К «Ви:к» произносится одновременно со словами В «оставил», а ее реплика «Виктор» — одновременно с его словами «прихожей».

V: I // left my garbage pail in iz // hallway.
C: Vi:c,
V: Victuh,

B: Я // оставил свое мусорное ведро у него в // прихожей.
K: Ви:к,
B: Виктар,

Альтернативная система — вставка единичной квадратной скобки в точке наложения и размещение накладывающейся реплики строго под той частью первой реплики, на которую она накладывается:

V: Th' guy says tuh me- ·hh my son [didid.
M: Wuhjeh do:.

B: И парень говорит мне- ·хх мой сын [сделал это.
 M: А ты што:.

Квадратная скобка перед двумя следующими друг за другом высказываниями означает, что они стартуют одновременно:

M: [I mean no no n'no.
 V: P't it back up,

M: [Я говорю нет нет н'нет.
 B: П'ложи на место,

Одна квадратная скобка справа обозначает момент, когда два накладывающихся или одновременно начатых высказывания одновременно заканчиваются, либо момент, когда одно из них заканчивается по ходу другого, либо момент, когда один компонент высказывания заканчивается вместе с другим. В некоторых фрагментах данных, приведенных в настоящей статье, вместо этого используется астерisk:

M: [I mean no no n'no.]
 V: [P't it back up,]

M: [Я говорю нет нет н'нет.]
 B: [П'ложи на место,]

M: Jim // wasn' home uh what.
 V: Y' kno:w?]

M: Джима // не было дома] ээ что.
 B: Понимаешь?]

M: Jim // wasn' home* uh what.
 V: Y' kno:w?*

M: Джима // не было дома* ээ что.
 B: Понимаешь?*

Знак равенства (=) в целом обозначает «сцепку», т. е. отсутствие интервала между концом предыдущего и началом следующего фрагмента речи. Он указывает на связь реплики следующего говорящего с репликой предыдущего говорящего, на связь двух частей реплики одного и того же говорящего, а также является удобным инструментом транскрипции при работе с длинными высказываниями, на которые в различных местах накладываются другие высказывания, в результате чего производимое высказывание может более-менее произвольно разбиваться на части.

R: Wuhjeh do:=
 V: =I said did, he, get, hurt.

P: А ты што:=
 B: =Я спросил не, пострадал, ли, он.

V: My wife // caught d' ki: d,=
 R: Yeh.
 V: =lightin' a fiyuh in Perry's celluh.

B: Моя жена // застукала мe:лкого,=
 P: Ага.
 B: =когда он разжигал костер у Перри в подвале.

V: Well my son did it=I'm gladjer son didn' get hu:rt, ·hh I said but...

B: Да мой сын сделал это=я рад что ваш сын не пострадал, ·хх я сказал но...

Знак равенства в конце высказывания одного говорящего, после которого стоит знак равенства вместе с левосторонней квадратной скобкой, означает, что говорящие, реплики которых взяты в скобку, стартовали одновременно, без паузы после предыдущей реплики. Это может происходить в том случае, когда после говорящего вступают двое других или «продолжающий» говорить и кто-то другой:

J: The son of a bitch gottiz // neck cut off. Dass wuhd 'e should of did,=
 V: Wuh-
 J: =[I'm not intuh this.
 V: =[if he- if he's the one thet broke it,

Д: Этому сукиному сыну надо // свернуть шею. Это наверняка он сделал,=
 B: А-
 B: =[Я не в курсе.
 Д: =[если он- если это он ломал,

Альтернативная система — вставлять две косые черты в то, что первый говорящий считает единым текущим высказыванием:

J: ...Dass wuhd 'e should of did, // if he- if he's the one thet broke it,
 V: I'm not intuh this.

Д: ...Это наверняка он сделал, // если он- если это он ломал,
 B: Я не в курсе.

Правосторонняя квадратная скобка плюс знак равенства обозначают, что два высказывания завершились одновременно и «сцеплены» со следующим. В приведенном ниже примере два предыдущих высказывания сцеплены с двумя одновременно стартующими следующими высказываниями:

V: Ya:h, well I woulda picked it up.
 M: [I mean no no n'no.]=
 V: [P't it back up,]=
 M: =[Ih doesn' make any-]=
 V: =[It doesn' mattuh.]=
 M: If it breaks
 V: So dih gu:y] says ·hh

B: Да; ну я бы поднял его.
 M: [Я говорю нет нет н'нет.]=
 B: [П'ложи на место,]=
 M: =[Это совершенно-]=
 B: =[Это неважно.]=
 M: Если оно сломано
 B: Так сказал парень] ·хх

Цифры в круглых скобках обозначают время в десятых долях секунды. Они вставляются между высказываниями смежных говорящих, между двумя отдельными частями реплики одного говорящего и между частями внутренне организованного высказывания одного говорящего:

V: ... dih soopuh ul clean it up,
(0.3)
(): hhehh
V: No kidding.
M: Yeh there's nothin the:re?
(0.5)
M: Quit hassling.
V: She's with somebody y' know ·hh ennuh, (0.7) she says Wo:w ...

B: ...ты классно отчистила его,
(0.3)
(): хаха
B: Я не шучу.
M: Да, там ничего?
(0.5)
M: Довольно сложно.
B: Она с кем-то ты знаешь ·xx достаточно, (0.7) она говорит Ba:y...

Длинное тире, редко используемое в настоящей статье, обозначает паузу, которую нельзя измерить, например «биение»:

V: I'm intuh my thing, intuh my: — attitude against othuh pih- ·hh
B: Я меня свои дела, свое: — отношение к другому пи- ·xx

Производство звуков не рассматривалось в представленных данных целенаправленно и последовательно, но мы использовали следующие специальные символы:

Знаки препинания используются не как грамматические символы, а для передачи интонации. Например, вопрос может конструироваться с помощью интонационной «запятой» или «точки», а «вопросительная интонация» может быть связана с не-вопросами:

V: Becuss the soopuh dint pudda bu:lb on dih sekkin flaw en its burnt ou:t?
B: Патаму шта супер ни вкрутил ла:мпачку на втаром этаже и ана сгape:ла?
V: A do:g? enna cat is diffrent.
B: Саба:ка? а кошка дргая.
R: Wuhjeh do:.
P: А ты што:.

Двоеточие обозначает продление предыдущего слога. Несколько двоеточий обозначают более продолжительный слог, как во втором примере, где, пока В тянет «Bay», М успевает произнести пять слогов:

V: So dih gu:y sez ·hh
 M: Yeh it's all in the chair all th//at junk is in the chair.]=
 V: Wo:::::w]=
 V: =I didn' know tha:t?

B: Так сказали парни ·хх
 M: Да всё в кресле весь эт//от мусор в кресле.]=
 B: Ba:::::y]=
 B: =Я не знал э:того?

Подчеркивание обозначает различные формы ударения и может указывать на повышение высоты и/или громкости:

V: I sez y' know why, becaawss look.
 B: Я говорю ты знаешь почему, потому что смотри.

Одновременное наличие символа ударения и символа продлениия указывает на изменение (или неизменение) высоты в ходе произнесения слова. В первом предложении, где ударение указано только под первой буквой, высота не меняется. Во втором предложении высота понижается в конце «мно:го». В третьем — повышается в конце «мно:го».

V: 'M not saying he works ha:rd.
 B: Я не говорю что он работает мно:го.
 V: I don't work ha:rd.
 B: Я работаю не мно:го.
 H: Does he work ha:rd?
 X: Разве он работает мно:го?

Дефис указывает на «обрыв» предыдущего слова или звука:

V: He said- yihknow, I get- I get sick behind it.

B: Он сказал- ну, мне- мне это надоело.

Буква *x* в круглых скобках внутри слова или звука обозначает взрывное придвижение, например, смех, задержку дыхания и т. д.:

M: Id a' cracked up 'f duh friggin (gla- i(h)f y' kno(h)w it) sm(h)a(h) heh heh
 M: Я бы психанул если б ты меня кинул (рад- ес(х)ли ты это зна(х)ешь) см(х)a(х) ха ха

Знак *x* без круглых скобок обозначает слышимое дыхание. Точка перед ним означает вдох, отсутствие точки — выдох.

V: So I sez, ·hh wa:l whuddiyyou goin do
 B: Так что я сказал, ·хх что ты собираешься делать

Знак градуса (°) означает, что последующая реплика произнесена тихим голосом:

M: Jim wasn' home, // °(when y' wen over there)

M: Джима не было дома, // °(когда ты пришел)

Строчные буквы обозначают повышение громкости:

V: En it dint fall OUT!

B: И оно не УПАЛО!

Указания для читателей. Следует также отметить следующие условные обозначения:

Пара круглых скобок означает, что транскрибера не уверены насчет соответствующих слов:

M: I'd a' cracked up 'f duh friggin (gla- i(h)f y' kno(h)w it) sm(h)a(h) heh heh

M: Я бы психанул если б ты меня кинул (рад- ес(х)ли ты это зна(х)ешь) см(х)a(х) ха ха

M: Jim wasn' home, // °(when y' wen over there)

M: Джима не было дома, // °(когда ты пришел)

Расположенная одна под другой две пары круглых скобок обозначают не только два возможных варианта слышания, но и двусмысленность каждого из них:

V: I'll be (right witchu.)
(back inna minnit.)

B: Я сейчас (подойду.)
(буду через минуту.)

Пустые круглые скобки означают невозможность «расслышать»:

(): Tch! ()

(): Tc! ()

Иногда указываются бессмысленные слоги, чтобы отразить определенные особенности произнесения:

R: (Y' cattuh moo?)

P: (И кэтта му?)

Это же касается колонки с обозначением говорящего: простая пара круглых скобок означает сомнение в идентификации говорящего, двойная пара означает двусмысленные возможности, а пустые круглые скобки означают невозможность идентифицировать говорящего.

Текст, располагающийся между двойными круглыми скобками, указывает на особенности аудиоматериала, не относящиеся к актуальной вербализации, либо на вербализации, которые не транскрибировались:

M: ((whispered)) (Now they're gonna, hack it.)

M: ((шепотом)) (Теперь они хотят, снести его.)

M ((RAZZBERRY))

M: ((СВИСТ))

M: ((cough))

M: ((кашель))

V: ((dumb-slob voice)) Well we usetuh do dis, en we use-

J: They're fulla sh::it.

B: ((приглушенным голосом)) Ну мы сделали это, и мы-

D: Они полное дерьмо.

Наконец, необходимо отметить, что отрывки, приведенные в настоящей статье, — это лишь иллюстрации. Они являются фрагментами обширных коллекций данных, которые касаются различных отмеченных нами аспектов и извлечены из большого количества разговоров. Эти данные нельзя представить в более полном виде в силу недостатка места, но все данные, приведенные в настоящей статье, можно использовать для анализа не только тех аспектов, для иллюстрации которых они приводились. Во многих случаях мы выбирали такие фрагменты данных, которые могут иллюстрировать и другие независимые аспекты, отмеченные в статье (стрелки указывают на положение феномена, для анализа которого используется данный отрывок). Точно так же все данные во всех прочих наших статьях могут быть рассмотрены с точки зрения связи с теми наблюдениями, которые мы делали в настоящей статье. Кроме того, можно изучать и любые материалы, относящиеся к естественным разговорам (и транскрибированные с достаточной степенью детальности и точности), собранные другими исследователями. Все это, разумеется, допустимо, только если сказанное в статье относится «к любому разговору».

Некоторые лингвисты возражали против использования нами модифицированного английского правописания, а не, скажем, символов IPA⁴⁵: они полагают, что результат напоминает английский из комиксов и может иметь уничижительные коннотации. Наш ответ состоит в том, что мы лишь попытались зафиксировать в наших транскриптах столько реальных звуков, сколько возможно, при этом сделав их понятными для лингвистически неподготовленных читателей; мы ни в коем случае не хотели унизить тех, кого мы цитировали.

45. International Phonetic Alphabet — Международный фонетический алфавит. — *Прим. перев.*

Литература

- Albert E. (1964). «Rhetoric», «Logic», and «Poetics» in Burundi: Culture Patterning of Speech Behavior // *American Anthropologist*. Vol. 66. № 6. Part 2. P. 35–54.
- Bales R. F. (1950). *Interaction Process Analysis*. Cambridge: Addison Wesley.
- Bales R. F. (1970). *Personality and Interpersonal Behavior*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Barker R. G., Wright H. F. (1951). *One Boy's Day*. New York: Harper.
- Beardsley R. K., Hall J. W., Ward R. E. (1959). *Village Japan*. Chicago: University of Chicago Press.
- Beckett S. (1972). *The Lost Ones*. New York: Grove Press.
- Coleman J. (1960). The Mathematical Study of Small Groups // *Mathematical Thinking in the Measurement of Behavior: Small Groups, Utility, Factor Analysis* / Ed. by H. Solomon. Glencoe: Free Press. P. 7–149.
- Duncan S. D., Jr. (1972a). Some Signals and Rules for Taking Speaking Turns in Conversations // *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 23. № 2. P. 283–292.
- Duncan S. D., Jr. (1972b). Distribution of Auditor Back-Channel Behaviors in Dyadic Conversation. (Unpublished manuscript.)
- Duncan S. D., Jr. (1973). Toward a Grammar for Dyadic Conversation // *Semiotica*. Vol. 9. № 1. P. 29–46.
- Garfinkel H. (1967). *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Garfinkel H., Sacks H. (1970). On Formal Structures of Practical Actions // *Theoretical Sociology* / Ed. by J. C. McKinney and E. A. Tiryakian. New York: Appleton Century-Crofts. P. 337–366.
- Goffman E. (1955). On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction // *Psychiatry*. Vol. 18. P. 213–231.
- Goffman E. (1964). The Neglected Situation // *American Anthropologist*. Vol. 66. № 6. Part 2. P. 133–136.
- Goffman E. (1971). *Relations in Public*. New York: Basic Books.
- Goldberg J. A. (1975). A System for the Transfer of Instructions in Natural Settings // *Semiotica*. Vol. 14. № 3. P. 269–295.
- Isaacs S. (1933). *Social Development in Young Children*. New York: Harcourt Brace.
- Jaffe J., Feldstein S. (1970). *Rhythms of Dialogue*. New York: Academic Press.
- Jefferson G. (1972). Side Sequences // *Studies in Social Interaction* / Ed. by D. Sudnow. New York: Free Press. P. 294–338.
- Jefferson G. (1973). A Case of Precision Timing in Ordinary Conversation: Overlapped Tagpositioned Address Terms in Closing Sequences // *Semiotica*. Vol. 9. № 1. P. 47–96.
- Jefferson G., Schenkein J. (1977). Some Sequential Negotiations in Conversation: Unexpanded and Expanded Versions of Projected Action Sequences // *Sociology*. Vol. 11. № 1. P. 87–103.
- Jordan B., Fuller N. (1975). On the Non-fatal Nature of Trouble: Sense-Making and Trouble-Managing in *Lingua Franca* Talk // *Semiotica*. Vol. 13. № 1. P. 11–32.

- Kendon A. (1967). Some Functions of Gaze Direction in Social Interaction // Acta Psychologica. Vol. 26. № 1. P. 1–47.*
- Matarazzo J., Wiens A. (1972). The Interview: Research on Its Anatomy and Structure. Chicago: Aldine-Atherton.*
- Miller G. (1963). Review of «Universals of Language», ed. by J. Greenberg // Contemporary Psychology. Vol. 8. № 11. P. 417–418.*
- Mitchell J. C. (1956). The Yao Village. Manchester: Manchester University Press.*
- Moerman M. (1972). Analysis of Lue Conversation: Providing Accounts, Finding Breaches, and Taking Sides // Studies in Social Interaction / Ed. by D. Sudnow. New York: Free Press. P. 170–228.*
- Moerman M., Sacks H. (1988). On «Understanding» in the Analysis of Natural Conversation // Moerman M. Talking Culture: Ethnography and Conversational Analysis. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. P. 180–186.*
- Sacks H. (1972). An Initial Investigation of the Usability of Conversational Data for Doing Sociology // Studies in Social Interaction / Ed. by D. Sudnow. New York: Free Press. P. 31–74.*
- Sacks H. (1974). An Analysis of the Course of a Joke's Telling in Conversation // Explorations in the Ethnography of Speaking / Ed. by R. Baumann and J. Sherzer. Cambridge: Cambridge University Press. P. 337–353.*
- Sacks H., Schegloff E. A. (1979). Two Preferences in the Organization of Reference to Persons in Conversation and Their Interaction // Everyday Language: Studies in Ethnomethodology / Ed. by G. Psathas. New York: Irvington. P. 15–21.*
- Schegloff E. A. (1968). Sequencing in Conversational Openings // American Anthropologist. Vol. 70. № 6. P. 1075–1109.*
- Schegloff E. A. (1972). Notes on a Conversational Practice: Formulating Place // Studies in Social Interaction / Ed. by D. Sudnow. New York: Free Press. P. 75–119.*
- Schegloff E. A. (1978). On Some Questions and Ambiguities in Conversation // Current Trends in Textlinguistics / Ed. by W. U. Dressler. New York: De Gruyter. P. 81–102.*
- Schegloff E. A., Sacks H. (1973). Opening Up Closings // Semiotica. Vol. 8. № 4. P. 289–327.*
- Stephan F. F., Mishler E. G. (1952). The Distribution of Participation in Small Groups: An Exponential Approximation // American Sociological Review. Vol. 17. № 5. P. 598–608.*
- Yngve V. H. (1970). On Getting a Word in Edgewise // Papers from the 6th Regional Meeting of Chicago Linguistic Society. Chicago: Chicago Linguistic Society. P. 567–577.*

A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation

Harvey Sacks, Emmanuel A. Schegloff, Gail Jefferson

The article is the first Russian translation of the most well-known piece in conversation analysis (CA), written by the founders of CA Harvey Sacks, Emanuel Schegloff and Gail Jefferson. It has become a milestone in the development of the discipline. The authors offer a comprehensive approach to the study of conversational interactions. The approach is based on the analysis of detailed transcripts of the records of natural conversations. The authors show that in the course of the conversation co-conversationists use a number of techniques to organize the turn-taking. These techniques are combined in four rules: (1) the first option is the transfer of speakership via allocation of the next speaker by the current speaker; (2) if this first option is not realized, turn-taking may happen via the self-selection by one of the participants; (3) if the second option remains unrealized too, the current speaker continues speaking, (4) with all three options being recurrently provided at all next transition relevant places. The result of the operation of these rules is an orderly conversation based on the principle "one speaker at a time." According to the authors, this model is compatible with obvious observations concerning conversational practices that they make. The authors show that in every conversation there is a turn-taking system in operation, which provides for a flexible adaptation of the every conversation's structure to any possible topics and any possible speakers' identities. Such approach considers how the participants in social interactions order their communication with each other, achieving a sense of normally occurring interaction.

Keywords: conversation analysis, organization of conversation, turn-taking, structure of interaction, utterance construction, transcription of spoken language

References

- Albert E. (1964) "Rhetoric", "Logic", and "Poetics" in Burundi: Culture Patterning of Speech Behavior. *American Anthropologist*, vol. 66, no 6 (part 2), pp. 35–54.
- Bales R. F. (1950) *Interaction Process Analysis*, Cambridge: Addison Wesley.
- Bales R. F. (1970) *Personality and Interpersonal Behavior*, New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Barker R. G., Wright H. F. (1951) *One Boy's Day*, New York: Harper.
- Beardsley R. K., Hall J. W., Ward R. E. (1959) *Village Japan*, Chicago: University of Chicago Press.
- Beckett S. (1972) *The Lost Ones*, New York: Grove Press.
- Coleman J. (1960) The Mathematical Study of Small Groups. *Mathematical Thinking in the Measurement of Behavior: Small Groups, Utility, Factor Analysis* (ed. H. Solomon), Glencoe: Free Press, pp. 7–149.
- Duncan S. D., Jr. (1972a) Some Signals and Rules for Taking Speaking Turns in Conversations. *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 23, no 2, pp. 283–292.
- Duncan S. D., Jr. (1972b) *Distribution of Auditor Back-Channel Behaviors in Dyadic Conversation* (unpublished manuscript).
- Duncan S. D., Jr. (1973) Toward a Grammar for Dyadic Conversation. *Semiotica*, vol. 9, no 1, pp. 29–46.
- Garfinkel H. (1967) *Studies in Ethnomethodology*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Garfinkel H., Sacks H. (1970) On Formal Structures of Practical Actions. *Theoretical Sociology* (eds. J. C. McKinney, E. A. Tiryakian), New York: Appleton Century-Crofts, pp. 337–366.
- Goffman E. (1955) On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction. *Psychiatry*, vol. 18, pp. 213–231.
- Goffman E. (1964) The Neglected Situation. *American Anthropologist*, vol. 66, no 6 (part 2), pp. 133–136.
- Goffman E. (1971) *Relations in Public*, New York: Basic Books.

- Goldberg J. A. (1975) A System for the Transfer of Instructions in Natural Settings. *Semiotica*, vol. 14, no 3, pp. 269–295.
- Isaacs S. (1933) *Social Development in Young Children*, New York: Harcourt Brace.
- Jaffe J., Feldstein S. (1970) *Rhythms of Dialogue*, New York: Academic Press.
- Jefferson G. (1972) Side Sequences. *Studies in Social Interaction* (ed. D. Sudnow), New York: Free Press, pp. 294–338.
- Jefferson G. (1973) A Case of Precision Timing in Ordinary Conversation: Overlapped Tagpositioned Address Terms in Closing Sequences. *Semiotica*, vol. 9, no 1, pp. 47–96.
- Jefferson G., Schenkein J. (1977) Some Sequential Negotiations in Conversation: Unexpanded and Expanded Versions of Projected Action Sequences. *Sociology*, vol. 11, no 1, pp. 87–103.
- Jordan B., Fuller N. (1975) On the Non-fatal Nature of Trouble: Sense-Making and Trouble-Managing in *Lingua Franca* Talk. *Semiotica*, vol. 13, no 1, pp. 11–32.
- Kendon A. (1967) Some Functions of Gaze Direction in Social Interaction. *Acta Psychologica*, vol. 26, no 1, pp. 1–47.
- Matarazzo J., Wiens A. (1972) *The Interview: Research on Its Anatomy and Structure*, Chicago: Aldine-Atherton.
- Miller G. (1963) Review of *Universals of Language* (ed. J. Greenberg). *Contemporary Psychology*, vol. 8, no 11, pp. 417–418.
- Mitchell J. C. (1956) *The Yao Village*, Manchester: Manchester University Press.
- Moerman M. (1972) Analysis of Lue Conversation: Providing Accounts, Finding Breaches, and Taking Sides. *Studies in Social Interaction* (ed. D. Sudnow), New York: Free Press, pp. 170–228.
- Moerman M., Sacks H. (1988) On "Understanding" in the Analysis of Natural Conversation. *Moerman M. Talking Culture: Ethnography and Conversational Analysis*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp. 180–186.
- Sacks H. (1972) An Initial Investigation of the Usability of Conversational Data for Doing Sociology. *Studies in Social Interaction* (ed. D. Sudnow), New York: Free Press, pp. 31–74.
- Sacks H. (1974) An Analysis of the Course of a Joke's Telling in Conversation. *Explorations in the Ethnography of Speaking* (eds. R. Baumann, J. Sherzer), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 337–353.
- Sacks H., Schegloff E. A. (1979) Two Preferences in the Organization of Reference to Persons in Conversation and Their Interaction. *Everyday Language: Studies in Ethnomethodology* (ed. G. Psathas), New York: Irvington, pp. 15–21.
- Schegloff E. A. (1968) Sequencing in Conversational Openings. *American Anthropologist*, vol. 70, no 6, pp. 1075–1109.
- Schegloff E. A. (1972) Notes on a Conversational Practice: Formulating Place. *Studies in Social Interaction* (ed. D. Sudnow), New York: Free Press, pp. 75–119.
- Schegloff E. A. (1978) On Some Questions and Ambiguities in Conversation. *Current Trends in Textlinguistics* (ed. W. U. Dressler), New York: De Gruyter, pp. 81–102.
- Schegloff E. A., Sacks H. (1973) Opening Up Closings. *Semiotica*, vol. 8, no 4, pp. 289–327.
- Stephan F. F., Mishler E. G. (1952) The Distribution of Participation in Small Groups: An Exponential Approximation. *American Sociological Review*, vol. 17, no 5, pp. 598–608.
- Yngve V. H. (1970) On Getting a Word in Edgewise. *Papers from the 6th Regional Meeting of Chicago Linguistic Society*, Chicago: Chicago Linguistic Society, pp. 567–577.

Василий Николаевич Лешков и его теория «общественного права» как попытка альтернативы «полицейскому праву»*

Андрей Тесля

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии
социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского национального университета
Адрес: ул. Тихоокеанская, д. 136, Хабаровск, Российская Федерация 680035
E-mail: mestr81@gmail.com

Профессор Московского университета В. Н. Лешков в конце 1850-х создал теорию «общественного права», мысля ее как альтернативу существующему «полицейскому праву», стремясь выйти за пределы дилеммы частного/публичного права и выстраивая (вслед за германскими юристами) триадическое деление на право гражданское, общественное и государственное. Это позволило ему теоретически выйти из отождествления «публичного» и «политического» (polis'ного), определить область «общественного права» как «основу для самоуправления» и одновременно совместимость местного самоуправления с самодержавием (за счет разведения неполитической и политической публичности). О популярности взглядов Лешкова в конце 1850-х — начале 1860-х годов свидетельствует, в частности, его публикационная активность во влиятельных изданиях («Русский Вестник», «Русская Беседа», «День» и т. д.). В научном плане они вписываются в неопределенную на тот момент в российских университетах дисциплинарную область «полицейское право». Ситуация быстро меняется с начала 1870-х, когда происходит доктринальное и институциональное оформление «полицейского права» в рамках концептуальной модели, разработанной И. Е. Андреевским, полемика с которым Лешкова анализируется в статье для раскрытия воззрений обеих сторон. В результате к 1890—1910-м годам взгляды Лешкова постепенно маргинализируются, что прослеживается по материалам учебных пособий.

Ключевые слова: общественное право, политическое, полицейское право, публичное, самоуправление, частное.

Теория «общественного права» Василия Николаевича Лешкова, как и фигура ее автора, в свое время весьма известного, многолетнего декана юридического факультета Московского университета, редактора одного из ведущих русских юридических журналов, председателя Московского юридического общества, не столько забыта (о забвении не позволяют говорить переиздания его основного труда: Лешков, 2004, 2010), сколько практически исключена из истории полицейского права в России и истории отечественной юриспруденции. В предисловии к сбор-

© Тесля А. А., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

* Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ № МК-5033.2015.6 «Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840—1900-е гг.)».

нику по истории российского полицейского права Лешков упоминается (в числе других «ранних» авторов), однако содержательно история данной дисциплины открывается Андреевским (Старилов, 1999), т. е. Лешкову отводится место в «предыстории». На наш взгляд, подобное положение вещей закономерно и справедливо, но именно в этой перспективе возникает интерес к его теории и дебатам, результатом которых стала «маргинализация».

Карьера

В автобиографической заметке, помещенной в юбилейном «Биографическом словаре профессоров и преподавателей Императорского Московского университета», Лешков писал:

«Родился 2-го Августа 1810 г., Черниговской губернии, Стародубского уезда, в селе Медведове, где и учился грамоте и письму, Священной истории и первым правилам Арифметики, а в 1820 г. был отправлен в Черниговское духовное уездное училище. В 1825 году переведен в Семинарию, в 1829 году окончил курс Философии или среднего отделения, и тогда же помещен в Главный Педагогический Институт» (Шевырев, 1855: 455–456).

Главный педагогический институт был восстановлен в Петербурге лишь за год до поступления в него Лешкова¹ и из-за нехватки слушателей туда не только охотно принимались, но и непосредственно командировались семинаристы. Лешков перечисляет пройденные им предметы — сначала гимназического курса, а после — по избранному им философско-юридическому факультету, однако особую важность придает командированию в числе прочих юристов в Берлин. Здесь он

«выслушал курс лекций Савиньи об институциях, о древностях Римского Права, и о пандектах, у Кленце о Праве Естественном и об Истории Римского права, у Геффтера об Уголовном Праве, у Ганса об Уголовном и Общепародном, у Гомейера о Немецком праве и Прусском Ландрехте, у Рёстеля о Каноническом праве, у Раумера о Всеобщей истории. Кроме того, посещал лекции Гельвига о Политической Экономии, Риттера о Географии, Ранке об Истории и др.» (Шевырев, 1855: 456)².

1. В 1819 году на основе Главного Педагогического института был образован Санкт-Петербургский университет, однако опыт ликвидации высшего специального учебного заведения, предназначенно для подготовки учителей, был сочтен неудачным, и в рамках общей тенденции университетских преобразований времен Николая I с их предпочтением специальных учебных заведений заведениям «общего плана» институт был восстановлен и просуществовал вплоть до 1858 года.

2. Общий план берлинской стажировки для юристов был отработан уже ранее — в 1829-м и последующих годах в рамках командирования в Берлинский университет от II Отделения С.Е.И.В. Канцелярии (см.: Петров, 2003: 41–42).

Из профессоров, преподававших ему юридические дисциплины в Главном педагогическом институте, Лешков называл (Шевырев, 1855: 456) Штёкгардта³ (история и система римского права), б. Врангеля⁴ (история и система русского права) и Бессера (политическая экономия), также упоминая прослушанные им курсы русской словесности (П. А. Плетнев) и русской истории (Н. Г. Устрялов). После двухлетнего пребывания в Берлине «желание познакомиться с Университетом Лейпцигским, с учеными Праги и преподаванием в Вене вызвало Лешкова в эти города» (Шевырев, 1855: 456–457). В Праге он повстречался, в частности, с О. М. Бодянским (чья научная биография на начальных этапах весьма схожа с лешковской (см.: Василенко, 1904), писавшим М. П. Погодину 12(24) апреля 1838 года: «На днях приехали сюда два из воспитанников Педаг[огического] Инст[итута], Лешков (по правам) и Лукьянович⁵ (по классич. лит.), учившиеся в Берлин[ском] Ун[иверситете] и теперь пробирающиеся в Вену, где, между прочим, думают немножко позаниматься Чешским Сербским языкам: давай Бог поболее охотников» (Попов, ред., 1879: 45).

3. Штёкгардт Юлий Андреевич (Heinrich Robert Stöckhardt, 1802–1848) — доктор (1824) и приватдоцент (1826) Лейпцигского университета, с 1831 года — профессор римского права и энциклопедии права в Главном педагогическом институте, с 1835 года — в Императорском училище правоведения. В. В. Стасов, окончивший Училище правоведения, вспоминал, «как профессор Штёкгардт, маленький рыжий немец (должно быть, из жидов), в безысходном белом галстуке и с Анной на шее, вместо того, чтобы идти домой, сидит после классов в „музыкальной комнате“, один, в темноте, и с энтузиазмом немецкого дилетанта часа полтора–два импровизирует на фортепиано» (Стасов, 1952: 348).

4. Врангель Егор Васильевич, барон (Georg Gustav Ludwig von Wrangel, 1784–1841) — из остзейского дворянства, окончил Дерптский университет (затем обучался в Виттенбергском и Гейдельбергском университетах), служил в Комиссии составления законов, в 1809 году — назначен в Казанский университет, с 1811 года — экстраординарный, с 1815 года — ординарный профессор. В 1819 году уволен со службы по ревизии Казанского университета М. Л. Магницким; с 1820 года — профессор Санкт-Петербургского университета, в дальнейшем преподавал также в Главном педагогическом институте, Царскосельском лицее, с 1835 года — инспектор Императорского училища правоведения; преподавал гражданское право цесаревичу Александру Александровичу (Татищев, 1996: 81). В. В. Стасов вспоминал о нем: «Инспектором у нас был барон Врангель, бывший до того профессором права в Царскосельском лицее, — человек добрый и хороший, но совершенно ничтожный, и особенно вследствие полнейшей своей бесхарактерности. Раза два, в мое время, он вздумал было рассердиться и раскрыться на кого-то из воспитанников, конечно, считая обязанностью своею показать свою власть и значение, но произвел эту эволюцию, как всегда бывает у слабых и бесхарактерных людей, вдруг только вошедших в азарт, совершенно нескладно и невпопад, так что всех только насмешил, и надолго. Впрочем, его довольно любили и даже уважали, и когда в залах или в котором-нибудь классе появлялась его длинная селедкообразная старая фигура, в мундире и золотых очках, она не производила на нас ровно никакого эффекта, исключая тех первых дней месяца, когда он приходил читать нам баллы и „средние выводы“ за прошедший месяц» (Стасов, 1952: 306).

5. Лукьянович Семен Семенович (1809–1860) — выпускник историко-филологического факультета Главного педагогического института (СПб). После завершения заграничной командировки назначен на кафедру римской словесности и древностей Харьковского университета. «Выходец из среды духовенства Черниговской губ[ернии], Лукьянович <...> сдав в 1840 г. докторские экзамены, а в 1842 г. с трудом защитив докторскую диссертацию, <...> трижды баллотировался на Совете университета на звание ординарного профессора и прошел лишь с третьей попытки. За двадцать лет работы в Харьковском университете Лукьянович опубликовал три небольшие статьи...». Невысокое мнение о Лукьяновиче в первые годы его преподавания высказывал и попечитель Харьковского учебного округа гр. Ю.А. Головкин в письмах к С.С. Уварову (Петров, 2003: 366).

Примечательно внимание Лешкова к «славянской» проблематике. Это первый заметный след появления новых, не вытекающих непосредственно из выбранной им учебной и ученой специализации интересов, связанных с общим интересом к славянскому вопросу, в том числе и на официальном уровне. По возвращении в Петербург и успешном прочтении в Академии наук (в присутствии министра народного просвещения С. С. Уварова) пробной лекции Лешков получил назначение адъюнктом на юридический факультет Московского университета, где ему была поручена кафедра «народного права» (*jus gentium*), по каковой он и защитил докторскую диссертацию «О морском торговом нейтралитете» (1841; см.: Лешков, 1841). В следующем году был избран на должность экстраординарного профессора по той же кафедре, а в 1843 г. переведен на кафедру Законов Государственного Благоустройства и Благочиния⁶ (которая позднее по Уставу 1863 года была переименована в кафедру Полицейского права) «с обязанностью продолжать чтения по кафедре Народного права до замещения оной отдельным преподавателем» (Шевырев, 1855: 457). В 1845-м был избран на должность ординарного профессора. С декабря 1840-го до января 1842 г. Лешков служил также секретарем при Московском цензурном комитете, в 1847 г. был принят туда на должность цензора, с которой уволен «за реформою, 1850 г. ноября 17-го... с изъявлением благодарности Начальства» (Шевырев, 1855: 458).

С начала 1840-х Лешков сотрудничал в «Москвитянине» и оставался активным автором журнала вплоть до прекращения его издания в 1856 г. Пик активности приходится на вторую половину 1850-х — начало 1860-х, когда он публикуется в «Русском Вестнике», «Русской Беседе», «Молве», «Дне» и др. Выбор журналов характеризует идеиную позицию Лешкова: он тяготеет к славянофильским изданиям, которые ценят его как близкого по взглядам и полезного сотрудника с точки зрения общественной репутации и авторитета. Примечательным примером взаимодействия славянофилов и Лешкова могут служить публикации в первой половине 1862 г. серии статей — сначала принадлежащих Лешкову и посвященных обоснованию и разъяснению идеи «общества» и «общественного права», а затем статей И. С. Аксакова (см. подробнее: Тесля, 2015: 297–298). В дальнейшем публицистическая активность Лешкова заметно снижается, но в 1871–1873 гг. он оказывается в числе постоянных авторов «Беседы», издаваемой А. И. Кошелевым.

В 1863 г. Лешков был избран деканом юридического факультета. Среди коллег он пользовался хорошей репутацией как человек, но его научные заслуги представляли собой предмет куда более спорный. Б. Н. Чичерин так характеризовал Лешкова: «Это был человек мягкий и добрый, но глупый и бездарный. Еще будучи студентами, мы смеялись над ним, когда он читал нам полицейское и международное право, а с тех пор, под влиянием славянофильских идей, превратившихся в его мутной голове в невообразимый хаос, он изобрел собственную свою науку, общественное право, которую и читал в университете, как плод русской мыс-

6. В связи с вступлением на кафедру им была прочитана лекция «О том, что такое Полиция, или О законах Государственного Благоустройства» (напечатанная затем в «Москвитянине» за 1843 г., № 5).

ли. Трудно себе представить, какая это была изумительная чепуха. Студенты на смех приносили иногда нам его тетради, и мы смеялись не меньше их, но так как этот бесконечный вздор приправлялся патриотическими и либеральными фразами, то были молодые умы, на которые это действовало. Для всякого человека, имеющего смысл и дорожащего пользою университета, было ясно, что терпеть в университете подобное преподавание было невозможно» (Чичерин, 2010: 129). В 1866 г. Лешков стал формальной причиной одного из самых крупных скандалов в истории Московского университета: по истечении выслуженного им 25-летия он подлежал перебаллотировке (вместе с А. И. Менциковым, профессором классической филологии). Для избрания на новое пятилетие требовалось квалифицированное большинство в две трети голосов. Менциков при голосовании не набрал и простого большинства, и вопрос с ним тем самым решился. При голосовании по кандидатуре Лешкова за него было отдано 25 голосов, против — 13, т. е. для прохождения не хватило одного голоса. Ситуация оказалась спорной в силу того, что перед голосованием были представлены письменные заявления Менцикова и Лешкова о передаче своих голосов коллегам (О. М. Бодянскому и И. Д. Беляеву соответственно), сами же баллотируемые профессора отсутствовали. Чичерин заявил о неправомерности подачи голосов Менциковым и Лешковым, срок их службы закончился и они, следовательно, не являются на момент голосования членами Совета. Чичерин вспоминал: «Ректор согласился с моим замечанием, которое очевидно было юридически правильно, и Совет единогласно устранил оба шара» (Чичерин, 2010: 129). Возник вопрос о правомерности решения Совета — поскольку признание действительности отведенных голосов давало бы требуемое большинство Лешкову.

Совет, проголосовав в январе 1866 г. относительно кандидатуры Лешкова и приняв отрицательное решение, приступил к выборам декана, должность которого оказалась свободной по причине непереизбрания Лешкова: на этот пост был избран Чичерин. Примечательно, что в написанных гораздо позднее «Воспоминаниях» Чичерин признает, что последующие действия были инициированы не Лешковым, а его друзьями — тем большинством Совета, которое никак не ожидало подобного результата выборов. По их инициативе Лешков обратился в Совет с письмом, в котором ставил вопрос о правомерности устранения его голоса и голоса Менцикова. Совет рассмотрел его на следующем заседании и решил (теперь уже простым большинством голосов) обратиться к начальству — дело пошло на рассмотрение попечителя (Д. С. Левшина), а от него к министру (А. Н. Головину). Последний запросил Бодянского, «куда бы он положил шар [Менцикова], если бы он был допущен до баллотировки. Бодянский отвечал, что он положил бы направо. На этом основании министр народного просвещения А. В. Головин собственno властю причислил шар Менцикова к положенным в ящик 25 белым шарам и утвердил Лешкова на новое пятилетие» (Чичерин, 2010: 131). Последовавший за этим масштабный скандал — выступление группы профессоров во главе с Ф. М. Дмитриевым и Б. Н. Чичериным с протестом, бурные споры в Совете, обра-

щения в министерство и т. д. выходят за пределы личной истории Лешкова, потому мы изложим их конспективно. Сочтя себя оскорбленными нарушением устава, упомянутая группа профессоров подала в отставку, известие о которой Никитенко зафиксировал в своем дневнике:

«Раут у министра народного просвещения. <...> Министр был очень озабочен известным скандальным происшествием в Московском университете. Профессора [Ф. М.] Дмитриев и [Б. Н.] Чичерин со своими приверженцами — всего семь человек — подняли настояще восстание против ректора и совета. Университет хотел выбрать на следующее пятилетие профессора Лешкова, а те не хотели, и Чичерин написал и прочитал в совете обидную бумагу по этому поводу. Дошло дело до министра. И вот теперь лица, составляющие это меньшинство: Чичерин, Дмитриев, Соловьев, Баст и кто-то еще — подают в отставку» (Никитенко, 1956: 73).

Примером реакции со стороны наиболее подготовленной части академической молодежи может служить письмо В. О. Ключевского, оставленного при кафедре для подготовки к профессорскому званию, к П. П. Гвоздеву — студенту историко-филологического факультета Казанского университета:

«Пишу тебе неожиданно по поводу дела, которого ты, конечно, предвидеть не мог. Пишу с стесненным сердцем, с тяжестью на душе, какую я испытывал только в самые тяжелые минуты жизни. Забудь на время все свои текущие интересы, очисть душу от ежедневных впечатлений, сделай ее белым листом, и тогда почувствуешь, сознаешь весь истинный смысл того, что я имею передать тебе. Перенесись мыслью в наш университет, припомни кое-что из говоренного тебе мною и внемли. Сол[овьев], Чич[ерин], Дмитр[иев], Кап[устин], Рачин[ский] и Бабс[т] подают в отставку вследствие гадостей, сделанных им большинством совета, и — и — одобрения этих гадостей министром. Во главе этого гадкого большинства стоят ректор, Леонтьев, Юрьевич и Любимов; это самые крупные подлецы. Затем о значении этого события суди на следующих основаниях. Большинство выходящих принадлежит юрид[ическому] факультету, и после них смотри, кто остается на этом и без того бедном профессорами факультете *старейшего* русского университета: дура ректор⁷, совершенно тупой Никольский (проф[ессор] гражданского права), менее чем недалекий Беляев, да ни рыба ни мясо Мильгаузен (проф[ессор] финансового права). Филологич[еский] факультет — да нужно ли говорить, кого лишается филологический факультет? Проф[ессор] ботаники Рач[инский] — также один из самых любимых студентами. Я не передаю тебе подробностей: тяжело написать и то, что ты читаешь теперь на этом листке. Напишу — не замедлю. Дело, вероятно, получит еще развитие» (Ключевский, 1990: 254–255).

Как и предполагал Ключевский, дело получило развитие: по личному обращению государя заявления об отставке были отозваны — и в дальнейшем часть

7. Ректором Московского университета с 1863 по 1870 год был Сергей Иванович Баршев (1808–1882), профессор уголовных и полицейских законов.

участников первоначального протеста покинула университет поодиноке. Чичерин вышел в отставку в 1868 г., несмотря на уговоры М.П. Погодина, убеждавшего молодого профессора, «что честь вовсе не русское начало и дорожить ею нечего» (Чичерин, 2010: 191).

Для Лешкова история завершилась благополучно — конфликт быстро перерос в характер «персонального вопроса», и о его фигуре уже мало вспоминали. Он не только был утвержден на новое пятилетие, но и вновь избран деканом юридического факультета. В должности профессора ему довелось пробыть до самой кончины, деканом он оставался до 1872 г. и вновь был избран на этот пост в 1877-м, на сей раз отправляя должность до 1880 г., когда по причине преклонных лет и начавшего ощутимо изменять здоровья вышел в отставку. В некрологе В. Гольцев писал:

«Почти сорок лет трудился покойный Василий Николаевич как профессор и как ученый. В последние два года тяжкий недуг долго держал его в постели. Но лишь только наступало сколько-нибудь значительное облегчение, престарелый профессор был уже на ногах, читал лекции в университете, вступал в оживленные прения в Юридическом Обществе. К этому надо присо-вокупить, что Василий Николаевич был и выдающимся земским деятелем, принимая большое участие как гласный в трудах Московского губернского земства» (Гольцев, 1881: II).

Муромцев отмечал: «С именем Василия Николаевича связаны шестнадцать лет истории Московского Юридического Общества, девять лет истории «Юридического Вестника». Шестнадцать лет он был председателем Общества, девять лет участвовал в трудах по редакции его журнала» (Муромцев, 1881: III). Времен-ная отставка из университета побудила его основать и взять на себя редакцию «Юридической газеты», выходившей в 1866 и 1867 гг., а с 1871 года он стал редак-тором «Юридического вестника», первоначально вместе с А. М. Фальковским, а с 1878 года — вместе с М. М. Ковалевским и С. А. Муромцевым. Ему удалось собрать в журнале представителей достаточно разнородных взглядов, придав ему либе-ральный облик, который затем был упрочен С. А. Муромцевым, с 1880 г. ставшим главным редактором (Лешков вплоть до кончины занимал пост второго редакто-ра). Мягкость, доброта и терпимость — качества, которые отмечали в нем и его оппоненты — содействовали объединению юристов и на страницах журнала, и в регулярных собраниях юридического общества. Как о преподавателе о нем со-хранились характерные отзывы: «По воспоминаниям К.Д. Ушинского, сам лектор, понимая скучность собственно полицейского права, давал им тетрадки своих кон-спектов для подготовки к экзаменам и просил у них позволения „прочесть лекции по истории русского права“. А „добрейшим экзаменатором“ В. Н. Лешков оставил-ся всю свою жизнь» (Каплин, 2010: 9).

Опыт создания учения об «общественном праве»

Уяснить суть воззрений Лешкова относительно утверждаемой им новой дисциплины и новой отрасли права, именуемым «общественным», затруднительно по объективным причинам. В сатирической «Оде на обед, данный ректору профессорами Московского университета», написанной Ф. М. Дмитриевым и Б. Н. Чичерином, Лешков именуется «непонятным» (Чичерин, 2010: 79). И в его текстах, когда он касается теоретических аспектов, яснее то, что вызывает его отторжение и против чего направлены его воззрения, чем позитивные формулировки, им выдвигаемые. Сам Лешков, по крайней мере отчасти, осознавал эту проблему. В своей претендующей на фундаментальный характер работе «Русский народ и государство», как явствует из подзаголовка, он занимается обоснованием «общественного права» через историю, отводя теоретическим вопросам лишь краткое введение (Лешков, 1858: 1–34). Последующие работы Лешкова, также преимущественно посвящены историческим аспектам «общественного права».

Проблема, однако, не сводится к преобладанию истории над догмой права (такой подход Лешков унаследовал от своих германских учителей), а заключается в том, что исторический материал освобождает его от необходимости ясно формулировать догму. В результате работа попадает в «порочный круг»: не будучи профессиональным историком и черпая исторический материал почти исключительно из второисточников, автор подбирает то, что соответствует его представлениям, достаточно свободно конструируя прошлое, в то время как сама конструкция должна быть прояснена из исторического материала. Для предубежденного наблюдателя, каким был, например, Чичерин, результат представлялся «изумительной чепухой» (Чичерин, 2010: 129), тогда как близким к славянофилам М. О. Кояловичем главный труд Лешкова не только внимательно и благосклонно разбирался, но и отмечался как имеющий «то важное для нашей науки значение, что <...> ищет основ и объяснений русских законов в историческом складе русской жизни» (Коялович, 1997: 326). А К. Н. Бестужев-Рюмин, будучи профессором в Санкт-Петербургском университете, дистанцированным от московских споров, в историографическом обзоре, касаясь трудов по истории русского права, надо полагать, с долей иронии сводит в едином перечне антагонистов:

«Из профессоров Московского университета припомним еще Б. Н. Чичерина, которому принадлежит замечательное, хотя и одностороннее сочинение „Областные учреждения в России XVII в.“, первое вполне осмотревшее этот вопрос; Ф. М. Дмитриева, которым прослежена с полнотою и обстоятельностью история процесса; И. Д. Беляева, одного из лучших знатоков архивов; К. П. Победоносцева, вносящего исторический метод в гражданское право; В. Н. Лешкова...» (Бестужев-Рюмин, 1872: 243).

В некрологе Лешкову В. А. Гольцев (в дальнейшем многолетний редактор «Русской мысли») писал:

«В 1858 году появилось главное сочинение Василия Николаевича: „Русский народ и государство, история русского общественного права до XVIII века“. Эта книга возбудила оживленный обмен мыслей. Ее до сих пор часто цитируют и много поколений студентов Московского университета по ней знакомились с историей нашего права, из нее научились любить народ и защищать начало самоуправления, без которого замирают народные силы. Профессор Лешков всю жизнь оставался горячим защитником общины и артели, видя в них едва ли не главную нашу национальную особенность и краеугольный камень нашего благосостояния» (Гольцев, 1881: I-II).

Гольцев справедливо увязывает политические и теоретические взгляды Лешкова — он был умеренным либералом славянофильского типа, активным сторонником земства и теоретиком его самостоятельности (Лешков, 1865), стремясь уже в работах 1850-х гг. противопоставить дихотомии частного/публичного права триадическую концепцию, включающую «общественное», позволяющую выйти, например, за пределы трактовки земства как органов государственной власти, и интерпретируя последнее как «местное самоуправление». При этом собственно в юридических своих работах он — следуя за Моллем — оказывался достаточно далек от таких славянофилов, как И. С. Аксаков или Ю. Ф. Самарин, поскольку принимал традиционное, восходящее к Аристотелю, учение о государстве как о воплощении «общего блага» и сфере смыслов: «...интересы государства состоят существенно в справедливости, в основной идее права, тогда как интересы общин и сословий имеют большую частью материальное содержание — понятие о пользе» (Лешков, 1858: 21)⁸.

Разграничение, здесь заложенное, предполагало трактовку права гражданского как исключительно сферы индивидуальных прав и интересов, тогда как «право общественное» оказывалось тождественным праву союзов — в отличие от сферы государственного права, руководимой принципами справедливости и общего блага и в силу этого получающего основания ограничивать права и притязания союзов и лиц. Пространство «общественное» предстает как радикально деполитизированное и в то же время долженствующее быть отграниченным от вторжений «политического» извне: государство именно потому, что должно быть воплощением двух фундаментальных принципов, не может регулировать отношения, являющиеся нейтральными по отношению к справедливости (как, например, до-

8. В отличие от В. Н. Лешкова, для И. С. Аксакова, а в особенности для его старшего брата, К. С. Аксакова, государство выступает началом «правды внешней», противопоставляемой «правде внутренней», носителем которой является «Земля», а ее сознательным/осознавшим выражением — «общество». Т. е. для воплощения «общего блага» государство в этих рамках не является обязательным, равно как и отождествить государство со «справедливостью» возможно для братьев Аксаковых лишь при условии понимания под нею только «справедливости формальной». Самодержец в рамках славянофильских теоретических построений необходим как привнесение личного, морального начала в принципиально аморальное государство. Он как глава — и Земский собор как призывающая на совет «Земля» — выступают негосударственными началами, делающими государство справедливым по существу, вопреки справедливости формальной, оборачивающейся *summa injuria* (см.: Тесля, 2014: 80–99).

бровольное самообложение) и к общему благу. В статье «О древней московской городской полиции» («Москвитянин», 1851) Лешков пишет:

«Государственная полиция имеет дело с общими вопросами целого народа, с его интересами материальными и моральными, которые вызываются не тою или другою личностью, не тою или другою местностью, а самою природою человека. Эти вопросы и интересы можно основать на общих потребностях и убеждениях целого населения; их можно решить по общим началам в форме государственных законов. <...> Городское управление и городская полиция имеют задачею осуществление потребностей и целей частных, местных; городская полиция не имеет дела с началами общими, занимается отдельными фактами или явлениями народной жизни, которые встречаются в стенах и чрте города» (Лешков, 1851: 2–3).

В этом раннем тексте вся активность пока еще принадлежит государству, пространство «общественного права» касается лишь вопросов исполнения общих начал — применения их к местности: «Вообще деятельность городской полиции есть только исполнительная деятельность, состоящая в сознании того, что законом в городе установлено, и в сохранении того, что законом установлено. Изменение или развитие данного состояния — вне сферы городской полиции, превышает ее силы, власть и право, — принадлежит полиции государственной» (Лешков, 1851: 3). Последующий ход развития мыслей Лешкова характеризовался дистанцированием от понятий «полиция» и «полицейское право», которые заменяются понятием «общественное право» как пространства не только «исполнительной деятельности», но и самостоятельной активности, в том числе самостоятельного нормотворчества⁹. Изучению этих самостоятельных, не данных государством, но выработанных самими «союзами» норм в их истории и посвящен трактат «Русский народ и государство», где понятие «общественное право» раскрывается следующим образом: «...права обществ или общества относительно государства и... права частных лиц относительно общества и государства, с обоюдными обязанностями» (Лешков, 1858: 16).

Отсюда же изменение терминологии — Лешков целенаправленно использует понятие «государственное право» вместо более привычного и распространенного «права публичного»: публичная сфера оказывается не только гораздо шире государственной, но и принципиально поделена на области *политической* и *неполитической* публичной жизни. Радикальная деполитизация общественной сферы позволяет Лешкову последовательно утверждать совместимость земства (и потенциальное расширение его прав) с самодержавной монархией — рассуждения, характерные для славянофильского направления (Цимбаев, 1986: 162–164; Тесля, 2015:

9. В 1874 году Лешков, характеризуя то, что он называет «средним» периодом русской истории — от Петра I до Александра II, пишет: «Все, что называется правом, с Петра В[еликого] становится государственною функциею и даром или подарком правительства, выражившимся в его актах, уставах, регламентах, жалованных грамотах, плакатах, указах, тысячами и десятками тысяч наполняющих союю наше собрание законов» (Лешков, 1874: 17).

296–297). В результате образуется триадическая структура права, представленная в таблице 1.

Таблица 1
Структура права (Лешков, 1858)

Гражданское право	Общественное право	Государственное право
«Гражданское [право] определяет отношения, возникающие между отдельными лицами».	«...общественное [право] занимает среднее положение [между гражданским и государственным], устанавливая отношения частных лиц к их союзам и каждого из этих союзов к целому обществу, к государству».	«...государственное [право] узаконяет отношения всех составных элементов государства к верховной власти и к правительству».

Вопрос о субъектах общественного права раскрывается следующим образом: ими

«являются прежде всего семейства, общины, сословия, вообще органические соединения, представляющие собою весь народ и все население, все общество, к которому частные лица принадлежат не отдельными своими действиями, а всею жизнью, и от которого получают не одно гражданское, а полное человеческое значение. Так, monstra, portent, embryones, незаконнорожденные, нищие, сумасшедшие, арестанты, не имеющие вовсе, или многих прав в быту гражданском, восстанавливаются во возможных правах человеческих по Праву Общественному. Общества имеют права только для сообщения их своим членам. <...> Ясно, что права, входящие в состав Общественного права, в сравнении с другими, должны иметь другой характер и другое более высшее значение. Характер этих прав не может быть выражен понятием собственности, а разве понятием владения, хотя это владение вечно и неизменно, как оно не бывает в частном праве. Например, нет города без земли; каждый город должен иметь землю, но по этой же причине право города на его землю исключает существенный признак права собственности — право отчуждения. То же должно сказать и о других правах общин и обществ, которые все суть только владельцы, пользующиеся настоящим, под условием сохранить и развить предметы права для будущих поколений» (Лешков, 1858: 17–18).

Теория «общественного права» в русской юридической науке второй половины 1850-х — начала 1870-х не встречает серьезного академического сопротивления. Это связано и с тем обстоятельством, что дисциплина «полицейское право» понималась тогда весьма разнородно и широко. Так, Н. Х. Бунге, в те годы профессор полицейского права в Университете Св. Владимира, под полицейским правом понимал практическое применение политической экономии (Старилов, 1999: 95), служащей основанием теории управления¹⁰.

10. В вводной части курса «Полицейского права» он пишет: «полицейское право в обширном смысле имеет двойственное содержание: оно заключает в себе постановления, относящиеся и к благосостоянию (законы благоустройства), и к безопасности (законы благочиния); последние составляют предмет полицейского права в тесном смысле (Штейн). Основные начала обоих отделов полицейского

Полемика с И. Е. Андреевским

Появление фундаментального курса «Полицейского права» (1871–1872) Ивана Ефимовича Андреевского (1831–1891) принципиально меняет ситуацию, поскольку является одновременно сильной теоретической заявкой, подкрепленной соответствующим институциональным положением¹¹. Андреевский предлагает теорию существующего позитивного полицейского права, что выгодно отличается, с одной стороны, от разведения позитивного права и политической экономии у Бунге и сторонников подобного рода воззрений, а с другой — от нацеленной, скорее, на построение проекта должного устройства «общества» и его отношений с «государством» теории Лешкова, преимущественно апеллирующей к историческому материалу. Если угодно, Андреевский предлагает эффективную теорию «среднего уровня» такого рода, что ее эффективность непосредственно очевидна для практики.

Лешков демонстрирует необычную для него скорость реакции, свидетельствующую о понимании угрозы: рецензия на первый том курса Андреевского появилась уже в 1871 году, в «Беседе», издаваемой А. И. Кошелевым (кн. IV), а затем, в 1873 году, после выхода второго, заключительного, тома Лешков опубликовал развернутую рецензию на все сочинение Андреевского. В близкой к Лешкову «Беседе» в 1871 году вышла и небольшая заметка Носа, также весьма критическая по отношению к «Курсу». Впрочем, реакцию Лешкова можно отчасти объяснить и тем, что в очерке истории науки полицейского права в России Андреевский не преминул весьма резко отозваться о главном его труде, к тому же поменяв при описании заголовок с подзаголовком местами (в результате в курсе Андреевского работа

права — благоустройства и благочиния — представляют существенные отличия. Благоустройство составляет прикладную часть политической экономии; благочиние есть часть государственного права, относящаяся к охранению порядка и безопасности как общества, так и отдельных лиц (выделено мной. — А. Т.). Постановления первого, т. е. благоустройства, отличаются положительным, второго, т. е. благочиния, по преимуществу, отрицательным характером. При всем том оба отдела полицейского права имеют много общего между собою. Во-первых, оба имеют один общий источник, из которого они извлекают свои основные положения, — именно общественные отношения, сложившиеся исторически в различных областях человеческой деятельности. Во-вторых, законы, которыми определяются эти отношения, установлены и ради благосостояния, и ради безопасности. Так, устройство промышленности, рассчитанное на усиление производства и на справедливое вознаграждение производителей, немыслимо без охранения жизни, имущества и здоровья трудящихся; равным образом меры чисто полицейские имеют нередко хозяйственное значение, обеспечивая или стесняя свободное распоряжение трудом и капиталом, — примером могут служить законы о работе на фабриках, законы о паспортах и пр. Наконец, в-третьих, оба отдела полицейского права пытаются установить отношение между деятельностью государственной или общественной власти и частных лиц. При этом последователи различных направлений в политической экономии и в праве полагают условием благосостояния и безопасности или назначение известных границ, как для общественной власти, так и для свободной личности, или же — возможно большее преобладание или той, или другой стихии (выделено мной. — А. Т.)» (Бунге, 1869: 2–3).

11. Андреевский в это время является профессором полицейского права Санкт-Петербургского университета, он был учеником П. Д. Калмыкова и К. А. Неволина, ведущих российских юристов, тесно связан с правительственными законодательными работами, в дальнейшем, с 1883 по 1887 год, будет ректором Санкт-Петербургского университета.

Лешкова именуется как «История русского общественного права до XVIII в.: русский народ и государство»):

«В этом обширном сочинении профессора Лешкова не имеется, строго говоря, истории общественного права, и не совершенно ясно изложены воззрения автора на понятие, соединяемое им с названием общественного права и отличие его от полицейского права, но представляется обширный анализ некоторых условий безопасности и благосостояния в древней России. В особенности период, когда господствовали начала Русской правды, представляет весьма любопытную работу г. Лешкова. Если и можно не соглашаться с воззрениями автора относительно крайне выгодного развития всех условий безопасности и благосостояния в этот древнейший период, то нельзя отказать ему в важности многих объяснений строя древней русской общины и тех обеспечений, которые представляло ее существование относительно многих условий безопасности и благосостояния. Нельзя сказать того же о рассмотрении последующего периода. Хотя и здесь материал собран обширный, но недостаточный для выполнения поставленной автором задачи. Оттого для достижения своей цели некоторые факты и доказательства берутся опять из той же русской правды, для некоторых вопросов захватывается законодательство Елизаветы Петровны и Екатерины II, а не приводятся меры Петра I; для некоторых вопросов берутся объяснения из иностранных законодательств, для других автор обходится и без этих сравнений. Разбивая этот период на два отдела, из коих в первом рассматривается история законов, называемых автором установительными, а во втором история охранительных законов, автор далеко не выдерживает установленной им системы. В своей истории установительных законов этого периода г. Лешков говорит о народонаселении, о поземельном праве о средствах сношений, о праве промышленности, как праве деятельности сословий в древней России, о праве образования или об условиях народного просвещения. По отношению к большинству этих вопросов автор высказывает положения, которых, конечно, не доказывает, потому что таковых условий не было; напр. находит ремесленные цехи, которых у нас до Петра I не существовало; желает убедить, что образование находилось на значительной степени развития, что женщина пользовалась большим значением в обществе и т. п. Точно так же и в отделе втором этого периода, где излагается история охранительных законов, автор стремится представить жизненные условия в несравненно благоприятнейшем виде, чем представляет их действительная история своими точными фактами. Но и в этом отделе многие положения, собранные автором, особенно относительно права публичности слова и письма и общественного признания бедных, заслуживают полного внимания» (Андреевский, 1874).

Основное направление своего критического удара Лешков и в рецензии 1871-го, и в развернутой рецензии 1873 года сосредотачивает на понимании Андреевским «полицейского права», как оно дано в его определении:

«Для жизни человека, для развития его способностей и возможности достижения его человеческих целей необходимы известные условия: между ними главнейшее место занимают безопасность и благосостояние. Условие

безопасности обеспечивается предупреждением и пресечением опасностей, могущих грозить как от злой воли других людей, так и от сил природы и различных несчастных случаев. Условие благосостояния достигается возможностью приобрести и пользоваться известным количеством благ материальных и, кроме того, возможностью достигать известного развития духовного. Для создания таких условий недостаточно отдельных, единичных сил человека: необходима совокупная деятельность людей; такая деятельность является в государстве. Такая деятельность целого государства (отдельных лиц, союзов, общества и правительства) есть деятельность полицейская в обширном смысле. Полицейская деятельность в тесном смысле, т. е. полицейская деятельность правительства, заключается в наблюдении за предприятиями частных лиц, союзов и обществ и в принятии со своей стороны мер для обеспечения известных условий при недостаточности частной и общественной деятельности» (Андреевский, 1871: 1).

Лешков находит противоречие между этим определением и содержанием курса, отмечая:

«Переходя к деятельности, которою [согласно Андреевскому] совершается и дело безопасности, и дело благосостояния, мы настаивали, что *такая деятельность должна принадлежать человеку, и только человеку, отдельно ли взятому или в союзе человеческого общества, но не полиции* (выделено мной. — А. Т.), иначе придется и отца семейства, и служителя алтаря, и ученого, и художника назвать полицейскими агентами, что нелепо» (Лешков, 1873: 3–4).

Далее он указывает на отсутствие субъектов, по его мнению, составляющих непрерывную часть учения об общественном/полицейском праве: разбор первого тома (вышедший в «Беседе» в 1871 г.)

«мы заключили надеждою, что автор, упоминающий здесь об обществах — о семье, общине, земстве, народе, наконец обратит на него внимание, подвергнет его изучению и сделает вывод, что все человеческое совершается человеком и человеческим обществом, в отличие от всего гражданского, совершающего гражданином, с его союзами, и от всего государственного, достигаемого государством, или правительством» (Лешков, 1873: 4).

Вопрос о субъектах предстает как ключевой вопрос, с точки зрения Лешкова, — если «полицейское право» выступает как направленное на общество, но не имеющее общество своим субъектом, то именно этот, на взгляд Лешкова, принципиальный недостаток и преодолевает конструируемое им право общественное:

«...безопасность и благосостояние, по автору, составляют предмет его Полиц[ейского] Права. Чья же это безопасность и чье благосостояние ведает полиция? Чью безопасность и чье благосостояние ведает полиция так, что это становится ее полицейским правом? Разумеется, безопасность и благо-

состояние народа, населения страны, потому что государственная безопасность, а за нею и государственное благосостояние должно составлять ведомство и право государства. Это бесспорно. Что делать полиции с Хивою? Но в таком случае можно спросить, почему же безопасность народа и его благосостояние могут быть делом и правом населения, а должны войти в полицейское право? Поставим вопрос, как он ставится на суде: кому принадлежит право устроить безопасность и благосостояние населения, полиции ли или самому населению? И есть ли это право полицейское или общественное, земское? Основания для решения такого вопроса известны: нужно доказать: а) потребность претендующего, б) его инициативу или приобретение и в) совершение или владение и пользование делом. Если мы говорим о безопасности и благосостоянии населения, то, конечно, убеждены, что этой безопасности и этого благосостояния требует население, которого благосостояние немыслимо среди возможных опасностей и которого безопасность дорога ему именно пропорционально его благосостоянию» (Лешков, 1873: 6).

Ответ был дан Андреевским в предисловии к новому изданию курса — по своим формулировкам закрывая всякую возможность полемики, предоставляя лишь возможность радикального выбора — интерпретация дисциплины, либо предложенная Андреевским, либо Лешковым, поскольку спорить им, как констатировал первый, не о чем:

«Как ни лестно для меня внимание г. Лешкова к моей книге, но, к сожалению, я не мог и теперь воспользоваться ни одним из его замечаний. Все возражения г. профессора полицейского права *Лешкова* вытекают из того, что он не признает науки полицейского права. Я вполне понимаю трагическое его положение: занимать кафедру полицейского права и не признавать этой науки. Отсюда уже логически вытекает, что все касающееся полицейского права, а потому и мое сочинение, представляется почтенному профессору невозможным. Все его замечания строятся на главном его недоумении, зачем я излагаю полицейское право, а не общественное, которое он желал бы найти в моей книге. Но я и не имел намерения писать общественного права. Изучение общества делает большие успехи и слагаются элементы той науки, которая в будущем, может быть, и будет носить название общественного права, но содержание которой, вероятно, не будет совпадать с тем представлением, которое создает себе об общественном праве почтенный профессор.

Приступая ко второму изданию полицейского права, я перебрал все замечания г. Лешкова для проверки моих коренных оснований, и остаюсь им верным. Таким образом я сохранил во втором издании все главные положения, равно как и прежнюю систему» (Андреевский, 1874: III–IV).

«Нормализация» a la'Kuhn

Последующая судьба «общественного права» Лешкова развивалась как иллюстрация перехода к «нормальной науке» в понимании Томаса Куна (Кун, 2003: 34–62). По мере того как определяются «классика» и канон понимания «научности» в дан-

ной области, что протекает одновременно как маргинализация иных подходов и концепций, рассматривавшихся на предшествующих стадиях как полноправные альтернативы, включение в парадигму происходит благодаря работе с учебником и с современными научными текстами, а не с текстами, относящимися к истории данной науки.

В случае с Лешковым легко выделить три варианта, соответствующие трем стадиям (учитывая скорость протекания процесса, эти три варианта накладываются друг на друга, не целиком сменяясь, но общая тенденция, на наш взгляд, совершенно очевидна):

1) В первых по времени работах — в курсе самого Андреевского и в ряде учебных изданиях упоминание Лешкова включается в изложение истории научной разработки дисциплины — в раздел, следующий за обзором европейских направлений, озаглавленный обычно «Полицейское право в России» (Беляевский, 1915).

2) И. Т. Тарасов в «Очерке науки полицейского права» (1897) исключает изложение взглядов Лешкова и его сторонников из общего очерка развития науки полицейского права в России, отводя им отдельный параграф («Учение об общественном праве»; см.: Старилов, 1999: 148, 155–157). Промежуточный вариант представлен в «Основных началах административного права» А. И. Елистратова (1-е изд. — М., 1914; 2-е изд. — М., 1917), который упоминает Лешкова и Шпилевского, характеризуя работу первого как «совершенно оригинальную попытку», и легитимирует свое обращение к их работам, квалифицируя теорию Лешкова как «опережение опыта Рёслера» (Старилов, 1999: 427).

3) В учебнике же, например, В. В. Ивановского («Учебник административного права (Полицейское право. Право внутреннего управления)», 3-е изд., Казань, 1908) при изложении развития науки полицейского права в России о Лешкове уже вовсе не упоминается. Вводится развернутая справка о сравнительно недавней работе Шпилевского (который в данном случае «заменяет» Лешкова), при этом она интерпретируется исключительно как проекция современной ему работы Рёслера — всякая связка Шпилевского с Лешковым из текста оказывается устраниной (Старилов, 1999: 318–319).

Особенно любопытна судьба «учебных» интерпретаций работы М. М. Шпилевского (1837–1883), автора исследования «Полицейское право как самостоятельная отрасль правоведения» (Шпилевский, 1875), защищенной им в качестве докторской диссертации в Московском университете, т. е. у В. Н. Лешкова. В этой работе, посвященной обоснованию понятия общества как субъекта Шпилевский, в частности, отмечает, что «общественное право настоящего времени, в отличие от полицейского или административного права, есть право общества на развитие и охранение его интересов при содействии и под надзором правительства». Примечательно, что если И. Т. Тарасов еще указывает на связь положений Шпилевского с взглядами Лешкова (Старилов, 1999: 148, 156–157), то Ивановский говорит о Шпилевском, помещая его исключительно в немецкий контекст, а Елистратов трактует уже самого Лешкова именно как предшественника Рёслера (Старилов,

1999: 319, 427). Тем самым к первым десятилетиям XX века, когда подход к пониманию «полицейского права», предложенный Андреевским, стал «нормальным» в куновском смысле, Лешков «выпадает» из поля зрения юристов, не вписываясь в прямолинейную «генеалогию» «науки полицейского права в России» и становясь «маргинальной» или в лучшем случае примечательным «казусом». И сейчас интерес, проявляемый некоторыми авторами к теоретическим построениям Лешкова, весьма далек от конвенций юридического знания (см., напр.: Биошкина, 2011; Васильев, 2012).

Литература

- Андреевский И. Е. (1871). Полицейское право. Т. I: Полиция безопасности. СПб.: Типография Эд. Праца.
- Андреевский И. Е. (1874). Полицейское право. Т. I: Введение. Часть I: Полиция безопасности. 2-е изд. СПб.: Типография Эд. Праца.
- Беляевский Н. Н. (1915). Полицейское право (административное право). Петроград: Екатерингофское печатное дело.
- Бестужев-Рюмин К. Н. (1872). Русская история. Т. I. СПб.: Издание Д. Е. Кожанчикова.
- Биошкина Н. И. (2011). Становление российской науки полицейского права (XVII век — 80-е годы XIX века) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД. 2011. № 1. С. 11–14.
- Бунге Н. Х. (1869). Полицейское право: курс, читанный в Университете Св. Владимира. Киев: Типография Императорского Ун-та Св. Владимира.
- Василенко Н. П. (1904). О. М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии. Киев: Типография Императорского Ун-та Св. Владимира.
- Васильев А. А. (2012). Концепция общественного права российского традиционализма как альтернатива дихотомии права на частное и публичное // Общество и право. 2012. № 5. С. 51–55.
- Гласко Б. (1914). Лешков, Василий Николаевич // Русский биографический словарь. Т. X: Лабзина — Ляшенко. СПб.: Тип. Главного Управления Уделов. С. 364–367.
- Гольцев В. А. (1881). [Некролог В. Н. Лешкову]. М.
- Каплин А. Д. (2010). Предисловие // Лешков В. Н. Русский народ и государство / Сост. А. Д. Каплина; отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации.
- Ключевский В. О. (1990). Сочинения. Т. IX: Материалы разных лет / Под ред. В. Л. Янина. М.: Мысль.
- Коялович М. О. (1997). История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. Минск: Лучи Софии.
- Кун Т. (2003). Структура научных революций. М.: АСТ.
- Лешков В. Н. (1841). Историческое исследование начал нейтралитета по отношению к морской торговле. М.: Университетская типография.

- Лешков В. Н. (1851). О древней московской городской полиции: исторические известия. М.
- Лешков В. Н. (1858). Русский народ и государство: история русского общественного права до XVIII века. М.: Университетская типография.
- Лешков В. Н. (1865). Опыт теории земства. М.: Университетская типография.
- Лешков В. Н. (1868). Человек в области права. М.: Университетская типография.
- Лешков В. Н. (1872). О праве самостоятельности как основе для самоуправления. М.: Университетская типография.
- Лешков В. Н. (1873). Критика. Полицейское право г. Андреевского, профессора С.-Петербургского университета. Т. I: Полиция безопасности, 1871 г. Полиция благосостояния, 1873 г. М.: Университетская типография.
- Лешков В. Н. (1874). Наша средняя история общественного права с Петра Великого: ее характер и разделение. М.: Университетская типография.
- Лешков В. Н. (2004). Русский народ и государство: история русского общественного права до XVIII века. СПб.: Юридический центр.
- Лешков В. Н. (2010). Русский народ и государство / Сост. А. Д. Каплина; отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации.
- Муромцев С. А. (1881). [Некролог В. Н. Лешкову]. М.
- Никитенко А. В. (1956). Дневник. Т. 3: 1866–1877 / Подг. И. Я. Айзенштоком. М.: ГИХЛ.
- Петров Ф. А. (2003). Формирование системы университетского образования в России. Т. 4: Российские университеты и люди 1840-х годов. Часть I: Профессура. М.: Изд-во Московского ун-та.
- Попов Н. А. (Ред.). (1879). Письма к М. Н. Погодину из славянских земель (1835–1861) // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете. Кн. I: Генварь — Март. М.: Университетская типография.
- Стасов В. В. (1952). Училище правоведения сорок лет тому назад // Стасов В. В. Избранные сочинения. Т. II. М.: Искусство. С. 299–390.
- Старилов Ю. Н. (Сост.). (1999). Российское полицейское (административное) право: конец XIX — начало XX века: Хрестоматия. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та.
- Татищев С. С. (1996). Император Александр II, его жизнь и царствование. Кн. 1. М.: Чарли.
- Тесля А. А. (2014). Первый русский национализм... и другие. М.: Европа.
- Тесля А. А. (2015). «Последний из „отцов“»: биография Ивана Аксакова. СПб.: Владимир Даль.
- Цимбаев Н. И. (1986). Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М.: Изд-во Московского ун-та.
- Чичерин Б. Н. (2010). Воспоминания: Московский университет. Земство и Московская дума. М.: Изд-во им. Сабашниковых.

Шевырев С. П. (Ред.). (1855). Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета, за истекающее столетие, со дня учреждения Января 12-го 1755 года, по день Столетнего юбилея Января 12-го 1855 года, составленный трудами профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году, и расположенный по азбучному порядку. Ч. I. М.: Университетская типография.

Шпилевский М. М. (1875). Полицейское право как самостоятельная отрасль правоведения. Одесса: Типография Ульриха и Шульце.

Янжул И. И. (2002). Основные начала финансовой науки: учение о государственных доходах. М.: Статут.

Vasily Ivanovich Leshkov and His Theory of the "Social Law" as an Attempted Alternative to the "Police Law"

Andrey Teslya

Associate Professor, Pacific National University

Address: Tihookeanskaya str., 136, Khabarovsk, Russian Federation 680035

E-mail: mestr81@gmail.com

University of Moscow Professor Vasily Leshkov constructed a theory of "social law" in the 1850s to provide an alternative theory to "police law". He intended to go beyond the opposition between private and public law. Following German legal scholars, (most notably, The German Historical School of Law, he introduced a triadic distinction of civil, social, and state laws. This distinction enabled him to break the identification of public with political (polis). He described the sphere of "social law" as a "foundation for self-governance". At the same time, Leshkov distinguished between political and non-political publicity, and thus showed the compatibility of self-governance with autocracy. His numerous publications in influential Russian magazines ("Russkiy Vestnik", "Russkaya Beseda", "Den" etc.) indicate the increasing popularity of his views at the end of the 1850–60s. Within the academic system of that time, his ideas belonged to the vague discipline of "police law". This belonging rapidly changed from the early 1870s when the discipline underwent doctrinal and institutional framing. "Police law" became a part of a conceptual model elaborated by Ivan Andreevskiy, whose debates with Leshkov are analyzed in my paper in order to describe their general views. While Andreevskiy's model gained prominence, Leshkov's views gradually became marginalized by the 1890–1910's. The paper describes this process through the analysis of the appropriate teaching materials.

Keywords: public law, political, police law, public, self-governance, private

References

- Andreevsky I. (1871) *Policejskoe pravo. T. 1: Policija bezopasnosti* [Police Law, Vol. 1: Security Police], Saint-Petersburg: Tipografija Ed. Pratza.
- Andreevsky I. (1874) *Policejskoe pravo. T. 1: Vvedenie. Chast' I: Policija bezopasnosti* [Police Law, Vol. 1: Introduction, Part 1: Security Police], Saint-Petersburg: Tipografija Ed. Pratza.
- Belyaevski N. (1915) *Policejskoe pravo (administrativnoe pravo)* [Police Law (Administrative Law)], Petrograd: Ekateringofskoe pechatnoe delo.

- Bestuzhev-Ryumin K. (1872) *Russkaja istorija. T. 1* [Russian History, Vol. 1], Saint-Petersburg: Izdanie D. E. Kozhanchikova.
- Biushkina N. (2011) *Stanovlenie rossijskoj nauki policejskogo prava (XVII vek — 80-e gody XIX veka)* [Russian Science of Police Law in the Making, 1600–1880s]. *Juridicheskaja nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD*, no. 1, pp. 11–14.
- Bunge N. (1869) *Policejskoe pravo: kurs, chitannij v Universitete Sv. Vladimira* [Police Law: Course at the University of Saint Vladimir], Kyiv: Tipografija Imperatorskogo Universiteta Svatogo Vladimira.
- Chicherin B. (2010) *Vospominanija: Moskovskij universitet, Zemstvo i Moskovskaja duma* [Reminiscences: Moscow University, Zemstvo and Moscow Duma] (ed. S. Bahrushin), Moscow: Izdatel'stvo imeni Sabashnikovyh.
- Glasko B. (1914) Leshkov, Vasilij Nikolaevich [Vasilij Nikolaevich Leshkov]. *Russkij biograficheskiy slovar'. T. X: Labzina — Ljashenko* [Russian Biographical Dictionary, Vol. 10: Labzina — Liashenko], Saint-Petersburg: Tipografija Glavnogo Upravlenija Udelov, pp. 364–367.
- Goltsev V. (1881) [Nekrolog V. N. Leshkovu] [V. N. Leshkov, Obituary]. Moscow.
- Janzhul I. (2002) *Osnovnye nachala finansovoj nauki: Uchenie o gosudarstvennyh dohodah* [The Principles of Financial Science: The Doctrine of State Income], Moscow: Statut.
- Kaplin A. (2010) *Predislovie* [Preface]. Leshkov V. *Russkij narod i gosudarstvo* [Russian Nation and State] (eds. A. Kaplin, O. Platonov), Moscow: Institut russkoj civilizacii.
- Klyuchevsky V. (1990) *Sochinenija. T. IX: Materialy raznyh let* [Collected Works, Vol. 9: Writings of Different Years] (ed. V. Yanina), Moscow: Mysl'.
- Kojalovich M. (1997) *Istoriya russkogo samosoznaniya po istoricheskim pamjatnikam i nauchnym sochinenijam* [The History of Russian Self-Consciousness According to Historical Monuments and Scholarly Works], Minsk: Luchi Sofii.
- Kuhn T. (2003) *Struktura nauchnyh revoljucij* [The Structure of Scientific Revolutions], Moscow: AST.
- Leshkov V. (1841) *Istoricheskoe issledovanie nachal nejtraliteta po otnosheniju k morskoj torgovle* [A Historical Study of the Beginning of Neutrality in Relation to Sea Trade], Moscow: Universitetskaja tipografija.
- Leshkov V. (1851) *O drevnej moskovskoj gorodskoj policii: istoricheskie izvestija* [On the Ancient Moscow City Police: Historical News], Moscow.
- Leshkov V. (1858) *Russkij narod i gosudarstvo: istorija russkogo obshhestvennogo prava do XVIII veka* [Russian Nation and State: The History of Russian Public Law before 18th century], Moscow: Universitetskaja tipografija.
- Leshkov V. (1865) *Opty teorii zemstva* [Essay on the Theory of Zemstvo], Moscow: Universitetskaja tipografija.
- Leshkov V. (1868) *Chelovek v oblasti prava* [Man in the System of Law], Moscow: Universitetskaja tipografija.
- Leshkov V. (1872) *O prave samostojatel'nosti kak osnove dlja samoupravlenija* [On the Right of Autonomy as a Foundation of Self-Governance], Moscow: Universitetskaja tipografija.
- Leshkov V. (1873) *Kritika. Policejskoe pravo gospodina Andreevskogo, professora Sankt-Peterburgskogo universiteta. T. 1: Policia bezopasnosti, 1871 goda. Policia blagosostojanija, 1873 goda* [Critical Review. Police Law of Professor of the Saint-Petersburg University Mr. Andreevskij, Vol. 1: Security Police, 1871, Police of Welfare, 1873], Moscow: Universitetskaja tipografija.
- Leshkov V. (1874) *Nasha srednjaja istorija obshhestvennogo prava s Petra Velikogo: ee harakter i razdelenie* [Our Middle History of Public Law from Peter the Great: Its Nature and Differentiation], Moscow: Universitetskaja tipografija.
- Leshkov V. (2004) *Russkij narod i gosudarstvo: istorija russkogo obshhestvennogo prava do XVIII veka* [Russian Nation and State: The History of Russian Public Law before 18th century], Saint-Petersburg: Juridicheskij centr Press.
- Leshkov V. (2010) *Russkij narod i gosudarstvo* [Russian Nation and State] (eds. A. Kaplin, O. Platonov), Moscow: Institut russkoj civilizacii.
- Muromtsev S. (1881) [Nekrolog V. N. Leshkovu] [V. N. Leshkov, Obituary], Moscow.
- Nikitenko A. (1956) *Dnevnik. T. 3: 1866–1877* [Diary, Vol. 3: 1866–1877] (ed. I. Ajzenshtoka), Moscow: GIHL.

- Petrov F. (2003) *Formirovanie sistemy universitetskogo obrazovanija v Rossii. Tom 4: Rossijskie universitety i ljudi 1840-h godov. Chast' I: Professura* [System of University Education in Russia in the Making, Vol. 4: Russian University and People in 1840s. Part I: Academic Professors], Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta.
- Popov N. (ed.) (1879) *Pis'ma k M. N. Pogodinu iz slavjanskih zemel'* (1835–1861) [Letters to M. Pogodin from Slavic Territories]. *Chtenija v Imperatorskom Obshhestve Istorii i Drevnostej Rossijskih pri Moskovskom universitete. Kn. I: Genvar' — Mart* [Readings of the Imperial Historical Society of Russian Antiquity at the Moscow University, Book 1: January — March], Moscow: Universitetskaja tipografija.
- Shevyrev S. (ed.) (1885) *Biograficheskij slovar' professorov i prepodavatelej Imperatorskogo Moskovskogo universiteta. Ch. 1* [Biographical Dictionary of Professors and Lecturers of Imperial Moscow University, Part 1], Moscow: Universitetskaja tipografija.
- Stasov V. (1952) *Uchilishhe pravovedenija sorok let tomu nazad* [The Law College 40 Years Ago]. *Izbrannye sochinenija. T. 2* [Selected Writings, Vol. 2], Moscow: Iskusstvo, pp. 299–390.
- Starilov Y. (ed.) (1999) *Rossijskoe policejskoe (administrativnoe) pravo: konec XIX — nachalo XX veka: Hrestomatija* [Russian Police (Administrative) Law: End of 19th — Beginning of 20th Centuries: A Reader], Voronezh: Izdatel'stvo Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta.
- Tatishchev S. (1996) *Imperator Aleksandr II, ego zhizn' i carstvovanie. Kn. 1* [Emperor Alexander II, His Life and Reign, Vol. 1], Moscow: Charli.
- Teslya A. (2014) *Pervyy russkij nacionalizm... i drugie* [The First Russian Nationalism... and Others], Moscow: Evropa.
- Teslya A. (2015) *"Poslednij iz 'otcov'": biografija Ivana Aksakova* ["The Last of 'Fathers'": Ivan Aksakov's Biography], Saint-Petersburg: Vladimir Dal'.
- Tsimbaev N. (1986) *Slavjanofil'stvo: iz istorii russkoj obshhestvenno-politicheskoy mysli XIX veka* [Slavophilism: From the History of Social and Political Thought of 19 century], Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta.
- Shpilevsky M. (1875) *Policejskoe pravo kak samostojatel'naja otrajstv'ie pravovedenija* [Police Law as a Branch of Legal Studies], Odessa: Tipografija Ulricha i Schultze.
- Vasilenko N. (1904) *O. M. Bodjanskij i ego zaslugi dlja izuchenija Malorossii* [O. M. Bodjansky and His Contribution to the Study of Malorossia], Kyiv: Tipografija Imperatorskogo Universiteta Svatogo Vladimira.
- Vasiliev A. (2012) *Koncepcija obshhestvennogo prava rossijskogo tradicionalizma kak al'ternativa dihotomii prava na chastnoe i publichnoe* [The Concept of Social Law in the Russian Traditionalism as an Alternative to the Dichotomy between Private and Public Law]. *Obshhestvo i pravo*, no. 5, pp. 51–55.

Как работает автоэтнография?

Дмитрий Рогозин

кандидат социологических наук, заведующий

лабораторией методологии федеративных исследований

Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС,

старший научный сотрудник Института социологии РАН

Адрес: пр. Вернадского, д. 82, стр. 1, Москва, Российская Федерация 119571

E-mail: d.rogozin@list.ru

В статье раскрывается современный автоэтнографический подход к социальным исследованиям. Проведен обзор публикаций, вышедших в свет с начала 2000-х гг. Показано, что автоэтнография работает как спланированная, хорошо структурированная и соотнесененная с внешним миром исповедь. Принципиальная авторская открытость, бескомпромиссность в представлении любых деталей личной биографии, имеющих отношение к изучаемому вопросу, отказ от нейтральности и организованного скептицизма (по Мертону) в отношении к объекту исследования составляют основу автобиографического подхода. В статье отражены современные школы, сделан обзор методик и техник автобиографического письма. В западной традиции заметны два направления автоэтнографии: эвокативное, основанное на квир-теории, и аналитическое, продолжающее традиционную работу с концептуальным аппаратом. Первое, эвокативное, направление опирается на метафоры эмоционального, аутентичного и правдивого представления культурных реалий через автобиографический жанр. Второе, аналитическое — поддерживается тремя установками исследования: фактической принадлежностью к изучаемому сообществу, отсутствие недомолвок и непроговоренных, непрописанных деталей этнографической работы, стремлением к теоретическому осмысливанию реальности и отказ от какого-либо аутентичного отображения прошлого. За последние 20–30 лет в России не реализовывались сильные автоэтнографические проекты, претендующие на развитие самостоятельного теоретического языка описания. Исключение составляет лишь так называемая «драматическая социология» Алексеева, примыкающая к квир-идеологии западных коллег. В статье представлен подробный разбор исследовательских инноваций Алексеева, отображен логические и теоретические пересечения с работами зарубежных авторов.

Ключевые слова: автобиография, автоэтнография, биографический метод, драматическая социология, квир-теория, личные нарративы

Современное общество приучает людей не доверять себе, своему опыту. «Мифы и реальность» — одно из частотных начал статей, нацеленных на разоблачение мира повседневности. Вера в специалистов, научное или экспертное знание, объясняющее и задающее «правильные» интерпретации, сложилась не сразу. Столетия потребовались на то, чтобы наука стала восприниматься как объективное, универсальное знание, определяющее правильные и нормальные практики, мысли, суждения. Наука универсальна и внеличностна. Только сфера эмоционального

с трудом укладывается в эти категории и, как следствие, до сих пор плохо встроена в научообразные изыскания. Именно в ней из мемуаров и частных воспоминаний оформилась и окрепла методология автоэтнографических исследований. Как устроена автоэтнографическая работа? Какие методы и приемы востребованы? Что нужно делать, чтобы оказаться в среде автоэтнографов? Каковы последствия от автобиографического письма? Как автобиография становится научным методом? Кто такие биографы собственных судеб и что ими движет в написании развернутых текстов о себе? Почему «нормальность» стала камнем преткновения, а преодоление социальных запретов, задающих границы нормальности, — основным вызовом для развития автоэтнографии? Возможна ли теория в автоэтнографии? Как погружение в историю других сочетается с академическими требованиями к генерализации и обобщениям? Где границы диалога и теории, научного исследования и личной биографии? На все вопросы не ответишь, но удержать хотя бы некоторые из них, постараться найти размышления научных сотрудников, проясняющие методические затруднения или, напротив, усложняющие до того ясные представления, вполне возможно.

Экспансия автоэтнографического подхода

Хотя автобиографии долгое время не включались в корпус надежных исторических источников, они всегда активно использовались в реконструкции событий и фактов прошлого. После развития направлений, связанных с индивидуальными, частными историями, публичными событиями, воспринимаемыми не элитарными группами, а рядовыми гражданами, биографические материалы (дневники, письма, автобиографии, устные рассказы, записанные в ходе интервью, иные личные документы) стали основным материалом для исторических реконструкций. Вера Дубина не случайно упоминает об антропологическом повороте в историческом знании (Завадский, 2014), в основе которого лежит биографический метод. Верно и обратное. Историческая интервенция в антропологические и этнографические науки фактически привела к формированию самостоятельной, теперь уже весьма разветвленной отрасли знания — автоэтнографии, границы которой очерчены в десятках коллективных монографий и сборников (Oakley, Callaway, 1992; Reed-Danahay, 1997; Anderson, 2001; Jolly, 2001; Roth, 2005; Meneley, Young, 2005; Baena, 2007; Muncey, 2010; Sikes, 2013; Short, Turner, Grant, 2013; Boylorn, Orbe, 2013; Wyatt, Adams, 2014; Jones, Adams, Ellis, 2015). В основе автоэтнографии лежит автобиографический метод — самостоятельное и ответственное индивидуальное или коллективное конструирование личной истории (Bruner, 1993; Anderson, 2006, 2012). В свою очередь, систематический анализ личных историй направлен на понимание культурного опыта, накопленного и усвоенного в конкретной социальной среде (Ellis, 2003; Holman Jones, 2005b; Ellis, Adams, Bochner, 2011; Holman Jones, Adams, Ellis, 2013; Denshire, 2014). Автобиографичность последнего создает лич-

ностную, интимную основу для построения аргументации в пользу тех или иных культурных моделей или теоретических объяснительных схем.

Основной поток публикаций, основанных на автоэтнографическом подходе, начинается со второй половины 2000-х гг. и почти удваивается в первой половине 2010-х. До этого мы наблюдаем лишь разрозненные, несвязные тексты (рис. 1). Это объясняется маргинальным характером автобиографических описаний по отношению к привычным, ретуширующим исследователя в тексте (авто)этнографическим размышлениям. Хотя начало автоэтнографических исследований связывают с Чикагской школой, различая первую и вторую волну исследователей (Anderson, 2006; Denshie, 2014), массовый всплеск интереса к автобиографиям проявился лишь в 2000-х гг.

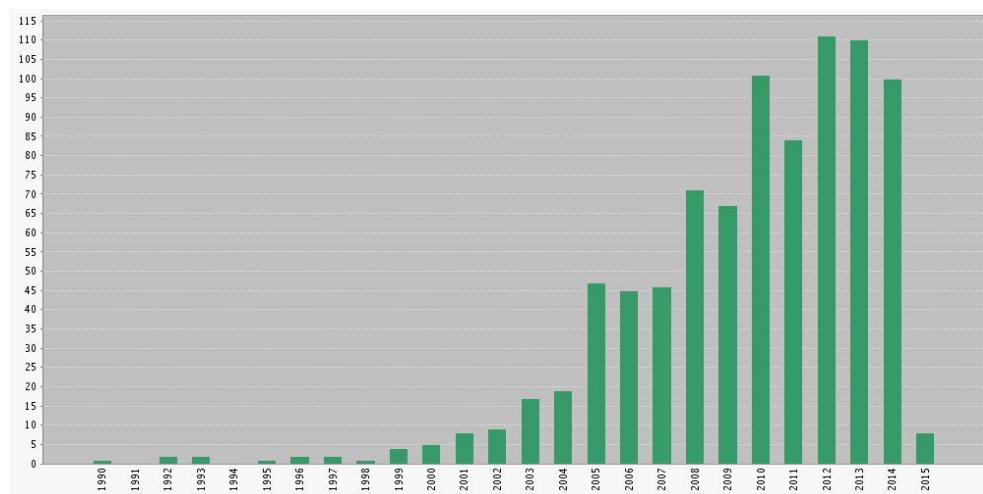


Рис. 1. Количество публикаций, в заглавии, ключевых словах или в аннотации которых встречается словоформа «автобиография» (всего 863 публикации, источник: ISI Web of Science, дата обращения: 21.01.2015)

Распространенность автобиографического и автоэтнографического методов в гуманитарном знании поражает. Исследователи обращаются к ним, чтобы: 1) изучать интимную сферу, формирование и развитие сексуальности во всем разнообразии ее проявления (Adams, 2006, 2011, 2012b; Blinne, 2012; Henderson, 2012; Fox, 2014; McGlotten, 2014; Nordmarken, 2014; Sloane, 2014); 2) наблюдать за формированием идентичности, сопротивлением человека перед давлением общественных норм и устоев, способствовать реализации базовых прав и свобод (Averett, 2009; Eakin, 2008; Yang, 2012; Jones, 2013; Emerald, Carpenter, 2014; Whitinui, 2014; Marschall, 2015; McTavish, 2015), что особенно актуально в традиционных обществах (Rottgerrossler, 1993); 3) понимать природу семейных, родственных и дружеских отношений, помогать людям справиться с трудными жизненными ситуациями.

ями (Holman Jones, 2005a; Chen, 2014; Newbold, Ross et al., 2014; Wyatt, Adams, 2014; Cho, 2015); 4) отказаться от лекционных курсов и перейти к активному обучению, организовать действенную систему оценивания эффективности образования и обратной связи (Warren, 2011; Wilson, 2011; DeMeulenaere, Cann, 2013; Anae, 2014; Cook, 2014; Jahng, 2014; Struthers, 2014; Martin, 2014; McCormack, Vanags, Prior, 2014; Kohn, 2014; Ernst, Vallack, 2015; O'Keeffe, 2015), в том числе для взрослых в рамках непрерывного образования (Sykes, 2014); 5) проводить терапию и оказывать психологическую поддержку людям с ограниченными возможностями, отчаявшимися, испытывающими боль и потерю веры в себя, находящимся при смерти или переживающими смерть близких (Murphy, 1987; Ellis, 1995; Neville-Jan, 2003, 2004, 2005; Nam, 2008; Adams, 2012b; Sealy, 2012; Smith, 2012; Liggins, Kearns, Adams, 2013; Block, Weatherford, 2013; Alexander, 2014; Atkins, 2014; Esposito, 2014; Clifton, 2014; Cockain, 2014; Doschi, 2014; Peterson, 2015); 6) изучать эмоциональную сферу жизни (Ellis, 1991; Wilkins, 1993), 7) профессиональные и тематические увлечения, досуговые практики, творчество и работу в разных сферах занятости (Hayano, 1982; Ouellet, 1994; Sanders, 1999; Anderson, Austin, 2012; Littig, 2013; Lobatto, 2013; Larsen, 2014; Mardones, 2014; Shoemaker, 2014; Peterson, 2015), вплоть до девиантных и криминальных практик, жизни в местах лишения свободы (Ettorre, 2013; Newbold, Ross, Jones et al., 2014; Schingaro, 2014; Ugelvik, 2014; Wakeman, 2014); 8) осознавать сложности и вызовы последних дней жизни, изучать осмысление человеком смерти (Terry, 2012; Riggs, 2014); помогать узникам концлагерей переосмысливать свою судьбу (Rawicki, Ellis, 2011; Ellis, Rawicki, 2013) и т. д. и т. п.

Методология автоэтнографии переплетена с личными судьбами этнографов (идентификация условная, поскольку их можно назвать социологами, психологами, социальными работниками, психотерапевтами, исследователями, научными сотрудниками, список можно продолжить). В ней нельзя выделить линейные, методические схемы, разложить на этапы и приемы аналитической работы. Нельзя сказать хоть что-то внятное без включения жизненных историй, переживаний авторов и участников автобиографических описаний. Задача настоящей статьи — показать работу автоэтнографии как инструмента проблематизации знакомого и личного не через объективирующие практики наблюдения за другим, а посредством еще большей субъективации, интроспекции личных чувств, эмоций, переживаний. Поэтому наряду со схематическими описаниями автобиографических методов и приемов позвольте представить несколько кратких биографических сюжетов, связанных с их авторами. Через последние, надеюсь, станет понятным методологическое напряжение автоэтнографии и особая ее чувствительность к эмоциональной сфере повседневной жизни.

Тони Адамс

Доцент факультета коммуникации, медиа и театра Северо-Восточного университета штата Иллинойс. Изучает гендерные отношения, в частности особенности формирования гомосексуальной идентичности.

Отношения с отцом — одни из центральных в судьбе Тони Адамса (Adams, 2006; 2012b). В мае 2003 года Тони позвонил отец: «И звенящим от нервного смеха голоса спросил, не гей ли он часом, мол, слышал дурацкую шутку и...». Тони прервал отрицанием. Отец радостно вздохнул. А через какое-то время сын перезвонил и признался, что живет с парнем. Позвонить отцу уговорил тот самый парень, Бретт, который был тогда рядом. Потом отец признался Тони, что ему было ужасно тяжело услышать о том, что сын — гей, но потом это дало силы принять ситуацию, уйти от череды личных домыслов, ухмылок знакомых, неприятных сомнений и догадок. Это был правильный поступок — сказать правду, поделиться своей жизнью с близким человеком, сделать явной наиболее важную для себя часть жизни. В этом основа автоэтнографии, поэтому история об отце и партнере открывает методологические размышления о жизненных историях и... квир-теории, связь которой с автоэтнографией будет показана ниже (Holman Jones, Adams, 2010b: 143–146). Быть геем непросто даже в толерантном западном обществе. Слишком много вопросов, подозрительности и предубеждения:

«— Вы верите в Иисуса? — спрашивает меня каждый год какой-нибудь студент.

— Я верю в то, что нужно быть хорошим человеком, — отвечаю я. — Я стараюсь уважительно относиться к каждому. Я стараюсь не лгать, не обманывать, не причинять боль другим.

— Но находите ли вы, что гомосексуальность, ваш образ жизни — это грех? — уточняет другой.

— Я нахожу, что невозможно разделить образ жизни, грех, от человека, согрешившего, — говорю я. — Я считаю коммуникацию конститутивной. Человек есть то, что он говорит и делает, человек — это его опыт и его верования. Следовательно, называть гомосексуальность, мой стиль жизни, грехом — это то же самое, что называть меня, мое присутствие греховным. Я ценю любовь, любую сторону любви, разделяемую совместно. Для любви не важны раса, класс, возраст, пол, способности или гендер.

— Да, но что будет, если вы не попадете в рай?

— Все, что я знаю, — это мои попытки быть по возможности хорошим человеком.

— У вас это получается, особенно в аудитории, — говорит кто-нибудь еще. — Но для меня трудно поверить, что вы не христианин и не проповедуете учение Иисуса.

— Я могу сказать вам, что я — христианин и проповедую учение Иисуса и что я нахожу гомосексуальность грехом, если вы хотите это услышать, — отвечаю я. — Но я также ценю наши отношения и в этом разговоре, честность. Я не хочу вам лгать» (Holman Jones, Adams, 2010a: 149).

Не поиск истины, а попытка удержать искренность в разговоре, несмотря на соблазны прекратить общение, встать в позицию конфронтации, конфликта — это не только часть теории, но и практика, основа нарративной этики (Harrison, Lyon, 1993; Adams, 2008, 2013). Автоэтнография перформативна. Она не только описывает, но и формирует коммуникативную реальность.

В марте 2006 года Тони позвонили сообщить о смерти его экс-партнера Бретта. Диабет или самоубийство — так и осталось до конца не ясным. До этого уже было несколько попыток самоубийства и сложные отношения с отцом, попытки все сохранить в тайне. Тони посвящает эпилог и пролог своей книги Бретту (Adams, 2011), по-новому интерпретируя важность автобиографического письма для снятия боли, понимания происходящего, продолжения работы, наконец, жизни. С Бреттом все было непросто. Его чрезмерная независимость, признание в изменениях, уходы — все это надо было как-то пережить (Adams, 2011: 15), что стало гораздо легче с возможностью писать биографию.

Автобиографическая терапия помогает не только пишущему, но и читающему, находящему личные смыслы, мотивы, переживания в текстах другого:

«Автобиографические записи не помогают полностью преодолеть или принять растерянность, боль, раздражение или неопределенность. По отношению к Бретту я продолжаю жить с болью и растерянностью. Вспоминаю его почти каждый день, и отнюдь не только счастливые и радостные моменты, но сложное время раздоров, непонимания и развода. Уверен, что никогда не примирюсь с его смертью, не важно, сколько и как я буду об этом писать. Тамас делится подобными наблюдениями о том, что боль утраты нельзя легко преодолеть, принятие ситуации — это намного больше, чем просто линейный, прогнозируемый и реализуемый процесс» (Tamas, 2011).

«Я всего лишь подчеркиваю, что занятие автоэтнографией может помочь управлять болью и растерянностью, злостью и неопределенностью, влечением и потерей; это может помочь нам как писателям и деятелям описывать и задавать вопросы о горе, разрушении и/или о каком-либо сложном опыте» (Adams, 2012а: 184).

Автобиография укоренена в повседневных практиках. Поиск автобиографических методов — это внимательное отношение к востребованным и в обиходе применяемым интимным техникам воспроизведения идентичности, попыткам понять себя и свое окружение. Единственное требование — это навык письма, умение отдаваться стихии письменного текста. Если приходит желание писать, от исследователя требуется не прислушиваться к себе, своим переживаниям, эмоциям, разочарованиям, устремлениям, а сразу представлять их в тексте, позволяя эмоциям проявлять себя в словах и выражениях. Так сливаются воедино исследовательский, терапевтический и гуманистический эффекты автоэтнографии.

Методические приемы

Один из наиболее авторитетных обзоров автоэтнографического метода написан Каролин Эллис, Тони Адамсом и Артуром Бочнером (Ellis, Adams, Bochner, 2010). Первоначально опубликованный на немецком языке, он трижды перепечатан в ведущих англоязычных изданиях, из которых сейджевский (SAGE) четырехтомник под редакцией Пэт Сайкс (Sikes, 2013) на годы канонизировал их работу в качестве наиболее значимого теоретического и методологического экскурса в автоэтнографическую и автобиографическую проблематику.

Основная задача, с которой успешно справились авторы обзора, — представить сложность и комплексность методического арсенала для автобиографического изложения. Очевидное и непроблематизируемое для здравого смысла описание жизненного опыта, пересказ прошлых событий, воспоминания и суждения о личных достижениях и неудачах в изложении К. Эллис, Т. Адамса и А. Бочнера предстают в разнообразных методических подходах, несущих уникальные ограничения и возможности для интерпретации получаемого нарратива. Авторы выделяют девять возможных форм автоэтнографического исследования, в которых автобиография становится фундаментом для конструирования прошлого: аборигенная и нарративная этнография, рефлексивное диадное интервью, рефлексивная этнография, многослойные учетные записи, интерактивное интервью, коллективная этнография, совместно конструируемые нарративы и, наконец, личные нарративы (рис. 2).

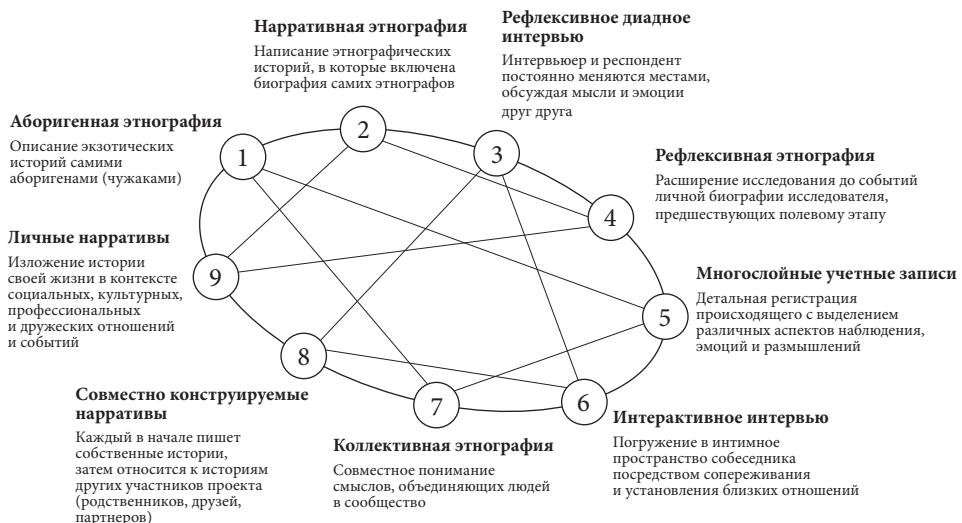


Рис. 2. Формы автоэтнографии, по К. Эллис, Т. Адамсу и А. Бочнеру (Ellis, Adams, Bochner, 2011; Adams, Ellis, 2012: 202–204)

Диктат биографического изложения подготовленных для этого летописцев нарушается в автоэтнографии пониманием того, что этнографами могут стать изучаемые люди, изменив свой статус с объекта на субъект исследования (Bagnoli, 2004). Аборигенная этнография — это де-объективизация этнографического проекта, в котором жизненные истории рассказываются и фиксируются самими аборигенами. Исследователь выступает лишь сборщиком, архиватором и систематизатором биографического материала, стараясь минимизировать свое вмешательство в его создание и структурирование. Обозначим это направление первым блоком автоэтнографического исследования (метод 1–5–7, рис. 2).

Задокументировать нормативным образом невмешательство в биографическое письмо — наивное заблуждение классиков этнографии, связанное с первыми попытками преодолеть доминирующую позицию белого, образованного, с хорошим (относительно информантов) достатком исследователя. Столкнувшись с непреодолимыми затруднениями для достижения нейтрального представления жизненных рассказов другого, Эллис, Адамс и Бочнер предлагают заменить нормативный подход на архивный. В последнем от исследователя требуется лишь фиксация происходящего, детальная регистрация событий, фактов, личных эмоций и впечатлений, сопровождающих исследование. Многослойные учетные записи выступают своеобразным гарантом качества автобиографического проекта, поскольку раскрывают особенности взаимодействия в ходе конструирования биографии.

Не менее серьезной опасностью для валидности аборигенной автоэтнографии становятся особые отношения, устанавливаемые между исследуемым и исследователем. Доверие и сопереживание не только создают атмосферу включенной беседы, но и значительно смещают понимание в сторону разделяемой собеседниками интерпретации происходящего. Коллективная этнография, практикуемая как совместное письмо, разнородные интерпретации событий, с точки зрения многих участников, не только выступающих свидетелями, но и берущими на себя роль авторов исследовательских текстов, позволяют преодолеть эту проблему (см. ниже о совместно конструируемых нарративах). Так, аборигенная этнография вкупе с многослойными учетными записями и коллективными этнографическими практиками создает основу для автоэтнографического проекта, преодолевающего за- силье объективирующего исследовательского дискурса.

Второй блок автоэтнографических форм, предложенных Эллис, Адамсом и Бочнером, относится к нарративному анализу биографий (метод 2–4–9, рис. 2). Прежде всего это нарративная этнография (Block, Weatherford, 2013; Henson, 2013), которая охватывает жизненные истории всех участников исследовательского проекта: ключевых информантов, случайных свидетелей, прохожих, представителей экспертного сообщества и самих этнографов. Нарративная этнография держится на утверждении, что в жизни нет ничего случайного, любые биографические конфигурации, стечения обстоятельств или минутные встречи могут играть важную роль в конструировании понимания культурных и социальных феноменов. Отсечение шума и выделение важных элементов личностного опыта нельзя доверять

какому-либо этапу исследования. Следует постоянно возвращаться к прошлым событиям, интерпретируя и видоизменяя их исходя из приобретенного на данный момент опыта.

Следование правилу тотальной фиксации значимых событий, независимо от осознаваемой их уместности или неуместности текущему описанию, отражает специфику рефлексивной этнографии (Hamati-Ataya, 2013). Мы не можем гарантировать, что через какое-то время помеченные в качестве нерелевантных события не окажутся важнейшим ключом к пониманию происходящего. Основной критерий регистрации биографических нарративов — это их целостность и законченность, возможность пересказать какому-либо стороннему участнику в качестве поучительной истории, анекдота, забавного или трагичного случая. Наибольший интерес в этом наборе представляют знаковые истории, переломные моменты судьбы, когда понимание происходящего достигает наивысшей точки (*epiphanies*). Порой выражаясь в экзистенциальных внутренних кризисах или сильных потрясениях, вызванных внешними обстоятельствами, такие переломные моменты создают контекст для дальнейших интерпретаций биографии (Bochner, Ellis, 1992; Goodall, 2001; Denzin, 2014). Исследователь связывает свое прошлое с исследованием, приводя аргументы, старается раскрыть их биографическую основу, тем самым снимая недомолвки и ложные толкования происходящего или написанного. Рефлексивная этнография радикально расширяет границы исследования, что ведет к доминированию личных нарративов над объективированными объяснительными схемами, сближает научный и поэтический тексты.

Третий блок автоэтнографических форм относится к интервьюированию. Хорошо выполненная автобиография нуждается в собеседнике (метод 3–6–8, рис 2). Рассказывая о себе, очень трудно удержаться от соблазна уйти в детали, не споткнуться на каких-то событиях, не устать и не потерять интерес к дальнейшему изложению. Интервьюер становится инструментом для активизации внимания. Он обозначает трудные места, подталкивает к построению аргументации, содействует формированию связного и объясненного в нарративе прошлого. Эллис, Адамс и Бочнер упоминают о двух типах интервью: рефлексивном диадном и интерактивном. В первом — собеседники постоянно меняются ролями. Личные истории интервьюера не менее важны в разговоре, чем истории респондента. Они создают контекст понимания, формируют диадный нарратив, раскрывающий особенности конструируемого в интервью прошлого. В свою очередь, второе, интерактивное интервью направлено на формирование доверительного пространства. Даже профессиональные и экспертные области требуют для корректной интерпретации включения более широкого биографического контекста. В интерактивном эмптическом интервью автобиографический метод начинает работать только через соединение интимного и приватного с социальным и публичным. Создавая терапевтический эффект (Kiesinger, 2002; Holman Jones, Adams, 2014: 102), сохраняя и оберегая нарративную целостность жизни, исследователь активно участвует в разрушении искусственного деления жизни на отдельные сегменты: работу, учебу,

семью, отдых и т. д. Любые внешние, навязанные социальными нормами суждения подвергаются сомнению, регистрируются и описываются как внешние категориальные схемы.

Совместно конструируемые нарративы — это предельная форма автобиографического интервьюирования, в которой участники коммуникации не только обмениваются устными или письменными репликами, но и включаются в редактирование и дописывание реплик собеседника. Важнейшие места сохраняют авторский стиль, но блоки, формирующиеся в ходе беседы (актуальной или отложенной во времени), уже не могут быть отнесены к авторству какого-либо участника и представляют коллективный нарратив.

До 2000-х годов личные истории, автоэтнографическая работа понималась как занятие одиночек. Представлялось, что само название требует развития исключительно индивидуального мастерства. Однако сперва робко, затем вполне обыденно и прозаично в научных публикациях начали предлагаться описания коллективной и колаборативной автобиографии и автоэтнографии (Ngunjiri, Hernandez, Chang, 2010; Cann, DeMeulenaere, 2012; Chang, Ngunjiri, Hernandez, 2012; Chang, 2013; Griffin, 2014; Wyatt, Adams, 2014; Martinez, Merlini, 2014; Pensoneau-Conway, Bolen et al., 2014; Zapata-Sepulveda et al., 2014). Кэролин Эллис во введении к монографии, посвященной методике автоэтнографической работы, описывает свой опыт коллективного письма:

«Наиболее впечатляющим стало то, как они (соавторы) смоделировали совместное написание текстов. Они сказали мне: «Нам не нужен литературный редактор. Просто изменяй то, что считаешь нужным». Вначале меня это беспокоило, но я включилась, и мы свободно редактировали друг друга много раз. В результате, я считаю, получился интегрированный текст, прекрасно отражающий три голоса» (Adams, Jones, Ellis, 2014: ix).

Тони Адамс, Стеси Джонс и Кэролин Эллис подчеркивают важность полифонии и разнородных, разнонаправленных повествовательных потоков. С точки зрения содержания это выражается в перемешивании личного опыта и культурных установок, практик, событий; в сопоставлении опыта исследователей и исследуемых; в балансировании между интеллектуальным и эмоциональным,енным и желаемым. С точки зрения формы — в особом акценте на примечаниях и сносках, выделении индивидуальных авторских фрагментов, которые несут самостоятельные, подчас более точные и уместные смыслы, позволяют не только раскрыть основное содержание, но и сохранить полноту и полифоничность текста.

Описание этнографических форм и приемов было бы невозможно без этнографического наблюдения за этнографической работой, своеобразной этнографии второго порядка (в терминологии Щюца) (Anderson, 2006: 381), или метаэтнографии, как ее называет К. Эллис (Ellis, 2008: 13; Sutton-Brown, 2010: 1306). Возвращение и пересмотр проделанной автоэтнографической работы, осмысление прошлых аргументов становится частью ремесла этнографов и особым механизмом,

позволяющим выявлять и описывать методологию и методику исследования. Так, за одной монографией (Ellis, 2003) следует другая (Ellis, 2008), критикующая, анализирующая, оберегающая от забвения результаты первой.

Хиван Чанг, рассуждая о методологии автоэтнографического исследования, подчеркивает двойственность этого проекта. С одной стороны, его можно определить как сверхиндивидуальное и личностное предприятие, с другой — как сверхсоциальное, требующее не только рассмотрения широкого культурно-исторического контекста, но и подбора для его реализации порой весьма многочисленной исследовательской команды (Chang, 2013: 107). Х. Чанг выделяет четыре этапа автоэтнографического исследования: 1) принятие решения о предмете и методе, 2) подбор материала, 3) осмысление найденного и 4) написание этнографического текста (рис. 3).

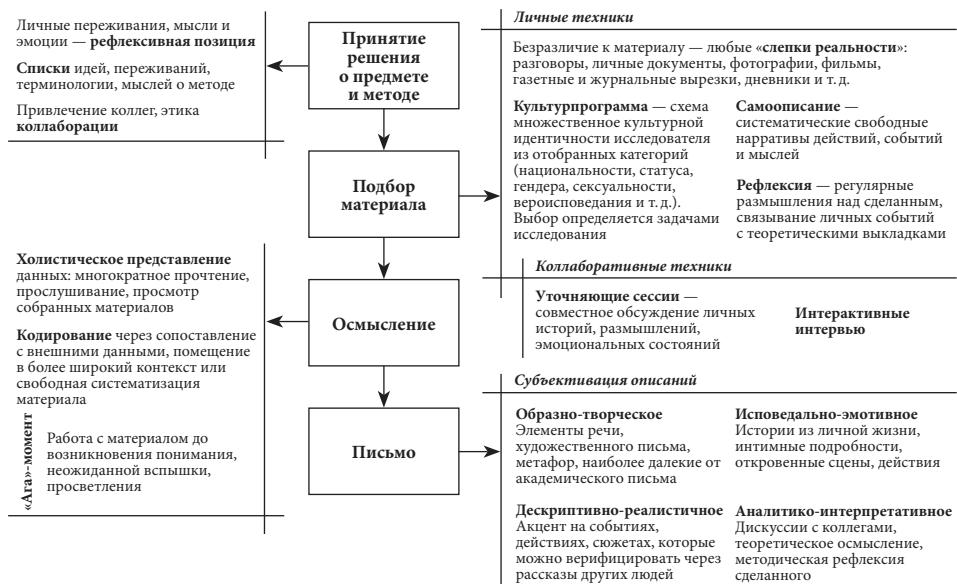


Рис. 3. Этапы автоэтнографического исследования, построенные по Хиван Чанг (Chang, 2013)

Попытавшись придать методическим размышлениям классический линейный вид, Х. Чанг завершает публикацию заявлением об искусственности такой последовательности (Chang, 2013: 117). В действительности исследователь намного свободнее в принятии решений и выборе методических приемов, не говоря уже о проектировании своей активности и приписывании ей того или иного этапа (Chang, 2008). Линейность изложения скорее задается необходимостью структурировать методические приемы, придать тексту логическую завершенность и непротиворечивость. В реальном исследовательском проекте достижение такой однозначности не часто, и скорее может быть отнесено к удаче, счастливому случаю, нежели

закономерному последствуию от правильно построенной исследовательской стратегии. Понимание ситуации становится гораздо важнее процедур, приводящих к нему. Х. Чанг называет состояние такого понимания «ага-моментом», когда все встает на свои места, а чувство неудовлетворенности и беспомощности сменяется на эйфорию и ликовение от неожиданно сложившегося пазла. Важно ухватить, не упустить этот момент и вовремя связать системообразующую идею с плодами многодневного труда по разбору собранного материала, кодированию и составлению объяснительных схем.

«Аналитический процесс раскрытия и группировки данных — лишь способ приблизиться к пониманию (meaning-making), но никак не может заменить его. Понимание — это все равно что рассматривание отдельных фрагментов данных на некотором фоне и осознание смысла последних как в отношении других фрагментов, так и более широкого контекста. Для понимания также необходимо представление о том, как данные связаны с реалиями участников исследовательского проекта, других людей со схожим опытом. Для осмыслиения на первый взгляд несвязанных данных исследователь должен отстраниться от деталей и увидеть более широкую картину, услышать полутона, ощутить запах, которые упакованы в данных. Читая чужие работы, вновь и вновь просматривая записи, прибегая к интуиции для того, чтобы из воздуха получить нечто и представить, что оно значит, исследователь достигает „ага-момента“, когда начинает видеть контуры данных, которых не было до этого, соединять разрозненные ранее фрагменты» (Chang, 2013: 116).

Из отмеченных Эллис, Адамсом и Бочнер девятыми форм автоэтнографии (см. рис. 2) Чанг явно называет лишь одну — интерактивное интервью. Еще две можно сопоставить по контексту. Уточняющие сессии Чанг вполне соотносятся с коллективной этнографией как одна из ее форм, а техники самоописания, рефлексии и составление культурограммы — с рефлексивной этнографией и многослойными учетными записями (см. рис. 2 и 3). Но в отличие от предыдущих авторов, Чанг определяет эти подходы лишь как часть исследовательского проекта, направленного на сбор материала. Автоэтнография вовсе не заканчивается на хорошо спланированном и реализованном автобиографическом нарративе. Не менее важная и очень сложная формализуемая задача — их анализ и корректное представление (Anderson, 2006). Поэтому осмысление и написание этнографического текста должно подвергаться не меньшей рефлексии, чем фиксация автобиографии.

Стеси Холман Джонс

Пронзительные голубые глаза, открытая улыбка, удивительный голос. Поразительно, но в эпоху интернета кажется, что трудно увидеть, услышать, почувствовать человека из другого поколения, континента, из другой жизни.

Профессор факультета коммуникативных исследований Калифорнийского университета в Нортридже (Department of Communication Study, California State

University at Northridge). Три диссертации по смежным дисциплинам: распределенные исследования (программа обучения построена на границах дисциплин, *distributed studies*), коммуникативные исследования (*communication studies*), разговорная коммуникация (*speech communication*). Бакалаврская — 1988 год, Университет штата Айова; магистерская — 1996 год, Калифорнийский университет в Сакраменто; докторская — 2001-й в Техасском университете в Остине.

Разработала, читала или читает курсы в магистратуре по этнографии коммуникации, истории и теории коммуникации, перформативному искусству, перформативному социальному сопротивлению, качественному интервью; в бакалавриате — «Коммуникация, гендер и идентичность», «Поэтический перформанс», «Риторика социальных изменений», «Письмо как перформанс». Состоит в редакционных советах четырех респектабельных академических журналов: «*Kaleidoscope: A Graduate Journal of Qualitative Communication Research*» (с 2002), «*Liminalities*» (с 2005), «*Text and Performance Quarterly*» (с 2005), «*Women and Language*» (с 2010). Участник и координатор десятков инсталляций и арт-событий. Отсюда и курсы по перформансам. Все рассказы от первого лица, непосредственного участника, организатора, свидетеля.

Бабушку С. Холман Джонс звали Бернис. Ее и старшего брата взяли приемные родители, когда она была совсем еще малышкой. А младшего, Джима, усыновили в другой семье. Она нашла его потом, когда повзросла. Бедовый, всегда нуждался в деньгах, в новом месте, новой семье. Бернис ему помогала, пока не потеряла из виду. Ее отец жил в маленьком городке в штате Айова. Бабушка хотела увидеться, познакомить с мужем, рассказать, что понимает его отказ от троих детей, когда «жена любила виски больше, чем своих чад». Но муж отказался поехать. Для нее было важно знать отца и знать, откуда она, кто она. Стеси бесплодна, поэтому рассказ о приемных детях — это не только история ее бабушки. Это и ее жизнь, частичка которой стала необходимой для понимания, исследования состояния и последствий усыновления, удочерения (Holman Jones, 2005). Научная работа, защита диссертации, переезды, написание текстов — все связано с постоянным вопросом к себе и врачам о возможной беременности. Попытки, поиски решений, помощи. Многочисленные физиологические тесты не выявили никаких отклонений. Приятие наркотиков, по совету одного из докторов. В 35 она решается на приемного ребенка, девочку-кореянку... Долгая переписка с социальными работниками. В результате берет в семью мальчика...

Стеси — специалист по квир-теории, существенно расширяющий границы квира. Не обязательно обращаться к телесности, чтобы ощущать свою непохожесть, ненормальность, внеобыденность:

«Я считаю себя автоэтнографом, постановщиком, писателем и критическим интеллектуалом. Моя работа включает квир-теорию, но квир — не центральная тема работы или моей профессиональной идентичности. Опыт — основа моей работы. Если я отношусь к квир-сообществу, я знаю квир-теорию, пра-

вильно? Как посмотреть, я принимаю обе опции: мой опыт — квир-теория, а квир-теория — это я. Выбираю критическую вовлеченность — в текст и в мир — в центре и на периферии, в опыте и теории» (Holman Jones, Adams, 2010a: 136).

По мнению большинства автоэтнографов, поэтический язык точнее передает незавершенность, неясность, неопределенность ситуации (Nanauer, 2012). Отсюда многочисленные метафоры и фигуры речи в текстах С. Холман Джонс, скорее подталкивающие к размышлению, нежели предлагающие законченную концептуальную схему. Личная жизнь как ключ к пониманию социального, прикосновение к общему, через интимное переживание, фиксацию опыта и сравнение себя с миром других.

Автоэтнография — это квир

Не раз подчеркивалась радикальная субъективность биографического поворота в гуманитарном знании (Neumann, 1996: 189). Написание мемуаров и фиксация для потомков истории повседневности — лишь первый шаг к легитимации автобиографического письма. Далее следуют размышления об идентичности, конструировании настоящего через прошлое, анализ культурных паттернов и норм (Reed-Danahay, 1997; Ellis, Bochner, 2000). Так автобиография становится автоэтнографией, или осмысленной и отрефлексированной индивидуальной оптикой на социальное и культурное окружение. Радикализм заключается не только в отсутствии стремления к универсальности заключений, но и в фиксации любых общих, оторванных от контекста высказываний как нерелевантных, невалидных текущему исследованию. Более того, автоэтнография в неменьшей мере есть манифестация своего места в мире и через этот манифест утверждение легитимности разнообразия (Adams, Holman Jones, 2011: 109). «Написание автобиографических текстов изменяет мир», — пишет Стеси Холман Джонс (Holman Jones, 2005b: 765), а исследователь становится «агентом этих изменений» (Denzin, 2003: 237). Возможно, этим биографический метод привлек внимание исследователей нетрадиционной ориентации. Из всех методологических подходов и школ биографический метод наиболее часто развивается людьми, нарушающими традиционный социальный уклад, отказывающимися от участия в «нормальном» течении жизни. Описание жизненных историй, автобиографических заметок и размышлений позволяет открывать свой мир другим, становиться видимым, а значит, понятным и осмысленным в текущем социальном контексте (Plammer, 2005). Автобиография — одновременно мотивация к действию и само действие по конституированию личной идентичности (Smith, 2005), актуализации значимости выбранного пути:

«Вопрошающая автоэтнография, квир-теория и рефлексивность открывают пути, которые мы — как учителя, писатели, исследователи, активисты и люди — пытаемся документировать, описывать или освещать, ослабляя

разрушительные социальные практики, случаи насилия и попытки утверждения желаемой „нормальности“. Например, вскоре после того, как мы поделились автобиографическими описаниями со студентами, они стали приходить к нам в офис и делиться как собственными историями о лесбийском, гомосексуальном или свинг-опыте, так и страхами от самой возможности их изучения. „Я ни к кому не смогу подойти с этим“, — сказал один; „мои родители отрекутся от меня“, — вторила другая; „ваша работа позволяет мне проводить исследования и писать о них“, — сказала третья; „я опасался проявлять инициативу в исследовании, я думал, что слишком мало знаю, что для начала мне нужно поработать, но теперь я вижу, что могу откинуть эти опасения и пойти на риск“. Автоэтнографичность означает раскрытие политизированных, практических и культурных историй, которые вызывают отклик у других и мотивируют их к рассказу собственных, создают общность, возможности совместного переживания в рассказе. Квир — это возможность говорить о ситуациях жестокости, исправлять мир одного человека, семьи, студенческой группы... Рефлексивность — значит способность слушать то, что замалчивается, воспринимать истории, которые мы не можем рассказывать, — неполные, неясные, незаконченные; возвращаться снова и снова к тому, что сложно понять сразу» (Adams, Holman Jones, 2011: 111–112).

Тони Адамс и Стеси Холман Джонс утверждают, что автоэтнография — это квир, а биографический метод может быть адекватно осмыслен лишь в рамках квир-теории (Adams, Holman Jones, 2008; Holman Jones, Adams, 2010b), которая, в свою очередь, чаще всего описывается в жанре «радикальной автобиографии» (Hall, Jagose, 2012; Wilchins, 2014). Речь идет не только о гомосексуалистах, трансексуалах, трансвеститах, ЛГБТ-активистах и т. д., но и о любой манифестации иного, отличного от доминирующего в обществе отношения к себе, своему телу, окружению. Квир-теория в таком толковании — это концептуальное описание поведенческого разнообразия, поэтому ключевыми понятиями выбираются текучесть, неустойчивость, подвижность и свободный выбор во всех без исключения аспектах жизнедеятельности. Автоэтнография — «это инструмент транзитивности»:

«Вместо того чтобы соглашаться или отрицать какие-то положения, принимать решения о форме, субъекте, цели и ценности автоэтнографии раз и навсегда, мы, вслед за Сандовал (Sandoval, 2000: 184), провозглашаем „дифференциальную“ методологию, нацеленную на тактические шаги и помогающую осмыслить изменения в фундаментальных основаниях жизни, знаний и действий в нашем мире» (Adams, Holman Jones, 2008: 378).

В такой интерпретации биографический метод перестает рассматриваться как набор подходов к проведению интервью, написанию мемуаров или сбору сведений о прошлом, а автобиография — как всего лишь один из разнообразных приемов, позволяющих актуализировать воспоминания. Автобиография — это оптика рассмотрения социального, широкая методологическая рамка, определяющая

согласование внешних событий и внутренних переживаний. Автобиография — не частный метод, а методология (Gingrich-Philbrook, 2005: 298; Adams, Holman Jones, 2008: 375), что позволяет говорить об автобиографической школе, или направлении (в куновском понимании).

Адамс и Холман Джонс выделяют три особенности автоэтнографического исследования, которые сближают его с квир-традицией, позволяют говорить о квирной автоэтнографии: 1) понятийная неопределенность и концептуальная эластичность, невозможность построения концептуальной картины мира, фиксации жизни в наборе схем; 2) идентичность как достижение, формирование себя, преодоление доминирования общего, нормативного, надындивидуального; 3) политика соглашений, формирование социального через понимание индивидуального, телесного, личностного (рис. 4).



Рис. 4. Квирная автоэтнография по Т. Адамсу и С. Холман Джонс

В квир-традиции автоэтнография — это инструмент формирования и поддержания мировоззрения. Когда идентичность эластична, трансформируется, не ограничена теми или иными рамками, нет иного способа удержания себя, чем постоянное воспроизведение согласованных с другими представлений о настоящем и прошлом. Адамс и Холман Джонс подчеркивают ошибочность связывания квир-теории с конструктивизмом (Adams, Holman Jones, 2008: 381). Противопоставление примордиального и конструируемого, по мнению сторонников квир-теории, создает напряжение там, где нет ни жизни, ни смысла. Незачем проводить различия между историями и теорией, эмоциями и объяснениями, поиском и представлением, эстетикой и знанием. Нужно лишь принять описание предлагающее стройную историю, которая и есть теория (Holman Jones, Adams, 2010a: 137). Лишь теорию прочного концептуального каркаса, дать жизнь рассказу о жизни — девиз автоэтнографии.

На первый взгляд подобная словесная эквилибристика запутывает, мешает со- средоточиться, лишает возможности систематизации и обобщения. Допустим так. Но достаточно отказаться от привычных понятийных конструкций, чтобы увидеть красоту, изящество и проницательность квир-теоретиков. Всерьез говорить о недостижимом — дано не каждому.

Андрей Николаевич Алексеев

С Андреем Николаевичем я познакомился на первых или вторых Голофастовских чтениях в Петербурге. На фуршете все балагурили, подходили, обменивались репликами, только он сидел в сторонке с бокалом вина, а может, и сока (сейчас уже не помню), один. Смотрел и улыбался. Такой цепкий и одновременно добрый взгляд, фотографический. Я подошел, разговорились. Напросился на подарок — тогда только что вышедший последний том (Алексеев, 2005b) четырехтомника по драматической социологии...

Андрей Николаевич родился в 1934-м в Ленинграде, в 1956-м окончил филологический факультет Ленинградского университета, в 1970-м защитил кандидатскую диссертацию в Новосибирском университете. В начале 1960-х работал вальцовщиком и электролизником, в 1980-х — станочником-наладчиком. Дважды уходил в рабочую среду, не ради экзотики или романтических ожиданий, а чтобы «познать „вкус собственной правоты“ не снаружи, а изнутри бригад коммунистического труда» в 1960-х, «изучать производственную жизнь изнутри», быть ее частью (Алексеев, 1997). Хотя позднее А. Н. Алексеев напишет, что исследовательский мотив был для него скорее идеологическим прикрытием, «а под ним, в личностном ядре — тот же кризис профессиональной и — шире — беловоротничковой идентификации, ну и поиск новизны, может быть, авантюризм, достаточно позднее (в 1980-м мне было как-никак 46) самоиспытание, пожалуй» (Докторов, 2014а). Поиск и понимание себя, а через это постижение социальных реалий — основной мотив экспериментальной активности и теоретических интуиций Алексеева, сближающий его с представителями квир-традиции. Быть другим, развивать и оберегать личные убеждения, стиль мышления и письма, представлять в предельной искренности и открытости свои доводы возможным собеседникам, без скидки на должность, социальный статус, возраст и пол — в этом и заключается автобиографическая методология современных квир-теоретиков. Интимность может быть обнаружена не только в личной, приватной жизни, что и нашло отражение в «драматической социологии»:

«В нашем случае исследователю важно было не столько узнать какую-либо деталь личной биографии своих новых товарищей, отдельное мнение и т. д., сколько уловить общую атмосферу, настроение коллектива, отношение к труду, выраженное в поступках, а не в словесных заявлениях, и т. п. „Скрытая камера“ социолога, как нам представляется, направлена не на отдельного человека, она не посягает на его „интим“». Другое дело — „интим“ группы, кол-

лектива. Но это то, что люди считают возможным обнаруживать друг перед другом в процессе труда и досуга, что, если и скрыто, то не от того, кто разделяет с ними этот труд и досуг» (Алексеев, 2005b: 169).

В традиции автобиографического письма все перипетии судьбы, переписка, методические штудии А. Н. Алексеева изложены в его публикациях (Алексеев, 2003a, 2003b, 2005a, 2005b; 2007, 2012a, 2012b, 2012c; Алексеев, Ленчовский, 2010). Компактная навигация прошлого опыта представлена в двухчастном интервью с Б. З. Докторовым (Докторов, 2014a, 2014b), а текущая активность, после увольнения из Социологического института РАН, отражена на сайте Когита.ру, где Андрей Николаевич ведет практически ежедневный блог, размещая все материалы, попадающие в фокус его внимания. Отчетно-ориентированная активность социологических институтов РАН за эти годы как никогда приблизилась к фарсу, потому массовый исход профессионалов из этих бюджетных учреждений вполне объясним и понятен. В свою очередь, самостоятельная, без оглядки на директивы, планы и отчеты деятельность Алексеева хорошо сочетается с его неизменным стилем независимого, самостоятельно определяющего профессиональные цели и задачи исследователя.

Драматическая социология?

А. Н. Алексеев никогда не относил свою работу к автоэтнографии. Скорее всего, не читал соответствующие работы, не мыслил себя, свои исследования в одной традиции, например, с работами Тони Адамса или Стеси Холман Джонс. Здесь я допускаю сильный волонтеризм, и в отличие от отечественных научных сотрудников¹, напрямую связываю теоретические, методические и прагматические построения Андрея Николаевича с автоэтнографией. Другими словами, драматическая социология Алексеева — это не что иное, как российское направление автоэтнографии (рис. 5). В центре проекта стоит исследователь со своими суждениями, идеями, жизненными проблемами, мечтами и иллюзиями. Его научная деятельность разбита на восприятие реальности, структурированное и встроенное в весьма гибкие и изменяющиеся рамки этнографического подхода, и на представление полученных результатов другим. Последнее выполняется в жанре леви-страссовского бриколажа, в котором допустимы любые смешения стилей, авторов, сюжетов, если они приближают к пониманию ситуации. В таком пространстве диада восприятия и представления весьма неустойчива и дополняется самой жизнью, а точнее,

1. Публикаций об автоэтнографии на русском языке немного (Готлиб, 2004a, 2004b; Багдасарова, 2008), и все опираются на фрагментарно усвоенный зарубежный опыт, отказывая отечественным исследователям в праве на самостоятельные поиски теоретического и методологического языков описания. Внедрение обиходных слов английского через фонетическое письмо (например, *story telling* подается русскоязычному читателю как «сторителлинг» (Мозжегов, 2013; 2014)) создает иллюзию научного, объективированного знания там, где первоначальная теоретическая интуиция опирается на обыденный опыт и повседневный язык.

смешением жизни и работы, профессии и призвания (сказали бы ранее, пока эта оппозиция не стала слишком вульгарной из-за частого цитирования).

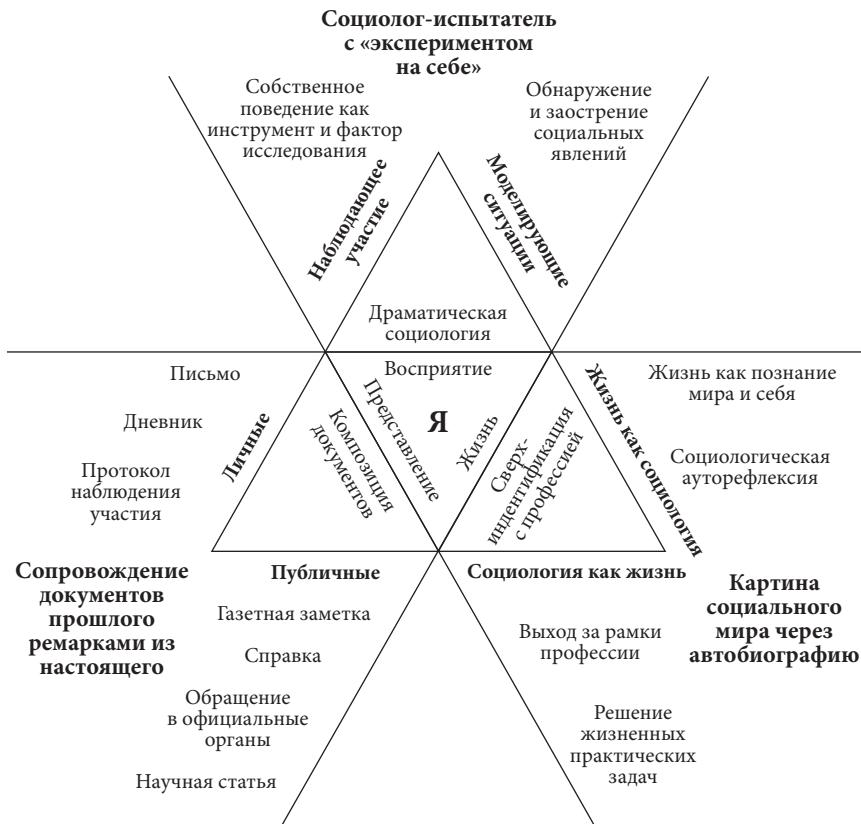


Рис. 5. Драматическая социология Алексеева

Драматическая социология строится на двух методически взаимосвязанных приемах, указывающих на эксперимент над собой: 1) наблюдающем участии и 2) моделирующих ситуациях. Первый описывает позицию исследователя, в которой он проводит фиксацию своей повседневной деятельности и реакции на нее окружающих. Второй относится к особой экспериментальной установке, осмыслиленной провокации, направленной на обнажение затруднений, непониманий и противоречий в социальном порядке:

«...наблюдающее участие предполагает исследование социальных ситуаций через целенаправленную активность субъекта, делающего собственное поведение своеобразным инструментом и контролируемым фактором исследования. Причем, в отличие от известных образцов социального эксперимента, в случае наблюдающего участия новые факторы вводятся не «извне», а «из-

нутри» ситуации. Само введение этих факторов оказывается иногда импривизационным и не претендует на строгую процедуру.

Особое место здесь занимает исследовательская практика, названная нами методом моделирующих ситуаций. Под таковыми понимаются ситуации, отчасти организованные самим исследователем из естественных ситуационных предпосылок, в целях обнажения, заострения, в этом смысле — моделирования социального явления или процесса» (Алексеев, 2003а: 13).

Наблюдающее участие — своеобразно осмысленный метод включенного наблюдения. Несмотря на категоричность утверждений о создании нового метода, противопоставлении его «включенному наблюдению» (Алексеев, 2005б: 167–169; 2012а: 16), перед нами все тот же классический подход к полевой этнографической работе. Утверждения о «новшестве для мировой социологии» (Алексеев, 2005б: 20), «почвенническом постмодернизме мужественного правдоискательства», «открывающего новые поля в сумраке методологических проблем» (Бачинин, 2011: 153, 156), скорее выглядят комичными и местечковыми, снижают эвристическую значимость проделанной методологической работы, нежели открывают новые исследовательские горизонты.

Вторая область исследовательского труда — представление материалов заинтересованным лицам, в том числе и самому себе. Литературный жанр дополняет исследовательский, без него невозможны фиксация и осмысление происходящего. Последнее понимается как работа с «композицией документов», в которой важно не столько содержание попадающих в рассмотрение записей, сколько их взаимное расположение, порождающее контекстуальные эффекты. Алексеев, в точности следуя этнографической традиции, не выделяет документы по их значимости или ценности. Последнее определяется исключительно расположением в совокупном тексте, или композицией авторского нарратива:

«Все четыре тома этой не совсем академичной книги по существу являются собраниями (композицией...) документов. Документы личные и публичные; житейские, деловые, научные... Хоть личное письмо, хоть дневник („протокол наблюдающего участия“), хоть справка или обращение в официальные органы, хоть газетная заметка или научная статья — любой письменный „след“ биографии и истории, будучи поставлен в определенный контекст, может обрести смысл социологического свидетельства. Сама же по себе композиция (отбор свидетельств и расположение их в определенных сочетаниях и последовательности, своего рода монтаж...) выступает способом первичной концептуализации, а в определенной мере — также и анализа, и осмыслиния» (Докторов, 2014а).

Личные документы промежуточны, необходимы для поддержания текущей исследовательской активности. От «коммуникации для себя» к «коммуникации другому лицу и для других» (Алексеев, 2007: 47). Дневники, письма, наконец, самое важное — детальные протоколы наблюдения участия — то, что Эллис, Адамс и

Бочнер называют многослойными учетными записями (рис. 2). Только организовав и систематизировав язык описания происходящего, составив систему каталогизации, позволяющей проводить фиксацию мельчайших деталей личного опыта, исследователь существенно снижает риск пропустить важное и необходимое для дальнейшего осмысления. Последовательные шаги по написанию и компоновке текстов приводят к переходу личных документов в публичные. Тотальная открытость, отсутствие редактирования, а лишь система последующих примечаний и ремарок определяют фирменный стиль Алексеева. Это сближает его методологию с англо-американской этнографической традицией возвращения к работе без редактирования ее результатов, а лишь с детальным описанием текущей интерпретации прошлых усилий (Ellis, 2008).

Наконец, подчинение себя плану исследования, отказ от деления жизни на работу и отдых, коллег и семью, увлечения и профессиональные навыки, приводит к формированию третьего жанра жизни, в котором главное действующее лицо целостно и неделимо в своей идентичности.

«Как случилось, что Ты попал в самый излом нашей внутриполитической жизни, что ее противоречия встают для Тебя не из учебника, сообщающего очень правильные вещи об обществе, сложностях его жизни и сложностях развития, — то, что для многих так и остается «знанием-вещью», поскольку они не видят себя в обществе и общества в себе, точнее — все видят как вещи, которыми нужно обмениваться (и при этом глядеть, чтоб не надули!). Как случилось, что эти самые сердцевинные противоречия суть противоречия Твоего собственного жизненного пути; что попались они Тебе на экзамене личной судьбы, и их разрешение — в самой Твоей личности, в Твоих ответах, для которых не существует шпаргалки, личностных ответах, циркулирующих в вещном знании чужих вопросов и отчужденных ответов?

Почему все это случилось — можно представить себе только тогда, когда начнешь читать историю общества как историю судеб людей, а написанную Тобою для отдела кадров автобиографию — как одну из тех судеб, что не просто складываются в общественной жизни, но несут эту жизнь в себе.

Есть пропасти и есть люди — мосты над пропастями...» (Алексеев, 2003b: 131).

«Жизненная ауторефлексия может быть не спонтанной, не ситуационной, не подспудной, а — систематической, универсальной и осознанной. И «история собственной жизни» есть повод, или основание, или стимул — для «размышления о жизни» (Алексеев, 2007: 50).

«Биография человека не сводится к последовательности личных и/или общественно значимых событий, она есть также многолетнее движение мысли, воли — внутреннего мира человека (недаром говорят: интеллектуальная, творческая и т. д. биография)» (Алексеев, 2012b: 18).

Идентичность может изменяться, но практики детального протоколирования позволяют сохранить и проследить все мельчайшие трансформации личных представлений, суждений, мировоззренческих позиций. Алексеев пишет, что ему под-

час стыдно за свое юношеское увлечение партийной идеологией, нерефлексивное следование циничным и бесчеловечным партийным директивам. Но он не отказывается от прошлого, не вымарывает документы, а лишь создает приписки и комментарии, позволяющие читателю объемнее представить становление исследователя, изменение его мировоззренческой позиции при сохранении методического аппарата.

Автобиографическое письмо — жанр жанров Алексеева, объединяющий и за дающий особенность и авторский стиль всего произведения. Роль автора не тотальна и не доминирует над текстом, у которого множится авторский коллектив участвующих свидетелей жизненного эксперимента. Так реализуется кол лаборативная этнография, которую Андрей Николаевич называет «литературным жанром», допускающим множественность и многоголосие плана выражения.

Единственное явное отличие исследовательской траектории А. Н. Алексеева от его западных (пусть и неявных) коллег-этнографов — отсутствие последователей, преемников, развивающих предложенную методологию. Там, где требуется критика методологической оптики, расширение тематического репертуара, включение новых отчаянных экспериментаторов, наблюдается лишь самоотверженное противостояния гения Алексеева миру и себе. Из основных текстов мы ничего не знаем ни о семье, ни о близких друзьях, ни о сподвижниках и учениках². Этот пласт биографии подчинен служению динамично развивающегося «эксперимен-

2. Если рассматривать совокупный публикационный поток, связанный с жизнью и творчеством Алексеева, мы безусловно обнаружим множество помет и сюжетов, имеющих непосредственное отношение к жизни и судьбе автора. Это и автобиографические заметки о своем роде, начиная с XIX века, и записи супруги — Зинаиды Вархловской, дочери — Ольги Новиковской, ее мамы (первой жены Алексеева) (Докторов, 2015). Но это отдельные документы личной биографии. В композицию базовых текстов они не включены, что позволяет фиксировать значимое отличие от западной автоэтнографической традиции, где полная биография автора разворачивается в его содержательных работах. Аналогичным образом можно составить внушительных список соучастников, соавторов драматической социологии. Борис Докторов на вскидку приводит десяток крупных исследователей: «Сергей Розет (социолог, поэт, рабочий, исходно — физик); Юрий Щеголев (социолог, физик-теоретик, профессиональной кочегар, многие годы), Борис Беликов (социолог, физик, метеоролог); Рэм Баранцев (профессор математики, лауреат Госпремии, распорядитель архива А. А. Любищева)... Это я все пишу, не обращаясь к текстам... Замечу, масса людей в „Драматической социологии“ осталась зашифрованными... а народ-то все штучный, заметный... Во второй книге „Профессия — социолог“ еще больше друзей, коллег, единомышленников... Есть у нас с Алексеевым (в рукописи) еще одно произведение — „В поисках адресата“, могу поискать... там масса наших коллег... Так что ваше суждение об отсутствии в его работах информации о семье, о близких друзьях, о сподвижниках и учениках следует принципиально уточнить... Наоборот, этот слой мощно (возможно даже кто-либо скажет „слишком“) представлен... У Алексеева нет прямых учеников, сотрудников, но у него нет и профессионального одиночества... Несколько лет активно просуществовал незримый колледж: Алексеев, Докторов, Козлова, Мазлумянова, Шалин, Шляпентох (отчасти — Ленчовский и Фирсов). Да и сейчас на базе Когиты Алексеев контактирует с большим числом людей, читающих его книги и пишущих ему очень серьезные письма-эссе... Замечу, в 2014 году он публиковался в „Телескопе“, в „СЖ“ и суперактивно на Когите... Алексеев — не отшельник, не одинок, при том, что он давно не служит и в 2014 году ему исполнилось 80; время, когда многие совсем отходят от науки» (Докторов, 2015). Но речь не идет об интеллектуальном одиночестве, скорее можно констатировать отсутствие методологической критики, профессиональных суждений, направленных на уточнение и сужение предложенного методического аппарата. Драматическая социология, или архивная автоэтнография, заслуживает куда большего

та на себе». Одна из немногих, пожалуй, единственная развернутая полемическая рецензия на «драматическую социологию» опубликована в «Социологическом журнале» (Григорьев, 2003). Молодой автор (на это обратил внимание Алексеев в переписке) запальчиво, иронично, с критическим задором представил собственное восприятие проделанной многолетней работы. Текст, что чрезвычайно ценно, больше говорит не о четырехтомнике, а о его восприятии со стороны позитивистски настроенного читателя:

«Собственно, нигде перечень итогов исследования не приводится. Зато многократно подчеркивается ценность описания событий как жизненного документа. Очевидно, автор придерживается мнения, что результат исследования — это текст интервью, фильм или протокол наблюдений, а не проверка гипотез, получаемых из теоретических представлений» (Григорьев, 2003: 180).

«Много внимания автор уделяет защите „качественных методов“. Конечно, на методологическом уровне эта полемика архаична. Она возникла тогда, когда в статистике господствовали параметрические методы, вычислительные мощности были не в состоянии справиться с математической обработкой более-менее реалистичных моделей социального мира, а математический аппарат считался непригодным (и во многом обоснованно) для работы с категориальными данными. Все это уходит в прошлое на наших глазах. „Понимание“, „субъективный смысл“ и т. п. больше не являются сущностями, противостоящими естественно-научному подходу, а успешно моделируются какими-нибудь сингулярными матричными разложениями или рядами Фурье на базе вполне измеримых характеристик» (Григорьев, 2003: 182).

«Для меня очевидно, что из ситуаций автор извлекает только то, что уже присутствует в его представлениях, хотя и не всегда замечает это из-за присущего ему нарциссизма. „Суди себя сам“. Психоаналитик Сергей Ушакин так характеризует активность нарциссической личности: „Агрессия нарцисса... есть всегда ответ на удар, которого еще не было, есть всегда скрытое признание угрозы потенциальной демаркации идентичности — будь то идентичность половая или идентичность профессиональная“. Мог ли человек другого психологического типа придумать принцип вынужденной инициативы?» (Григорьев, 2003: 184).

К сожалению, представленные, порой в слишком эмоциональном и личностном формате, критические суждения были восприняты Алексеевым исключительно как оскорблении. Хорошо помню многомесячную переписку с редактором журнала Л. А. Козловой, в которой Алексеев требовал извинений и опровержений от редакторов и/или рецензента. Не в этом ли одна из причин профессионального одиночества? Отказываясь от дискуссии, критического рассмотрения собственной методологической позиции, автор невольно конструирует образы врагов,

внимания и методической проработки, требует дотошного, пошагового разбора основных предложений и выводов, развития базовых посылок. Этого нет и не предвидится в ближайшем будущем.

которые, возможно, и определяют драматизм дальнейшего развития подхода. С этим же несколько месяцев назад пришлось столкнуться и мне, когда без ответа на методические доводы со стороны Алексеева посыпались обвинения в ангажированности и продажности российских полстеров (Алексеев, 2014а, 2014б), зафиксировавших беспрецедентную поддержку населением присоединения Крыма.

В критической рецензии Л. Г. Григорьеву удалось выделить характерные черты драматической социологии, однако собственная «вычислительная» система координат не позволила ему рассмотреть авторский замысел, который вовсе не предполагает проверку гипотез, формирование заключений, построение теоретических концепций, объективацию личных историй и перенесение наблюдений на широкие совокупности. Подмеченные Григорьевым значимость протоколирования и архивации материалов, тотальная и бескомпромиссная регистрация любых жизненных документов, пролиферация авторов и участников исследовательской авантюры и акцент на личную историю как раз и составляют особенности драматической социологии как разновидности автоэтнографического подхода. Не вызывает сомнений логичность и последовательность авторского замысла, подчинившего личную жизнь исследователю и безусловно соответствующего общей автоэтнографической традиции. Смущает лишь выбранный язык описания, определение теоретического каркаса через литературные метафоры, отсылающие к жанру, письму, сюжету или стилю.

Ядром теоретических изысканий Алексеева можно считать работу по протоколированию, архивированию и хранению жизненных документов. В результате аккуратного и систематического, подчиненного хронологическому порядку ведения документооборота Андрей Николаевич добивается создания множественных, взаимосвязанных коллекций материалов. Безразличие к формату документов, авторам, местам публикации подчеркивает жанровое безразличие коллекционера. Главное — преобразование жизни в поток источников, их систематизация и предоставление удобной навигации по собранному материалу. Авторские ремарки и комментарии, система оглавления, лаконичные обобщения и методологические заметки — лишь подчеркивают подчиненный характер любых генерализаций, основная задача которых — обслуживание собранного архива.

На мой вкус, понятие «драматической социологии» следует заменить на «архивную автоэтнографию» с последующим пересмотром всего языка описания. Тогда многое становится на свои места, и критические замечания, высказанные Григорьевым, либо находят свои логические объяснения, либо вовсе снимаются.

Архивная автоэтнография Алексеева, несомненно, представляет собой весомый вклад в копилку отечественной методологической мысли. Отложенное восприятие и воспризнание среди современников по причине неточного теоретического языка описания в таком случае с лихвой окупится в будущем, когда архивная концепция автобиографического метода будет оцениваться исходя из внутренней логики, а не посредством привнесенных литературной метафорикой домыслов и ожиданий.

Леон Андерсон

Декан факультета социологии, социальной работы и антропологии Университета штата Юта. Бакалавриат окончил в Университете штата Портленд в 1980-м, магистерскую (1985) и докторскую диссертации (1987) защитил в Техасском университете в Остине. Перед защитой докторской работал журналистом в Анкоридже (Аляска). 23 года провел в Университете штата Огайо, в том числе пять лет в должности декана факультета социологии и антропологии. Известен колаборативными исследованиями бездомности и методологическими работами о качественном подходе в гуманитарном знании.

В реферативной базе Web of Science статья Л. Андерсона «Аналитическая автоэтнография» (Anderson, 2006) помечена как наиболее часто цитируемая среди всех работ, посвященных автоэтнографии (WoS, 156 ссылок на 11.01.2015). В Гугл Академия (рис. 7), где охват изданий намного превышает указанную научную сеть, помечено 708 ссылок на статью (на 11.01.2015). Но более всего удивляет уровень цитирования четырех изданий (первое вышло в 1971) коллективной монографии, написанной Л. Андерсоном совместно с Д. Сноу, Дж. и Л. Лофландами (Lofland, Snow, Anderson, Lofland, 2005) — 6513 ссылок. Такой объем цитирования в социальных науках трудно представить. Всего, согласно Гугл Академия, Леона Андерсона процитировали в 9926 публикациях, индекс Хирша равен 20. Влияние Л. Андерсона в академической среде трудно переоценить.

Аналитическая автоэтнография и ее оппоненты

Представленные выше подходы к автоэтнографическому ремеслу опираются на метафоры эмоционального, аутентичного и правдивого представления культурных реалий через автобиографический жанр. Реконструкция культурного контекста в расширенной исторической перспективе возможна, по мнению Т. Адамса, Холманс Джонс, Н. Дензина и других сторонников эмотивного, или эвокативного (пробуждающего воспоминания) взгляда на биографический метод, через эмоциональное погружение в прошлое, восстановление деталей и мельчайших нюансов минувших событий. Леон Андерсон пишет о противоположном подходе — «аналитической этнографической парадигме» (Anderson, 2006: 374; Anderson, Austin, 2012: 133), в которой акцент делается на связывающую, объясняющую и привносящую дополнительные смысловые нагрузки компоненту.

Аналитическая позиция исследователя поддерживается тремя установками (рис. 6). Во-первых, фактической принадлежностью к изучаемому сообществу. Для представления культурных паттернов через личную биографию, следует их не только знать и разделять, но и реализовывать в поведении. Во-вторых, отсутствием недомолвок и непроговоренных, непрописанных деталей этнографической работы, что достигается посредством принципиальной открытости и публичности всех аспектов исследовательской активности. В-третьих, стремлением к теорети-

ческому осмыслению реальности опирается на отказ от какой-либо уверенности в возможности аутентичного отображения происходящего. Исследователь делает акцент на построении и критике теоретического языка описания, а не на детальном протоколе личного опыта.



Рис. 6. Пять ключевых приемов аналитической автоэтнографии по Леону Андерсону (Anderson, 2006)

В методическом разрезе три установки раскрываются через пять ключевых приемов аналитической работы. Членство в изучаемом сообществе должно подтверждаться полноправным статусом, возможностью принимать или влиять на значимые решения, принимаемые внутри группы. Теоретическое осмысление как исследовательская позиция немыслимо без включенности в теоретический анализ, при отказе от разработки концептуального тезауруса и планомерной работы по его корректировке и дополнению.

Инструментально важна установка на открытость без каких-либо компромиссов и оговорок. Открытое описание представлено у Андерсона набором из трех самостоятельных действий исследователя: аналитической рефлексивностью, нарративной открытостью исследовательского „я“ и диалогом с информантом через собственный жизненный мир, систему ценностей и действий.

«В силу двойственной роли автоэтнографа как исследователя и участника изучаемого мира, автоэтнография требует особой текстуальной представленности исследовательского „я“ (self). Такая представленность демонстрирует личную включенность исследователя в изучаемый мир. Автоэтнографы должны иллюстрировать аналитические идеи посредством пересмотра как собственных, так и чужих мыслей, как своего, так и чужого опыта. Более того, они должны открыто обсуждать изменения своих убеждений и отно-

шений к особенностям прохождения полевой работы, тем самым отчетливо представляя себя как людей, преодолевающих затруднения с релевантностью членства и участия в изменчивом, а не статичном социальном мире» (Anderson, 2006: 384).

Исследователь не должен избегать и скрывать собственные суждения, создавая видимость объективного и отстраненного описания. Его задача — корректное и, по возможности, компактное представление личных убеждений, переживаний и чувств, сопутствующих исследованию. Однако основной акцент, в отличие от предыдущих подходов, делается не на точной передаче происходящего, представлении возможности «почувствовать чувства других» (Denzin, 1997: 228), а на аналитическом или теоретическом осмыслиннии и преобразовании личного опыта посредством отбираемых теоретических конструктов. Исследователь не делит время проекта на теоретическую подготовку, полевой этап и последующую обработку данных. Он постоянно находится в переходах между тремя стадиями. Тем самым происходит отклонение от традиционного реалистического взгляда на методологию социального исследования как линейного и последовательного набора операций. Вместе с тем общая эпистемологическая концепция реализма остается основой для аналитической автоэтнографии. Последняя мыслится как значимый жанр реалистической этнографии (Anderson, 2006: 378), в котором частные жизненные истории связываются с широким культурным и историческим контекстом, что невозможно выполнить без обращения к теоретическому языку описания.

Редколлегия журнала «Journal of Contemporary Ethnography» не стала ограничиваться публикацией статьи Л. Андерсона, передав ее для критического отзыва основным оппонентам — Кэролин Эллис и Артуру Бочнеру (Ellis, Bochner, 2006). В результате в одном номере вышли два равнозначных по объему материала, представляющих разные, но связанные не только размещением в одном журнале, но и установлением своеобразной полемики и диалога позиции. За восемь лет оба материала набрали много ссылок, однако работа Л. Андерсона начиная с 2010 года стала значительно опережать по темпам прироста цитирования критическую статью оппонентов (рис. 7). Видимо, не последнюю роль в этом сыграла не раз подчеркиваемая Эллис и Бочнером маргинальность пропагандируемого ими подхода к автоэтнографии.

Итак, две наиболее цитируемые работы (в автобиографическом методе, согласно Web of Science, дата обращения 11.01.2015) содержательно и стилистически представляют противоположные подходы к социальному знанию. Л. Андерсон развивает классические исследовательские представления, в которых центральное место занимает теория, а жизненные истории, рассказы и интерпретации необходимы для конструирования концептуальных описаний. Текст статьи выдержан в академической стилистике с отстраненным и сдержаным повествованием об особенностях автоэтнографического ремесла. Эллис и Бочнер, напротив, создают

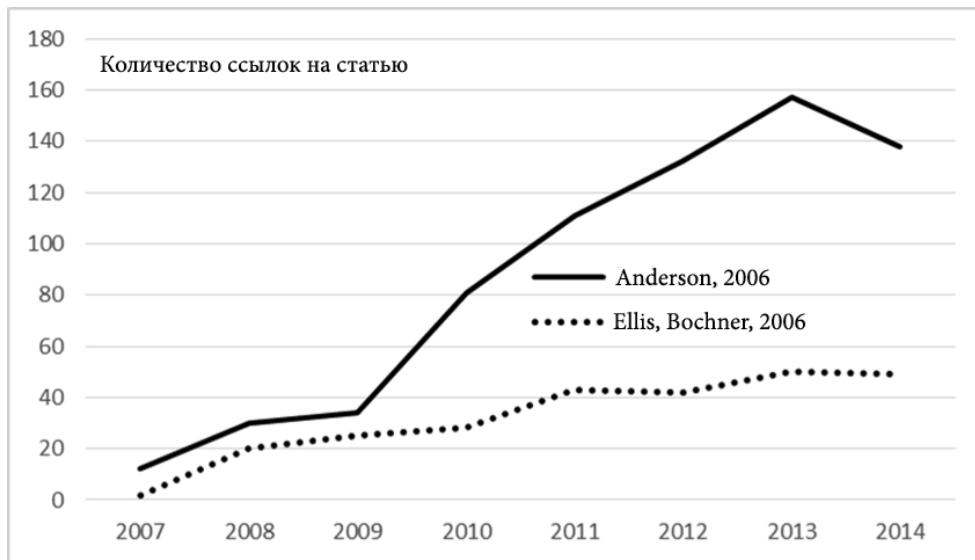


Рис. 7. Динамика цитирования двух конкурирующих статей
(источник: Гугл Академия; дата обращения: 11.01.2015)

диалоговую композицию, весьма эмоционально, с нарушением устоявшихся в научной среде канонов, предлагают читателю мотивированно спонтанный, не выраженный в схемах диалог. Одни убеждения сменяются другими, авторы высказывают сомнения в только что описанных суждениях, предлагают альтернативы, смешивают академические приемы (цитирование коллег, строгую аргументацию) с устной речью.

Статья Эллис и Бочнер начинается и заканчивается описанием того, как они смотрят телевизор. Повествование по большей части ведется от лица Эллис с включением прямых реплики Арта, как по-домашнему Кэролин обращается к своему партнеру. Критика аналитического подхода разворачивается как на содержательном, так и стилистическом уровне. Авторы усиливают свою аргументацию формой изложения, отрицающей объективированный, нейтрально выстроенный стиль изложения:

«— Может быть, это потому, что я испытываю огромные затруднения в ответе на статью Леона, — сказала я.

— Какого рода затруднения?

— Хорошо, я попробую. Я понимаю, что несправедливо сравнивать статью, написанную для этнографического журнала с сообщениями о надвигающейся катастрофе и ужасных потерях (услышанное по телевизору. — Д. Р.), но обсуждение определений и дефиниций автоэтнографии, безусловно, бледнеют в сравнении с происходящим вокруг, страданиями других, которые я чувствую всем телом. В действительности, когда я прочитала статью Леона,

я стала отстраненным зрителем. У меня отключались тело, эмоции, осталось только сознание. В ней нет никаких личных историй, чтобы вовлечь меня. Знания, теоретические построения становятся бесплотными, написанными на журнальных страницах словами, и я теряю связь с изложенным. Я хочу быть в мире опыта: чувствовать, пробовать, ощущать, наконец, жить в нем. Но Леон хочет использовать мир опыта как машину для ментальных упражнений.

— Я понимаю, о чём ты, — реагирует Арт. — Ясно, что у нас, в отличие от аналитических этнографов, совсем другие цели. Мы видим этнографию как процесс перемещения, они — как пункт назначения. Они хотят освоить, объяснить, понять. Им могут быть интересны игры в слова, которые нам во-все не важны. Уход и сопререживание для нас и абстрагирование и контроль для них. Как ты только что сказала, мы хотим жить в потоке переживаний, личного опыта; они ищут подходящий жизненный опыт для построения абстрактных категорий, которые называют знанием или теорией.

— Я стараюсь уйти от этих категориальных различий, — ответила я.

— Но ты должна сделать некоторые различия, не так ли? Разве ты уже этого не делаешь, отвечая Леону? Как ответ может избежать различий? — спросил Арт.

— У меня есть кое-какое продвижение, но...

— И что мешает?» (Ellis, Bochner, 2006: 431)

Предлагаемый Андерсоном подход в ходе такого обсуждения не признается автоэтнографией. «Всего лишь очередной жанр реалистической этнографии» (Ellis, Bochner, 2006: 432), в котором традиция величественного знания доминирует над опытом, переопределяет воспринятое и усвоенное в ходе повседневных встреч. Основа последних — переживание интимности, соприсутствие, соучастие в происходящем, что, по мнению Эллис и Бочнера, становится невозможным в дистанцированном, нацеленном на построение категорий знания. Не принимая различие Андерсона на эмпатическую (эвокативную) и аналитическую автоэтнографию, Эллис и Бочнер отказывают последней в автоэтнографичности:

«— Мне не нравится определение Леоном того, что мы делаем, как эвокативная (стимулирующая воспоминания, выявляющая рассуждения) или даже эмоциональная автоэтнография, — сказал Арт.

— Почему нет? Это то, что мы сами делаем и как иногда описываем сделанное, — ответила я.

— Это правда, но выявление (evocation) — это цель, а не тип этнографии. Не думаю, что можно называть автоэтнографией тексты, которые не выявляют, не стимулируют воспоминания.

— С другой стороны, мы развиваем новые формы автоэтнографических текстов, — сказала я, — перформативные, художественные, поэтические.

— В том и разница. Они все эвокативные.

— Точно, мы не начинали с того, что называли наши усилия эвокативной автоэтнографией, — ответила я.

— Нет, термин „эвокативный“ появился постольку, поскольку читатели автоэтнографии признали, что качество погружения в прошлое — одна из

характеристик, которая отличает жанр автоэтнографии от этнографического письма. Я не могу поставить в один ряд „эвокативный“ и „автоэтнографию“ из-за избыточности получаемого словосочетания.

— Я понимаю. Если мы придерживаемся мнения, что любая автоэтнография эвокативна, то категория аналитическая автоэтнография становится избыточной.

— Я — профессор по коммуникации, соответственно, слова для меня многое значит, — сказал Арт. — Язык обладает конститутивной функцией и термин „автоэтнография“, по меньшей мере как мы его понимаем, предна-значен для конституирования особого жанра письма или представления, ко-торые отличаются от модернистских или реалистских текстов. Поэтому мы назвали нашу книжную серию „Этнографические альтернативы“. Мы видим в автоэтнографии альтернативу традиционному, реалистскому знанию.

— Я помню, как сложно было принять термин «автоэтнография», постать-вить его на первое место, — подхватила я. — Это действие представляется особенно важным с политической точки зрения. Я хочу, чтобы автоэтнография воспринималась как отдельный жанр, который бы объединял всех нас, включенных в одну работу. Как женщина и феминистка, я думаю, что важно не потерять из виду политику в автоэтнографии. Анализические и теоре-тические построения на страницах научных журналах — прерогатива эли-тарного класса профессионалов, которые вольно или невольно делят мир на зрячих и находящихся в темноте. Автоэтнография помогает разрушить столь неестественное положение дел» (Ellis, Bochner, 2006: 436).

Если аналитическая автоэтнография нацелена на понимание и выявление смыслов, то эвокативная — на поиск правил жизни. Не описание того, что про-исходит, а предложение альтернатив происходящего, организация диалога, помо-гающего принимать согласованные решения, — в этом состоит этическая компо-нента автоэтнографической работы, подчиняющая себе все рассуждения о методе.

Любая аналитическая работа опирается на систему языковых конструктов, ценностей и установок какой-либо группы, отражает ее интересы. За абстрактны-ми категориями, сухими и отвлечеными логическими построениями скрывается целый мир властных отношений, стремление к доминированию и управлению. Суждения о власти научных построений давно вышли за рамки исключительно критического мышления и составляют основу для развития научно-исследова-тельской оптики. Полемическая статья Эллис и Бочнера акцентирует внимание на необходимости внимательно относиться к проявлению власти, какую бы форму она ни принимала.

Не думаю, что декларация эвокативного, эмпатического погружения в обыден-ный опыт, подчеркивание первостепенной важности жизненных историй и отказ от сложившегося в академической среде стиля изложения автоматически создают иную реальность социального исследования. Стремление передать мир таким, как он есть, — немыслимая утопия, оправданная лишь в художественных произведе-ниях. Неслучайно сторонники новой эвокативной автоэтнографии настаивают на смешении жанров и экспериментов с поэтической, диалоговой речью, разруша-

ющей академическое письмо. Вместе с тем разбавление логических конструкций описаниями процесса мышления, спорами и сомнениями, представлением контекста, в котором они возникали, создают принципиально иную, укорененную в опыте картину научного постижения мира. Аналитическая автоэтнография может быть избавлена от нежизненной самодостаточности логических конструкций. Именно этим эмпатическая критика (Кэролин Эллис отмечает длительные дружеские отношения с Леоном Андерсоном) работает на уточнение и прояснение концепции аналитической работы в автоэтнографических исследованиях, а не отрицает или разоблачает ее состоятельность.

Кэролин Эллис и Арт Бочнер

Перед нами исследователи старшего поколения, учителя упомянутых выше Тони Адамса и Стеси Холман Джонс. Тони в 2008 году под руководством А. Бочнера защитил докторскую диссертацию об особенностях гомосексуальных отношений. Стеси училась по их работам. Ее парное биографическое интервью с Кэролин и Артом (Holman Jones, 2004) — один из основных и полезнейших источников об их профессиональной карьере. Конечно, для исследователей, работающих в автобиографическом жанре, каждая статья состоит из личных архивов, но концентрация личностных материалов возможна лишь в подобных доверительных беседах о профессии.

Супруги, или, как они себя называют, — партнеры, К. Эллис и А. Бочнер преподают в Университете Южной Флориды на факультете коммуникации Колледжа искусств и наук. Вместе работают, выступают на конференциях, пишут статьи — жизнь и работа неразличимы для этой пары. В самом начале пути независимо друг от друга увлеклись работами Ирвинга Гофмана. Именно на его примере пришло осознание того, как можно воспринимать и представлять полевой материал без насилия над ним со стороны теоретических конструкций и надуманных академических построений.

Не менее удивительное совпадение — Кэролин и Арт начинали свои академические карьеры с количественных исследований. Кэролин — в социологии, Арт — в коммуникационных исследованиях и психологии. Первые 15 или 20 публикаций Арта посвящены количественным исследованиям. И как он упоминает в интервью со Стеси Холман Джонс, переход из лагеря количественников в качественники в конце 1970-х был весьма смелым шагом. Вплоть до того, что он потерял несколько друзей, искренне не понимающих и не принимающих его выбор. Тем не менее оба исследователя с большим уважением относятся к культуре статистических расчетов. Отдавая должное длительной традиции, они лишь высказывают сомнение о возможности развития социологического воображения (по Миллсу) на количественных опросах, игнорирующих основы человеческой коммуникации — эмоциональность, включенность, доверительность.

Правдивое и ответственное исследование требует выполнения всех трех условий. Но и этого недостаточно. Необходим особый настрой исследователя, искренность в построении метода, наблюдение за процессом наблюдения и работа с текстом как с нечто большим, нежели очередной фрагмент академической отчетности. Откровенности в общении противопоказано сокрытие каких-то деталей (пусть и второстепенных) в публикациях, поэтому чрезвычайно важно идти до предела в представлении себя-в-работе. Не удивительно, что подобная позиция зачастую становится возможной лишь через значимые потери и потрясения. Кэролин Эллис так описывает свое вхождение в профессию:

«Мой переход к литературе и автобиографической работе произошел значительно позже (по сравнению с Артом. — Д. Р.), примерно в 1985 году. Я была одна, как меня и учили, пытаясь стать систематичным и строгим ученым. Тогда в рамках социальной психологии проводила исследование ревности, пытаясь оценить, как ревность переживается у 350 опрошенных студентов. На середине работы по анализу данных на SPSS узнала, что убили брата. Страшная депрессия из-за этого горя, а затем заболевает мой партнер Джин (Вайнштайн). Моя жизнь казалась переполненной смертью и утратами. Я спросила себя: „Почему я должна тратить время, размышляя над ответами студентов о ревности?“ Жизнь слишком коротка.

Мой переход начался с того, что я просто села и стала писать о происходящем, поскольку не могла с этим справиться никаким другим способом. Я начала писать, и была потрясена тем, как письмо организовало мои мысли, помогло мне восстановиться, посмотреть в будущее. Этот процесс был рационально терапевтический. Вместе с этим я понимала, что в тот момент пишу нечто, куда более лучшее и более социологическое, нежели мои работы об отношениях, институтах, процессах или переговорах. В каком-то роде гофманианский процесс, я вовлеклась в то, что пишу. Осознала, что, возможно, Гофман именно так и поступал со своими работами. Он смотрел на мир сквозь личный опыт. Хотя он не говорил об этом как о личном опыте, он всегда представлял себя как наблюдателя, нежели человека, испытывающего какие-либо чувства и переживания. Я же захотела внести в такую работу чувства и личные чувства, переживания.

Как только я осознала свой интерес к эмоциям, обнаружила, что ученые стараются их попросту не замечать. Психологи смотрели на эмоции отстраненным, экспериментально дистанцированным способом, а социологи вовсе их игнорировали. Я начала изучать эмоции и вместе с другими интересоваться чувствами. Мы открыли направление социологии эмоций, что заинтересовало многих исследователей. К нам стали присоединяться ученые и гуманитарии. Я пошла по направлению к гуманитарному знанию, что вскоре стало трендом в социологии.

С этой позиции начала писать статью об интроспекции как методологии социальных наук. Мой аргумент состоял в том, что интроспекция научна, как и любой другой метод. Целый год в академическом отпуске я писала эту статью. Когда я отправила ее в журнал по социальной психологии, редактор сначала проявил интерес, а потом отказал в публикации, сказав: „Мы боимся, что если примем статью к печати, будем вынуждены иметь дело с

такими автобиографическими фрагментами, о которых не имеем никакого представления”.

Потом я переслала материал в журнал „Symbolic Interaction“. Я никогда не забуду рецензию, полученную от Нормана Дензина, который сказал: „Автор — шизофреник. Она создает описание гуманитарного подхода, затем сопоставляет его с собой, и утверждает, что это социальная наука“. Эта точная цитата, которую я привожу в своей работе „Финальные переговоры“ (Ellis, 1995), перевернула мне жизнь. До этого я считала, что „я — ученый и методолог“. И стучалась в дверь большой социологии со словами: „Пожалуйста, позвольте мне быть в вашем клубе“. После этой рецензии я изменила тон: „В действительности не важно, как называют меня или мое исследование, важно, как все работает“. Я перестала стучаться в двери и спросила себя: „С кем я хочу говорить? Кто хочет слушать? И кто хочет отвечать?“ И быстро нашла социологов, исследователей из других дисциплин и много совсем юных людей, заинтересованных в таких же вопросах об эмоциях, смыслах, опытах. Разговаривая и отвечая на вопросы, я попала в среду производства и поиска смыслов» (Holman Jones, 2004: 47–51).

Встретившись в январе 1990 года, они больше практически не расставались. Арт и Кэролин в интервью говорят об абсолютном совпадении мыслей и ощущений, которые в профессиональном и личностном плане они испытывали во время первых встреч и продолжают испытывать по сей день.

Заключение

Автоэтнография работает как спланированная, хорошо структурированная и соотнесенная с внешним миром исповедь. Принципиальная авторская открытость, бескомпромиссность в представлении любых деталей личной биографии, имеющих отношение к изучаемому вопросу, отказ от нейтральности и организованного скептицизма (по Мертону) в отношении к объекту исследования составляют основу автобиографического подхода. Быть собой несмотря ни на что, не поддаваться соблазну прослыть экспертом, сведущим, раздающим советы и рекомендации наставником — условие автобиографической научной авантюры. Не удивительно, что начало ее сопряжено с каким-то сильным потрясением, невозможностью решить личную проблему, преодолеть непреодолимые иначе жизненные обстоятельства. Слишком ранящим, необычным для современного человека, привыкшего прятаться за масками, играть с конфиденциальностью и отстаивать свои взгляды в правовых категориях, становится такой способ постижения мира.

Тони Адамс выстраивал отношения с отцом, Стеси Холман Джонс боролась с бесплодием, Андрей Алексеев не смог смириться с бесконечными риторическими фигурами советской партократии, Кэролин Эллис переживала потерю близких, а Арт Бочнер — иллюзорность окружающего мира статистических распределений, не позволяющих сформироваться и окрепнуть творческому действию. И только Леон Андерсон приходит к автоэтнографии с холодным рассудком, в спокойной и

взвешенной манере излагая основные требования и подходы к автоэтнографическому исследованию. Хотя вполне возможно, что многое просто осталось за рамками его публикаций.

Аналитическая автоэтнография слишком близко подходит в своих установках к традиционной теории, слишком мало у нее остается исповедального, личностного. Андерсон воспринимается чужаком в среде автоэтнографов. Неслучайно Эллис и Бочнер ставят под сомнение автоэтнографичность аналитической автоэтнографии, а основной корпус статей, обращающихся к обзору Андерсона, относится к автоэтнографии лишь косвенно, зачастую по остаточному принципу, механически включая элементы автобиографической рефлексии в собственные рассуждения. Однако реализм андерсоновского теоретического языка описаний не столько нарушает, сколько расширяет рамку автоэтнографического письма, предоставляет возможность куда более широкому кругу научных сотрудников попробовать себя в новом жанре, отрицающем привычные догматы наукообразной стилистики. Взаимная критика, полемическая напряженность внутри автобиографической методологии уточняют и укрепляют развивающиеся подходы, позволяют недогматически относиться к используемым методам и приемам.

Предлагаемыми Эллис, Адамсон и Бочнером методами (см. рис. 2) отнюдь не исчерпывается методическая коллекция автоэтнографического исследования. Построение дополнительных методических наборов, совмещение и пересечение методов, критика отдельных приемов должны сопутствовать каждому серьезному этнографическому проекту. В отличие от наивной строгости быстро устаревающих учебников по методологии социальных обследований, автоэтнографическая традиция строится на постоянной настройке методического аппарата. Если Л. Козер сравнивал социолога с сантехником, выбирающим из набора заранее изготовленных и прошедших контроль качества инструментов пригодный для конкретной задачи, следя рекомендациям упомянутых авторов, такой набор должен быть изготовлен на месте. Автоэтнограф не гнушается подручными средствами. Испытанные в других проектах и подтвержденные статусными рекомендациями методы подлежат калибровке, подгонке и притирке под личные, биографические особенности исследователя.

Осмысление и письмо логически следуют за принятием решения о методе и предмете и подбором материала (см. рис. 3), фактически — все четыре методических шага сосуществуют одновременно. Можно лишь говорить о доминировании или преобладании какой-либо стадии, но отрицать необходимость присутствия последующих и предыдущих — ошибка, присущая новичкам автоэтнографического подхода. Совместное, коллaborативное ведение исследования относится не только к людям, но и к методам, их внутренней структуре. Нарушение привычного порядка, заложенного в линейной информационной модели (сначала разрабатываются средства обнаружения данных, затем идут их сбор и систематизация, анализ и обработка и только после этого следует описание результатов), составляет основу рефлексивного проекта автоэтнографии, ядро биографического пово-

рота. Нельзя исследовать реверсивную и цикличную жизнь, сложный социальный порядок и спутанную логику человеческих отношений, опираясь на прямой и не-противоречивый методический аппарат.

Фрагментарное, динамически изменяющееся, поэтическое письмо автоэтнографа копирует автобиографичность социального, создает основу для концептуальной эластичности его теоретического осмысления (см. рис. 4). Через рефлексивную позицию автоэтнография сближается с квир-теорией как способом концептуализации иного через сопротивление нормальности и манифестации личной несходности с привычными социальными паттернами. Единственное, что можно спрогнозировать, — это постоянное изменение себя, становление в методе нового знания. Отсюда методологическая доминанта автоэтнографического проекта — это политика соглашений с собой, участниками сообщества и широким культурным контекстом.

Литература

- Алексеев А. Н. (1997). Слишком правоверный комсомолец или дурной шестидесятник / Беседовал Т. Чагунава // Пчела. № 11. Доступно по адресу: http://www.pseudology.org/Gallup/Alexeev_AN.htm (дата доступа: 09.01.2015).
- Алексеев А. Н. (2003а). Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т. 1. СПб.: Норма.
- Алексеев А. Н. (2003б). Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т. 2. СПб.: Норма.
- Алексеев А. Н. (2005а). Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т. 3. СПб.: Норма.
- Алексеев А. Н. (2005б). Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т. 4. СПб.: Норма.
- Алексеев А. Н. (2007). Письмо, дневник, автобиография: многообразие форм и со-пряжение смыслов // Телескоп. № 4. С. 46–56.
- Алексеев А. Н. (2012а). Защита наблюдающего участника // Телескоп. № 2. С. 16–17.
- Алексеев А. Н. (2012б). К дискуссии о соотношении «субъективного» и «объективного» в биографическом нарративе // Телескоп. № 3. С. 18–19.
- Алексеев А. Н. (2012с). Социальный опыт, общая направленность и ценностный профиль личности // Телескоп. № 4. С. 24–35.
- Алексеев А. Н. (2014а). «Крымский вопрос» как предмет «социологического обслуживания» и социологического исследования. Доступно по адресу: <http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/krymskii-vopros-kak-predmet-sociologicheskogo-obsluzhivaniya-i-sociologicheskogo-issledovaniya> (дата доступа: 27.03.2014).
- Алексеев А. Н. (2014б). Следует ли так уж доверять результатам опросов общественного мнения? Доступно по адресу: [http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/krymskii-vopros-kak-predmet-sociologicheskogo-obsluzhivaniya-i-sociologicheskogo-issledovaniya](http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev/andrei-alekseev-1/krymskii-vopros-kak-predmet-sociologicheskogo-obsluzhivaniya-i-sociologicheskogo-issledovaniya)

- alekseev-1/sleduet-li-tak-uzh-doveryat-resultatam-oprosov-obschestvennogo-mneniya-chitaite-na-saite-spas (дата доступа: 10.01.2015).
- Алексеев А. Н., Ленчовский Р. И. (2010). Профессия — социолог. Из опыта драматической социологии: события в СИ РАН — 2008/2009 и не только. Документы, наблюдения, рефлексия. СПб.: Норма.
- Багдасарова Я. (2008). Автоэтнография: исследователь в роли «антропологизируемого» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология, социология, педагогика. № 2. С. 134–145.
- Бачинин В. А. (2011). Рецензия: Алексеев А. Н., Ленчовский Р. И. Профессия — социолог. Из опыта драматической социологии: события в СИ РАН — 2008/2009 и не только. Документы, наблюдения, рефлексия. В 4-х т. СПб.: Норма, 2010 // Социологические исследования. № 4. С. 153–156.
- Готлиб А. С. (2004а). Автоэтнография: разговор с самой собой в двух регистрах) // Социология 4М. № 18. С. 5–16.
- Готлиб А. С. (2004б). Автоэтнография: разговор с самой собой в двух регистрах (продолжение) // Социология 4М. № 19. С. 5–31.
- Григорьев Л. Г. (2003). Рецензия: Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия: В 2-х т. СПб.: Норма, 2003 // Социологический журнал. № 2. С. 180–186.
- Докторов Б. З. (2014а). «Рыба ищет, где глубже, а человек — где не так мелко...»: интервью с Андреем Николаевичем Алексеевым. Доступно по адресу: <http://www.socioprognoz.ru/files/File/history/Alekseev.pdf> (дата доступа: 09.01.2015).
- Докторов Б. З. (2014б). «Продолжение следует...»: интервью с Андреем Николаевичем Алексеевым. Доступно по адресу: http://www.socioprognoz.ru/files/File/2014/alekseev_2014.pdf (дата доступа: 09.01.2015).
- Докторов Б. З. (2015). Личное письмо от 6 марта 2015 года.
- Завадский А. (2014). Попытка ухватить индивидуальное в истории: биография в исторической науке. Интервью с доцентом магистерской программы «Public History. Историческое знание в современном мире» МВШСЭН Верой Дубиной // Интернет-журнал ГЕФТЕР. 22 декабря. Доступно по адресу: <http://gefter.ru/archive/13887> (дата доступа: 25.12.2014).
- Мозжегоров С. В. (2013). Методологические основания сторителлинга в контексте исследования личностных нарративов // Социология 4М. № 37. С. 104–125.
- Мозжегоров С. В. (2014). Нарративы о гомосексуальном раскрытии в западном и российском социокультурном контексте // Социологический журнал. № 1. С. 124–140.
- Adams T. E. (2006). Seeking Father: Relationally Reframing a Troubled Love Story // Qualitative Inquiry. Vol. 12. № 4. P. 704–723.
- Adams T. E. (2008). A Review of Narrative Ethics // Qualitative Inquiry. Vol. 14. № 2. P. 175–194.
- Adams T. E. (2011). Narrating the Closet: An Autoethnography of Same-Sex Attraction. Walnut Creek: Left Coast Press.

- Adams T. E. (2012a). The Joys of Autoethnography: Possibilities for Communication Research // *Qualitative Communication Research*. Vol. 1. № 2. P. 181–194.
- Adams T. E. (2012b). Missing Each Other // *Qualitative Inquiry*. Vol. 18. № 2. P. 193–196.
- Adams T. E. (2013). Post-coming Out Complications // *Critical Autoethnography: Intersecting Cultural Identities in Everyday Life* / Ed. by R. M. Boylorn, M. P. Orbe. Walnut Creek: Left Coast Press. P. 50–61.
- Adams T. E., Ellis C. (2012). Trekking through Autoethnography // *Qualitative Research: An Introduction to Designs and Methods* / Ed. by S. D. Lapan, M. Quartaroli, F. J. Riemer. Hoboken: Jossey-Bass. P. 189–212.
- Adams T. E., Holman Jones S. (2008). Autoethnography Is Queer // *Handbook of Critical and Indigenous Methodologies* / Ed. by N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, L. T. Smith. London: SAGE. P. 373–390.
- Adams T. E., Holman Jones S. (2011). Telling Stories: Autoethnography, Queer Theory, and Reflexivity // *Cultural Studies — Critical Methodology*. Vol. 11. № 2. P. 108–116.
- Adams T. E., Holman Jones S., Ellis C. (2014). *Autoethnography: Understanding Qualitative Research*. New York: Oxford University Press.
- Alexander B. K. (2014). Bodies Yearning on the Borders of Becoming: A Performative Reflection on Three Embodied Axes of Social Difference // *Qualitative Inquiry*. Vol. 20. № 10. P. 1169–1178.
- Anae N. (2014). «Language Speaking the Subject Speaking the Arts»: New Possibilities for Interdisciplinary in Arts/English Education — Explorations in Three-Dimensional Storytelling // *English Teaching — Practice and Critique*. Vol. 13. № 2. P. 113–140.
- Anderson L. (2001). *Autobiography: The New Critical Idiom*. London: Routledge.
- Anderson L. (2006). Analytic Autoethnography // *Journal of Contemporary Ethnography*. Vol. 35. № 4. P. 373–395.
- Anderson L., Austin M. (2012). Auto-ethnography in Leisure Studies // *Leisure Studies*. Vol. 31. № 2. P. 131–146.
- Atkins L. (2014). The Path of Wellness: Reflections on Cancer, the Environment, and the Integrity of Place // *Qualitative Inquiry*. Vol. 20. № 3. P. 246–247.
- Averett P. (2009). The Search for Wonder Woman: An Autoethnography of Feminist Identity // *Affilia*. Vol. 24. № 4. P. 360–368.
- Baena R. (Ed.). (2007). *Transculturing Auto/biography: Forms of Life Writing*. London: Routledge.
- Banoli A. (2004). Researching Identities with Multi-method Autobiographies // *Sociological Research Online*. Vol. 9. № 2. Available at: <http://www.socresonline.org.uk/9/2/bagnoli.html> (accessed 25.12.2014).
- Blinne K. C. (2012). Auto(erotic)ethnography // *Sexualities*. Vol. 15. № 8. P. 953–977.
- Block B. A., Weatherford G. M. (2013). Narrative Research Methodologies: Learning Lessons from Disabilities Research // *Quest*. Vol. 65. № 4. P. 498–514.
- Bochner A. P., Ellis C. (1992). Personal Narrative as a Social Approach to Interpersonal Communication // *Communication Theory*. Vol. 2. № 2. P. 165–172.

- Boylorn R. M., Orbe M. P. (Eds.). (2013). Critical Autoethnography: Intersecting Cultural Identities in Everyday Life. Walnut Creek: Left Coast Press.*
- Bruner J. (1993). The Autobiographical Process // The Culture of Autobiography: Construction of Self-representation / Ed. by R. Folkenflik. Stanford: Stanford University Press. P. 38–56.*
- Cann C. N., DeMeulenaere E. J. (2012). Critical Co-constructed Autoethnography // Cultural Studies — Critical Methodologies. Vol. 12. № 2. P. 146–158.*
- Chang H. V. (2008). Autoethnography as Method. Walnut Creek: Left Coast Press.*
- Chang H. V. (2013). Individual and Collaborative Autoethnography as Method: A Social Scientist's Perspective // Handbook of Autoethnography / Ed. by S. H. Jones, T. E. Adams, C. Ellis. Walnut Creek: Left Coast Press. P. 107–119.*
- Chang H. V., Ngunjiri F. W., Hernandez K. A. (2012). Collaborative Autoethnography. Walnut Creek: Left Coast Press.*
- Chen W.-F. (2014). Proud Stigma: The Domestic Narrative of a Family as Political Criminal Descendants // Qualitative Inquiry. Vol. 20. № 3. P. 282–286.*
- Cho G. M. (2015). Samgwangsa: A Travelogue of Kinship // Qualitative Inquiry. Vol. 21. № 1. P. 59–65.*
- Clifton S. (2014). Grieving My Broken Body: An Autoethnographic Account of Spinal Cord Injury as an Experience of Grief // Disability and Rehabilitation. Vol. 36. № 21. P. 1823–1829.*
- Cockain A. (2014). Becoming Quixotic? A Discussion on the Discursive Construction of Disability and How This Is Maintained through Social Relations // Disability and Society. Vol. 29. № 9. P. 1473–1485.*
- Cook P. S. (2014). «To Actually Be Sociological»: Autoethnography as an Assessment and Learning Tool // Journal of Sociology. Vol. 50. № 3. P. 269–282.*
- DeMeulenaere E. J., Cann C. N. (2013). Activist Educational Research // Qualitative Inquiry. Vol. 19. № 8. P. 552–565.*
- Denshire S. (2014). On Auto-ethnography // Current Sociology. Vol. 62. № 6. P. 831–850.*
- Denzin N. K. (1997). Interpretive Biography: Ethnographic Practices for the Twenty-First Century. London: SAGE.*
- Denzin N. K. (2003). Performance Ethnography: Critical Pedagogy and the Politics of Culture. London: SAGE.*
- Denzin N. K. (2014). Interpretive Autoethnography. London: SAGE.*
- Eakin P. J. (2008). Living Autobiographically: How We Create Identity in Narrative. Ithaca: Cornell University Press.*
- Ellis C. S. (1991). Sociological Introspection and Emotional Experience // Symbolic Interaction. Vol. 14. № 1. P. 23–50.*
- Ellis C. S. (1995). Final Negotiations: A Story of Love, Loss, and Chronic Illness. Philadelphia: Temple University Press.*
- Ellis C. S. (2003). The Ethnographic I: A Methodological Novel about Autoethnography. Walnut Creek: AltaMira Press.*

- Ellis C. S. (2008). Revision: Autoethnographic Reflections on Life and Work. Walnut Creek: Left Coast Press.*
- Ellis C. S., Bochner A. P. (2000). Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity // The SAGE Handbook of Qualitative Research / Ed. by N. K. Denzin, Y. S. Lincoln. London: SAGE. P. 733–768.*
- Ellis C. S., Bochner A. P. (2006). Analyzing Analytic Autoethnography: An Autopsy // Journal of Contemporary Ethnography. Vol. 35. № 4. P. 429–449.*
- Ellis C. S., Rawicki J. (2013). Collaborative Witnessing of Survival During the Holocaust: An Exemplar of Relational Autoethnography // Qualitative Inquiry. Vol. 19. № 5. P. 366–380.*
- Ellis C. S., Adams T. E., Bochner A. P. (2010). Autoethnografie // Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie / Hrsg. von G. Mey, K. Mruck. Wiesbaden: Springer. S. 345–357.*
- Ellis C. S., Adams T. E., Bochner A. P. (2011). Autoethnography: An Overview // Forum Qualitative Sozialforschung. Vol. 12. № 1. Available at: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1589> (accessed 25.12.2014).*
- Emerald E., Carpenter L. (2014). The Scholar Retires: An Embodied Identity Journey // Qualitative Inquiry. Vol. 20. № 10. P. 1141–1147.*
- Ernst R., Vallack J. (2015). Storm Surge: An Autoethnography about Teaching in the Australian Outback // Qualitative Inquiry. Vol. 21. № 2. P. 153–160.*
- Esposito J. (2014). Pain Is a Social Construction until It Hurts: Living Theory on My Body // Qualitative Inquiry. Vol. 20. № 10. P. 1179–1190.*
- Ettorre E. (2013). Drug User Researchers as Autoethnographers: «Doing Reflexivity» with Women Drug Users // Substance Use and Misuse. Vol. 48. № 13. P. 1377–1385.*
- Fox R. (2014). Auto-archaeology of Homosexuality: A Foucauldian Reading of the Psychiatric-Industrial Complex // Text and Performance Quarterly. Vol. 34. № 3. P. 230–250.*
- Gingrich-Philbrook C. (2005). Autoethnography's Family Values: Easy Access to Compulsory Experiences // Text and Performance Quarterly. Vol. 25. № 4. P. 297–314.*
- Goodall B. H. (2001). Writing the New Ethnography. Walnut Creek: AltaMira Press.*
- Griffin N. S. (2014). Collaborative Autoethnography // Qualitative Research. Vol. 14. № 4. P. 523–524.*
- Hall D. E., Jagose A. (Eds.). (2012). The Routledge Queer Studies Reader. New York: Routledge.*
- Hamati-Ataya I. (2013). Reflectivity, Reflexivity, Reflexivism: IR's «Reflexive Turn» and Beyond // European Journal of International Relations. Vol. 19. № 4. P. 669–694.*
- Hanauer D. I. (2012). Growing Up in the Unseen Shadow of the Kindertransport: A Poetic-Narrative Autoethnography // Qualitative Inquiry. Vol. 18. № 10. P. 845–851.*
- Harrison B., Lyon E. S. (1993). A Note on Ethical Issues in the Use of Autobiography in Sociological Research // Sociology. Vol. 27. № 1. P. 101–109.*
- Hayano D. (1982). Poker Faces: The Life and Work of Professional Card Players. Berkeley: University of California Press.*

- Henderson B.* (2012). Narrating the Closet: An Autoethnography of Same-Sex Attraction // *Text and Performance Quarterly*. Vol. 32. № 4. P. 372–374.
- Henson D. F.* (2013). Wrangling Space: The Incoherence of a Long-Distance Life // *Qualitative Inquiry*. Vol. 19. № 7. P. 518–522.
- Holman Jones S.* (2004). Building Connections in Qualitative Research: Carolyn Ellis and Art Bochner in conversation with Stacy Holman Jones // *Forum Qualitative Sozialforschung*. Vol. 5. № 3. Available at: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/552/1194> (accessed 18.01.2015).
- Holman Jones S.* (2005a). (M)othering Loss: Telling Adoption Stories, Telling Performativity // *Text and Performance Quarterly*. Vol. 25. № 2. P. 113–135.
- Holman Jones S.* (2005b). Autoethnography: Making the Personal Political // *Handbook of Qualitative Research* / Ed. by N. K. Denzin, Y. S. Lincoln. London: SAGE. P. 763–791.
- Holman Jones S., Adams T. E.* (2010a). Autoethnography and Queer Theory: Making Possibilities // *Qualitative Inquiry and Human Rights* / Ed. by M. Giardina, N. K. Denzin. Walnut Creek: Left Coast Press. P. 136–157.
- Holman Jones S., Adams T. E.* (2010b). Autoethnography Is a Queer Method // *Queer Methods and Methodologies* / Ed. by K. Browne, C. Nash. Burlington: Ashgate. P. 195–214.
- Holman Jones S., Adams T. E.* (2014). Undoing the Alphabet: A Queer Fugue on Grief and Forgiveness // *Cultural Studies — Critical Methodology*. Vol. 14. № 2. P. 102–110.
- Holman Jones S., Adams T. E., Ellis C. S.* (2013). Introduction: Coming to Know Autoethnography as More than a Method // *Handbook of Autoethnography* / Ed. by S. Holman Jones, T. E. Adams, C. S. Ellis. Walnut Creek: Left Coast Press. P. 17–47.
- Jahng K. E.* (2014). A Self-critical Journey to Working for Immigrant Children: An Autoethnography // *European Early Childhood Education Research Journal*. Vol. 22. № 4. P. 573–582.
- Jolly M.* (Ed.). (2001). *Encyclopedia of Life Writing: Autobiographical and Biographical Forms*. London: Routledge.
- Jones M.* (2013). Traversing No Man's Land in Search of an (Other) Identity: An Autoethnographic Account // *Journal of Contemporary Ethnography*. Vol. 42. № 6. P. 745–768.
- Jones S. H., Adams T. E., Ellis C.* (Eds.). (2015). *Handbook of Autoethnography*. Walnut Creek: Left Coast Press.
- Keisinger C. E.* (2002). My Father's Shoes: The Therapeutic Value of Narrative Reframing // *Ethnographically Speaking: Autoethnography, Literature, and Aesthetics* / Ed. by A. P. Bochner, C. S. Ellis. Walnut Creek: AltaMira Press. P. 95–114.
- Kohn N.* (2014). Improvised Educational Devices // *Qualitative Inquiry*. Vol. 20. № 3. P. 325–331.
- Larsen J.* (2014). (Auto)ethnography and Cycling // *International Journal of Social Research Methodology*. Vol. 17. № 1. P. 59–71.
- Liggins J., Kearns R. A., Adams P. J.* (2013). Using Autoethnography to Reclaim the «Place of Healing» in Mental Health Care // *Social Science and Medicine*. Vol. 91. P. 105–109.

- Littig B. (2013). On High Heels: A Praxiography of Doing Argentine Tango // European Journal of Womens Studies. Vol. 20. № 4. P. 455–467.*
- Lobatto W. (2013). The Art of Leading and Following: A Workplace Tango // Journal of Social Work Practice. Vol. 27. № 2. P. 133–147.*
- Lofland J., Snow D. A., Anderson L., Lofland L. H. (2005). Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis. Boston: Cengage Learning.*
- Mardones D. F. (2014). Crying a Thesis // Qualitative Inquiry. Vol. 20. № 3. P. 248–252.*
- Marschall S. (2015). «Travelling Down Memory Lane»: Personal Memory as a Generator of Tourism // Tourism Geographies. Vol. 17. № 1. P. 36–53.*
- Martin M. (2014). A Witness of Whiteness: An Autoethnographic Examination of a White Teacher's Own Inherent Prejudice // Education as Change. Vol. 18. № 2. P. 237–254.*
- Martinez A., Merlino A. (2014). I Don't Want to Die before Visiting Graceland: A Collaborative Autoethnography // Qualitative Inquiry. Vol. 20. № 8. P. 990–997.*
- McCormack C., Vanags T., Prior R. (2014). «Things Fall Apart So They Can Fall Together»: Uncovering the Hidden Side of Writing a Teaching Award Application // Higher Education Research and Development. Vol. 33. № 5. P. 935–948.*
- McGlotten S. (2014). A Brief and Improper Geography of Queerspace and Sexpublics in Austin, Texas // Gender Place and Culture. Vol. 21. № 4. P. 471–488.*
- McTavish L. (2015). Feminist Figure Girl: Look Hot While You Fight the Patriarchy. New York: State University of New York Press.*
- Meneley A., Young D. (Eds.). (2005). Auto-ethnographies: The Anthropology of Academic Practices. Peterborough: Broadview Press.*
- Muncey T. (2010). Creating Autoethnographies. London: SAGE.*
- Murphy R. F. (1987). The Body Silent. New York: Norton.*
- Nam S. H. (2008). The Construction of Self-identity in the Chronically Mentally Ill: A Focus on Autobiographic Narratives of Mentally Ill Patients in South Korea // Qualitative Sociology Review. Vol. 4. № 1. P. 150–170.*
- Neumann M. (1996). Collecting Ourselves at the End of the Century // Composing Ethnography: Alternative Forms of Qualitative Writing / Ed. by C. S. Ellis, A. P. Bochner. Walnut Creek: AltaMira Press. P. 172–198.*
- Neville-Jan A. (2003). Encounters in a World of Pain: An Auto-ethnography // American Journal of Occupational Therapy. Vol. 57. № 1. P. 88–98.*
- Neville-Jan A. (2004). Selling Your Soul to the Devil: An Auto-ethnography of Pain, Pleasure and the Quest for a Child // Disability and Society. Vol. 19. № 2. P. 113–127.*
- Neville-Jan A. (2005). The Problem with Prevention: The Case of Spina Bifida // American Journal of Occupational Therapy. Vol. 59. № 5. P. 527–539.*
- Newbold G., Ross J. I., Jones R. S., Richards S. C., Lenza M. (2014). Prison Research from the Inside: The Role of Convict Autoethnography // Qualitative Inquiry. Vol. 20. № 4. P. 439–448.*
- Ngunjiri F. W., Hernandez K.-A. C., Chang H. (2010). Living Autoethnography: Connecting Life and Research // Journal of Research Practice. Vol. 6. № 1. P. 1–17.*

- Nordmarken S. (2014). Becoming Ever More Monstrous: Feeling Transgender In-betweenness // Qualitative Inquiry. Vol. 20. № 1. P. 37–50.*
- O'Keefe T. (2015). Creation of a Personality Garden: A Tool for Reflection and Teacher Development, an Autoethnographical Research Paper // Nurse Education Today. Vol. 35. № 1. P. 138–145.*
- Ouellet L. J. (1994). Pedal to the Metal: The Work Lives of Truckers. Philadelphia: Temple University Press.*
- Pensoneau-Conway S. L., Bolen D. M., Toyosaki S., Rudick C. K., Bolen E. K. (2014). Self, Relationship, Positionality, and Politics: A Community Autoethnographic Inquiry into Collaborative Writing // Cultural Studies — Critical Methodologies. Vol. 14. № 4. P. 312–323.*
- Peterson A. L. (2015). A Case for the Use of Autoethnography in Nursing Research // Journal of Advanced Nursing. Vol. 71. № 1. P. 226–233.*
- Plummer K. (2005). Critical Humanism and Queer Theory: Living with the Tensions // Handbook of Qualitative Research / Ed. by N. K. Denzin, Y. S. Lincoln. London: SAGE. P. 357–373.*
- Rawicki J., Ellis C. S. (2011). «Lechem Hara (Bad Bread), Lechem Tov (Good Bread)»: Depravity and Nobility during the Holocaust // Qualitative Inquiry. Vol. 17. № 2. P. 155–157.*
- Reed-Danahay D. (Ed.). (1997). Auto/ethnography: Rewriting the Self and the Social. New York: Berg.*
- Riggs N.A. (2014). Following Bud: Blogging at the End-of-Life // Qualitative Inquiry. Vol. 20. № 3. P. 376–384.*
- Roth W. M. (Ed.). (2005). Auto/biography and Auto/ethnography: Praxis of Research Method. Rotterdam: Sense Publisher.*
- Rottgerrossler B. (1993). Autobiography in Question: On Self-presentation and Life Description in an Indonesian Society // Anthropos. Vol. 88. № 4-6. P. 365–373.*
- Sanders C. (1999). Understanding Dogs: Living and Working with Canine Companions. Philadelphia: Temple University Press.*
- Sandoval C. (2000). Methodology of the Oppressed. Minneapolis: University of Minnesota Press.*
- Schingaro N. (2014). The Reversal of Lifelong Labeling: An Autoethnography // Deviant Behavior. Vol. 35. № 9. P. 703–726.*
- Sealy P. A. (2012). Autoethnography: Reflective Journaling and Meditation to Cope with Life-Threatening Breast Cancer // Clinical Journal of Oncology Nursing. Vol. 16. № 1. P. 38–41.*
- Shoemaker D. B. (2014). Kind of Blue (Music for the Muse): Re/playing Autoethnographic Stories through Music // Text and Performance Quarterly. Vol. 34. № 3. P. 321–325.*
- Short N. P., Turner L., Grant A. (Eds.). (2013). Contemporary British Autoethnography. Rotterdam: Sense Publishers.*
- Sikes P. (Ed.). (2013). Autoethnography. London: SAGE.*

- Sloane H. M. (2014). Tales of a Reluctant Sex Radical: Barriers to Teaching the Importance of Pleasure for Wellbeing // Sexuality and Disability. Vol. 32. № 4. P. 453–467.*
- Smith C. (2005). Epistemological Intimacy: A Move to Autoethnography // International Journal of Qualitative Methods. Vol. 4. № 2. P. 1–7.*
- Smith C. (2012). (Re)discovering Meaning: A Tale of Two Losses // Qualitative Inquiry. Vol. 18. № 10. P. 862–867.*
- Soshi M. J. (2014). Help(ness): An Autoethnography about Caring for my Mother with Terminal Cancer // Health Communication. Vol. 29. № 8. P. 840–842.*
- Struthers J. (2014). Analytic Autoethnography: One Story of the Method // Theory and Method in Higher Education Research II / Ed. by J. Huisman, M. Tight. Bingley: Emerald Group Publishing. P. 183–202.*
- Sutton-Brown C. (2010). Review of Carolyn Ellis' Book *Revision: Autoethnographic Reflections of Life and Work* // Qualitative Report. Vol. 15. № 5. P. 1306–1308.*
- Sykes B. E. (2014). Transformative Autoethnography: An Examination of Cultural Identity and Its Implications for Learners // Adult Learning. Vol. 25. № 1. P. 3–10.*
- Tamas T. (2011). Body, Paper, Stage: Writing and Performing Autoethnography. Walnut Creek: Left Coast Press.*
- Terry A. W. (2012). My Journey in Grief: A Mother's Experience Following the Death of Her Daughter // Qualitative Inquiry. Vol. 18. № 4. P. 355–367.*
- Ugelvik T. (2014). Prison Ethnography as Lived Experience: Notes from the Diaries of a Beginner Let Loose in Oslo Prison // Qualitative Inquiry. Vol. 20. № 4. P. 444–453.*
- Wakeman S. (2014). Fieldwork, Biography and Emotion Doing Criminological Autoethnography // British Journal of Criminology. Vol. 54. № 5. P. 705–721.*
- Warren J. T. (2011). Reflexive Teaching: Toward Critical Autoethnographic Practices of/in/on Pedagogy // Cultural Studies — Critical Methodology. Vol. 11. № 2. P. 139–144.*
- Whitinui P. (2014). Indigenous Autoethnography: Exploring, Engaging, and Experiencing «Self» as a Native Method of Inquiry // Journal of Contemporary Ethnography. Vol. 43. № 4. P. 456–487.*
- Wilchins R. (2014). Queer Theory, Gender Theory. New York: Riverdale Avenue Books.*
- Wilkins R. (1993). Taking It Personaly: A Note on Emotion and Autobiography // Sociology. Vol. 27. № 1. P. 93–100.*
- Wilson K. B. (2011). Opening Pandora's Box: An Autoethnographic Study of Teaching // Qualitative Inquiry. Vol. 17. № 5. P. 452–458.*
- Wyatt J., Adams T. E. (Eds.). (2014). On (Writing) Families: Autoethnographies of Presence and Absence. Rotterdam: Sense Publishers.*
- Yang S. (2012). An Autoethnography of a Childless Woman in Korea // Affilia. Vol. 12. № 4. P. 371–380.*
- Zapata-Sepulveda S., Reinertsen A.B., Martin M., Gomez A. (2014). The Pink-Wheeled Bike — Takes Two, Three, and Four // International Review of Qualitative Research. Vol. 7. № 4. P. 502–514.*

How Autoethnography Works

Dmitry Rogozin

Head of the Laboratory for the Methodology of Federative Studies, Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Senior Researcher, Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences

Address: Prospect Vernadskogo, 82, Moscow, Russian Federation 119571

E-mail: d.rogzin@list.ru

The aim of the article is to reveal the modern autoethnographic approach to social research. The review of publications edited since the beginning of the 2000's has shown that autoethnography works as a planned, well-structured confession correlating with the outside world. The essentially open and uncompromising representation of each detail in the author's personal story related to the subject matter, alongside with his/her shift away from neutrality and organized skepticism (according to Merton) in respect of the research issue, establish the principles for an autobiographical approach. The article reflects the peculiarities of modern autoethnographic schools, and describes the methods and techniques of autobiographical writing. There are two trends of autoethnography that are distinguished in Western tradition: evocative autoethnography, which is based on queer theory, and analytical autoethnography, traditionally oriented to conceptual apparatus. The first evocative trend is founded on the metaphors of emotional, authentic, and veracious representations of cultural realities through the autobiographical genre. The second trend, analytical autoethnography, is supported by three research prescriptions: the actual membership in the studied community, and avoidance of understatements, including the unspoken, non-prescribed details of ethnographic work; the desire for theoretical understanding of reality; and the rejection of any authentic reflection of the past. Over the past 20–30 years, there has not been any significant autoethnographic project implemented by the Russian research community appealing to the development of independent theoretical descriptive language. The only exception to the rule is Alexeyev's so-called "dramaturgical sociology", adjacent to the queer ideology of some Western colleagues. The paper represents a detailed analysis of research innovation embedded by Alexeyev, as well as a logical and theoretical overlapping with the works of foreign authors.

Keywords: autobiography, autoethnography, biographical method, dramaturgical sociology, queer theory, personal narrative

References

- Adams T. E. (2006) Seeking Father: Relationally Reframing a Troubled Love Story. *Qualitative Inquiry*, vol. 12, no 4, pp. 704–723.
- Adams T. E. (2008) A Review of Narrative Ethics. *Qualitative Inquiry*, vol. 14, no 2, pp. 175–194.
- Adams T. E. (2011) *Narrating the Closet: An Autoethnography of Same-Sex Attraction*, Walnut Creek: Left Coast Press.
- Adams T. E. (2012a) The Joys of Autoethnography: Possibilities for Communication Research. *Qualitative Communication Research*, vol. 1, no 2, pp. 181–194.
- Adams T. E. (2012b) Missing Each Other. *Qualitative Inquiry*, vol. 18, no 2, pp. 193–196.
- Adams T. E. (2013) Post-coming Out Complications. *Critical Autoethnography: Intersecting Cultural Identities in Everyday Life* (eds. R. M. Boylorn, M. P. Orbe), Walnut Creek: Left Coast Press, pp. 50–61.
- Adams T. E., Ellis C. (2012) Trekking through Autoethnography. *Qualitative Research: An Introduction to Designs and Methods* (eds. S. D. Lapan, M. Quartaroli, F. J. Riemer), Hoboken: Jossey-Bass, pp. 189–212.
- Adams T. E., Holman Jones S. (2008) Autoethnography Is Queer. *Handbook of Critical and Indigenous Methodologies* (eds. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, L. T. Smith), London: SAGE, pp. 373–390.

- Adams T. E., Holman Jones S. (2011). *Telling Stories: Autoethnography, Queer Theory, and Reflexivity. Cultural Studies — Critical Methodology*, vol. 11, no 2, pp. 108–116.
- Adams T. E., Holman Jones S., Ellis C. (2014) *Autoethnography: Understanding Qualitative Research*, New York: Oxford University Press.
- Alekseev A. (1997) Slishkom pravovernij komsomolec ili durnoj shestidesyatnik [Too Orthodox Komsomol Member or Obnoxious Sixtier]. *Pchela*, no 11. Available at: http://www.pseudology.org/Gallup/Alexeev_AN.htm (accessed 09.01.2015).
- Alekseev A. (2003) *Dramaticheskaja sociologija i sociologicheskaja autorefleksija. T. 1* [The Dramatic Sociology and Sociological Autoreflection, Vol. 1], Saint-Petersburg: Norma.
- Alekseev A. (2003) *Dramaticheskaja sociologija i sociologicheskaja autorefleksija. T. 2* [The Dramatic Sociology and Sociological Autoreflection, Vol. 2], Saint-Petersburg: Norma.
- Alekseev A. (2005) *Dramaticheskaja sociologija i sociologicheskaja autorefleksija. T. 3* [The Dramatic Sociology and Sociological Autoreflection, Vol. 3], Saint-Petersburg: Norma.
- Alekseev A. (2005) *Dramaticheskaja sociologija i sociologicheskaja autorefleksija. T. 4* [The Dramatic Sociology and Sociological Autoreflection, Vol. 4], Saint-Petersburg: Norma.
- Alekseev A. (2007) Pis'mo, dnevnik, avtobiografija: mnogoobrazie form i soprijazhenie smyslov [Letter, Diary, Autobiography: Multiple Forms and Intersection of Meanings]. *Teleskop*, no 4, pp. 46–56.
- Alekseev A. (2012) Zashhita nabljudajushhego uchastnika [Defence of the Observing Participant]. *Teleskop*, no 2, pp. 16–17.
- Alekseev A. (2012) K diskussii o sootnoshenii "sub'ektivnogo" i "ob'ektivnogo" v biograficheskom narrative [To the Discussion about the Balance of "Subjective" and "Objective" in Biographical Narrative]. *Teleskop*, no 3, pp. 18–19.
- Alekseev A. (2012) Social'nyj opyt, obshhaja napravленnost' i cennostnyj profil' lichnosti [Social Experience, General Orientation and Value Profile of Personality]. *Teleskop*, no 4, pp. 24–35.
- Alekseev A. (2014) "Krymskij vopros" kak predmet "sociologicheskogo obsluzhivanija" i "sociologicheskogo issledovaniya" ["Crimean Question" as a Subject of "Sociological Servicing" and Sociological Research]. Available at: <http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1-krymskij-vopros-kak-predmet-sociologicheskogo-obsluzhivanija-i-sociologicheskogo-issledovaniya> (accessed 27.03.2014).
- Alekseev A. (2014) *Sleduet li tak uzh doverjat' rezul'tatam oprosov obshhestvennogo mnenija?* [Should We Trust So Much the Results of Public Opinion Surveys?]. Available at: <http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/sleduet-li-tak-uzh-doveryat-rezultatam-oprosov-obschestvennogo-mneniya-chitaite-na-saite-spas> (accessed 10.01.2015).
- Alekseev A., Lenchovskij R. (2010) *Professija — sociolog. Iz optya dramaticeskoy sociologii: sobytija v SI RAN — 2008/2009 i ne tol'ko. Dokumenty, nabljudeniya, refleksija* [Sociologist as Profession. Essay in Dramatic Sociology: Events in SI RAN — 2008/2009 and Others. Documents, Observations, Reflection], Saint-Petersburg: Norma.
- Alexander B. K. (2014) Bodies Yearning on the Borders of Becoming: A Performative Reflection on Three Embodied Axes of Social Difference. *Qualitative Inquiry*, vol. 20, no 10, pp. 1169–1178.
- Anae N. (2014) "Language Speaking the Subject Speaking the Arts": New Possibilities for Interdisciplinary in Arts/English Education — Explorations in Three-Dimensional Storytelling. *English Teaching — Practice and Critique*, vol. 13, no 2, pp. 113–140.
- Anderson L. (2001) *Autobiography: The New Critical Idiom*, London: Routledge.
- Anderson L. (2006) Analytic Autoethnography. *Journal of Contemporary Ethnography*, vol. 35, no 4, pp. 373–395.
- Anderson L., Austin M. (2012) Auto-ethnography in Leisure Studies. *Leisure Studies*, vol. 31, no 2, pp. 131–146.
- Atkins L. (2014) The Path of Wellness: Reflections on Cancer, the Environment, and the Integrity of Place. *Qualitative Inquiry*, vol. 20, no 3, pp. 246–247.
- Averett P. (2009) The Search for Wonder Woman: An Autoethnography of Feminist Identity. *Affilia*, vol. 24, no 4, pp. 360–368.
- Bachinin V. (2011) Recenzija: Alekseev A. N., Lenchovskij R. I. *Professija — sociolog. Iz optya dramaticeskoy sociologii: sobytija v SI RAN — 2008/2009 i ne tol'ko. Dokumenty, nabljudeniya*,

- refleksija. V 4-h t. Saint-Petersburg: Norma, 2010 [Review: Alekseev A., Lenchovsky R. Sociologist as Profession. Essay in Dramatic Sociology: Events in SI RAN — 2008/2009 and Others. Documents, Observations, Reflection, Saint-Petersburg: Norma, 2010]. *Sotsiologicheskie issledovaniia*, no 4, pp. 153–156.
- Baena R. (Ed.) (2007) *Transculturing Auto/biography: Forms of Life Writing*, London: Routledge.
- Bagdasarova Y. (2008) Avtojetnografija: issledovatel' v roli "antropologiziruemogo" [Autoethnography: Researcher's Role as an "Anthropologized"]. *Vestnik of St. Petersburg University. Series 12. Psychology. Sociology. Education*, no 2, pp. 134–145.
- Banoli A. (2004) Researching Identities with Multi-method Autobiographies. *Sociological Research Online*, vol. 9, no 2. Available at: <http://www.socresonline.org.uk/9/2/bagnoli.html> (accessed 25.12.2014).
- Blinke K. C. (2012) Auto(erotic)ethnography. *Sexualities*, vol. 15, no 8, pp. 953–977.
- Block B. A., Weatherford G. M. (2013) Narrative Research Methodologies: Learning Lessons from Disabilities Research. *Quest*, vol. 65, no 4, pp. 498–514.
- Bochner A. P., Ellis C. (1992) Personal Narrative as a Social Approach to Interpersonal Communication. *Communication Theory*, vol. 2, no 2, pp. 165–172.
- Boylorn R. M., Orbe M. P. (eds.) (2013) *Critical Autoethnography: Intersecting Cultural Identities in Everyday Life*, Walnut Creek: Left Coast Press.
- Bruner J. (1993) The Autobiographical Process. *The Culture of Autobiography: Construction of Self-representation* (ed. R. Folkenflik), Stanford: Stanford University Press, pp. 38–56.
- Cann C. N., DeMeulenaere E. J. (2012) Critical Co-constructed Autoethnography. *Cultural Studies — Critical Methodologies*, vol. 12, no 2, pp. 146–158.
- Chang H. V. (2008) *Autoethnography as Method*, Walnut Creek: Left Coast Press.
- Chang H. V. (2013) Individual and Collaborative Autoethnography as Method: A Social Scientist's Perspective. *Handbook of Autoethnography* (eds. S. H. Jones, T. E. Adams, C. Ellis), Walnut Creek: Left Coast Press, pp. 107–119.
- Chang H. V., Ngunjiri F. W., Hernandez K. A. (2012) *Collaborative Autoethnography*, Walnut Creek: Left Coast Press.
- Chen W.-F. (2014) Proud Stigma: The Domestic Narrative of a Family as Political Criminal Descendants. *Qualitative Inquiry*, vol. 20, no 3, pp. 282–286.
- Cho G. M. (2015) Samgwangsa: A Travelogue of Kinship. *Qualitative Inquiry*, vol. 21, no 1, pp. 59–65.
- Clifton S. (2014) Grieving My Broken Body: An Autoethnographic Account of Spinal Cord Injury as an Experience of Grief. *Disability and Rehabilitation*, vol. 36, no 21, pp. 1823–1829.
- Cockain A. (2014) Becoming Quixotic? A Discussion on the Discursive Construction of Disability and How This Is Maintained through Social Relations. *Disability and Society*, vol. 29, no 9, pp. 1473–1485.
- Cook P. S. (2014) "To Actually Be Sociological": Autoethnography as an Assessment and Learning Tool. *Journal of Sociology*, vol. 50, no 3, pp. 269–282.
- DeMeulenaere E. J., Cann C. N. (2013) Activist Educational Research. *Qualitative Inquiry*, vol. 19, no 8, pp. 552–565.
- Denshire S. (2014) On Auto-ethnography. *Current Sociology*, vol. 62, no 6, pp. 831–850.
- Denzin N. K. (1997) *Interpreting Biography: Ethnographic Practices for the Twenty-First Century*, London: SAGE.
- Denzin N. K. (2003) *Performance Ethnography: Critical Pedagogy and the Politics of Culture*, London: SAGE.
- Denzin N. K. (2014) *Interpreting Autoethnography*, London: SAGE.
- Doktorov B. (2014) "Ryba ishhet, gde glubzhe, a chelovek — gde ne tak melko...": interv'ju s Andreem Nikolaevichem Alekseevym ["Fish Looks for Deeper Place, Man Looks for Less Shallow One...": An Interview with Andrey Alekseev]. Available at: <http://www.socioprognoz.ru/files/File/history/Alekseev.pdf> (accessed 09.01.2015).
- Doktorov B. (2014) "Prodolzhenie sleduet...": interv'ju s Andreem Nikolaevichem Alekseevym ["To Be Continued...": An Interview with Andrey Alekseev]. Available at: http://www.socioprognoz.ru/files/File/2014/alekseev_2014.pdf (accessed 09.01.2015).
- Doktorov B. (2015) *Lichnoe pis'mo ot 6 marta 2015 goda* [Personal Letter from March 6, 2015].

- Eakin P. J. (2008) *Living Autobiographically: How We Create Identity in Narrative*, Ithaca: Cornell University Press.
- Ellis C. S. (1991) Sociological Introspection and Emotional Experience. *Symbolic Interaction*, vol. 14, no 1, pp. 23–50.
- Ellis C. S. (1995) *Final Negotiations: A Story of Love, Loss, and Chronic Illness*, Philadelphia: Temple University Press.
- Ellis C. S. (2003) *The Ethnographic I: A Methodological Novel about Autoethnography*, Walnut Creek: AltaMira Press.
- Ellis C. S. (2008) *Revision: Autoethnographic Reflections on Life and Work*, Walnut Creek: Left Coast Press.
- Ellis C. S., Bochner A. P. (2000) Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity. *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (eds. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln), London: SAGE, pp. 733–768.
- Ellis C. S., Bochner A. P. (2006) Analyzing Analytic Autoethnography: An Autopsy. *Journal of Contemporary Ethnography*, vol. 35, no 4, pp. 429–449.
- Ellis C. S., Rawicki J. (2013) Collaborative Witnessing of Survival During the Holocaust: An Exemplar of Relational Autoethnography. *Qualitative Inquiry*, vol. 19, no 5, pp. 366–380.
- Ellis C. S., Adams T. E., Bochner A. P. (2010) Autoethnografie. *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (eds. G. Mey, K. Mruck), Wiesbaden: Springer, pp. 345–357.
- Ellis C. S., Adams T. E., Bochner A. P. (2011) Autoethnography: An Overview. *Forum: Qualitative Sozialforschung*, vol. 12, no 1. Available at: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1589> (accessed 25.12.2014).
- Emerald E., Carpenter L. (2014) The Scholar Retires: An Embodied Identity Journey. *Qualitative Inquiry*, vol. 20, no 10, pp. 1141–1147.
- Ernst R., Vallack J. (2015) Storm Surge: An Autoethnography about Teaching in the Australian Outback. *Qualitative Inquiry*, vol. 21, no 2, pp. 153–160.
- Esposito J. (2014) Pain Is a Social Construction until It Hurts: Living Theory on My Body. *Qualitative Inquiry*, vol. 20, no 10, pp. 1179–1190.
- Ettorre E. (2013) Drug User Researchers as Autoethnographers: "Doing Reflexivity" with Women Drug Users. *Substance Use and Misuse*, vol. 48, no 13, pp. 1377–1385.
- Fox R. (2014) Auto-archaeology of Homosexuality: A Foucauldian Reading of the Psychiatric-Industrial Complex. *Text and Performance Quarterly*, vol. 34, no 3, pp. 230–250.
- Gingrich-Philbrook C. (2005) Autoethnography's Family Values: Easy Access to Compulsory Experiences. *Text and Performance Quarterly*, vol. 25, no 4, pp. 297–314.
- Goodall B. H. (2001) *Writing the New Ethnography*, Walnut Creek: AltaMira Press.
- Gotlib A. (2004) Avtojetnografija: razgovor s samoj soboj v dvuh registrakh [Autoethnography: A Conversation with Oneself in Two Registers]. *Sociology: 4M*, no 18, pp. 5–16.
- Gotlib A. (2004) Avtojetnografija: razgovor s samoj soboj v dvuh registrakh (prodolzhenie) [Autoethnography: A Conversation with Oneself in Two Registers (Continuation)]. *Sociology: 4M*, no 19, pp. 5–31.
- Griffin N. S. (2014) Collaborative Autoethnography. *Qualitative Research*, vol. 14, no 4, pp. 523–524.
- Grigoriev L. (2003) Recenzija: Alekseev A. N. Dramaticheskaja sociologija i sociologicheskaja autorefleksija: V 2-h t. Saint-Petersburg: Norma, 2003 [Review: Alekseev A. The Dramatic Sociology and Sociological Autoreflection, 2 vols., Saint-Petersburg: Norma, 2003]. *Sociological Journal*, no 2, pp. 180–186.
- Hall D. E., Jagose A. (Eds.) (2012) *The Routledge Queer Studies Reader*, New York: Routledge.
- Hamati-Ataya I. (2013) Reflectivity, Reflexivity, Reflexivism: IR's "Reflexive Turn" and Beyond. *European Journal of International Relations*, vol. 19, no 4, pp. 669–694.
- Hanauer D. I. (2012) Growing Up in the Unseen Shadow of the Kindertransport: A Poetic-Narrative Autoethnography. *Qualitative Inquiry*, vol. 18, no 10, pp. 845–851.
- Harrison B., Lyon E. S. (1993) A Note on Ethical Issues in the Use of Autobiography in Sociological Research. *Sociology*, vol. 27, no 1, pp. 101–109.
- Hayano D. (1982) *Poker Faces: The Life and Work of Professional Card Players*, Berkeley: University of California Press.

- Henderson B. (2012) Narrating the Closet: An Autoethnography of Same-Sex Attraction. *Text and Performance Quarterly*, vol. 32, no 4, pp. 372–374.
- Henson D. F. (2013) Wrangling Space: The Incoherence of a Long-Distance Life. *Qualitative Inquiry*, vol. 19, no 7, pp. 518–522.
- Holman Jones S. (2004) Building Connections in Qualitative Research: Carolyn Ellis and Art Bochner in conversation with Stacy Holman Jones. *Forum: Qualitative Sozialforschung*, vol. 5, no 3. Available at: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/552/1194> (accessed 18.01.2015).
- Holman Jones S. (2005a) (M)othering Loss: Telling Adoption Stories, Telling Performativity. *Text and Performance Quarterly*, vol. 25, no 2, pp. 113–135.
- Holman Jones S. (2005b) Autoethnography: Making the Personal Political. *Handbook of Qualitative Research* (eds. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln), London: SAGE, pp. 763–791.
- Holman Jones S., Adams T. E. (2010a) Autoethnography and Queer Theory: Making Possibilities. *Qualitative Inquiry and Human Rights* (eds. M. Giardina, N. K. Denzin), Walnut Creek: Left Coast Press, pp. 136–157.
- Holman Jones S., Adams T. E. (2010b) Autoethnography Is a Queer Method. *Queer Methods and Methodologies* (eds. K. Browne, C. Nash), Burlington: Ashgate, pp. 195–214.
- Holman Jones S., Adams T. E. (2014) Undoing the Alphabet: A Queer Fugue on Grief and Forgiveness. *Cultural Studies — Critical Methodology*, vol. 14, no 2, pp. 102–110.
- Holman Jones S., Adams T. E., Ellis C. S. (2013) Introduction: Coming to Know Autoethnography as More than a Method. *Handbook of Autoethnography* (eds. S. Holman Jones, T. E. Adams, C. S. Ellis), Walnut Creek: Left Coast Press, pp. 17–47.
- Jahng K. E. (2014) A Self-critical Journey to Working for Immigrant Children: An Autoethnography. *European Early Childhood Education Research Journal*, vol. 22, no 4, pp. 573–582.
- Jolly M. (ed.) (2001) *Encyclopedia of Life Writing: Autobiographical and Biographical Forms*, London: Routledge.
- Jones M. (2013) Traversing No Man's Land in Search of an (Other) Identity: An Autoethnographic Account. *Journal of Contemporary Ethnography*, vol. 42, no 6, pp. 745–768.
- Jones S. H., Adams T. E., Ellis C. (eds.) (2015) *Handbook of Autoethnography*, Walnut Creek: Left Coast Press.
- Keisinger C. E. (2002) My Father's Shoes: The Therapeutic Value of Narrative Reframing. *Ethnographically Speaking: Autoethnography, Literature, and Aesthetics* (eds. A. P. Bochner, C. S. Ellis), Walnut Creek: AltaMira Press, pp. 95–114.
- Kohn N. (2014) Improvised Educational Devices. *Qualitative Inquiry*, vol. 20, no 3, pp. 325–331.
- Larsen J. (2014) (Auto)ethnography and Cycling. *International Journal of Social Research Methodology*, vol. 17, no 1, pp. 59–71.
- Liggins J., Kearns R. A., Adams P. J. (2013) Using Autoethnography to Reclaim the "Place of Healing" in Mental Health Care. *Social Science and Medicine*, vol. 91, pp. 105–109.
- Littig B. (2013) On High Heels: A Praxiography of Doing Argentine Tango. *European Journal of Womens Studies*, vol. 20, no 4, pp. 455–467.
- Lobatto W. (2013) The Art of Leading and Following: A Workplace Tango. *Journal of Social Work Practice*, vol. 27, no 2, pp. 133–147.
- Lofland J., Snow D. A., Anderson L., Lofland L. H. (2005) *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Boston: Cengage Learning.
- Mardones D. F. (2014) Crying a Thesis. *Qualitative Inquiry*, vol. 20, no 3, pp. 248–252.
- Marschall S. (2015) "Travelling Down Memory Lane": Personal Memory as a Generator of Tourism. *Tourism Geographies*, vol. 17, no 1, pp. 36–53.
- Martin M. (2014) A Witness of Whiteness: An Autoethnographic Examination of a White Teacher's Own Inherent Prejudice. *Education as Change*, vol. 18, no 2, pp. 237–254.
- Martinez A., Merlino A. (2014) I Don't Want to Die before Visiting Graceland: A Collaborative Autoethnography. *Qualitative Inquiry*, vol. 20, no 8, pp. 990–997.
- McCormack C., Vanags T., Prior R. (2014) "Things Fall Apart So They Can Fall Together": Uncovering the Hidden Side of Writing a Teaching Award Application. *Higher Education Research and Development*, vol. 33, no 5, pp. 935–948.

- McGlotten S. (2014) A Brief and Improper Geography of Queerspace and Sexpublics in Austin, Texas. *Gender Place and Culture*, vol. 21, no 4, pp. 471–488.
- McTavish L. (2015) *Feminist Figure Girl: Look Hot While You Fight the Patriarchy*, New York: State University of New York Press.
- Meneley A., Young D. (eds.) (2005) *Auto-ethnographies: The Anthropology of Academic Practices*, Peterborough: Broadview Press.
- Mozzhegorov S. (2013) Metodologicheskie osnovaniya storitellinga v kontekste issledovanija lichnostnyh narrativov [Methodological Foundations of Storytelling in the Context of Personal Narratives Studies]. *Sociology: 4M*, no 37, pp. 104–125.
- Mozzhegorov S. (2014) Narrativy o gomoseksual'nom raskrytii v zapadnom i rossijskom sociokul'turnom kontekste [Narratives about Homosexual Coming Out in Western and Russian Sociocultural Context]. *Sociological Journal*, no 1, pp. 124–140.
- Muncey T. (2010) *Creating Autoethnographies*, London: SAGE.
- Murphy R. F. (1987) *The Body Silent*, New York: Norton.
- Nam S. H. (2008) The Construction of Self-identity in the Chronically Mentally Ill: A Focus on Autobiographic Narratives of Mentally Ill Patients in South Korea. *Qualitative Sociology Review*, vol. 4, no 1, pp. 150–170.
- Neumann M. (1996) Collecting Ourselves at the End of the Century. *Composing Ethnography: Alternative Forms of Qualitative Writing* (eds. C. S. Ellis, A. P. Bochner), Walnut Creek: AltaMira Press, pp. 172–198.
- Neville-Jan A. (2003) Encounters in a World of Pain: An Auto-ethnography. *American Journal of Occupational Therapy*, vol. 57, no 1, pp. 88–98.
- Neville-Jan A. (2004) Selling Your Soul to the Devil: An Auto-ethnography of Pain, Pleasure and the Quest for a Child. *Disability and Society*, vol. 19, no 2, pp. 113–127.
- Neville-Jan A. (2005) The Problem with Prevention: The Case of Spina Bifida. *American Journal of Occupational Therapy*, vol. 59, no 5, pp. 527–539.
- Newbold G., Ross J. I., Jones R. S., Richards S. C., Lenza M. (2014) Prison Research from the Inside: The Role of Convict Autoethnography. *Qualitative Inquiry*, vol. 20, no 4, pp. 439–448.
- Ngunjiri F. W., Hernandez K.-A. C., Chang H. (2010) Living Autoethnography: Connecting Life and Research. *Journal of Research Practice*, vol. 6, no 1, pp. 1–17.
- Nordmarken S. (2014) Becoming Ever More Monstrous: Feeling Transgender In-betweenness. *Qualitative Inquiry*, vol. 20, no 1, pp. 37–50.
- O'Keeffe T. (2015) Creation of a Personality Garden: A Tool for Reflection and Teacher Development, an Autoethnographical Research Paper. *Nurse Education Today*, vol. 35, no 1, pp. 138–145.
- Oakley J., Callaway H. (1992) *Anthropology and Autobiography*, London: Routledge.
- Ouellet L. J. (1994) *Pedal to the Metal: The Work Lives of Truckers*, Philadelphia: Temple University Press.
- Pensoneau-Conway S. L., Bolen D. M., Toyosaki S., Rudick C. K., Bolen E. K. (2014) Self, Relationship, Positionality, and Politics: A Community Autoethnographic Inquiry into Collaborative Writing. *Cultural Studies — Critical Methodologies*, vol. 14, no 4, pp. 312–323.
- Peterson A. L. (2015) A Case for the Use of Autoethnography in Nursing Research. *Journal of Advanced Nursing*, vol. 71, no 1, pp. 226–233.
- Plummer K. (2005) Critical Humanism and Queer Theory: Living with the Tensions. *Handbook of Qualitative Research* (eds. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln), London: SAGE, pp. 357–373.
- Rawicki J., Ellis C. S. (2011) "Lechem Hara (Bad Bread), Lechem Tov (Good Bread)": Depravity and Nobility during the Holocaust. *Qualitative Inquiry*, vol. 17, no 2, pp. 155–157.
- Reed-Danahay D. (ed.) (1997) *Auto/ethnography: Rewriting the Self and the Social*, New York: Berg.
- Riggs N.A. (2014) Following Bud: Blogging at the End-of-Life. *Qualitative Inquiry*, vol. 20, no 3, pp. 376–384.
- Roth W. M. (ed.) (2005) *Auto/biography and Auto/ethnography: Praxis of Research Method*, Rotterdam: Sense Publisher.
- Rottgerrossler B. (1993) Autobiography in Question: On Self-presentation and Life Description in an Indonesian Society. *Anthropos*, vol. 88, no 4–6, pp. 365–373.
- Sanders C. (1999) *Understanding Dogs: Living and Working with Canine Companions*, Philadelphia: Temple University Press.

- Sandoval C. (2000) *Methodology of the Oppressed*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Schingaro N. (2014) The Reversal of Lifelong Labeling: An Autoethnography. *Deviant Behavior*, vol. 35, no 9, pp. 703–726.
- Sealy P. A. (2012) Autoethnography: Reflective Journaling and Meditation to Cope with Life-Threatening Breast Cancer. *Clinical Journal of Oncology Nursing*, vol. 16, no 1, pp. 38–41.
- Shoemaker D. B. (2014) Kind of Blue (Music for the Muse): Re/playing Autoethnographic Stories through Music. *Text and Performance Quarterly*, vol. 34, no 3, pp. 321–325.
- Short N., Turner L., Grant A. (eds.) (2013) *Contemporary British Autoethnography*, Rotterdam: Sense Publishers.
- Sikes P. (Ed.) (2013) *Autoethnography*, London: SAGE.
- Sloane H. M. (2014) Tales of a Reluctant Sex Radical: Barriers to Teaching the Importance of Pleasure for Wellbeing. *Sexuality and Disability*, vol. 32, no 4, pp. 453–467.
- Smith C. (2005) Epistemological Intimacy: A Move to Autoethnography. *International Journal of Qualitative Methods*, vol. 4, no 2, pp. 1–7.
- Smith C. (2012) (Re)discovering Meaning: A Tale of Two Losses. *Qualitative Inquiry*, vol. 18, no 10, pp. 862–867.
- Soshi M. J. (2014) Help(less): An Autoethnography about Caring for my Mother with Terminal Cancer. *Health Communication*, vol. 29, no 8, pp. 840–842.
- Struthers J. (2014) Analytic Autoethnography: One Story of the Method. *Theory and Method in Higher Education Research II* (eds. J. Huisman, M. Tight), Bingley: Emerald Group Publishing, pp. 183–202.
- Sutton-Brown C. (2010) Review of Carolyn Ellis' Book Revision: Autoethnographic Reflections of Life and Work. *Qualitative Report*, vol. 15, no 5, pp. 1306–1308.
- Sykes B. E. (2014) Transformative Autoethnography: An Examination of Cultural Identity and Its Implications for Learners. *Adult Learning*, vol. 25, no 1, pp. 3–10.
- Tamas T. (2011) *Body, Paper, Stage: Writing and Performing Autoethnography*, Walnut Creek: Left Coast Press.
- Terry A. W. (2012) My Journey in Grief: A Mother's Experience Following the Death of Her Daughter. *Qualitative Inquiry*, vol. 18, no 4, pp. 355–367.
- Ugelvik T. (2014) Prison Ethnography as Lived Experience: Notes from the Diaries of a Beginner Let Loose in Oslo Prison. *Qualitative Inquiry*, vol. 20, no 4, pp. 444–453.
- Wakeman S. (2014) Fieldwork, Biography and Emotion Doing Criminological Autoethnography. *British Journal of Criminology*, vol. 54, no 5, pp. 705–721.
- Warren J. T. (2011) Reflexive Teaching: Toward Critical Autoethnographic Practices of/in/on Pedagogy. *Cultural Studies — Critical Methodology*, vol. 11, no 2, pp. 139–144.
- Whitnui P. (2014) Indigenous Autoethnography: Exploring, Engaging, and Experiencing "Self" as a Native Method of Inquiry. *Journal of Contemporary Ethnography*, vol. 43, no 4, pp. 456–487.
- Wilchins R. (2014) *Queer Theory, Gender Theory*, New York: Riverdale Avenue Books.
- Wilkins R. (1993) Taking It Personaly: A Note on Emotion and Autobiography. *Sociology*, vol. 27, no 1, pp. 93–100.
- Wilson K. B. (2011) Opening Pandora's Box: An Autoethnographic Study of Teaching. *Qualitative Inquiry*, vol. 17, no 5, pp. 452–458.
- Wyatt J., Adams T. E. (eds.) (2014) *On (Writing) Families: Autoethnographies of Presence and Absence*, Rotterdam: Sense Publishers.
- Yang S. (2012) An Autoethnography of a Childless Woman in Korea. *Affilia*, vol. 12, no 4, pp. 371–380.
- Zapata-Sepulveda S., Reinertsen A.B., Martin M., Gomez A. (2014) The Pink-Wheeled Bike — Takes Two, Three, and Four. *International Review of Qualitative Research*, vol. 7, no 4, pp. 502–514.
- Zavadsky A. (2014) Popytka uhvatit' individual'noe v istorii: biografija v istoricheskoy nauke. Intervju s docentom magisterskoj programmy "Public History. Istoricheskoe znanie v sovremennom mire" MSSES Veroj Dubinoj [An Attempt to Catch Individual in History: Biography in History. An Interview with Vera Dubina, the Associate Professor of MSSES Master's Program "Public History. Historical Knowledge in Modern World"]. *GEFTER: Internet-Journal*, December 22. Available at: <http://gefter.ru/archive/13887> (accessed 25.12.2014).

Консерваторы в поисках будущего^{*}

РЕПНИКОВ А. В. (2014). КОНСЕРВАТИВНЫЕ МОДЕЛИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. М.: РОССПЭН.
527 С. ISBN 978-5-8243-1854-8

Андрей Тесля

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии
социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского национального университета
Адрес: ул. Тихоокеанская, д. 13б, Хабаровск, Российская Федерация 680035
E-mail: mestr81@gmail.com

За последние два с половиной десятилетия русский консерватизм стал привлекать все большее внимание отечественных исследователей. В историографическом аспекте можно выделить две тенденции. В рамках первой, более ранней, анализируются преимущественно *политические процессы*, идеология и практика правых партий, формы политических консервативных объединений, их роль в политической жизни Российской империи, взаимодействие с правительством и с политическими партиями и объединениями других идеологических ориентаций. В данном случае речь в основном идет о последнем десятилетии XIX и первых десятилетиях XX века, т. е. периоде, непосредственно предшествующем возникновению в России публичной политики и времени существования думской монархии.

Главное внимание уделяется образованию консервативных политических объединений, предсказуемо образом центрированным на эпохе первой русской революции, практикам думской работы и политической активности за пределами Думы (особенно консерваторов и правых, действовавших в реформированном Государственном совете), качественным переменам, происходившим в политической жизни страны в годы Первой мировой войны, и позициям, занятых консерваторами в ходе революции 1917 года. Именно 1917 год оказывается не только важнейшим водоразделом, но и основной смысловой точкой, задающей интерес к политическим консерваторам и их предшествующей деятельности, которая интерпретируется в свете последующей революции: как бесплодная, как провоцирующая катастрофу или как нереализовавшаяся альтернатива, неиспользованный шанс Российской империи. Названная тенденция дала импульс исследованиям, развернувшимся в отечественной историографии с 1960-х гг. Смена акцентов и доступность новых тем с конца 1980-х гг. пришли на хорошо подготовленную

© Тесля А. А., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

* Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ № МК-5033.2015.6 «Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840–1900-е гг.)».

научную почву (достаточно вспомнить работы П. А. Зайончковского, А. Я. Авреха, Р. Ш. Ганелина, Ю. Б. Соловьева и др.¹).

В качестве второй тенденции, на наш взгляд, можно обозначить интерес к *интеллектуальной истории русского консерватизма* со значительно более широким хронологическим охватом. Если изучение политической истории сосредотачивалось преимущественно на 1890–1910-х гг., то исследования по интеллектуальной истории русского консерватизма куда менее хронологически фокусированы. У них несколько временных «точек центрирования»: от 1810-х гг. до различных изводов «советского консерватизма». Первенство в исследованиях принадлежало зачастую филологам — в силу непрерывающейся традиции не самостоятельного или со смещенным фокусом изучения этих направлений мысли, но устойчиво продолжающегося по связности с иными изучаемыми персонажами и явлениями. Так, например, многолетняя работа над полным собранием сочинений Ф. М. Достоевского породила сборник «Достоевский. Материалы и исследования», статьи которого освещали многочисленные аспекты консервативной мысли той эпохи; подобные сюжеты оказывались частично легитимированы и при изучении Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского, А. И. Герцена и т. п.

А. В. Репников — руководитель и координатор целого ряда исследовательских и публикаторских проектов (к их числу принадлежит упомянутая ранее энциклопедия «Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века»² и 2-й том серийного издания «Первая мировая война в оценке современников»³, включающий материалы, посвященные отношению правых и националистов к Первой мировой). Тем больший интерес вызывает его новая книга, достаточно полно отражающая суть одного из направлений исследований истории русского консерватизма.

Книга не является оригинальным исследованием. Фактически это дополненное издание работы автора «Консервативные концепции переустройства России»⁴, в свою очередь являющейся переработкой его предшествующих монографий⁵. Как

1. Аврех А. Я. (1966). Царизм и третий юнкерская система. М.: Наука; Аврех А. Я. (1968). Столыпин и III Дума. М.: Наука; Аврех А. Я. (1981). Царизм и IV Дума. 1912–1914 гг. М.: Наука; Аврех А. Я. (1985). Распад трети юнкерской системы. М.: Наука; Аврех А. Я. (1989). Царизм накануне свержения. М.: Наука; Аврех А. Я. (1990). Масоны и революция. М.: Политиздат; Ганелин Р. Ш. (1991). Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб.: Наука; Зайончковский П. А. (1964). Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х гг. М.: Изд-во АН СССР; Зайончковский П. А. (1970). Российское самодержавие в конце XIX столетия: политическая реакция 80-х — начала 90-х годов. М.: Мысль; Соловьев Ю. Б. (1973). Самодержавие и дворянство в конце XIX века. Л.: Наука; Соловьев Ю. Б. (1981). Самодержавие и дворянство в 1902–1907 гг. Л.: Наука; Соловьев Ю. Б. (1990). Самодержавие и дворянство в 1907–1914 гг. Л.: Наука.

2. Шелохов В. В. (Ред.). (2010). Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века: Энциклопедия. М.: РОССПЭН.

3. Репников А. В. (Ред.). (2014). Первая мировая война в оценке современников: власть и российское общество. 1914–1918. В 4-х тт. Т. 2: Консерваторы: великие разочарования и великие уроки. М.: РОССПЭН.

4. Репников А. В. (2007). Консервативные концепции переустройства России. М.: Academia.

5. Репников А. В. (1999). Консервативная концепция российской государственности. М.: Сигнал'; Репников А. В. (2006). Консервативные представления о переустройстве России (конец XIX — начало XX веков). М.: Готика.

и в предыдущем издании, текст разделен на шесть глав, которые подверглись, как и книга в целом, некоторому переименованию, не всегда, впрочем, удачному. Так, III глава, ранее называвшаяся «Представления консерваторов о месте Российской империи в мировом пространстве», озаглавлена «Геополитические представления русских консерваторов». При этом предмет обсуждения и представленные позиции остались в основном теми же, во многом будучи вопросами внешней политики, отнюдь не обязательно включающими именно геополитическое (в любом из основных изводов понимания данного понятия) измерение. Что важнее, собственно геополитические рассуждения остались никак не акцентированы среди множества иных обсуждаемых внешнеполитических проблем. IV глава теперь называется «Конфессиональный и национальный вопрос: пути решения» — изменения здесь касаются появления «путей решения» и несколько странной замены «вопросов» единственным числом.

Возражения вызывает размытость хронологических рамок исследования — если в предисловии автор говорит, что «зарождение российского консерватизма (а вернее, предконсерватизма) относится к рубежу XVIII–XIX веков», а «становление консерватизма как общественно-политического течения следует отнести к эпохе правления Александра I» (с. 15), то согласно аннотации, «в монографии рассматриваются консервативные модели российской государственности конца XIX — начала XX века». Однако ни в тексте предисловия, ни в других концептуально-развернутых фрагментах данное хронологическое ограничение никак не обосновывается, более того, достаточно подробно анализируются взгляды К. Н. Леонтьева как самостоятельный предмет интереса, а не в рамках подготовки и обоснования более поздних подходов. Последнее отражает уже недостаток книги: неопределенность поставленной исследовательской задачи, возникшая из-за естественного разрастания работы в ходе долговременного изучения русского консерватизма. Ранее присутствовавшие (в текстах 1999, 2006 и 2007 гг.) явные временные границы оказались во многих случаях преодоленными, но сами хронологические и теоретические приобретения не включены в какое-либо новое целое. Если предисловие охватывает достаточно длительный период с конца XVIII до начала XIX века и вплоть до послереволюционных лет, то далее заявленная хронологическая глубина остается нереализованной. При рассмотрении взглядов консерваторов 1890–1910-х гг. автор отсылает к этому же временному горизонту или использует сопоставления с некоторыми текстами европейских правых первой половины XX века (в основном Р. Генона, братьев Юнгеров и Ю. Эволы). Разумеется, подобное ограничение исследовательского внимания вполне правомерно и не может вызывать возражений, но при сравнении с вводными суждениями автора обнаруживается некоторое напряжение: между возможным, проектируемым вариантом рассмотрения и фактически реализованным.

Отдельная проблема — новый заголовок книги. В тексте автор ни разу не обращается к понятию «модель», о каких именно «консервативных моделях российской государственности» идет речь и какой смысл вкладывается в это понятие,

уяснить затруднительно. Вместо «моделей» фигурируют «концепции», унаследованные от предшествующих изданий, хотя наиболее точным — и одновременно нейтральным — было заглавие монографии 2006 года: «Консервативные представления о переустройстве России (конец XIX — начало XX веков)».

Мы подробно останавливаемся на этих, казалось бы, второстепенных аспектах работы, поскольку полагаем, что здесь кроется источник большинства недостатков обширного исследования Репникова. Оно оказывается попыткой выстроить «русское консервативное мировоззрение», видимо, вопреки намерениям автора. Происходит это в силу избранных им средств — характеристики русского консерватизма как единого идейного феномена, для раскрытия конкретных положений которого привлекается разновременной и разнородный материал. На одной странице присутствуют обращения к идеям К. Н. Леонтьева, Л. А. Тихомирова, С. Ф. Шарапова, М. О. Меньшикова, М. Н. Каткова и т. д., причем независимо от того, выражают ли они одну и ту же позицию или демонстрируют различие взглядов. Основной чертой избранного подхода является деконтекстуализация: теоретические взгляды не только расчленены на отдельные положения, каждое из них теперь свободно сопоставляется с такими же положениями, извлеченными из текстов другого автора. Репников осознает историческую изменчивость и многообразие русского консерватизма, в особенности в хронологических границах области его специального интереса, но это не переходит в методологические установки и приемы, а выражается в постоянных оговорках и уточнениях, препятствующих «срастанию» материала во вневременное или, во всяком случае, внеиндивидуальное целое. В итоге текст демонстрирует противоборство автора с избранным им самим подходом. Возникновение этого специфического противоборства надлежит отнести к недостаточной продуманности теоретических положений работы, начиная с ключевого — определения понятия «консерватизм» в контексте исследования, в какой мере оно будет описательным или аналитическим. Отсюда изобилие таких формулировок, как: «консервативная доктрина власти» (с. 151), «консервативная концепция в целом» (с. 167) и т. п. При этом даже на уровне поименных перечислений остается не вполне ясным, кого автор зачисляет в консерваторы, а кого — в «правые», «националисты» и т. п., безусловно отводя место среди первых лишь К. Н. Леонтьеву и Л. А. Тихомирову⁶.

6. В целом современное российское историческое (и — шире — социально-гуманитарное, имеющее дело с исторической проблематикой) сообщество в последние годы начинает осознавать необходимость детальной понятийной работы и потребность разработки, в частности истории понятий, свидетельством чего служат такие труды, как: Хархордин О. (Ред.). (2002). Понятие государства в четырех языках. СПб.: ЕУСПб; перевод антологии текстов, посвященных анализу понятия *«res publica»*: Штартк Р., Дрекслер Х., Шюрбаум В., Флури П. (2009). *Res publica: история понятия* / Пер. с нем. О. Хархордина, В. Серова, О. Бойцова. СПб.: ЕУСПб); монография О. Хархордина: Хархордин О. (2011). Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное обозрение; двухтомник: Миллер А., Сдvigков Д., Ширле И. (Ред.). (2012). «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. В 2-х тт. М.: Новое литературное обозрение; перевод избранных статей эпохального «Словаря основных исторических понятий»: Зарецкий Ю., К. Левинсон К., И. Ширле И. (Сост.). (2014). Словарь основных исторических понятий. В 2-х тт. / Пер. с нем. К. Левинсон под ред. Ю. Арнаутова. М.: Новое

Проблема — в конфликте между теоретической заявкой и недостаточностью средств для ее реализации. С одной стороны, нельзя не отметить роскошь эмпирического материала, с другой — очевидна проблема его группировки в рамках не только привносимой извне, но и недостаточно проясненной схемы, вынуждающей склоняться к логике рубрикации, относя материал по четырем разделам: теоретические основы консервативного мировоззрения (гл. II); geopolитические представления русских консерваторов (гл. III); конфессиональный и национальный вопрос (гл. IV); социально-экономические проекты (гл. V). Самая сильная сторона Репникова — исторические исследования позитивистского плана, прекрасным образчиком которых служит созданная им совместно с О.А. Милевским подробная биография Л. А. Тихомирова⁷; большой материал был накоплен в ходе работы над энциклопедией «Русский консерватизм...», подготовки к изданию дневников Л. А. Тихомирова⁸ и следственного дела В. В. Шульгина⁹. Но отказавшись от двух наиболее простых способов изучения — прямолинейного, хронологически выстроенного повествования о судьбах русского консерватизма в конце XIX — начале XX века, или серии очерков, посвященных наиболее видным, представляющим особенный интерес фигурам русского консерватизма, или русским консервативным изданиям, объединениям и т. п., Репников попадает в ловушку тематических выделений. Он отказывается от внешней, хронологической последовательности изложения, когда можно было бы следовать за ходом полемики, стремится не к описанию, а к концептуализации — но без концептуального каркаса. При этом открывающий и замыкающий разделы работы свободны от подобного недостатка — если первый раздел имеет традиционный историографический характер (гл. I, «Историография проблемы»), то последний (гл. VI, «Накануне и после падения самодержавия») возвращает к привычной манере исторического повествования, раскрывая персональные судьбы и интеллектуальные траектории видных русских консерваторов в последние годы и после революции 1917 года. Этот раздел и наиболее стилистически удачен, и логически ясно выстроен — поскольку автор не экспериментировал над формой изложения и опирался на существующие и многократно использованные им образцы.

Перейдем от рассогласования между заявленными целями и фактической реализацией (которое, на наш взгляд, объясняется преимущественно генеалогией

литературное обозрение) и др. Исследование Репникова предстает недостроенным целым — трудом, обильным материалами, которые способны сказать гораздо больше, чем извлекает из них автор, и которые гораздо больше говорят ему, чем он способен ясным образом сформулировать. Это и порождает расплывчатость текста.

7. Репников А. В., Милевский О. А. (2011). Две жизни Льва Тихомирова. М.: Academia.

8. В частности: Тихомиров Л. А. (2008). Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. / Сост. А. В. Репников. М.: РОССПЭН; Тихомиров Л. А. (2013). Дневник Л. А. Тихомирова (декабрь 1905 года) / Публ. А. В. Репникова // Социологическое обозрение. Т. 12. № 1. С. 86–120.

9. Макаров В. Г., Репников А. В., Христофоров В. С. (2010). Тюремная одиссея Василия Шульгина: материалы следственного дела и дела заключенного. М.: Русский путь; Книжница.

нынешнего текста, представляющего сразу несколько разновременных слоев работы) и сосредоточимся на том, что оказалось реализовано.

Исследование посвящено периоду (1890–1910-е гг.), когда «консерватизм» стал фактически официальной идеологией Российской империи, сложным образом сочетаясь с построениями, которые в той или иной степени можно квалифицировать как националистические. Репников сосредотачивает свое внимание на тех вариантах консервативной идеологии, которые включают русское националистическое содержание. Это делает их одновременно в той или иной степени реформаторскими, поскольку предполагает плавную или радикальную, но перестройку существующей системы отношений между различными этноконфессиональными и сословными группами империи в границах новой идентичностной модели, в условиях перехода от подданства к гражданству и новой модели лояльности. По этой причине за пределами исследования остаются другие варианты консервативной мысли (остзейские, польские, украинские и т. п.), ориентированные на перестройку империи при сохранении власти прежних привилегированных групп и сохраняющие преемственную логику, например «дворянского конституционализма». Иными словами, Репников анализирует исключительно «русский консерватизм» и его подходы к преобразованию «российской государственности»: национальное содержание преобладает над консервативным, что и создает сложности при классификации, когда все основные фигуры (за исключением К. П. Победоносцева) оказываются готовыми к самым радикальным подходам. Так, «консервативный» Л. А. Тихомиров размышляет (и отчасти пытается действовать) в направлении социалистического монархизма; взгляды М. О. Меньшикова автор характеризует скорее как националистические и либеральные, чем консервативные.

Поскольку книга посвящена изучению идейных позиций русских консерваторов, автор многократно подчеркивает невостребованность их теоретических построений, фиксируя взаимосвязь между сравнительной малочисленностью подобных работ и их поздним появлением и отсутствием интереса к имеющимся. Так, единственное в русской консервативной мысли развернутое рассмотрение сущности монархической власти — «Монархическая государственность» Л. Тихомирова — остается на периферии внимания самих правых (попытку популяризации предпринял прот. И. Восторгов, написавший по ее материалам «Монархический катехизис», но и здесь говорить об успехе затруднительно); исследование проф. П. Е. Казанского «Власть всероссийского императора» вышло лишь в 1913 году и осталось единственным юридико-догматическим описанием данного предмета. В 1890-х гг. идеологическое «вырождение» русских консерваторов, по сравнению с расцветом 1860–1880-х гг., вытекало из логики ситуации. Если ранее они выступали в качестве оппонентов власти (как «либеральной» или «неопределенной»), а затем, в обстановке кризиса и поиска новых идейных оснований, в первой половине 1880-х правительство стремилось опереться на них (испытывая потребность в общественной поддержке и используя «поправление» значительной части общества после кризиса конца 1870-х — начала 1880-х гг.), то в 1890-е оно становится

консервативным. Отсюда следует, что консервативный идеолог претендует быть советником власти — она основной адресат, но адресат, не заинтересованный в подобной продукции, поскольку *de facto* предполагает критику существующего порядка вещей и одновременно «не истинный» (или «ошибочный») характер правительского «консервативного» курса. Единственным легитимным идеологом здесь может выступать только сама государственная власть — консервативный публицист, выступая ее интерпретатором, тем самым оказывается избыточным и опасным. Отмечаемое Репниковым общее ощущение разочарованности к концу 1880-х гг. в среде консерваторов сопровождается фантазиями на тему тайной консервативной организации. К. Н. Леонтьев в полуслутку говорит об образовании «иезуитского ордена», неизвестного самой власти, поскольку «правительственная поддержка скорее вредна, чем полезна, тем более что власть — как государственная, так и церковная — не дает свободы действия и навязывает казенные рамки, которые сами по себе стесняют всякое личное соображение» (см. с. 135).

Консервативная мысль в этих условиях теряет своего адресата — со стороны власти востребована «охранительная» позиция, консерватизм тождествен поддержке существующего строя (и тех реформ, которые проводит власть, в первую очередь направленных на поощрение промышленного развития и финансового сектора), тогда как традиционная консервативная социальная база, «поместное» дворянство, оказывается сужающимся основанием и, что важнее, быстро меняющимся в рамках новых условий, достаточно эффективно приспосабливаясь к ним. Аграрные хозяева, выторговывая себе у власти наилучшие условия, стремятся, опираться на традиционные образы помещичьего хозяйства, дворянских обществ, действительно сильно отличаясь от них, вполне вписавшись в новую сельскую экономику¹⁰. Для противостояния власти или сколько-нибудь автономной позиции у консерваторов отсутствует в 1890-е значимый ресурс. Ряд консервативных мыслителей фактически занимает либеральные позиции (например, С. Ф. Шарапов — значимая фигура в складывающейся новой земскойproto-политической среде, в том числе за счет изменения законодательства о земствах, сделавших их значительно более «дворянскими» и способствуя формированию земской оппозиции правительству, в частности в стремлении изменить экономическую политику в благоприятную для аграриев сторону).

Насущно становится выработка удовлетворительного объяснения — каким образом консервативная по всему своему идеологическому антуражу власть принципиально отдаляется от консервативных ожиданий. Универсальным объяснением, в котором сходятся разные представители консервативной мысли, оказывается «бюрократия». Она образует «средостение» между «народом» и «самодержцем» и тем самым извращает сущность самодержавной власти, отнимая ее у монарха (теперь являющегося заложником бюрократии) и присваивая себе — становясь

10. Беккер С. (2004). Миф о русском дворянстве / Пер. с англ. Б. Пинскера. М.: Новое литературное обозрение.

абсолютным анонимным правителем (с. 183–186). Дальнейший ход рассуждений выявляет глубинное напряжение консервативной мысли этого типа:

— с одной стороны, утверждается необходимость ограничения власти бюрократии, создания механизмов контроля над нею, что предполагается осуществить благодаря формированию совещательных органов, созываем «сведущих людей» и т. п., постоянно повторяется идея о введении в состав Государственного совета представителей от разных общественных групп и учете мнений не только большинства, но и меньшинства;

— с другой стороны — налицо стремление сохранить режим личной власти и вывести его из автономной логики управления, которая последовательно ограничивает этот режим через выстраивающиеся процедуры, и т. п.

Проблема, стоящая перед консерваторами, заключается в том, что для них в условиях возможного либерального парламентаризма и существующего порядка нет доступа к власти. Консервативное требование обращения к «знающим людям», личного участия монарха оказывается притязанием на доступ к нему, получение возможности прямого воздействия на государя. Но обретая подобный доступ (как в случае Победоносцева), консерватор становится «охранителем» и тем, кто теперь уже сам в глазах иных выступает «средостением». Апелляция к личной власти — следствие слабости собственной позиции, которая может обрести силу, лишь будучи присвоенной властью, став ее программой, а шанс на это консерватор получает в обход существующей рациональной и рационализирующей власти. Здесь же и источник относительного влияния консервативных идей, так как сам монарх оказывается их сторонником: для того чтобы сохранить собственную власть, расширить свободу принятия решений, он вынужден препятствовать консолидации правительственный системы (отсюда вытекает последовательное сопротивление образованию единого правительства¹¹), обеспечивать себе каналы информации, независимые от правительенных, создавать экстраординарные органы управления и т. п. При этом если в эпоху Александра II император скорее действует «среди» правительства, поддерживая в нем неравновесие и регулярно дестабилизируя, то Александр III склонен выстраивать правительство в режиме личного управления, через назначения лиц, пользующихся его доверием и не имеющих собственной опоры в административной среде (наиболее яркий пример — карьера С. Ю. Витте). Что касается Николая II, то для него характерно дистанцирование от правительства и всего управленческого аппарата, создание системы личных контактов, не переходящих на правительственный уровень (как при Александре III) и реализующихся через непосредственное, в обход существующих институций, действие государя («безобразовская компания», позднее — то, что в глазах публики приобрело облик «распутинщины»).

Из этой же ситуации вытекает сложность какого бы то ни было политического оформления консерваторов или «правых»: до 1905 года это совершенно невозмож-

11. См.: Ремнёв А. В. (2010). Самодержавное правительство: Комитет министров в системе высшего управления Российской империи (вторая половина XIX — начало XX века). М.: РОССПЭН.

но, поскольку означало бы появление политической партии или ее «зародыша» в системе, исключающей всякую партийную политику. Любая, сколь угодно промонархическая партия оказывалась бы несовместима с системой (у)правления, нацеленной на деполитизацию (отсюда упоминавшиеся ранее фантазии на тему тайных консервативных обществ/союзов). Вхождение консерваторов в политику происходит после революции 1905 года, когда власть оказывается лишь одной из сторон противостояния и вынуждена искать новые ресурсы поддержки — причем не пассивной лояльности, но активных сторонников. Часть проблем, здесь возникающих, затрагивал еще Победоносцев в письме к Николаю II (от ?? ноября 1898 г.): «Массы народные издавна коснели в бедности, нищете, невежестве и терпели от насилия сверху. Но они терпели, жили и умирали бессознательно... в последнее время бессознательность миновала, умножились средства сообщения, и вопиющая разница между нищетою одних в большинстве и богатством и роскошью других в меньшинстве стала еще разительнее». В итоге произошли коренные изменения — из-за того что общественные группы, ранее не соприкасавшиеся или почти не соприкасавшиеся друг с другом, пришли во взаимодействие, а отношения между ними более не регулировались традиционными нормами: «Все это легло на массу страшною тягостью, в иных местах невыносимою. Душа народная стала возмущаться. Стали подниматься всюду вопросы: для чего мы страдаем? а другие обогащаются нашим трудом, кровью и потом? И к чему служат власти, которые в течение тысячелетий ничего не могли устроить для нашего облегчения? И к чему, наконец, государство и всякая власть государственная?» (см. с. 126).

Возможность обретения новой социальной опоры монархией занимала Л. А. Тихомирова, искавшего вариант для самодержца выступить в качестве воплощения социальной справедливости — выражения социального мира, двинувшись по пути «германского социализма», когда государственная власть берет на себя функцию регулирования трудовых конфликтов, инициирует социальное законодательство (в ходе поисков Тихомиров активно взаимодействовал с начальником Московского охранного отделения в 1896—1902 гг., а с 1902-го по 1903-й — с главой Особого отдела Департамента полиции С. В. Зубатовым: см. с. 366—374). Однако в ситуации 1905 года речь шла уже не о долговременной стратегии, а о быстрой мобилизации сторонников существующей власти¹² — возникающие правые партии и объединения поддерживают монарха и противостоят правительству, претендуя (и соперничая между собой) на то, чтобы стать опорой власти и тем самым потеснить существующие группы. Послереволюционная ситуация разочаровывает, пусть и в разной степени, все эти группы — монарх поддерживает их, но в ограниченных пределах, они полезны в том плане, что одновременно противодействуют либеральным и радикальным партиям, и государственному аппарату,

12. Переживания о невозможности обретения достаточной низовой поддержки нашли яркое выражение в дневнике Л. А. Тихомирова, записавшего 28.II.1907: «Господь нас покинул на произвол адских сил. Никогда я не думал, чтобы у русских было так мало *самостоятельного* нравственного чувства. Значит, только и держались „корсетом“ насилия...» (с. 183).

сохраняя личную власть монарха. Но и избыточное усилие их опасно для существующей системы власти, так как опора на массовое движение ведет к цезаристскому правлению.

1905 год кардинально разделяет консерваторов — для одних новая ситуация в корне неприемлема, поскольку речь идет об отмене октябряского манифеста, основных законов 1906 года и возвращении к самодержавному правлению, другие принимают необратимость перемен и довольно быстро начинают воспринимать думскую монархию не только как «неизбежное зло», а как новые позитивные условия своей деятельности. В этот период появляются новые группы, которых именуют «консерваторами», но которые, как отмечает Репников, точнее называть «правыми», ведь именно правые выстраивают в обсуждениях тот или иной вариант диктатуры¹³ — политической фигуры, посредствующей между народом и монархом, в отличие от последнего получающей легитимность не от Бога, а в режиме аккламации. Одновременно она выводит монарха из-под риска обратиться в одного из участников ежедневной политики, а не в того, кто стоит «над схваткой» и тем самым способен определять правила политической игры и сохраняет (именно в силу выведенности из политической повседневности) возможность чрезвычайного политического вмешательства.

Монарх, в чрезвычайной ситуации использующий опору на монархические движения, не обращает эту опору в регулярную — в таком случае он оказался бы во власти этих движений, предпочитая им рациональные, бюрократические формы управления и пользуясь правыми движениями как ресурсом применительно к государственному аппарату. В этом отношении надежды правых на власть беспочвенны, они не только не нужны монарху, но и опасны. Если в кризисной ситуации монарх способен допустить правление, близкое к диктатуре (в лице Столыпина, отклонив планы наделения чрезвычайной властью великого князя Николая Николаевича как человека, обладавшего достаточным весом, чтобы быстро стать вполне автономным центром власти), то по мере стабилизации положения готовность допускать наличие подобной фигуры и соответствующую переконфигурацию власти резко сокращается. Иначе говоря, вопреки надеждам многих правых, учреждение диктатуры не только не происходит, но и приближенное к ней положение, которое возникло в 1906–1909 гг., постепенно ликвидируется ценой возрастающей политизации монарха.

Репников отмечает: «...элита и массы к 1917 году разочаруют слишком многих консерваторов» (с. 183). Это примечательное суждение, демонстрирующее положение русского консерватизма: отсутствие какой-либо автономной социальной опоры, связка с существующей властью (при осознании ее глубокого кризиса). Закономерным следствием стал переход многих правых на позиции «прогрессивного блока», в неопределенное, но сначала потенциально, а затем и открыто оппозиционное императорской власти политическое большинство: «Разочарование

13. Наиболее последовательно подобную мысль проводит С. Ф. Шарапов в своей фантазии «Диктатор» (1907).

во власти и ее возможности усовершенствовать существующую систему, так же как и скептическое отношение к обществу, стали общим местом в рассуждениях многих консервативных мыслителей начала века» (с. 183). В итоге правые и консервативные партии и объединения к Февральской революции 1917 года полностью исчезли.

Получив известие о расстреле царской фамилии, М. О. Меньшиков записал в дневнике: «...не мы, монархисты, изменники ему, а он нам. Можно ли быть верным взаимному обязательству, к-рое разорвано одной стороной? Можно ли признавать царя и наследника, которые при первом намеке на свержение сами отказываются от престола? Точно престол — кресло в опере, к-рое можно передать желающим. ...Тот, кто с таким малодушием отказался от власти, конечно, недостоин ее. Я действительно верил в русскую монархию, пока оставалась хоть слабая надежда на ее подъем... Мы все республиканцы поневоле, как были монархистами поневоле. Мы нуждаемся в твердой власти, а каков ее будет титул — не все ли равно?»¹⁴ Этой записью сказано много, в первую очередь о попытке оправдать собственную реакцию в марте 1917 года, свои статьи в «Новом времени»¹⁵, которые не помогли ему, впрочем, сохранить место в редакции — стремительно избавившись от журналиста, пытаясь такой ценой сохранить газету. Правые в это время продемонстрировали, что у них уже нет убеждений, взаимно обвиняя друг друга в отсутствии таковых (преимущественно в дневниках и письмах — за невозможностью печататься). Монархистов в марте 1917 года не осталось — они появятся после, но в момент революции в интеллектуальном пространстве не оказалось практически ни одного защитника монархии. На смену им пришли давно вызревавшие желания диктатуры, распространенные среди правых со времен революции 1905 года, отношение к существующей династии (за исключением для некоторых фигуры великого князя Николая Николаевича) как неспособной дать подобное лицо¹⁶. Династия воспринималась уже скорее как дискредитирующая правое дело. Тихомиров писал в дневнике 2 марта 1917 года, повторяя расхожие обвинения и подозрения в адрес монархии:

«Угрожает страшная Германия, а мы по уши сидели в измене, самой несомненной (выделено мной. — А. Т.). Этот переворот должна бы была сделать сама

14. Меньшиков М. О. (1993). Дневник 1918 года // Российский Архив (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.). Вып. IV: М. О. Меньшиков. Материалы к биографии. М.: Студия ТРИТЭ — Российский Архив. С. 152–153. Запись от 10/23.VI.1918.

15. 7 (20) марта 1917 г. Меньшиков, в частности, писал в статье «Жалеть ли прошлого?»: «Всем сердцем хочется, чтобы демократические народы с освобожденной Россией, рука об руку, развили электричество свое до потрясающего потенциала и сокрушили последнее безумие, задерживающее истинный человеческий прогресс» (цит. по: стр. 429), т. е. Германскую империю.

16. На допросе большевистского трибунала В. М. Пуришкевич показывал: «Как мог я покушаться на восстановление монархического строя, если у меня нет даже того лица, которое должно бы, по моему, быть монархом. Назовите это лицо. Николай II? Большой царевич Алексей? Женщина, которую я ненавижу больше всех людей в мире? Весь трагизм моего положения в том и состоит, что я не вижу лица, которое поведет Россию к тихой пристани» (см. с. 451–452).

династия, если бы в ней сколько-нибудь осталось живой нравственной силы. Но — наличие условий привела к иному исходу. Теперь дай Бог, чтобы правительство, раз оно возникло, осталось прочным. Известия как будто обещают это. Перечитываю газеты, целых три. Крушение рисуется голово-кружительное. Прямо — всеобщее присоединение к Временному Правительству. <...> Телефонировали в Посад¹⁷, спросить — не послать ли им газет? Оказывается — есть, и обе, Катя и Надя¹⁸ — в полном восторге. *Надя кричит по телефону — „Поздравляю с переворотом“* (выделено мной. — А. Т.). Действительно, ужасная была власть¹⁹.

Впечатляющая по объему изученного материала работа А. В. Репникова значима и как своеобразный библиографический указатель — неслучайно автор подчеркивает, что в книге «представлена историография проблемы по состоянию на середину 2014 года». Данная книга не только станет, как и ее предшественницы, одним из наиболее активно используемых в научном обороте трудов по истории русского консерватизма, но и послужит материалом для последующих работ этого почтенного исследователя, углубляющих и фундирующих изучаемую проблематику.

Conservatives in Search of the Future

Andrey Teslya

Associate Professor, Pacific National University

Address: Tihookeanskaya str. 136, Khabarovsk, Russian Federation 680035

E-mail: mestr81@gmail.com

Review: *Konservativnye modeli rossiskoj gosudarstvennosti* [Conservative Models of Russian Statehood] by Alexander Repnikov (Moscow: ROSSPEN, 2014) (in Russian)

17. В Сергиевом Посаде в это время жило семейство Л. А. Тихомирова.

18. Жена и дочь Л. А. Тихомирова.

19. Тихомиров Л. А. (2008). Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. С. 348–349.

Карта социологии права

ПАНЕЯХ Э. Л. (Ред.). (2014). ПРАВО И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК: ХРЕСТОМАТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТОВ. М.: СТАТУТ, 2014. 568 с. ISBN 978-5-8354-1021-7

Александр Кондаков

Научный сотрудник Центра независимых социологических исследований,

ассистент профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге

Адрес: Лиговский пр., д. 87, офис 301, Санкт-Петербург, Российская Федерация 191040

E-mail: kondakov@cisr.ru

Как исследователю в области социологии права мне приходится часто слышать от коллег-юристов: «Вы не юрист, и это объясняет ваше непонимание закона»¹. В российской академической периодике научная статья, написанная в традиции социально-правовых исследований, обычно отправляется редакциями журналов на рецензирование юристам, которые непременно возвращают ее автору с рекомендацией обратиться к трудам правоведов. Последние, как считают юристы, задолго до социологов уже объяснили все поставленные в статье вопросы и получили единственные возможно правильные — хоть и совершенно иные — ответы. Выполнение этой рекомендации влечет за собой полную переориентацию научного подхода такой статьи. Объяснение закона условиями его существования в обществе представляется многим юристам если не кощунством, то бессмыслицей. Им кажется, что право нетленно существует в качестве замкнутой логической системы, доктрины, которая сама только и может объяснять себя².

С другой стороны, подходы социологов к праву тоже могут страдать дилетантизмом. Речь идет об объяснениях функционирования закона или его применения с обыденных позиций. «Закон — не дышло...» — скажут некоторые социологи, будто это все объясняет, они предложат собственные трактовки его оперирования в обществе так, словно многотомных юридических трактатов, в которых ведутся споры о правовых концептах, не существует вовсе. Социологический взгляд на право может ограничиваться утверждением, что закон скрепляет общество, отражая его социальные нормы, будто право имеет единственную и всегда с успехом выполняемую им функцию — консервировать общество, кодифицируя его обычаи³. При этом совершенно игнорируется то обстоятельство, что высказанная

© Кондаков А. А., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

1. См., например: Тарусина Н. Н. (2014). О новом концепте брака, или «Пятой колонне» в брачном пространстве // Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. № 2 (28). С. 51.

2. Волков В. В. (Ред.). (2011). Право и правоприменение в России: междисциплинарные исследования. М.: Статут. С. 4.

3. Parsons T. (1960). Structure and Process in Modern Societies. New York: Free Press. P. 264.

норма уже претерпевает какую-то важную трансформацию и уже действует не так, как действовала бы, если бы она оставалась только социальной⁴.

Можно перечислять немало недостатков и первого, и второго подходов к праву. А в качестве критики обеих сторон бросить: «Вы не социолог права, и это объясняет ваше непонимание закона». Собственно, до появления обширной классической литературы в области социологии права на русском языке ничего другого делать не оставалось. Учебные пособия по социологии права трактовали данное направление мысли как часть социологии, подобной социологии образования о специфических социальных условиях «бытования» права как института⁵. Тем не менее параллельно с этим взглядом развивался интерес к специфическим концепциям и методам изучения права, уже знакомым по зарубежным теориям, позволяющим предложить собственные теоретические подходы. Базисом может служить и, видимо, обязательно будет служить, сборник ставших классическими работ в области социологии права, подготовленный Эллой Панеях.

Для чего нужна хрестоматия социально-правовых работ зарубежных авторов? Чтобы научиться чему-то, что на Западе знают лучше? Чтобы перенять западные подходы и применить их на российской почве? Чтобы оспорить «чуждые» теории? Задачи, поставленные таким образом, не стоят их выполнения. Собранные в книге классические тексты по социологии права — это конструктор, позволяющий собрать механизм по ориентации в пространстве. Заинтересованный исследователь с помощью хрестоматии сможет нарисовать карту, позволяющую осмысленно передвигаться по территории социологии права. Без этой карты она покажется непроходимым лесом или, напротив, пустыней, пробираясь по которым путешественник вскоре теряет интерес. Зато наличие карты поможет определить не только собственное местоположение, но и возможности достижения новых пунктов назначения, т. е. собственно постановки новых научных проблем и вопросов, смысл которых остается без базового чтения непредставимым. Научная карта — есть указание на множество перспектив, из которых имеет смысл смотреть на один и тот же предмет изучения, избегая простых схематических решений.

В этом смысле, пожалуй, наиболее слабой частью сборника является его первый текст — перепечатка известной в России работы Эмиля Дюркгейма (с. 8). Конечно, это классический текст, но потому и сильно устаревший. Он скорее введет читателя в заблуждение характерным для старой школы словарем определения закона, его нарушителей и способов изучения права. Здесь находится место «патологии», «фактам», «цели человечества» и прочим нормативным оценкам как общества, так и права. Читатель может ошибочно предположить, что Дюркгейм, открывающий сборник, является отправной точкой выстраивания карты социологии права. Работы французского социолога действительно используются в ис-

4. Butler J. (1997). *Excitable Speech: A Politics of the Performative*. London: Routledge.

5. Касьянов В. В., Нечипуренко В. Н. (2001). Социология права. Ростов-на-Дону: Феникс. С. 5.

следованиях права — например, концепция «аномии»⁶. Однако в хрестоматии могла быть статья, на основе дюркгеймIANского подхода выстраивающая новый аргумент вместо функциональной гипотезы права⁷.

Если же пропустить текст классика, читатель, собственно, вступит на территорию социологии права. Некоторое представление о сути этой науки позволит составить не только список имен, но и высокопрофессиональное использование особых для нее концептов, из которых и будет образована итоговая читательская карта социологии права. Эта карта — залог выбора перспективы, позволяющей пытливым умам препарировать право из той точки опоры, которую они сами определят для себя.

Критически настроенные читатели определятся со своими вопросами и подходами уже в первом разделе. Здесь неомарксистская критика, малоизвестные термины Фуко и сложные аналитические построения дают о себе знать, пожалуй, громче прочих работ. Кэрролл Серон и Фрэнк Мангер (с. 58) представляют неимоверно обширный обзор критического анализа права, в которых исследователи ставят вопросы к закону и скрытой в нем несправедливости напрямую. Николас Роуз, Пэт О’Мэлли и Мариана Вальверде (с. 84) предлагают воспользоваться концепцией Мишеля Фуко «умоуправление» для объяснения циркуляции власти в обществе, кристаллизирующейся в мириадах правовых институтов подавления, а также окончательно пессимистично сводящей любые отношения между людьми к социальному контролю. Хотя сам Фуко почти не использовал этот термин в своих собственных работах, его применение в объяснительных конструктах социологов права дало зеленый свет множеству открытий⁸.

Следующий раздел вводит в проблематику институционально особого направления в социологии права — работы исследователей, причастных к ассоциации «Право и общество», подразумевающей конкретные формы научной работы при анализе права. Здесь важно было бы проследить корни их работы в теориях Ойгена Эрлиха, правовых реалистов начала XX века, что в какой-то степени эти исследователи делают за себя сами (с. 184). Дональд Блэк, Брайан Таманаха, Сьюзен Силби, Лоуренс Фридман — имена, без которых социология права была бы чем-то совершенно иным по сравнению с тем, чем она сейчас является. Фундаментальные вопросы — что считать правом, например — решаются ими в нестандартном ключе с позиций плюралистичного подхода (с. 145) или антропологии модернизированных обществ (с. 221). Вне «Права и общества» закон оставался бы все той же закрытой системой, какой его предпочитают видеть ортодоксальные юристы, а наша карта оказалась бы схемой.

6. Gibbs J. P. (1966). The Sociology of Law and Normative Phenomena // *American Sociological Review*. Vol. 31. № 3. P. 315–325.

7. Например: Lianos M., Douglas M. (2000). Dangerization and the End of Deviance: The Institutional Environment // *British Journal of Criminology*. Vol. 40. № 2. P. 261–278.

8. Например: Барbero И. (2014). Ориентализация мигрантов в Европейском союзе // Журнал исследований социальной политики. № 2. С. 157.

Остальные разделы хрестоматии предлагают читателю самое ценное — увидеть, как концептуальный аппарат социологии права актуализируется в эмпирических исследованиях. При этом читатель имеет дело не с социально-правовыми статистическими манипуляциями, доступными и на российском материале⁹, а со сложной и глубокой аналитической работой, отвечающей на конкретные вопросы, но одновременно задающей все новые. Так, статьи криминологов (в отечественной академической традиции их именуют «девиантологами»¹⁰) повествуют одновременно о проблеме определения преступника (с. 294), но и о дефиниции преступности вообще (с. 320). Так, Дональд Блэк провокационно заявляет: «Мы можем с пользой для себя вообще пренебречь тем фактом, что преступление является преступлением» (с. 337), но не для того, чтобы оправдать чьи-либо действия, а чтобы, наконец, объяснить, почему люди совершают поступки, квалифицируемые Уголовным кодексом как наказуемые, и какую систему их регулирования, помимо карательных санкций, следует предложить. В конечном итоге это вопрос о более справедливом и эффективном праве, об обществе вне вездесущих тюрем, а не просто абстрактный спор теоретиков.

Большая часть хрестоматии посвящена исследованиям, концентрирующимся на правоприменении, в актах которого право, собственно, и приобретает свою конкретную форму. Судьи и полицейские являются классическими примерами тех профессионалов, чья работа связана непосредственно с актуализацией права. Принимая решение, судья исходит помимо текста закона еще и из своих предпочтений, политических взглядов, эмоций, иных влияющих факторов (с. 426). Сама эта идея вызывает одновременно и страх юристов перед попранием «священности» закона, и их желание исправить ситуацию, чтобы обеспечить правосудие. Применение права полицейским также далеко от беспристрастного контроля выполнения законов гражданами и зависит, среди прочего, от банального физического и социального пространства, в котором совершается нарушение закона (с. 489). Артур Стинчкомб предлагает своеобразную классификацию преступлений, основанную не на характере деяния, а на локализации его совершения.

В заключение хотелось бы дополнить рецензию тем, что читатель не сможет обнаружить в хрестоматии. Редактор адаптирует книгу для российского читателя, рассматривая некоторый корпус работ по советскому праву и современной ситуации с законом в России (с. 456). Именно этих работ могло быть больше. Социология права необходима в России потому, что она способна предложить инструменты для объяснения характера существования закона в ситуации, отличной от абстрактных моделей правосудия, — т. е. ситуации, в которой мы непосредственно находимся, ведь в России право вовсе не то, чем кажется на первый взгляд. Если концептуально право осмысляется российскими юристами, то каким образом правовой терминологический аппарат актуализируется на практике, проявляется

9. Шереги Ф. Э. (2002). Социология права: прикладные исследования. СПб.: Алетейя.

10. Гилинский Я. И. (2007). Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб.: Юридический центр.

в дискурсе, оформляется институционально остается малоисследованным, хотя обратным примером и могут служить высокопрофессиональные тексты некоторых ученых¹¹. Те немногие исследователи, которые работают в сфере социологии права в России, как представляется, должны быть частью этой, безусловно, знаковой хрестоматии — отныне настольной книги любого русскоязычного социолога права.

The Map of the Sociology of Law

Alexander Kondakov

Researcher, Centre for Independent Social Research

Assistant Professor, European University at Saint-Petersburg

Address: Ligovskij prospekt, 87, office 301, Saint-Petersburg, Russian Federation 191040

E-mail: kondakov@cisr.ru

Review: *Pravo i pravoprimenenie v zerkale social'nyh nauk: hrestomatija sovremennoj tekstov* [Law and Law Enforcement in the Mirror of Social Sciences: The Handbook of Recent Texts] edited by Ella Paneyakh (Moscow: Statut, 2014) (in Russian)

11. Богданова Е. (2006). Советский опыт регулирования правовых отношений, или «В ожидании заботы» // Журнал социологии и социальной антропологии. № 1. С. 77–90; Волков В. В. (Ред.). Указ соч.

Исследования общественного мнения в демократической ретроспективе и перспективе

ДОКТОРОВ Б. З. (2013). Лекции по истории изучения общественного мнения: США и Россия. ЕКАТЕРИНБУРГ: УРФУ. 212 с. ISBN 978-5-8295-0223-2

Александр Никулин

Кандидат экономических наук, руководитель Центра аграрных исследований РАНХиГС

Адрес: пр. Вернадского, д. 82, стр. 1, Москва, Российская Федерация 119571

E-mail: harmina@yandex.ru

Борис Докторов — замечательный российский социолог, живущий в настоящее время в США, плодотворно работает в области истории социологии России и Америки. Достаточно сослаться лишь на несколько наиболее известных книг ученого, чтобы представить масштабы и тщательность проделанной им интеллектуальной работы¹.

Рецензируемое учебное пособие, с одной стороны, представляет собой сжатый пропедевтический конспект чрезвычайно обширной историко-социологической американо-российской темы с четкой постановкой ключевых вопросов для каждой лекции, увлекательным и доступным изложением, сжатыми, емкими выводами, обобщениями в конце каждой лекции, обширным списком литературы. С другой стороны, здесь раскрывается собственное мировоззренческое и научное кредо автора, связанное с безусловным утверждением исторической преемственности и современного развития изучения общественного мнения как органической составляющей демократического образа жизни. Наконец, для Докторова важен личностный импульс в истории изучения общественного мнения и демократической политической системы. Вот почему хронология его курса, состоящего из шести лекций, разделена на исторические этапы: догэллаповский, гэллаповский, пост-гэллаповский, сконцентрированная вокруг имени выдающегося американского исследователя общественного мнения Джорджа Гэллапа. А последняя глава кур-

© Никулин А. М., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

1. Докторов Б. З. (2006). Отцы-основатели: история изучения общественного мнения. М.: ЦСП; Он же. (2008). Реклама и опросы общественного мнения в США: История зарождения. Судьбы творцов. М.: ЦСП; Он же. (2011). Джордж Гэллап: биография и судьба. М.: Полиграф-Информ; Он же. (2011). Явление Барака Обамы: социологические наблюдения. М.: Европа; Он же. (2013). Современная российская социология: история в биографиях и биографии в истории. СПб.: ЕУСПб; Он же. (2014). Гиганты американской рекламы. Екатеринбург: УрФУ; Он же. (2014). Все мы вышли из «грушинской шинели»: к 85-летию со дня рождения Б. А. Грушиной. М.: Радуга.

са — об изучении общественного мнения в России во многом связана с наследием замечательного российского социолога Бориса Грушина.

В первой лекции «Догэллаповский этап в изучении общественного мнения» автор утверждает, что этот этап коренится во временах освоения Нового Света и продолжается до середины 1930-х гг. Таким образом, практика изучения американского общественного мнения стала складываться еще до образования Соединенных Штатов как таковых, в самой общественно-политической жизни ее первых коммюнити, уже обладавших базовой формой американской демократии — городским собранием (town meeting).

На рубеже XVII–XVIII вв. в США заявила о себе и свободная пресса, внесшая значительный вклад в формирование американского образа жизни. Именно пресса с начала XIX века стала целенаправленно вырабатывать технологии «соломенных опросов» с их традицией опубликования распределения мнений электората. А комментирование этой статистики фактические имело значение прогноза.

В конце XIX века Джеймс Брайс первым высказал предположение о существовании особой формы демократии в Америке, основанной на общественном мнении, которое стремилось проявить себя в референдумах, несмотря на все трудности их проведения в стране с огромной территорией.

В начале XX века в США возникла проблема измерения эффективности влияния на американцев рекламы. Появилась целая плеяда замечательных исследователей, разрабатывавших методы опроса населения в связи с изучением потребительских установок.

Констелляция традиций городского собрания, бытования свободной прессы, стремление к референдумам и, наконец, успехи методов разработки рекламы — все это исподволь привело в 1930-е гг. к формированию социального заказа на проведение электоральных опросов общественного мнения, связанных с наивысшими достижениями в практике «соломенных опросов» еженедельника «Literary Digest» и такими именами первопроходцев в этой области, как Чарльз Парлин, Дениел Старч, Эдвард Стронг, Генри Линк.

Во второй главе «Гэллаповский этап» показано, как в 1936 году, в связи с очередными выборами президента США, Джордж Гэллап, Элмо Роупер, Арчибалд Кроссли и Хэдли Кэнтрил совершили настоящий прорыв в изучении электорального общественного мнения. Все вышеупомянутые аналитики, по мнению Докторова, воспринимали ремесло изучения общественного мнения как совершенствование американской демократии.

В 1936, 1940 и 1944 гг. успешные предсказания Гэллапом, Роупером и Кроссли особенностей электоральных побед Франклина Рузельта закрепили уверенность в эффективности новой опросной технологии. При этом, с одной стороны, знаменитое фиаско Гэллапа 1948 года вызвало сомнение в возможностях эффективной работы с ограниченными выборками, с другой стороны, оно же заставило полстерское сообщество тщательно анализировать детали опросной технологии, по-

вышай качество измерения установок. В это же время шло активное формирование самого полсторского сообщества, его инфраструктуры.

В 1940-е гг., опираясь на историко-социологическую интуицию и высокий профессионализм в формулировке вопросов интервью, Гэллап заложил основы динамического изучения общественного мнения.

Докторов приводит красноречивое объяснение опытнейшего полстера Бада Роупера о сути достижений Гэллапа: «Конечно... сегодня мы могли бы написать вопрос лучше, чем Гэллап сделал это десять лет назад. Мы постоянно совершенствовали наши вопросы, тогда как Гэллап чеканил один и тот же вопрос год за годом. И в итоге (я наконец-то это понял) Гэллап имеет большинство данных в динамике — неоценимые тренды!» (с. 76). Совокупность методов сбора и анализа данных об общественном мнении, а также приемов организации опросов стали складываться в своеобразную саморазвивающуюся систему.

Автор величает Джорджа Гэллапа апостолом демократии, подчеркивая, что в ряде стран мира, например, в Скандинавии, слово «гэллап» стало синонимом слова «опрос». Метафорически обращаясь к наследию Владимира Маяковского, можно заметить, что, если для датчан и «прочих шведов» «гэллап» означает просто «опрос», то Докторов наверняка согласился бы с такой фразой: «Мы говорим — Гэллап, подразумеваем — демократия, мы говорим — демократия, подразумеваем — Гэллап».

Впрочем, в данной главе кроме интеллектуального наследия Гэллапа и ряда его современников, Докторов уделяет достаточно внимания и новациям второй половины XX века в организации и технике опросов, связанным с разработкой региональных опросов Джо Белдена, схем телефонного опроса Джозефа Ваксберга, изобретению exit poll Уоррена Митофски.

Особое место в книге занимает третья лекция «Изучение избирателей в двух последних кампаниях по выборам президента», сконцентрированная на специфике анализа «остро современного» в историческом исследовании. Здесь анализируются феномен современных «соломенных выборов» в городке Эймс, так называемый казус Санторума, исследование общественного мнения непосредственно в ожидании победителя, а также относительная неудача в прогнозах итогов президентских выборов 2012 года организации Гэллапа.

Разнообразный и подробный аналитический материал об особенностях президентских выборов 2012 года Докторов обобщает в следующем выводе. Изучение настоящего сквозь прошлое — это «не некое идеальное представление о том, как должен строиться научный анализ текущих событий, но важный элемент реальной практики современных американских исследователей общественного мнения» (с. 100).

Электоральное прошлое и настоящее существуют не сами по себе, они соединены методологическими поисками совершенствования опросных технологий. Например, результаты современных республиканских «соломенных выборов» в Эймсе интересны и политологам, и историкам, и полсторам. Все они решают общую

задачу: нахождение детерминант предвыборной борьбы и ее влияния на избрание главы Белого дома.

Отмечая, что в 2012 году выборка Гэллапа оказалась не самой точной, напоминая о горьких уроках ошибки 1948 года, Докторов подчеркивает, что Гэллапу еще предстоит борьба за восстановление лидерства в области опросных технологий.

В четвертой лекции «Прогнозирование итогов президентских выборов» рассматриваются элементы типологии прогнозов, обосновывается актуальность методологического наследия замечательного американо-финского аналитика общественного мнения 1920–1930-х гг. Эмилия Хурьи, его агрегационной технологии прогнозирования. Из современных прогнозных технологий анализируются архитектура электоральных прогнозов Пола Перри, «13 ключей к Белому дому» Алана Лихтмана и прогнозы Нэйта Сильвера.

Пятая лекция «Вступая в постгэллаповский этап» посвящена ответам на вопросы о характерных особенностях постгэллаповских опросных методов. По мнению Докторова, кроме традиционного стремления к повышению надежности результатов измерения и активизации практики изучения мнений, установок, суждений населения, современные техники случайных ответов и опросов обогащенного общественного мнения для респондента делают более комфортной как среду, так и процедуру опроса. Создаются условия, при которых респонденты честнее и искреннее отвечают на сложные, сенситивные для них вопросы, связанные, например, с религиозными убеждениями, сексуальной ориентацией, отношением к «нашим» и «не нашим». В итоге возрастают шансы получать данные, не слишком «зашумленные» «социально желательными» ответами.

Тем временем онлайновые опросы и киберопросы, благодаря своей низкой стоимости и возможности перманентного мониторинга общественного мнения, ведут к дальнейшему повышению частоты измерения мнений, а значит, и повышению вероятности участия в опросах каждого взрослого американца.

Докторов дает и собственный, достаточно развернутый, футуристический (но проверяемый логикой имеющегося историко-социологического знания) прогноз на будущее развитие технологий опросов общественного мнения в Америке:

«Сейчас в общих чертах можно представить, как будут организованы электоральные опросы в период президентской избирательной кампании 2016 г.: роль „живых“ телефонных опросов уменьшится, значение онлайновых и киберопросов возрастет... А что будет в середине XXI века, скажем, в период выборов президента США в 2052 г.? Это будет десятая после последней завершившейся избирательной кампании 2012 г. Чтобы понять, можно ли с уверенностью ответить на поставленный вопрос, давайте „отмотаем“ столько же лет назад... мы окажемся в 1976 г. Опросов проводилось мало, доминировал метод личного интервью, телефонное интервью делалось без компьютерной поддержки, широко применялся почтовый опрос. Естественно, никто не мог предположить, что в начале 2010-х гг. на смену этим методам сбора данных придут компьютерно-телефонные технологии, онлайновые процедуры и другие изощренные схемы изучения мнений. Я думаю, что в 2052 г.

большинство опросов будет проводиться с помощью технологий, которые сейчас мы не можем даже вообразить. Это будет уже не постгэллаповский этап, а нечто другое. А то, что мы обсуждаем сейчас, будет казаться далеким прошлым. Это — нормально. Такова история...» (с.153).

Последняя — шестая лекция книги посвящена истории изучения общественного мнения в России, которое формально, по мнению Докторова, восходит к переводам на русский язык книги немецкого ученого Франца фон Гольцендорфа «Роль общественного мнения в государственной жизни» (1881). Впрочем, отмечается далее, изначальное немецкое интеллектуальное влияние было дополнено влиянием и англо-американским благодаря переводу и изданию книги лорда Джеймса Брайса «Американская республика» (1889).

Докторов обоснованно считает, что термин «общественное мнение» был и до этих иностранных переводов достаточно известен в России, по крайней мере, уже при А. С. Пушкине, который в письме к Чаадаеву отмечал, что в современном ему обществе «отсутствует общественное мнение и господствует равнодушие к долгу, справедливости, праву, истине...» (с. 159).

Личностный аспект изучения общественного мнения в России не менее важен, чем в США. Так, для Докторова в истории изучения национального общественного мнения американскому феномену Джорджа Гэллапа вполне соответствует феномен советского социолога Бориса Грушина. Именно Грушин первым в СССР организовал Институт общественного мнения при газете «Комсомольская правда» и провел первый опрос общественного мнения в мае 1960 года.

Излагая далее историю изучения общественного мнения в России/СССР, Докторов в основном ориентируется на воспроизведение и комментирование соответствующей исторической периодизации разработанной В. А. Мансуровым и Е. С. Петренко.

В заключение автор самокритично отмечает, что последняя лекция курса — «не рассказ о том, как в России/СССР/России зарождался интерес к изучению общественного мнения и как на протяжении длительного времени складывалась методология и практика опросов. Это — введение в будущее историческое исследование...» (с. 177).

Подводя итог обозрению лекционного курса Докторова, необходимо остановиться на ряде авторских мировоззренческих доминант, детерминирующих как теоретико-методологическое, так и культурно-историческое изложение книги.

Во-первых, автор — безусловный оптимист, верящий в развитие некоего естественно положительного порядка демократического хода дел как в США, так и во всем мире от прошлого к настоящему и будущему, разумеется, при неуклонном совершенствовании изучения общественного мнения. Он заявляет, что его «введение будущего базируется на презумпции исторического оптимизма», и далее говорит: «Я верю в то, что демократия в мире будет расширяться и углубляться, голос

общественности усиливаться, а социальная значимость надежной информации о состоянии общественного мнения возрастать» (с. 157).

Хорошо, что в наши скептические времена озвучиваются такие долговременно благоприятные перспективы. Проблема в том, что (мы думаем, тут Борис Докторов согласился бы с нами) самой демократии и ее общественному мнению со всеми процедурами соответствующих референдумов внутренне присущи невероятно драматические противоречия, заставившие в свое время Уинстона Черчилля отшутиться по поводу всякого рода «демократических оптимизмов»: «Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных».

К сожалению, феномен особенностей наихудших форм демократических волеизъявлений как в Америке, так и в России, часто связанный с поразительными заблуждениями общественного мнения, почти выпал из изложения данного лекционного курса.

На наш взгляд, Докторов совершенно верно связывает проблему свободы общественного мнения в России с именем А. С. Пушкина, которого общественное мнение — мнение народное, как известно, страшно волновало и которое он фактически поставил в центр таких исторических сочинений как «Борис Годунов» и «История пугачевского бунта». Но насколько неоднозначно трагична историческая хроника народного волеизъявления в пушкинских текстах!

Задолго до Докторова, возводящего изучение моши демократического волеизъявления к общественным референдумам Новой Англии XVII века, Пушкин отмечал его в следующем монологе из «Бориса Годунова»:

Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою подмогой,
А мнением; да! мнением народным.

Опираясь, на мощь этого мнения, лжедемократический Лжедмитрий вскоре одержал убедительную победу на соответствующем кремлевском референдуме, после чего это мнение забезмоловствовало...

А далее Пушкин с горечью констатировал, что судьбоносный народный референдум в России может обернуться бессмысленным и беспощадным бунтом...

В некоторых исторически кризисных ситуациях, связанных, например, с борьбой за национальную независимость, размышляя над случайностями общественно-исторического выбора (а «случай, — как известно, по Пушкину, — Бог — изобретатель»), Александр Сергеевич оценивал динамику колебаний общественного мнения в 1812–1814 гг. в амплитуде от «остервенения народа» — до «понижения его ропота» в результате непостижимого промысла все того же казуса «российского случая — силы вещей — русского бога». Приведу два четверостишия:

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?

*Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?*

Но бог помог — *стал ропот ниже,*
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже,
А русский царь главой царей.

Кто-то может возразить, что, подобно упоминаемым Докторовым старомодным американским «протосоломенным опросам», мы описываем пушкинские упоминания старинных «прото-демократических волеизъявлений». Но мы просто следовали историко-социологической логике Докторова, призывавшего к бережному изучению особенностей исторических корней национальных демократий.

За неимением времени упомянем лишь еще несколько казусов демократических референдумов — торжеств общественного мнения в истории России/СССР: 1917 — казус демократического Учредительного собрания; 1936 — казус принятия самой демократической Конституции в мире (как раз в год торжества опросной методологии Гэллапа в США); 1991 — казус референдума о сохранении СССР; казусы процедур управляющей демократии в России XXI века...

Теперь о личностном феномене, которому Докторов уделяет заслуженно пристальное внимание — о Борисе Грушине. Характеризуя Грушина, Докторов наделяет его неуловимыми чертами пушкинского свободного гения: «На мой взгляд, Грушин не был ни „красным“, ни „белым“, ни левым, ни правым, ни либералом, ни консерватором, ни русофилом, ни западником, ни пессимистом, ни оптимистом. Он старался быть совершенно свободным, у него была своя цель в жизни и своя дорога. Грушин никогда не включался ни в какие политические сюжеты — даже если речь шла о Сахарове или об „уходе“ в диссиденты. Когда ему предлагали это, он отвечал, что у него „есть работа на собственном поле“» (с. 165).

Как известно, Грушин написал несколько книг, посвященных теории и истории опросов общественного мнения. Но и в грушинских исследованиях (подобно пушкинским наблюдениям) не оптимизм, но драматизм пронизывает авторскую историю российского общественного мнения².

Все же и в самой книге Б. З. Докторова, несмотря на весь ее демократический оптимизм, безусловно, пропадает проблематика драмы загадочности изучения и понимания опросов общественного мнения. Свидетельством тому — его особенно пристальное внимание к истории ошибок в прогнозах и результатах опросов общественного мнения в США.

2. Грушин Б. А. (1967). Мнения о мире и мир мнений. М.: Изд-во политической литературы; *Он же*. (1987). Массовое сознание. М.: Политиздат; *Он же*. (2001). Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Жизнь 1-я: Эпоха Хрущева. М.: Прогресс-Традиция; *Он же*. (2003). Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Жизнь 2-я: Эпоха Брежнева. Часть 1. М.: Прогресс-Традиция; *Он же*. (2006). Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Жизнь 2-я: Эпоха Брежнева. Часть 2. М.: Прогресс-Традиция.

Сильной стороной книги является внимание автора к исследованию значения региональности и локальности общественного мнения для итогов общенациональных референдумов в США. Читатель действительно узнает много интересного о том, как общественное мнение региональных «одноэтажных» Америк различных американских штатов в конечном счете определяет исход борьбы за американское общенациональное политическое лидерство.

Наконец, надо отметить безусловное значение историцизма как методологического принципа книги, например, явно прописывающего в анализе значения «соломенных опросов» в США, когда автор виртуозно прослеживает переменчивую эволюцию границ между «соломенным» и «научным» в опросах американского общественного мнения. Того самого общественного мнения, которое, страхуя себя от пучины рисков демократических волеизъявлений, хватается за научную обработку соломинок гражданских мнений по правилу извечной житейской мудрости: «Знал бы, где упал, так соломки бы подстелил».

Public Opinion Surveys from Democratic Retrospective and Perspective

Alexander Nikulin

Director of the Center for Agrarian Studies, Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Address: Prospect Vernadskogo, 82, Moscow, Russian Federation 119571

E-mail: harmina@yandex.ru

Review: *Lekcii po istorii izuchenija obshchestvennogo mnenija: USA i Russia* [Lectures on the History of Public Opinion Studies: USA and Russia] by Boris Doktorov (Ekaterinburg: URFU, 2013) (in Russian)

Новый курс лекций по социологии спорта

ANSGAR T., SEIBERTH K., MAYER J. SPORTSOZIOLOGIE: EIN LEHRBUCH IN 13 LEKTIONEN. AACHEN: MEYER & MEYER VERLAG, 2013. 383 S. (SPORTWISSENSCHAFT STUDIEREN, 8). ISBN 978-3-89899-639-6

Олег Кильдюшов

Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии ИГИТИ НИУ ВШЭ

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: kildyushov@mail.ru

Данный лекционный курс вышел в уникальной издательской серии, в рамках которой уже увидели свет тома, посвященные различным субдисциплинам спортивной науки: экономике спорта¹, спортивной психологии² и даже философии спорта³. Книга была написана коллективом авторов во главе с профессором Ансгаром Тилем, директором Института спортивных наук Тюбингенского университета⁴.

Следует сказать, что в последнее время в немецкоязычном пространстве вышел целый ряд обзорных и вводных работ по социологии спорта⁵. Все они по-своему ценные, поскольку каждое издание обеспечивает оригинальный доступ к теме и ориентируется на различные методологические подходы. Одни из них очень специфичны с точки зрения постановки вопросов в спортивно-социологических исследованиях, другие, напротив, предлагают широкий обзор сложившихся традиций и наметившихся трендов. В этом смысле они хорошо дополняют друг друга, создавая широкое пространство научно-теоретической проблематизации сферы спорта и связанных с ним социальных феноменов. О таком содержательном и методологическом разнообразии отечественному исследователю спорта остается только мечтать.

© Кильдюшов О. В., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

1. *Trosien G. (2009). Sportökonomie. Ein Lehrbuch in 15 Lektionen.* Aachen: Meyer & Meyer Verlag.

2. *Alfermann D., Stoll O. (2010). Sportpsychologie: Ein Lehrbuch in 12 Lektionen.* Aachen: Meyer & Meyer Verlag.

3. *Müller A., Brettschneider W. D., Kuhlmann D. (2013). Sportphilosophie: Ein Lehrbuch in 11 Lektionen.* Aachen: Meyer & Meyer Verlag.

4. А. Тиль известен своими исследованиями прежде всего в области социологии тела и здоровья, а также работами на темы телесной стереотипизации и стигматизации, институционального развития спорта высших достижений и управления конфликтами в спорте: *Thiel A. (1997). Steuerung im organisierten Sport: Ansätze und Perspektiven.* Stuttgart: Nagelschmid; *Idem. (2002). Konflikte in Sportspielmannschaften des Spitzensports Entstehung und Management.* Schorndorf: Hofmann; *Thiel A., Mayer J., Digel H. (2010). Gesundheit im Spitzensport. Eine sozialwissenschaftliche Analyse.* Schorndorf: Hofmann.

5. *Weiß O. (1999). Einführung in die Sportsoziologie.* Wien: UTB; *Cachay K., Thiel A. (2000). Soziologie des Sports: Zur Ausdifferenzierung und Entwicklungsdynamik des Sports der modernen Gesellschaft.* Weinheim: Juventa; *Heinemann K. (2007). Einführung in die Soziologie des Sports.* Schorndorf: Hofmann; *Weis K., Gugutzer R. (Hrsg.). (2008). Handbuch Sportsoziologie.* Schorndorf: Hofmann; *Bette K. H. (2010). Sportsoziologie.* Bielefeld: Transcript; *Weiß O., Norden G. (2013). Einführung in die Sportsoziologie.* Wien: UTB.

В данном курсе лекций спорт предстает в качестве сферы общественной практики, которой поразительным образом удается, с одной стороны, провоцировать людей на собственную телесную активность, а с другой — привлекать и развлекать их в качестве пассивных зрителей и потребителей. Концептуально охватить и аналитически описать этот уникальный феномен современного общества авторы пытаются с помощью тех теорий и методологических подходов, что уже (относительно) давно применяются многими исследователями для социологического анализа спорта. Изложение начинается с отцов-основателей социологии спорта, далее описываются основные этапы ее институционализации как научной дисциплины, с демонстрацией теоретических влияний на нее со стороны общего процесса социологизации дискурса спорта и иных социальных мотивов и вызовов для ее развития. При этом удачно структурированы уровни исследования и основные теоретические концепты, указаны возможности и пределы их применения в исследовательской практике.

В рецензируемой книге спорт рассматривается из различных социологических перспектив. Наиболее релевантной в социально-теоретическом смысле является первая лекция — «Предмет социологии спорта», в которой обсуждается сама предметная область этой относительно новой социологической субдисциплины. Авторы предлагают читателю систематическое введение, знакомящее со способами концептуализации и важнейшими теоретическими подходами, применяемыми в «большой» социологии и заимствованными у нее социологией спорта как специальной дисциплиной, а также краткий экскурс в историю развития данной отрасли знания⁶.

При этом авторы прямо признают, что «определение ее предмета до сих пор представляет сложность», поскольку — как это обычно бывает и в большой социологии — «социологии спорта не удалось разработать общепризнанной дефиниции спорта», поскольку применяемое понятие является слишком дифференцированным и многоаспектным (S. 31). Они даже ссылаются на Клауса Хайнемана, предложившего в ситуации терминологического многообразия различать между двумя видами понятия «спорт» — номиналистическим и реалистическим. «Реализм» означает здесь ориентацию на эмпирические данные, связанные с феноменом спорта, тогда как «номинализм» в данном контексте является попытка упорядочивания различных свойств и признаков в комплексный социальный феномен⁷.

А. Тиль и его соавторы признают, что «поскольку социология спорта не разрабатывает собственных теорий и методов, то она отличается от общей социологии лишь спецификой своего предмета» (S. 36). Главным выводом теоретического

6. В частности, они указывают на то, что предметная область спорта затрагивается уже у классиков социологии Георга Зиммеля и Макса Вебера, хотя и на полях их работ. Первая книга под названием «Социология спорта» вышла еще в 1920-х годах: *Risse H. (1921) Soziologie des Sports. Berlin: August Reher.*

7. *Heinemann K. (1990). Einheit und Vielfalt des Sports: Daten zum Selbsverständnis von Sportlehrern // Für einen besseren Sport / Hrsg. von H. Gaber, U. Göhner. Schorndorf: Hofmann. S. 114–134.*

введения в дисциплину можно считать следующий тезис: «То, что понимается под „спортом“ и чем он отличается от других практик, в значительной мере зависит от перспективы тех, кто говорит о спорте. Таким образом, „спорт“ в значительной мере является понятием, зависящим от наблюдателя» (S. 31).

Исходя из данных в начале определений, весь материал далее структурируется в виде 12 центральных тематических комплексов, представленных на материале актуальных спортивно-социологических исследований. В каждой лекции, посвященной группе связанных рамочной темой вопросов, читатель получает дифференцированный ответ на основополагающие проблемы современного спорта. Для удобства читателя они сформулированы в кратком виде в начале каждой лекции. Не менее удачным следует признать решение авторами проблемы научного аппарата — немногочисленные врезки с ключевыми цитатами и библиографические ссылки не перегружают изложение, зато в конце каждой главы читателя ждет обширный список литературы по теме, включая новейшие работы.

Основной текст состоит из трех неравных как по объему, так и по социально-теоретической релевантности частей. Первая часть (лекции 2–6) посвящена динамике развития спорта как уникального социокультурного феномена современности. Здесь рассматриваются вопросы социальной дифференциации спорта как общественной подсистемы, социального конструирования тела посредством спортивных практик, изменения представлений о здоровье и влиянии на него физических упражнений, а также вопросы, связанные с возникновением профессионального спорта и новейшими трендами. В этой части речь идет прежде всего о выделении спорта в отдельную общественную подсистему. В частности, показано, как в ходе функциональной дифференциации «спортивные» формы движения и иной телесной активности выделились из культурно-смысовых контекстов, превратившись в «спорт» в современном значении как особой сферы общественной практики. Здесь же авторы затрагивают центральные проблемы развития современного спорта, в том числе массовый и профессиональный спорт. Кроме того, они специально анализируют усиливающуюся интеграцию сферы спорта и системы здравоохранения.

Коллектив авторов настаивает на том, что «развитие спорта не является точной копией специфических исторических событий или процессов общественного развития», поскольку «в ходе своего развития спорт выработал различные формы и программы, которые очень по-разному реагировали на конкретные общественные события и изменения». Этот исторический опыт затрудняет для социологов спорта реализацию социально-прогностической функции, поскольку дальнейшее развитие данной культурной практики может быть предсказано лишь с большим числом оговорок (S. 67).

Вторая часть (лекции 7–9) посвящена проблемам организации и управления спортом. В лекциях этого раздела затрагиваются такие темы, как нынешние формы организованного спорта, развитие спортивных клубов и обществ, а также вопросы спортивного менеджмента. Вероятно, эта часть пособия будет представлять

ценность скорее для узкой группы интересующихся проблемами функционирования современного спорта как предприятия. В основном здесь речь идет об институциональном порядке в современном спорте, то есть о формах его социальной организации, о властных институтах спорта и важнейших структурах, определяющих все развитие поля спортивного производства и потребления. Тем не менее, по словам авторов, эта проблематика также нуждается в социологическом анализе: «Изучение важнейших структурных условий функционирования возникшего по всему миру клубка спортивных организаций является базовой предпосылкой понимания и актуальных тенденций в развитии спорта как на национальном, так и интернациональном уровне» (S. 236).

И, наконец, в третьей части (лекции 10–13) обсуждаются темы участия и потребления спорта, традиционно вызывающие значительный общественный интерес: социализация *в и через* спорт, социальное неравенство в спорте, проблемы миграции и интеграции и спорт, а также социальные конфликты в спорте. Целая группа затрагиваемых здесь вопросов связана с проблематикой вовлечения и участия в спортивных практиках. Этот раздел книги также представляет собой систематический обзор по одной из ключевых проблем социологии спорта и исследовательских подходов к ней. В нем подробно рассматриваются проходящие в спорте основные социальные процессы: социализация, девиация, социальная интеграция и социальная мобильность. Особое внимание уделено социально значимым проблемам, возникающим в ходе активных занятий спортом, в том числе конфликтам. В отдельной лекции специально затрагиваются вопросы, связанные с групповой (гендерной, этнической, социально-классовой) принадлежностью спортсменов и влиянием среды первичной социализации на формы и интенсивность их вовлечения в спортивные и околоспортивные культурные практики. При этом авторы исходят из посылки, что спорт может быть описан как «важное пространство социальной коммуникации, оказывающее совершенно специфическим образом воздействие на участников и их действия» (S. 282).

Современный спорт притягивает миллиарды людей по всему миру, являясь для многих своеобразным эрзацем религии⁸. При этом он предстает в качестве модели идеального общества, в котором ощущимы и значимы собственные достижения и результаты. Более того, он предоставляет многим людям уникальную практическую возможность для самореализации и достижения признания⁹. Именно эти и иные аспекты современных телесных практик интересуют социологию спорта, изучающую социальные взаимодействия и значение спорта для обществ современности.

8. Примечательно, что инициатор возрождения Олимпийских игр по античному образцу барон Пьер де Кубертен говорил в этой связи о *religio athletae*. Под нею им понималась этическая система, которая хотя и была лишена божественного откровения или иной сверхъестественной санкции и тем самым не являлась религией в строгом смысле слова, но тем не менее обладала некоторыми признаками квазирелигиозного культа, представляющего собой специфическую форму почитания выдающихся спортсменов и их достижений, обусловленного верой в олимпийские идеалы.

9. В этом смысле спорт может рассматриваться как идеальная форма замиренной, нормированной и ритуализированной «борьбы за признания» (Гегель).

менного типа. Именно этому посвящен данный курс лекций, представляющий собой удачное введение в теоретический контекст и сферу практического приложения спортивной социологии. Рамочной здесь является идея взаимовлияния спорта и общества, причем в двух направлениях: если представление о социокультурной обусловленности современного спорта довольно распространено и даже банально, то социологическая фиксация феноменов индустриализации и сциентификации телесных практик, а также обратный процесс спортивизации общекультурных практик и образцов (Норберт Элиас) может многое рассказать нам об обществе, в котором мы живем. Важнейшими проблемными полями здесь выступают вопросы взаимосвязи спорта и средств массовой коммуникации, спорта и (пост)индустриальной экономики, спортивной социализации и потребления спорта различными социальными группами.

Рецензируемая книга позволяет углубить представления о предмете даже тем, кто, так или иначе, занимается теоретической рефлексией по поводу феномена современного спорта — например, исследователям и преподавателям дисциплин, связанных с телом и движением в современной культуре. В этом смысле данное издание — помимо функции учебного пособия — играет роль отличного введения в социологию спорта, способствующего углублению представлений о предмете даже у подготовленного читателя.

Еще большую эвристическую значимость данный курс лекций может представлять для тех читателей, которым пока трудно увязать спорт и социологию в единое поле общественной практики¹⁰. Хотя сегодня совершенно очевидно, что любая попытка адекватной макросоциологической концептуализации важнейших сегментов реальности современных обществ не может обойти вниманием сферу спорта, ставшего не только основной телесной практикой эпохи модерна, но и важнейшей областью производства культурных смыслов и образцов, не говоря уже об экономическом измерении мировой спортивной индустрии.

При этом понятно, что при огромном многообразии форм спортивной активности и связанных со спортом социально релевантных феноменов просто физически невозможно в одной работе охватить весь спектр проблем, что вынуждает автора любого обобщающего труда концентрироваться на ряде выбранных тем, некоторые из которых трудно обойти. Например, особую актуальность имеют разделы книги, посвященные проблемам взаимодействия спорта и медиа, институту героев спорта или новейшим трендам в экстремальных видах, не говоря уже о проблеме допинга в спорте высших достижений. Вся эта топика рассматривается авторами в контексте процессов общественной модернизации, что позволяет им с помощью специфически социологической оптики дифференцированно осуществить ценностно-нейтральное наблюдение, внутренне непротиворечивое фено-

10. Еще хуже дело обстоит с философской рефлексией по поводу спортивизации общественно релевантных практик и культурно-телесных образцов (особенно в русском культурном пространстве). Об этом см.: Кильдишов О. В. (2013). Спорт как дело философии: об эвристической ценности новой аналитической оптики // Логос. № 5. С. 43–60.

менологическое описание и аналитическую реконструкцию внешне хаотичного и не поддающегося категориальному упорядочиванию социального поля спорта.

С помощью подобного дифференцированного подхода авторы лекционного курса на широком теоретическом и эмпирическом материале подтверждают тезис о структурной встроенности спорта в современное общество, убедительно демонстрируя тем самым эвристический потенциал социологии спорта для решения практических задач в данной сфере общественной практики.

Данное — лучшее, по оценке многих рецензентов — издание по социологии спорта на немецком языке удачно сочетает в себе развернутый систематический обзор дисциплины и ознакомление с актуальным состоянием спортивно-социологических исследований. Посредством удобно организованного материала авторы пытаются ответить на центральные вопросы, конститутивные для этой отрасли знания: какова специфика культурной и социальной истории современного спорта? какие социальные структуры характерны для него? как осуществляется социальное действие в спорте? какие модели спорта типичны для обществ современного типа? Предложенные авторами дифференцированные ответы на эти основополагающие для дисциплины вопросы могут не только представлять познавательную ценность для всех тех, кто изучает или обучает спортивным дисциплинам (в том числе для социологов спорта), но и являются ценным знанием, релевантным для ориентации практических действий, а также тех, кто его практикует в различных позициях — спортивных функционеров и политиков, не говоря уже о самих любителях спорта.

В заключение этого краткого обзора можно сказать, что использованный в рецензируемом курсе лекций язык поликонцептуального описания вполне «изоморфен» его предмету, ведь спорт сегодня также чрезвычайно комплексное и многоаспектное явление, многое говорящее нам о самом обществе. Избранная авторами стратегия проблематизации позволяет аналитически описать многогранные феномены современного спорта, выявить его центральные проблемы и динамику основных трендов в развитии. Тем самым они подтверждают социально-диагностическую значимость научной рефлексии реальных культурных процессов, осуществляющей из перспективы эмпирически ориентированной социологической теории.

New Lecture Course on the Sociology of Sport

Oleg Kildyushov

Researcher, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str. 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: kildyushov@mail.ru

Review: *Sportsoziologie: Ein Lehrbuch in 13 Lektionen* by Ansgar Thiel, Klaus Seiberth, Jochen Mayer (Aachen: Meyer & Meyer Verlag, 2013).